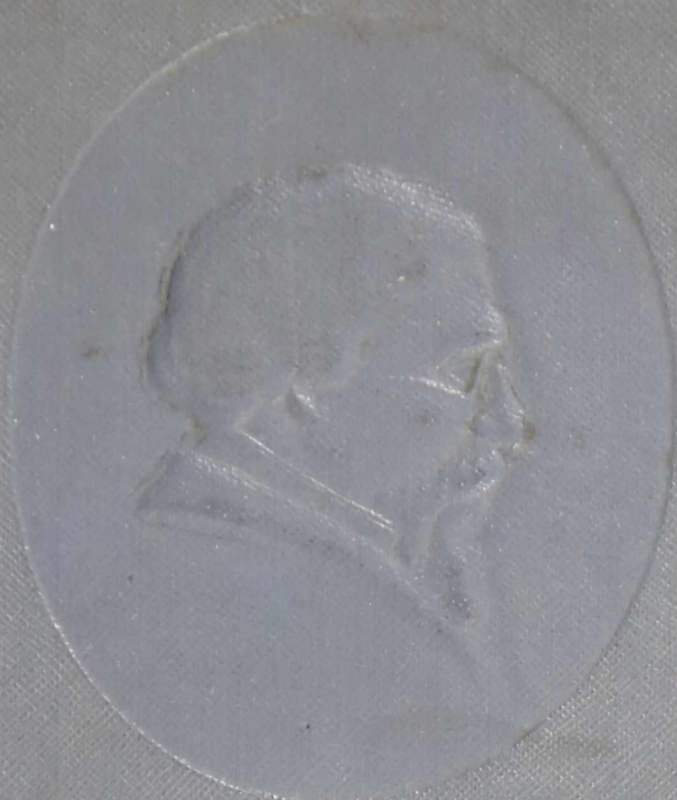


377
4-49

ИЗДАТЕЛЬСТВО УЧИТЕЛЯ



Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

ИЗБРАННЫЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ВЫСКАЗЫВАНИЯ

МОСКВА 1950



74
371
219
БИБЛИОТЕКА УЧИТЕЛЯ

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

ИЗБРАННЫЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ВЫСКАЗЫВАНИЯ

С ВВОДНОЙ СТАТЬЕЙ
И ПРИМЕЧАНИЯМИ
Н. Н. РАЗУМОВСКОГО



ДЕК 2011

БИБЛИОТЕКА
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
УЧИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ

ГОРСКАЯ ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
г.р. Киселевск

23
13 ИЮН 2006

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
НАРКОМПРОСА РСФСР МОСКВА 1940

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В данное пособие для учителя вошли лишь избранные педагогические высказывания Н. Г. Чернышевского.

Педагогические высказывания Чернышевского печатаются отчасти целиком, отчасти купюрами. Представление материала в купюрах диктовалось необходимостью давать только такие отрывки, которые имеют отношение к вопросам просвещения и воспитания, обстановке и условиям их.

Статьи, высказывания, рецензии расположены в хронологическом порядке. Выдержки из писем и дневников к родным даны в виде отдельных разделов.

При сверке текста статей Н. Г. Чернышевского были использованы: „Полное собрание сочинений Н. Г. Чернышевского под редакцией М. Н. Чернышевского, изд. 1906 г., в десяти томах“, „Чернышевский в Сибири“, в трех томах, издание 1912—1913 гг., „Литературное наследие“, в двух томах, издание 1928 г., „Литературное наследство“ № 3, 1932 г. „Запрещенные цензурой тексты Н. Г. Чернышевского“ с комментариями Нечкиной и Каплинского.

В библиографическом указателе дана краткая аннотация на избранные педагогические высказывания, с указанием источника, откуда перепечатан материал.

При составлении примечаний и библиографического указателя были использованы данные, опубликованные в указанных выше изданиях, а также издания, специально оговоренные в сносках.

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ.

В истории человеческой культуры—и в истории развития русской культуры в особенности,—среди величайших имен мира имя Николая Лавриловича Чернышевского является символом революционной отваги, самоотверженности, преданности делу народа.

Народы Советского Союза гордятся славными предшественниками русской социал-демократии. Из всех предшественников русской социал-демократии наиболее видное, наиболее почетное место принадлежит Николаю Лавриловичу Чернышевскому.

«Труды... Чернышевского, делают действительную честь России и доказывают, что... страна тоже начинает участвовать в общем движении нашего века»,—писал Карл Маркс¹.

Ленин, оценивая Чернышевского, говорил: «Чернышевский—единственный действительно великий русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 80-го года остаться на уровне идейного философского материализма и отбросить жаккий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путаников»².

Николай Лаврилович Чернышевский жила в эпоху, когда Россия изменяла весь свой уклад. «Если бросить общий взгляд на изменение всего уклада российского государства в 1861 году, то,—говорит Ленин,—необходимо признать, что это изменение было шагом по пути превращения феодальной монархии в буржуазную монархию. Это верно не только с экономической, но и с политической точки зрения»³.

В то время Россия представляла собой отстающую страну, в которой преобладало крепостническое хозяйство дворян-помещиков, было подневольный крестьянский труд, не было достаточного количества наемных рабочих и широкого внутреннего рынка.

Весь ход, все экономическое развитие страны толкала к уничтожению крепостного права.

Растет население в городах, растут фабрики и заводы, развивается

стр. 202.

¹ Письмо Карла Маркса от 24 марта 1870 г. к членам Комитета Русской

секции в Женеве. «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», изд. 1933 г.

² Ленин, Соч., т. XIII, стр. 295.

³ Ленин, Соч., т. XV, стр. 96.

ся рынок, растет внутренняя и увеличивается международная торговля хлебом.

Быстрое развитие капитализма в Западной Европе втягивало и отставшую крепостническую Россию в товарный обмен, в торговлю со многими странами.

В эти годы расширяется вывоз хлеба за границу. С 1825 по 1850 год вывоз пшеницы из России увеличился более, чем в четыре раза. Тот факт, что резко увеличивается вывоз хлеба за границу, является одним из признаков того, что Россия встала на путь капитализма. Помещики стремились расширять свое хозяйство, усовершенствовать его; для этого нужны были новые средства, новые вложения; в поисках средств помещики закладывали свои имения вместе с крепостными. К 1859 году задолженность помещиков достигла 425 млн. рублей серебром, и заложено было в среднем по стране 65 процентов крепостных душ.

Промышленность не могла развиваться по-настоящему. Подневольный, крепостной труд мешал росту производительности труда в сельском хозяйстве. Все это толкало к отмене крепостного права.

«Какая же сила, — писал В. И. Ленин, — заставила их взяться за реформу? Сила экономического развития, втягивавшего Россию на путь капитализма. Помещики-крепостники не могли помешать росту товарного обмена России с Европой, не могли удержать старых, рушившихся форм хозяйства. Крымская война показала гнилость и бессилие крепостной России. Крестьянские «бунты», возрастая с каждым десятилетием перед освобождением, заставили первого помещика, Александра II, признать, что лучше освободить *сверху*, чем ждать, пока свергнут *снизу*¹».

Для иллюстрации этого положения необходимо привести следующие данные: вторая четверть XIX столетия отмечается особым усилением массового крестьянского движения. Если в 1845—1854 гг. было зарегистрировано 348 волнений, то в 1855—1860 гг. их насчитывалось уже 474. На один 1860 год приходится 100 случаев массовых крестьянских движений. (Кому не известно, что количество действительно происходивших крестьянских восстаний было гораздо больше официально «зарегистрированных»).

В это время жил, работал и боролся за великое дело освобождения народа от тирании помещичье-дворянского строя Н. Г. Чернышевский.

Говоря о философском мировоззрении Чернышевского и о его учителях, мы должны отметить в первую очередь Л. Фейербаха, который являлся для Чернышевского философом-учителем. «У Фейербаха, писал Чернышевский, «... совершенно верные понятия о вещах». «Изо всех книг, какие читывал я, только у Людвиг Фейербаха не находил я глупостей»².

«Вот уж пятнадцать лет я не перечитывал его, — пишет позднее Н. Г. Чернышевский, — и раньше того, много лет уж, не имел досуга много читать его. И теперь конечно забыл почти все, что знал

¹ Ленин, Соч., т. XV, стр. 143.

² «Чернышевский в Сибири», т. I, стр. 83.

из него. Но, в молодости я знал целые страницы из него наизусть. И сколько могу судить, по моим потускневшим воспоминаниям о нем, остаюсь верным последователем его. Он устарел? — Он устареет, когда явится другой мыслитель такой силы. Когда он явился, то устарел Спиноза. Но прошло более полутора столетия прежде, чем явился достойный преемник Спинозе»¹.

Но великие мыслители, вожди человечества, уже родились. Они перевернули мир, поставили на ноги и развили дальше все учение об обществе, классах, классовой борьбе, они разработали учение о пролетарской революции, социализме и коммунизме. Во Франции уже развеялось знамя Парижской Коммуны. Нарождался рабочий класс — «могильщик капитализма»; позднее была организована партия большевиков. Организаторы и вожди большевистской партии, Ленин и Сталин, подняли, развили дальше учение великих мыслителей человечества, Маркса — Энгельса, привели народ на одной шестой части Земли к победе социализма.

Чернышевский не просто воспроизводил материализм Фейербаха. Он преодолел его во многом и пошел дальше. Он стал выше Фейербаха. Он не отбрасывал вместе с гегелевским идеализмом его диалектику, освоив основные принципы диалектического метода — идею вечного развития через борьбу противоречий.

Если у Фейербаха человек был понятием отвлеченным, то у Чернышевского человек — понятие конкретно-историческое. Отсюда он делает вывод, что именно социально-экономические условия определяют человека, направляют его, оттачивают мысли. Отсюда и понятие «просвещенного человека» не является отвлеченным, а конкретным; по его мнению, это такой человек, который приобрел много значимых привычек *быстро и верно* соображать, что *хорошо* и что *дурно*, что *справедливо* и что *несправедливо*.

Следовательно, для просвещенного человека необходимы «три качества — обширные знания, привычка мыслить и благородство чувств»² — при системе убеждений, при неотделимости для человека вопросов просвещения от вопросов политической власти.

Мы знаем, что «Фейербах не нашел дороги, ведущей из царства столь ненавистных ему отвлеченностей в живой, действительный мир. Он крепко хватается за природу и за человека. Но и природа, и человек остаются у него пустыми словами. Он не может сказать что-либо определенное ни о действительной природе, ни о действительном человеке. Чтобы перейти от фейербаховского отвлеченного человека к действительным, живым людям, необходимо было изучать их в их исторических действиях»³.

И мы видим из деятельности, из взглядов Чернышевского, что он перерос своего учителя Фейербаха и пошел дальше.

Для Чернышевского человек — не абстракция, как было сказано, а конкретное со всем положительным и со всем отрицательным, что он имеет.

¹ «Чернышевский в Сибири», т. II, стр. 126. Письмо к сыновьям от 11 апреля 1877 г.

² Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. X, ч. 2, стр. 200.

³ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XIV, стр. 661.

А для борьбы с отрицательным он намечает также не отвлеченные, а совершенно конкретные пути — путь борьбы, путь революции.

В своем письме к жене он пишет: «К концу царствования Николая все люди, искренно и глубоко любящие Россию, пришли к убеждению, что только силою можно вырвать у царской власти человеческие права для народа, что только те права прочны, которые завоеваны». Из этого высказывания вполне ясно, что дело не только в том, чтобы объяснить мир, а главное в том, чтобы изменить его.

Чернышевский прекрасно понимал, что мир существует независимо от человеческого сознания, что потустороннего, сверхъестественного мира нет, что «бытие определяет сознание», а не наоборот.

Он видел, что только философия материализма служит делу революции, что всякое отклонение от нее к идеализму есть предательство дела революции.

«Для Чернышевского, как и для всякого материалиста, — говорит Ленин, — предметы, то-есть... «вещи в себе» действительно существуют и вполне познаваемы для нас, познаваемы и в своем существовании, и в своих качествах, и в своих действительных отношениях»¹. Он также правильно разрешал основной вопрос философии, вопрос об отношении мышления к бытию. Здесь «Чернышевский стоит вполне на уровне Энгельса»².

По выражению Ленина, «Чернышевский — единственный действительно великий русский писатель», который остался «на уровне цельного философского материализма», несмотря на отсталость русской жизни в тот период. Чернышевский сумел разглядеть истины, отбросив «жалкий вздор... путаников», но Чернышевский, преодолевая Фейербаха, «...не сумел, вернее: не мог, в силу отсталости русской жизни, подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса».

Определяя пути построения социалистического общества, Чернышевский вслед за своим учителем Фейербахом впадал в идеализм в оценке общественных явлений. Чернышевский не мог, «в силу отсталости русской жизни», установить связи классовой борьбы с развитием производительных сил.

Чернышевский понимал революционное значение диалектики, но он не сумел применить ее к анализу тех противоречий, которые включает в себе развитие капитализма.

Чернышевский понимал, что старое общество может быть разрушено только путем классовой борьбы. Но, когда он пытался научно обосновать свой социалистический идеал будущего общежития, он исходил не из противоречий, растущих внутри капиталистического общества и делающих неизбежным переход к социализму, а из абстрактного представления о социалистических формах производства, построенных на базе крестьянской общины, на базе крестьянской революции.

Защищая идею революции широких народных масс, Чернышевский не выделял пролетариата из общей массы эксплуатируемых и в

¹ Ленин, Соч., т. XIII, стр. 294.

² Там же, стр. 294.

своих революционных стремлениях пытался опереться прежде всего на крестьянство.

Чернышевский не понимал, что «с развитием крупной промышленности из-под ног буржуазии вырывается сама основа, на которой она производит и присваивает себе продукты. Она производит прежде всего своих собственных могильщиков. Ее гибель и победа пролетариата одинаково неизбежны»¹.

Чернышевский считал возможным, что Россия сможет перейти к социализму через так называемую «сельскую общину», минуя все те стадии капиталистического развития, которые переживает Запад. Эта утопичность его взглядов была также обусловлена экономической отсталостью тогдашней русской действительности.

«Чернышевский был социалистом-утопистом, — говорит Ленин, — который мечтал о переходе к социализму через старую, полуфеодальную, крестьянскую общину, который не видел и не мог в 60-х годах прошлого века видеть, что только развитие капитализма и пролетариата способно создать материальные условия и общественную силу для осуществления социализма. Но Чернышевский был не только социалистом-утопистом. Он был также революционным демократом, он умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, проводя — через препоны и рогатки цензуры — идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей»².

Чернышевский был далек от слепой идеализации общины. Он видел, что при существующих условиях она является тормозом в развитии сельского хозяйства, видел классовое расслоение деревни и определенно указывал, что для прогрессивного развития общины необходимо укрупнение размера полей, общинная коллективная обработка земли и механизация. Важнейшим условием, необходимым для перехода к социализму, он считал прежде всего революционно-демократический переворот.

Таким образом, социализм Чернышевского, хотя и был утопическим, но он резко отличался от мелкобуржуазных народнических теорий.

Огромное значение всей деятельности Чернышевского, как вождя революционного движения 60-х годов, заключалось в борьбе за «американский» путь развития против «прусского», в борьбе за разрушение самодержавно-крепостнического государства, за уничтожение помещичьего землевладения, в борьбе за интересы крестьянских масс.

Чернышевский был большим политическим деятелем, писателем, философом, историком, экономистом, публицистом, критиком, и во всей своей деятельности Чернышевский сумел поднять знамя борьбы, далеко опережая время, в которое он жил.

Наследство, оставленное Чернышевским, принадлежит всему народу, и народ ценит этого великого деятеля, защищая его от всяческих «приспособлений» и искажений.

¹ «Манифест Коммунистической партии», 1933, стр. 26.

² Ленин, Соч., т. XV, стр. 144.

В статье «От какого наследства мы отказываемся» Ленин ведет беспощадную войну с народниками 90-х годов, опошлившими, исказившими взгляды Чернышевского.

Говоря об идейном наследстве Чернышевского (особенно по вопросу развития капитализма в России) Ленин писал: «Ученики» решают вопрос о капитализме в России в смысле его прогрессивности и потому не только могут, но и должны целиком принять наследство просветителей, дополнив это наследство анализом противоречий капитализма с точки зрения бесхозяйных производителей»¹.

Но хранить «наследство» — это значит развивать его прогрессивные стороны, вести его вперед по пути рабочего класса и его авангарда — большевиков.

Изучение истории развития человечества, наблюдение над революционными событиями в Европе убедили Н. Г. Чернышевского, что путь изменения жизни, изменения капиталистического мира — это путь революции.

Революция неизбежна в России. Он говорил, что в России «скоро будет бунт», и он «будет непременно участвовать в нем...»; его «не испугают ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня». Его «не остановят ни тюрьма, ни каторга, ни смерть».

В стране прокатывались крестьянские волнения. Правительство и вся дворянско-помещичья Россия понимали, что медлить нельзя, и началась «эпоха реформ».

Чернышевский резко отрицательно относился к реформе; он теперь верил только в путь революции.

Он понимал, что либеральная буржуазия пойдет на сделку с самодержавием.

Тут «...нужна была именно гениальность Чернышевского, чтобы тогда, в эпоху самого совершения крестьянской реформы..., понимать с такой ясностью ее основной буржуазный характер, — чтобы понимать, что уже тогда в русском «обществе» и «государстве» царили и правили общественные классы, бесповоротно враждебные трудящемуся и безусловно предопределявшие разорение и экспроприацию крестьянства»².

Чернышевский знал, что «исторический путь — не тротуар Невского проспекта, он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные, то через дебри... Кто боится быть покрытым пылью и выпачкать сапоги — тот не принимайся за общественную деятельность. Она — занятие благотворное для людей, но занятие не совсем опрятное».

Чернышевский готовился к широкому народному восстанию; момент широкого восстания приравнивался к 1862—1863 гг., и Чернышевский, по воспоминаниям М. Слепцовой, был организатором подпольной работы, организатором нелегальных пятерок, сам состоял в центральной пятерке, на обязанности которой было руководство восстанием.

Одним из многочисленных примеров его революционной деятель-

¹ Ленин, Соч., т. II, стр. 331.

² Там же, т. I, стр. 179.

ности является прокламация «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», написанная Чернышевским в 1861 г.

В прокламации было сказано: «По царскому то манифесту, да по указам дело поведено...» так, что крестьянам не стало лучше. «А не знал ли царь, что ли, какое дело он делает? Да сами вы посудите, мудро ли это разобрать?» — спрашивается в этой прокламации и дается ответ. «Значит, знал... оболгал он вас, оболстил он вас. Не дождетесь вы от него воли, какой вам надобно. Сам то он кто такой, коли не тот же помещик?.. Вы у помещиков крепостные, а помещики у царя слуги, он над ними помещик... Ну, царь и держит барскую сторону».

Затем Чернышевский прямо говорит о власти народной «чтобы народ всему голова был, чтобы бесчинствовать над мужиком никто не смел»¹.

В этой прокламации слышался призыв «вперед!», — призыв к восстанию против дворянско-помещичьего строя.

Там же Чернышевский дает указания — учиться военному делу, привлекать на сторону народа солдат, готовить оружие, готовиться народу ко всеобщему восстанию против помещиков и дворян.

Чернышевский говорит: «Будущее, оно светло, оно прекрасно. Говори же всем: вот что в будущем, будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести: настолько будет света и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы умеете переносить в нее из будущего.

Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее все, что можете перенести»².

* * *

Чрезвычайно богатое, разностороннее наследство оставил Н. Г. Чернышевский. Среди этого наследства вопросы просвещения и воспитания занимают большое место и представляют для нас огромный интерес.

Печатаемый ниже материал: рецензии, статьи, заметки, отрывки из дневников, писем и т. п., раскрывает перед читателем с различных сторон взгляды, оценки, пожелания великого деятеля на вопросы просвещения. Порой достаточно одного его замечания об университете, характере, содержании лекций, беглого упоминания (в порядке совета, указания или записей «для себя»), — и становится совершенно ясной картина действительного положения дела народного образования того времени, а в отдельных случаях мы можем увидеть и пути к тому будущему, за которое всю жизнь боролся Чернышевский.

Его взгляды на народное просвещение, на цели воспитания, на объекты воспитания, на отношение к школе, на роль учителя и вос-

¹ Н. Г. Чернышевский, Избранные сочинения, т. I, 1928, стр. 147.

² Н. Г. Чернышевский, «Что делать», стр. 426, издание Детиздата 1934 г.

питателя, на содержание и методы обучения, на дисциплину, на физическое и трудовое воспитание, на значение общеобразовательной школы, на просвещение национальностей, на науку, на роль детской литературы, на преподавание в школах отдельных предметов, на роль этих предметов в обучении и воспитании, его критика методов «свободного» воспитания и т. д. и т. п. — выражены настолько ярко и полно, что дают нам основание сказать о вполне развитой педагогической системе взглядов Николая Гавриловича Чернышевского.

На основе своих революционных убеждений он защищает кровные интересы трудящихся, говорит о необходимости готовить борцов за идеалы социалистического строя.

Исходя из этих задач, он выводит совершенно конкретные положения: 1) о политической власти народа, 2) о просвещении всего народа. Ставя эти два вопроса в неразрывной связи, Чернышевский по-новому ставил проблему просвещения; он понимал, что завоевание политической власти является условием для действительного подъема и расцвета дела народного образования. В этом заключается своеобразие взглядов Чернышевского в вопросах просвещения и образования, в этом отличие взглядов Чернышевского от огромного большинства его предшественников.

Чернышевский совершенно ясно понимал, что при том общественном строе, в условиях которого он жил, задача просвещения полностью не разрешима; отсюда он делал вывод о необходимости «улучшения» общественного и материального положения, ибо «кто не пользуется политической властью, тот не может спастись от угнетения, т.-е. от нищеты, т.-е. и от невежества».

Н. Г. Чернышевский как величайший просветитель своего времени чрезвычайно высоко ценил вопросы просвещения народа, вопросы воспитания подрастающего поколения. Он говорит в своей рецензии на статью «Земледельческой газеты» «О народном образовании, о телесных наказаниях и о семейных нравах простолюдинов»: «Просвещение есть корень всякого блага, но не всегда оно само по себе уже бывает достаточно для исцеления зла; часто требуются также и другие, более прямые средства, потому что зло не всегда бывает основано непосредственным образом на одном только невежестве — иногда оно поддерживается и другими обстоятельствами... такого свойства, что до уничтожения их невозможно и распространение просвещения»¹.

Чернышевский был убежден в том, что каждое дело идет успешно только тогда, когда руководится умом и знанием. Ум же развивается образованием, знания даются тоже образованием.

«В каком же положении наше образование?», спрашивает Чернышевский в статье «Суеверие и правила логики», написанной в 1859 г., и отвечает: «В целой Западной Европе, имеющей около 200 миллионов жителей, не найдется столько безграмотных людей, как в одной нашей родине; в какой-нибудь Бельгии, или хотя бы даже Баварии, при всей отсталости Баварии от других земель Запад-

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. III, стр. 548.

ной Европы, на 5 миллионов населения считается столько же учащихся в школах, сколько в целой России, и число всех грамотных людей в России таково, что едва ли бы досталось его на одну провинцию в Прусском королевстве... По самым щедрым расчетам предполагается, что из 65 или 70 миллионов жителей Русской империи людей, умеющих читать, набирается до 5 миллионов. Но эта цифра по всей вероятности слишком высока. Большинство грамотных людей сосредоточено в городах; в селах едва ли наберется половина того, сколько находится в городах. Но и в городах гораздо больше половины жителей еще не знают грамоте. Судя по этому, едва ли мы ошибаемся, положив число грамотных людей в России не превышающим 4 миллиона».

Такова картина дела народного образования к 1859 году — моменту написания статьи.

«Все наши ежедневные газеты вместе взятые, — продолжает Чернышевский, — расходятся в числе 30 или много 35 тысяч экземпляров». Затем Чернышевский рассказывает о том, что все большие журналы вместе взятые далеко не достигают этой цифры, что на каждый экземпляр приходится по 10 человек читателей и что в целом «все наше образованное общество едва ли простирается до полумиллиона человек», тогда как во Франции, где чтение распространено меньше, нежели в Англии, одни только парижские ежедневные газеты печатались в числе более 200 000 экземпляров.

«Итак, — делает вывод Чернышевский, — во Франции приходится один экземпляр газеты на 180 человек, а в России один экземпляр на 2 000 человек. Но всего прелестнее цифры издания наших классических писателей. Кто из людей сколько-нибудь образованных не читал Гоголя? Число всех экземпляров всех изданий Гоголя не простирается и до 10 тысяч».

«Такой дикой страны, — говорил Ленин, — в которой бы массы народа настолько были *ограблены* в смысле образования, света и знания, — такой страны в Европе не осталось ни одной, кроме России. И эта одичалость народных масс, в особенности крестьян, не случайна, а неизбежна при гнете помещиков, захвативших десятки и десятки миллионов десятин земли»¹.

Просвещение для всех народов, всех наций — это было одним из главных положений Чернышевского. Чернышевский выступал за развитие национальной культуры, за преподавание на родном языке, за создание на национальных языках учебно-методической и другой необходимой литературы, за ликвидацию крепостнических тягот и в вопросах просвещения.

«Истребление средневековых форм, — говорит Чернышевский, — вовсе не враждебно развитию национальностей, а напротив должно послужить для них источником безопасности и укрепления»².

Уничтожая средневековые и другие эксплуататорские формы, человечество освобождает от всяких пут развитие народов. В этих условиях свобода есть просвещение, просвещение есть свобода (см. ре-

¹ Ленин, Соч., т. XVI, стр. 410.

² См. «Прочность австрийского порядка». Стр. 128 настоящей книги.

цензию на «Политэкономию» Ив. Горлова, стр. 130 настоящей книги), так как «политическая власть, материальное благосостояние и образованность — все эти три вещи соединены неразрывно». Такова точка зрения по этому вопросу Чернышевского, ибо, — говорит он, — «свобода и просвещение, это — кислород и водород: ...какое благо не возьмете вы, вы увидите, что условием его существования служит свобода», поэтому «...давайте свободу, давайте просвещение» (см. стр. 131 настоящей книги).

Только обстоятельства жизни (социально-экономические условия) определяют развитие качеств у народа (см. замечания на «Политическую экономию Джона Стюарта Милля»).

Человека любой национальности он определял по классовому признаку, по его делам для народа. В своих высказываниях по этому вопросу он пишет: «Португальский вельможа по образу жизни и по понятиям гораздо более похож на шведского вельможу, чем на земледельца своей нации, португальский земледелец более похож в этих отношениях на шотландского или норвежского земледельца, чем на лиссабонского богатого негоцианта»¹.

Чернышевский видел, как мы указывали выше, и не мог не видеть зависимость воспитания от определенных социально-экономических условий. Недаром в своем знаменитом романе «Что делать», явившемся знаменем передовой части людей XIX века, Чернышевский показывает картину действительной, реальной жизни и затем в четвертом сне Веры Павловны показывает простор жизни будущего. Правда, фантазия о будущем даже такого великого революционер-демократа, каким был Чернышевский, и не отображает действительных возможностей развития социалистического общества, как это нам показала практика социалистического строительства.

Говоря об общественных идеалах, Н. Г. Чернышевский со всей определенностью отмечает, что те или иные общественные идеалы могут быть осуществлены лишь в зависимости от реальной социально-экономической действительности.

«Серьезное значение имеют только те желания, которые основанием своим имеют действительность; успеха можно ожидать только в тех надеждах, которые возбуждаются действительностью, и только в тех делах, которые совершаются при помощи сил и обстоятельств, представляемых ею»². «Материальные условия быта», — говорит Чернышевский, — составляют «коренную причину почти всех явлений», в том числе — «высших сфер жизни»³.

Не случайно, как бы политическим выводом из его учения является фраза: «Кто не пользуется политической властью, тот не может спастись от угнетения»⁴.

В статье «Суеверие и правила логики» Чернышевский ту же мысль выразил так: «Вся обстановка жизни больного должна измениться для того, чтобы прекратилось гниение основного органа его

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. X, ч. 2, стр. 153.

² Там же, т. II, стр. 206.

³ Там же, т. II, стр. 409.

⁴ Там же, т. VI, стр. 81.

тела». Иными словами, надо изменить, улучшить социально-экономические условия, чтобы гражданин мог себя чувствовать хорошо, и тогда прекращается «гниение», тогда начинается мощное развитие.

Для того чтобы ярче подчеркнуть мысль о том, что Чернышевский отлично понимал, что вопросы просвещения есть вопросы политические, мы должны вспомнить его высказывания о том, что для того чтобы просвещение стало «корнем всякого блага», для того чтобы просвещение было достаточным «для исцеления зла» — надо решать этот вопрос в объеме «улучшения общественного и материального» положения, т. е. социально-экономических условий.

Чернышевский развивает мысль о том, что до разрешения этой задачи «невозможно и распространение просвещения» для всего народа. Ибо «брамины и кшатрии» (читай: помещики, купцы и т. п.) «никак не допустят серьезных забот о просвещении парий»¹ (читай: рабочих и крестьян).

Несомненно, права на просвещение в капиталистических странах народ не имеет, а если это право формально и предоставлено, то это все равно, как говорит Чернышевский, что предоставить бедняку право обедать на золотом сервизе, которого нет, не было и не будет у бедняка².

Об этом «праве» чрезвычайно ярко сказал Ленин.

В буржуазной школе «...образование одинаково организовано и одинаково доступно для всех *имущих*... Классовая школа не знает условий, она знает только граждан. Она требует от всех и всяких учеников *только одного*: чтобы он заплатил за свое обучение. Различие программ для богатых и для бедных вовсе не нужно классовой школе, ибо тех, у кого нет средств для оплаты обучения, расходов на учебные пособия, на содержание ученика в течение всего учебного периода, — тех классовая школа просто не допускает к среднему образованию»³.

Совершенно естественно, что господствующий класс — дворяне-помещики — сделали образование своей привилегией.

«Кто находится в нищете, — говорит Чернышевский, — тот не может развить своих умственных сил; в ком не развиты умственные силы, тот неспособен пользоваться властью выгодным для себя образом; кто не пользуется политической властью, тот не может спастись от угнетения, т.-е. от нищеты, т.-е. и от невежества»⁴.

Чернышевский не останавливается на фиксации этого положения, он ищет путей, по которым можно выйти из тупика нищеты и невежества, и находит его — это путь революции, путь республиканской демократии.

Педагогические высказывания Н. Г. Чернышевского отличаются от целого ряда высказываний по этим вопросам других социалистов-

¹ Из рецензии на статью «Земледельческой газеты» «О народном образовании, о телесных наказаниях и о семейных нравах простолюдинов». Полное собр. соч., т. III, стр. 549.

² См. статью «Борьба партий во Франции».

³ Ленин, Соч., т. II, стр. 281—282.

⁴ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. VI, стр. 81.

утопистов главным образом тем, что педагогические высказывания Чернышевского есть высказывания политические, от которых «веет духом классовой борьбы». Чернышевский исходит из конкретных исторических условий, из понимания наличия классов, классовой борьбы.

Народ всегда жаждал знаний, но он был против системы просвещения, царившей в дворянско-помещичьей стране; народ был за просвещение, но «против дурных школ, в которых ничему не выучивают, в которых только бьют, терзают детей, притупляют их, развращают их, против таких школ народ точно озлоблен».

Чернышевский говорит о недостаточности воскресных школ, подчеркивая тем самым еще и еще раз свое отношение к просвещению народа. «Воскресные школы в Империи — пишет он, — имеющей более 60 миллионов населения, действительно считаются только десятками. А их нужно было бы десятки тысяч и скоро могли бы точно устроиться десятки тысяч и теперь же существовать по крайней мере много тысяч.

Отчего же их только десятки? Оттого, что они подозреваются, стесняются, пеленаются, так что у самых преданных делу преподавания в них людей отбивается охота преподавать»¹.

Но те, кто работают в народных школах, учителя «воскресных школ» — «они честные люди, любящие народ, делающие для него все, что могут»².

Чернышевский, сам любивший свой народ пламенной любовью, хотел увидеть и в учителе человека, любящего народ, знающего народ, умеющего понять его нужды и задачи и повести его на борьбу за светлое будущее.

Дворянско-помещичья Россия создавала сословные школы.

Эти школы предназначались для детей определенных общественных групп, имевших привилегии по сравнению с остальными слоями населения.

В школы подобного типа принимались дети тех, кто относился к определенному привилегированному сословию, например в дворянские учебные заведения могли поступать только дети дворян. В этих школах воспитывались преданные служители царизма, готовились «кадры» помещиков, дворян и т. д. Там был введен казарменный дух, он был и в системе, и в содержании, и в методах преподавания. Школы «для народа» — были в еще худшем положении.

Школа служила интересам господствовавших, эксплуататорских классов.

Вот эту школу, калечившую, притуплявшую и развращавшую молодежь, школу полицейского режима, сыска, школу невежд, школу уродливости и в обучении и в воспитании, школу догм и мракобесия — со всей страстью революционера ненавидел Чернышевский и боролся против нее.

Достаточно привести некоторые его высказывания по этому вопросу. Давая характеристику Германии конца XVII — начала

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. IX, стр. 175.

² Там же.

XVIII века в статье «Лессинг, его жизнь и деятельность», он пишет: «Педантизм, робость, подобострастие и предрассудки всякого рода владычествовали в обществе... Оно разделилось на касты, чуждавшиеся одна другой; главной двигательницей жизни в каждой касте было мелочное тщеславие, преклонение перед высшими, презрение к низшим... Умственная жизнь была стеснена предрассудками и предубеждениями.

Наука, которая должна была бы противодействовать этим неблагоприятным для народного развития отношениям и вести нацию вперед, при распространившейся привычке к педантству и формализму, получила такой вид, что сама служила одним из главнейших препятствий прогрессу умственной и общественной жизни. Университеты и школы, вообще говоря, не просвещали, а только еще более затуманивали умы. Все науки преподавались с кафедр и разрабатывались в кабинетах, в самой сухой и мертвой форме. Ученый обыкновенно был педантом и формалистом, слепо верившим тому, чему научился от своего бывшего наставника; он без всякой критики компилировал факты, не отыскивая в них смысла, заботясь только о систематичности и внешней ученой форме. Мертвый догматизм владычествовал во всех отраслях науки, от философии до изучения древних языков, от законовещения до теории словесности. Параграфы, аксиомы, теоремы, леммы, королларии, подразделения заставляли забывать о живом содержании в нравственных и юридических науках, которые излагались с такой же сухостью, как алгебра или геометрия. В истории больше всего занимались хронологическими и генеалогическими таблицами и мелочными подробностями, не обращая внимания на смысл фактов и связь событий: в законовещении господствовал взгляд совершенно отвлеченный и односторонний, так что применение его к жизни было страшным бедствием для всего народонаселения... Книги вообще писались так сухо и тяжело, что только записные ученые решались читать их»¹.

Сопоставив данную Чернышевским характеристику просвещения и школы в Германии конца XVII — начала XVIII века в статье «Лессинг...» с выдержками из его переписки с родными, мы увидим, что «школы в том виде, как существуют, — пишет Чернышевский сыну Михаилу, — стали со времени изобретения книгопечатания уродливым остатком старины, вовсе не соответствующим тому способу учиться, какой дан дешевизной печатных источников знания»².

Программы занятий в школах были программами духовных семинарий, а не светских училищ, — говорит Чернышевский, — потому школьное учение недостаточно для того, чтобы сделать человека образованным (см. письмо от 30/VIII 1877 г.).

Чернышевский называет школьное преподавание «глупым педантством», которое «больше притупляет учащихся, чем приносит им пользы». Школьные занятия — «пустяки», ибо «наука» — не в школах. «В школах — чопорное тупоумие невежд». По всему складу

¹ Чернышевский, Полное собр. соч., т. III, стр. 638—639.

² «Чернышевский в Сибири». Переписка с родными, изд. «Огни», СПб 1913, вып. II, стр. 213.

«своему школы «...остаются до сих пор почти в таком же виде, в каком были 300 лет тому назад»¹.

Учебные пособия, книги «написаны будто бы какими-то допотопными учеными, и наука в них загромождена кучами и целыми горами мелочного вздора, не нужного ровно ни к чему»².

Критикуя с прогрессивных позиций схоластическую школу того времени, Н. Г. Чернышевский показывает три причины «сухого, тупоумного педантства» и «пустоты школьного учения»: первая причина сводится к тому, что «кому не надоест десять-двадцать лет толковать год за год все одно и то же?

Учитель, профессор почти всегда занимается своим делом с отвращением; и, для облегчения своей тоски, заменяет науку пустою формалистикой».

Вторую причину Н. Г. Чернышевский видел в том, что «толочь воду с ребяташками в школах остаются по преимуществу люди, не пригодные ни к чему, кроме толчения воды»; и третья причина состояла в том, что «серьезно хлопотать над улучшением школ почти никому из умных людей нет ни охоты, ни досуга»³.

Резкая, но справедливая оценка, данная Чернышевским профессии педагога того времени, со всей несомненностью относится не к существованию самой профессии, не к подлинным носителям великих идей воспитания и обучения, не к подлинным проводникам этих идей, — эта оценка Чернышевского дана той оказанной, выхоленной, уродливой работе, которая именовалась «педагогической деятельностью», а на самом деле — «занятые скучное и, в сущности, пустое», «попугайство»⁴; вот почему на такую работу «даровитые люди не идут», вот почему они «уходят из учительства на службу по другим министерствам или идут в адвокаты, в сельские хозяева, в купцы и т. п. профессии, более живые, обещающие или более почетную или более богатую будущность дельному человеку»⁵; мы знаем, что и в тот период была небольшая прослойка передового учительства, учительства, которое работало «не за страх, а за совесть», работало, руководствуясь лучшими целями воспитания, но строй, рамки того режима не давали им возможности развернуть свою педагогическую деятельность.

К учителю, как к человеку, формирующему сознание, характер другого человека, Чернышевский предъявлял совершенно конкретные требования.

Учитель воспитывает самого человека. Делом обучения и воспитания «удовлетворяются надобности совершенно иного рода, чем надобность в домах или стульях, в сапогах или рубашках»⁶.

Именно исходя из того, что учитель воспитывает и обучает человека, Чернышевский требует, чтобы учитель понимал (вполне со-

¹ Там же, стр. 112—113, 115—116, 201—205.

² Там же, стр. 72.

³ Н. Г. Чернышевский, Письмо к жене от 30/VIII 1877 г. «Чернышевский в Сибири», СПб 1913, т. II, стр. 201.

⁴ Чернышевский в Сибири, т. II, стр. 7.

⁵ Там же, стр. 201.

⁶ Чернышевский, Полное собр. соч., т. VII, стр. 446.

знательно), в чем должно состоять образование народа, знание педагогики и педагогического дела. Учителю «нужно стать в уровень с наукой». Чернышевский требует безусловной грамотности учителя. От качества преподавателя и преподавания, от содержания этого преподавания, от правильной методической постановки дела обучения и воспитания, от правильного подхода к отдельному ученику, — вот от чего зависит успех обучения.

Самому преподавателю-воспитателю «следует сделаться из скучного, сурового педанта добрым и рассудительным преподавателем, отбросить дикие понятия, которыми загроможден здравый смысл в его голове, приобрести взамен их разумные» — все это даст такие результаты, что учащийся «станет охотно учиться всему, что найдет тогда надобным преподавать ему учитель».

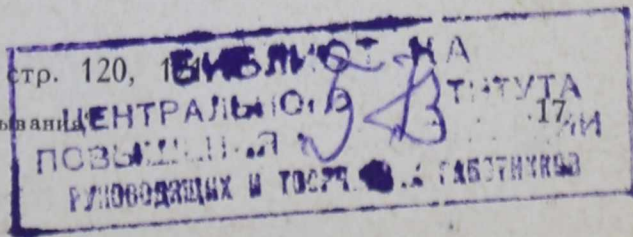
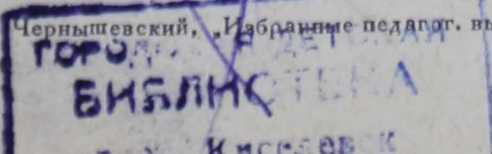
Чернышевский и сам в своей педагогической деятельности показывал пути, давал образцы методов обучения. Он сам — воплощение того, каким должен быть учитель. М. Воронов рассказывал о Чернышевском, что словесность, раньше преподаваемую каким-то старичком по книжке Кошанского, читал новый учитель, только что окончивший курс в одном из столичных университетов. Это была свежая, молодая натура, полная сил и энергии, человек, обладавший огромными специальными и энциклопедическими познаниями, что и заставило его довольно скоро выбрать более широкую арену для своей деятельности. Но и в то недолгое время, которое учитель пробыл в их гимназии, глубоко была потрясена им старая система воспитания, и память о нем навсегда сохранилась между его учениками. В учениках своих он умел развить охоту к чтению, постоянно прочитывая сам различные книги и, кроме того, снабжая ими желающих. Уроки всегда рассказывались им с такой ясностью и так понятно, что каждый мог повторить их, не прочитывая по книге. Кроме своего предмета, он сообщил учащимся необходимые понятия почти о всех науках, показав в то же время метод к изучению их и степень важности каждой во всеобщем знании. С какой радостью учащиеся встречали Чернышевского и с каким нетерпением ожидали его речи, всегда тихой, нежной и ласковой; если он передавал какие-нибудь научные сведения — в классе господствовала мертвая тишина; даже самые шаловливые учащиеся затихали и напрягали слух, боясь проронить хоть одно слово.

Молодой учитель пробыл в гимназии недолго, оставив, однако, добрую, прочную память по себе между учениками и преследуемый проклятиями своих товарищей, кредит которых между воспитанниками был подорван навсегда, и грубая материальная сила уже не могла служить опорой в отношениях между оставшимися учителями и учениками¹.

Из этих данных мы можем сделать вывод, каков был Чернышевский как учитель. Полный силы и энергии, имевший специальные и энциклопедические познания, обладавший ясностью и содержательностью в преподносимом учащимся материале, научностью аргумен-

¹ М. Воронов, Болото, СПб 1870, стр. 120.

² Н. Г. Чернышевский, Избранные педагог. высказывания



тации, товарищеским отношением к учащимся, тихой, ласковой речью — таковы педагогические черты Николая Гавриловича Чернышевского.

Говоря о детях, Чернышевский писал: «Каждый здоровый ребенок имеет природную любознательность, и если внешние обстоятельства, досадные для него, не заглушают ее, то учится охотно, находит наслаждение в приобретении знаний» («Очерки научных понятий»).

От перемены в знаниях и привычках (в условиях улучшения общественного и материального положения) изменяется характер людей.

Высказываясь о Яснополянской школе, Чернышевский отмечает: «Так и следует быть во всех школах, где это может быть, — во всех первоначальных народных школах».

«Наказывать и принуждать нельзя, нужно преподавать так, чтобы ученье было интересно и легко» («Яснополянская школа...» Чернышевский, Полн. собр. соч., т. IX, стр. 114—127).

Чернышевский считал «добрым и полезным беспорядок», имевший место в школе Толстого. Чернышевский ценил положительные моменты в школе Толстого: отсутствие казенщины, формализма, бестактности, наличие чуткого, бережного, внимательного отношения к детям.

«Превосходно, превосходно, — говорил он, — дай бог, чтобы в большем числе школ заводился такой добрый и полезный «беспорядок»..., а по-нашему следует сказать просто «порядок», потому что какой же тут беспорядок, когда все учатся очень прилежно, насколько у них хватит сил, а когда сила покидает... то перестают учиться».

Но Чернышевский, давая оценку положительных моментов воспитания в школе Толстого, дает резкую критику взглядов Л. Н. Толстого на народное образование.

Чернышевский вскрывает всю отрицательность так называемого «свободного» воспитания.

Помимо этого, Чернышевский резко отрицательно отнесся к высказываниям Толстого о якобы «противодействии» народа делу народного образования.

Чернышевский сумел вскрыть реакционность взглядов Толстого в этом вопросе и дал совершенно ясную картину действительного положения дела.

Чернышевский говорит, обращаясь к Толстому:

«Прежде, чем станете поучать Россию своей педагогической мудрости, сами поучитесь, подумайте, постарайтесь приобрести более определенный и связный взгляд на дело народного образования.

Ваши чувства благородны, ваши стремления прекрасны; это, может быть, достаточно для Вашей собственной практической деятельности: в Вашей школе вы не деретесь, не ругаетесь, напротив, вы ласковы с детьми — это хорошо. Но установление общих принципов науки требует, кроме прекрасных чувств, еще иной вещи: нужно стать в уровень с наукой, а не довольствоваться кое-какими личными наблюдениями да бессистемным прочтением кое-каких статей»¹.

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. IX, стр. 124.

Соглашаясь с мыслями Пирогова, Чернышевский определяет задачи воспитания ребенка, становясь сторонником тех, кто был в этих вопросах на позициях «не опекать ребенка, а воспитывать». Само воспитание он понимает так: «Воспитание главной своей целью должно иметь приготовление дитяти и потом юноши к тому, чтобы в жизни был он человеком развитым, благородным и честным... человеком в истинном смысле слова»¹ (См. «Вопросы жизни» Пирогова, стр. 82 настоящего сборника).

Он ясно говорит о том, что надо дать в воспитании общее направление к знанию и правде. После этого, под руководством учителя, родителей юноша выберет себе специальность, к которой более расположен и способен.

Чернышевский категорически возражал против введения ранней специализации и даже разговора об этой ранней специализации в присутствии ребенка — во избежание чрезвычайно «важной ошибки». Следствия этой ошибки «будут вредны и для... воспитанника и для общества».

Возражая против этого, Чернышевский исходил из того, что неразвившиеся рассудок и характер еще не могут самостоятельно решить эти вопросы. Решив же эти вопросы за ребенка, мы тем самым на всю жизнь скуем его натуру, и человек пойдет по узкой дороге, «с которой уже нет ему выхода».

А «жизнь — тяжелая борьба» — и к этому Чернышевский призывал быть готовым. Он считал, что специальное образование не имеет цены, если не основано на общем, что специальные школы не могут заменить собой общеобразовательные школы. Чернышевский давал своим сыновьям такой совет: «Пусть они позаботятся выучиться хорошо говорить на трех важнейших языках ученой литературы — на французском, на немецком, на английском, — и пусть привыкают читать книги на всех этих языках». По мнению Чернышевского, изучая эти языки и читая передовую литературу, лучших ученых мира, осваивая культуру, обогащая свой кругозор, направляя свои мысли, — человек становится просвещенным. Мысль остается свободной от предвзятости школьной схоластики, само обогащение науками, научными фактами будет совершаться сообразно влечениям и склонностям каждого, и человек, овладевший науками, добивается раскрытия истины.

Одновременно с этим Чернышевский вел открытую борьбу с начетничеством; он считал необходимым условием воспитания человека — воспитание в процессе активной деятельности. Он говорил: «Можно бог знает каких прекрасных вещей начитать в книгах, ... находить удовольствие в размышлении об этих прекрасных вещах» — и не быть тем, чем должен быть человек-гражданин.

«Без приобретения привычки к самобытному участию в гражданских делах, без приобретения чувств гражданина ребенок... вырастая... не становится... (человеком — Н. Р.) благородного характера».

¹ Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. II, стр. 526.

«Лучше не развиваться человеку, нежели развиваться без влияния мысли об общественных делах, без влияния чувств, пробуждаемых участием в них, без системы убеждений».

Ставя целью воспитания — воспитание революционера, мужественного борца за новое общество, Чернышевский считал, что в процессе обучения главное внимание надо уделять изучению истории, естествознания, литературы, как наукам, помогающим непосредственно улучшать жизнь человечества.

Но всякая наука только тогда приносит пользу и помогает, когда становится достоянием массы, «только тогда, когда развивается в массе». Наука бесконечна в своем развитии. И эту науку развивает человек.

Из этих своих убеждений Чернышевский делает вывод о подчинении изучения наук основной задаче воспитания: «Изучение каждой науки учащимся должно содействовать их воспитанию»¹; — из этого положения Чернышевского вытекает, что «коренною наукою остается наука о человеке..., ближайшим предметом наших мыслей должен быть человек, развитой цивилизацией, его нравственные и общественные убеждения, понятия и потребности».

По вопросам, как вести учебно-воспитательную работу, что иметь содержанием этой работы, как составлять учебники, мы имеем также ясные высказывания Чернышевского.

В своих рецензиях (частично помещаемых в настоящем сборнике) на учебники Классовского — «Грамматические заметки», «Русская грамматика», Лоренца — «Руководство к всеобщей истории», часть III, Стасюлевича — «Общий курс истории средних веков», Охотина — «Учебник русской словесности», часть I, Теория, и др. — Чернышевский выдвигает совершенно конкретные требования. К числу таких основных требований он относит научность учебника, «согласованность с современным состоянием науки»¹. При этом он имел в виду такую науку, которая идет вперед, а не такую, которая, вместо борьбы с религией, играя эксплуататорскую роль, «стесняет пред-рассудками и предубеждениями умственную жизнь». Подобная «наука» порой становилась «одним из главнейших препятствий прогрессу умственной и общественной жизни» (Чернышевский, статья «Лессинг, его жизнь и деятельность»).

Только то можно назвать наукой, говорит Чернышевский, что выражено в произведениях людей, ибо науки, по его мнению, в отвлеченности не существует; истинно в науке только то, что «признается за истину передовыми людьми этой науки в данное время» («Заметки о журналах», май 1857 г.). Вот как понимал Чернышевский «согласованность с современным состоянием науки».

Чернышевский борется против «сухости», «бесцветности», против смешивания в одно существенно важных событий и мелочных подробностей; он борется за рельефность и ясность изложения книги-учебника (см. рецензию на книгу «Общий курс истории средних веков»). В «Заметках о журналах» (июнь 1856 г.). Чернышевский высказывает соображения, что читателя рассуждениями об узорах или

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. I, стр. 218.

какими-нибудь красивыми словами — «кружевными периодами» — не заинтересуешь. И тут же он делает вывод: кроме таланта, нужны дельная мысль, знание дела.

В другой рецензии, на книгу Классовского «Русская грамматика», он также выступает против «тонкостей и мудрости». Чернышевский считал, что изложение должно быть «чем проще, тем лучше», что нельзя мучить детей «тонкостями и мудростями». «Ученостью перед детьми щеголять не нужно, а хитрыми тонкостями мучить не должно».

Он критикует такое составление учебников и такое преподавание истории, в котором бы «больше всего занимались хронологическими и генеалогическими таблицами и мелочными подробностями, не обращая внимания на смысл фактов и связь событий».

Из этих же высказываний с совершенной очевидностью вытекает, что в учебник не могут быть включены все данные той или иной науки. В учебник должен быть включен только тот научный материал, который посилен тем, для кого предназначен учебник.

Говоря об объеме учебника, он и здесь высказывает чрезвычайно ценные мысли. Объем не определяет трудности, так как «страница какой-нибудь хронологической таблицы или бессвязного перечня собственных имен отнимает у ученика более времени, нежели двадцать страниц связного, логически развивающегося рассказа, передающего события в живых картинах, не обремененного десятками ненужных имен»¹.

Причины плохого качества книг Чернышевский видел также в том, что «источники, по которым пишутся исторические книги, имеют почти все один общий недостаток: незнакомство с законами человеческой природы»², с законами, по которым развивается человеческое общество.

Насколько жизненны высказывания Чернышевского по этому вопросу, видно из того, какие требования к учебнику предъявляются в нашей социалистической стране.

Товарищ Молотов на Первом Всесоюзном совещании работников высшей школы 15 мая 1938 г. говорил:

«Нам нужен учебник, отвечающий современным требованиям. Он должен быть на уровне современной науки и вполне доступен учащимся по своему языку. Он должен дать необходимый объем знаний и вместе с тем готовить учащегося к его будущей практической деятельности. Он должен широко использовать прежние наши учебники и иностранные учебники, где очень много ценного для учебы, и вместе с тем он должен в необходимой мере отвечать задачам идейно-политического воспитания молодежи»³.

И в области руководства детским чтением мы найдем у Чернышевского совершенно определенные и справедливые указания. В своих работах он писал:

«Все дело в окружающей ребенка обстановке, в нашем осторожном подходе к детям, в уважении к ним, а не в презрении к детству,

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. I, стр. 476.

² «Чернышевский в Сибири». Переписка с родными, вып. I, стр. 151.

³ В. М. Молотов, О высшей школе, Госполитиздат, 1938, стр. 12.

которое взрослые часто внушают детям, заставляя их преждевременно стать взрослыми». «Кто хочет, чтобы дети сохраняли нравственную чистоту, вовсе не нуждается в обманывании их, в утайке от них, он только не должен убивать в них самостоятельности, подавлять в них наклонностей, принадлежащих детству: детские игры так будут наполнять их воображение, что не останется им времени, не будет у них охоты думать об удовольствиях, которых еще не требует их организм»¹.

Чернышевский недоволен книгами для детского чтения, он пишет далее: «Они слишком, извините за выражение, оскорбляют детей недоверчивостью к их уму, отсутствием мысли, приторными сентенциями».

К чему эта преднамеренная пустота, преднамеренное идиотство? Детям очень многое можно объяснить очень легко, лишь бы только объясняющий сам понимал ясно предмет, о котором взялся говорить с детьми, и умел говорить человеческим языком»².

Следовательно, в отношении литературы для детей он выступает против «заумности», против «психологических тонкостей» и вместе с тем против «сюсюканья», «неправдоподобия», против «недоверчивости» к детскому уму и «приторных поучений о детской морали, поведении», против «пустоты». Многие из этих указаний — жизненны, реальны и в отношении нашей детской литературы.

В педагогических высказываниях Чернышевского имеются и слабые стороны, которые легко объяснимы. О них можно сказать то же, что говорил Ленин о философских взглядах Чернышевского, не смогшего «в силу отсталости русской жизни, подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса»³. Для нас важно то, что великий революционер Чернышевский во многом сумел преодолеть свои собственные ошибки и подойти к более правильному решению вопросов.

И «ошибки» и «слабости» методологического порядка мы должны рассматривать в свете тех социально-экономических условий, в которых жил Чернышевский.

Педагогические высказывания Чернышевского занимают видное место как в истории, так и в практике педагогики. Мы видели, что его мысли о всестороннем воспитании, образовании гражданина, о сочетании всесторонней образованности с широкой общественной деятельностью, о воспитании в ребенке честности, смелости, преданности делу народа, об учебно-воспитательной работе и т. д. и т. п. — все это дорого и близко нашей советской школе; эти взгляды Чернышевского глубоко изучаются в нашей стране.

И именно потому, что Чернышевский был революционным демократом, именно потому, что он «умел влиять на политические события в революционном духе», — он боролся и в вопросах просвещения за новые положения, которые он и раскрывает в своих педагогических высказываниях.

Предъявляя требование дворянско-помещичьему строю об улучшении воспитания детей, Чернышевский понимал, что только революци-

¹ Н. Г. Чернышевский. Полное собр. соч., т. VI, стр. 279.

² Там же, т. II, стр. 648.

³ Ленин, Соч., т. XIII, стр. 295.

онное преобразование всего строя, только победа социализма практически решит вопрос образования и воспитания всего народа, только при этих условиях просвещение станет его достоянием.

Чернышевский понимал классовый характер воспитания и образования в крепостнической России; он понимал, что идущий на смену этому строю капитализм дает образование постольку, поскольку это в интересах правящих классов, поскольку само воспитание будет увеличивать прибыли капиталистов.

В книге «Революция и контрреволюция в Германии» (1851—1852) Энгельс писал: «духовная пища, насколько она позволялась народу, выбиралась с самой придирчивой тщательностью и отпускалась насколько возможно скупно. Повсюду воспитание находилось в руках католического духовенства, главы которого наравне с крупными феодальными землевладельцами были самым непосредственным образом заинтересованы в сохранении существующей системы»¹.

Настоящее образование, всестороннее развитие и воспитание в капиталистических странах не осуществляются и не осуществимы.

Только победивший пролетариат может дать действительное просвещение, всестороннее образование и воспитание. Только пролетариат и его авангард — партия большевиков — выводит все народы на широкую дорогу счастливой свободной жизни.

* * *

«Я ваш воспитанник, — я, читая «Современник», установил свое мировоззрение», писал Помяловский Чернышевскому («Литературное наследие», т. II, стр. 404). Многие люди его времени могли сказать Чернышевскому то же самое; такова сила огромного влияния деятельности Чернышевского.

Наблюдение и изучение законов развития человеческого общества, глубокое изучение самого человека, подлинное знание человеческого сердца — вот что присуще было Чернышевскому.

«Несмотря на то, что Чернышевского «упрятали» в Вилюйск, несмотря на то, что в «секретнейших» циркулярах указывалось о недопущении к нему кого бы то ни было, о запрещении произносить даже имя Чернышевского, — по всей России шла народная молва о вилюйском узнике. Она неслась несокрушимо, вызывая протесты против царизма, волнуя людские сердца, создавая ореол неугасаемой славы вокруг имени Чернышевского.

На студенческих пирушках, на собраниях — везде имя Чернышевского произносилось как знамя борьбы за светлое будущее русского народа».

На студенческих встречах гремела песня:

Выпьем мы за того,
Кто «Что делать» писал,
За героев его,
За его идеал!

¹ К. Маркс, Избранные произведения, 1935, т. II, стр. 54.

И там в полярных тундрах Сибири, не оставалось одиноким, горячее сердце борца: вместе с ним, вместе с его мыслями была вся прогрессивная Россия того времени.

«А Чернышевский работал, не разгибая спины; работа согревала его, и как бы стихала разбушевавшаяся буря тундр, работа освещала ему пути жизни, она преодолевала невзгоды, лишения, физические недуги».

Он писал письма родным, друзьям. А между тем один из ближайших друзей после умершего Добролюбова, Некрасов — певец народной печали — постепенно угасал.

Чернышевский писал о нем: «Я горячо любил его, как человека... я благодарю его за доброе расположение ко мне... я целую его... я убежден: его слава будет бессмертна... Вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов. Я рыдаю о нем...»

Некрасов посвящал прекрасные строки своего творчества Н. Г. Чернышевскому.

Некрасов постоянно думал о своем сосланном друге. В стихотворении «Не говори «забыл он осторожность!..» он рисует его недосыгаемо высоким образцом гражданской доблести:

Не хуже нас он видит невозможность
Служить добру, не жертвуя собой.

Но любит он возвышенной и шире,
В его душе нет помыслов мирских.
«Жить для себя возможно только в мире,
Но умереть возможно для других!»

Так мыслит он — и смерть ему любезна:
Не скажет он, что жизнь его нужна,
Не скажет он, что гибель бесполезна:
Его судьба давно ему ясна...

Общественное развитие шло вперед, история шла к новым эпохам, к новой жизни. Чернышевский видел этот прогресс, видел диалектику общественного развития. Он говорил:

«Прогресс совершается чрезвычайно медленно, в том нет спора: но все-таки девять десятых частей того, в чем состоит прогресс, совершается во время кратких периодов усиленной работы. История движется медленно, но все-таки почти все свое движение производит скачок за скачком, будто молоденький воробушек, еще не оперившийся для полета, еще не получивший крепости в ногах... Но не забудьте, что все-таки каждым прыжком он учится прыгать лучше... скачок быстро за скачком, без всякой заметной остановки между ними.

А еще со временем, птичка и вовсе оперится, и будет легко и плавно летать с веселою песнею»¹.

И история действительно пошла вперед крупными шагами. Социалистические идеи становились достоянием массы, они стали «доходить до людей, у которых бывают уже не восторженною забавою, а делом собственной надобности; а когда станет рассудительно забо-

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. V, стр. 491.

титься о своем благосостоянии тот класс, с которым хотели играть кукольную комедию сен-симонисты, тогда вероятно будет лучше ему жить на свете, чем теперь»¹.

И это время пришло, когда партия Ленина — Сталина повела за собой народ на последний бой с теми, против кого всю жизнь боролся Чернышевский, когда народ, руководимый партией Ленина — Сталина, победил и мечты людей воплотились в жизнь.

Чернышевский не дожид до нашего времени. Словами Некрасова (обращенными к другу и ученику Чернышевского — Добролюбову) мы можем сказать —

Но слишком рано твой ударил час,
И вешнее перо из рук упало.
Какой светильник разума угас!
Какое сердце биться перестало!

* * *

«Буду я добрым учителем людей в течение веков», писал Чернышевский. И мы знаем, что имени Чернышевского как доброго учителя народа, учившего его борьбе с гнетом, невежеством, с самодержавно-крепостническим строем, не забывает и не забудет народ. Имя этого учителя — учителя народа, живет в сердцах миллионов людей Родины социализма, славным предшественником которых был Чернышевский.

Двадцать девятого октября 1889 года умер «великий русский писатель, один из первых социалистов в России, замученный палачами правительства, Николай Гаврилович Чернышевский»².

Страна социализма встречает пятидесятилетие со дня смерти великого сына русского народа — Н. Г. Чернышевского — могучими победами.

То, о чем мечтал Чернышевский, претворено в жизнь на одной шестой части земного шара.

Проповедь труда, лозунг равноправия женщины, материалистическое миропонимание, требование в искусстве жизненной правды, социальной заостренности, сжатости и простоты выражения, требование действительного образования для всех, борьба с педантством, схоластикой, вульгаризацией в вопросах овладения культурой, накопленной человечеством, — все это, выдвигаемое Чернышевским, дорого и близко нам и сейчас, все это не потеряло своей ценности и для нашего времени.

Пятьдесят лет отделяют нас от дня смерти Чернышевского. Эти годы были годами роста рабочего класса, организации Лениным и Сталиным авангарда рабочего класса — партии большевиков. Это были годы борьбы с царизмом, капитализмом, годы победы Великой Октябрьской социалистической революции, годы построения и завершения строительства социалистического общества на одной шестой части земного шара, годы принятия Сталинской конституции, рас-

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. VI, стр. 150.

² Ленин, Соч., т. XI, стр. 114.

цвета жизни и культуры многонациональных народов, населяющих необъятные просторы Советского Союза.

«...То, о чем мечтали и продолжают мечтать миллионы честных людей в капиталистических странах,— уже осуществлено в СССР»¹.

Чернышевский мечтал увидеть свою родину освобожденную от оков социально-экономического гнета; он боролся за нозую жизнь,— жизнь, где каждый мог сказать: «Поля— это наши поля... Рощи— это наши рощи»².

Он мечтал, чтобы пустыни были превращены в благодатнейшие земли, чтобы они «кипели молоком и медом», чтобы с лица всей планеты исчезла нищета, невежество, чтобы были стерты с лица земли великой границы пустынь, чтобы люди изменили свою жизнь на благо всего человечества, чтобы люди могли подчинить себе полностью все стихии природы, познали законы природы, научились изменять ее на благо человечества, чтобы человек был смелым, здоровым, «грудь лучше, голос лучше»— чтобы дышать полной грудью, чтобы петь о счастье свободного народа и воспевать его жизнь, воспевать «энергию веселья» целых народов, славить труд человека, славить самого человека.

Он говорил: «Все люди будут прекрасны телом и чисты сердцем»³.

Он мечтал о переделке природы, ему представлялись «горы, одетые садами, между гор узкие долины, широкие равнины... Эти горы были прежде голые скалы... теперь они покрыты толстым слоем земли, и на них среди садов растут рощи самых высоких деревьев: внизу, во влажных ложбинах, плантации дерева; выше финиковые пальмы, смоковницы; виноградники перемешаны с плантациями сахарного тростника; на нивах... пшеница... рис»⁴.

«...Золотистым отливом сияет нива; покрыто цветами поле, развертываются сотни, тысячи цветов на кустарнике, опоясывающем поле, зеленеет и шепчет поднимающийся за кустарником лес, и он весь пестреет цветами; аромат несется с нивы, с луга, из кустарника, от наполняющих лес цветов; порхают по веткам птицы, и тысячи голосов несутся от ветвей вместе с ароматом; и за нивою, за лугом, за кустарником, лесом опять виднеются такие сияющие золотом нивы, покрытые цветами луга, покрытые цветами кустарники, до дальних гор, покрытых лесом, озаренных солнцем, и над их вершинами там и здесь, там и здесь светлые серебристые, пурпуровые, прозрачные облака своими переливами слегка оттеняют по горизонту яркую лазурь; взошло солнце, радуется и радуется природа, льет свет и теплоту, аромат и песню, любовь и негу в груди, льется песня радости и неги, любви и добра из груди...

У подошвы горы, на окраине леса, среди цветущих кустарников высоких густых аллей воздвигся дворец»⁵.

¹ И. В. Сталин, Доклад о проекте Конституции Союза ССР, Госполитиздат, 1938, стр. 25.

² Н. Г. Чернышевский, Что делать, Детиздат, изд. 1934 г., стр. 416.

³ Там же, стр. 415.

⁴ Там же, стр. 420.

⁵ Там же, стр. 404—405.

Он любил народ настоящею любовью, мечтал о будущей жизни людей, он говорил о великой всепобеждающей силе труда.

«С одной стороны труд — будет становиться все производительнее и производительнее»¹. С другой стороны «Труд из тяжелой необходимости обратился в легкое и приятное удовлетворение физиологической потребности»².

Развивая свои мечты, он видел не только труд будущего, но он видел осуществленное право народа на просвещение. Он видел отдых людей как неотъемлемое дополнение в стране социализма к праву на труд.

«Все они — счастливые красавцы и красавицы, ведущие вольную жизнь труда и наслажденья, — счастливицы, счастливицы».

Люди «везде; многие в театре, одни актерами, другие музыкантами, третьи зрителями, как нравится кому; иные рассеялись по аудиториям, музеям, сидят в библиотеке; иные в аллеях сада, иные в своих комнатах».

Такой радостной, счастливой, не знающей нужды и горя, видел в будущем свою родину «великий русский писатель, один из первых социалистов в России..., Николай Гаврилович Чернышевский».

* * *

Прошло полвека со дня смерти Н. Г. Чернышевского, и наша страна, родина социализма, подняла жизнь народа на невиданную высоту.

Построение социализма в нашей стране — совершившийся факт, благодатная жизнь — реальность дня.

Царская, дворянско-помещичья Россия была страной некультурной, отсталой, с огромным процентом неграмотного населения, с небольшим слоем интеллигенции (и те в большей части — выходцы из дворянско-помещичьих кругов).

Буржуазия пророчила, что именно о некультурность страны споткнется социализм; враги народа — троцкистско-бухаринские изверги — изо всех сил старались затормозить развитие народного образования, развитие новой социалистической культуры.

Наша страна, весь советский народ, под руководством партии Ленина — Сталина, одержала величайшую историческую победу и в области культуры. Коренным образом изменился весь культурный облик великой страны — родины социализма. В основном ликвидирована неграмотность. Построены тысячи новых школ и в городе и в деревне.

В стране создана новая советская интеллигенция, интеллигенция рабочего класса и крестьянства.

В стране практически и навсегда решен вопрос о победе социализма, — завоеванного и созданного руками самого народа, для него же.

Рост стахановского движения стал могучим источником пополнения рядов интеллигенции.

¹ Н. Г. Чернышевский, «Экономика, действительность и законодательство».

² Н. Г. Чернышевский, «Что делать», Детиздат, 1934 г., стр. 425.

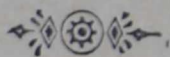
СССР вступил в новую полосу развития, полосу завершения строительства бесклассового социалистического общества и постепенного перехода от социализма к коммунизму, когда «от успехов коммунистического воспитания, в широком значении этого слова, коммунистического воспитания, охватывающего всю массу трудящихся и всю советскую интеллигенцию, — прежде всего, от наших успехов в этой области, зависит решение всех остальных задач»¹.

Дело народного просвещения, за которое боролся и о котором мечтал Николай Гаврилович Чернышевский, расцветает у всех народов великого Союза Советских Социалистических Республик.

Практически решается вопрос стирания грани между умственным и физическим трудом.

Практически решен вопрос о широком применении науки, широком развертывании научно-исследовательских работ.

Новый советский человек — это всесторонне развитой, овладевающий высотами культуры человек.



¹ Из доклада товарища Молотова на XVIII Съезде ВКП(б).

О ТОМ, КАКИЕ КНИГИ ДОЛЖНО ДАВАТЬ ЧИТАТЬ ДЕТЯМ¹.

Раньше чем мы будем говорить о том, какие книги лучше всего давать детям читать, мы должны поговорить о том, можно ли толковать о том, должно ли отказывать детям в позволении прочитать какую бы то ни было книгу, которую захочется прочитать им, а после этого о том, какую роль в воспитании должны играть книги, о том, какая роль принадлежит при воспитании известного дитяти его воспитателю — частному лицу, посвятившему себя воспитанию известного индивидуального лица, и какая — книге, писанной для массы, а не для индивидуального лица.

Большая часть людей скажет, что нечего и спрашивать о том, можем ли мы давать дитяти всякую книгу, какую только захочется ему почему бы то ни было прочитать — разумеется, нельзя, потому что они весьма многое такое прочтут, которое и взрослым немногим можно читать без вреда для себя, а тем более дитяти. В этом почти все согласны, что есть такие книги, которые воспитатель никак не может позволить взять в руки ребенку; несогласны только в том, на какие разряды книг должно простирать это запрещение, в том, что по мнению одних нельзя давать детям таких книг, какие можно в случае нужды дать им по мнению других. Все люди, признающие, что есть такие книги, которые никак нельзя позволить читать детям, согласны в том, что нельзя позволять детям читать книг, опасных для их нравственности; одни и ограничиваются запрещением для детей книги одним этим разрядом, другие насчитывают еще несколько разрядов. Но и относительно того, какие книги должно считать опасными для нравственности детей, существует большая разница в мнениях. Есть немногие, думающие, что только книги безнравственные по своей основной идее могут быть опасны для нравственности детей, только такие книги, которые оказывают неблагоприятное влияние на нравственность и взрослого человека, если он поддается их влиянию; главным образом романы, писанные людьми, выставляющими чувственные наслаждения и особенно чувственную любовь в соблазнительном виде с целью разгорячить чувство; книги, писанные жрецами Приапа, — из тех книг, которые

¹ Эта статья была написана в декабре 1849 г. Напечатана в приложении к «Дневникам». «Литературное наследие», т. I, стр. 695—699, изд. 1928 г.

попадались нам в руки, мы можем указать как на принадлежащие к этому разряду, на знаменитого «Фоблаза» и, поновее, на М-ле Maurin Теофиля Готье. Но роман — создание нового времени, подражать древним в нем трудно, и потому мало таких романов, в которых основная идея — простое изложение прелести чувственной жизни, а не другая какая-нибудь идея, принадлежащая к миру нравственности. Гораздо более, само собою, лирических стихотворений такого рода — древние лирики воспевали с начала до конца все чувственные наслаждения любви и, нужно прибавить, на любовь они смотрели чисто с животной стороны и только с животной стороны; они ее понимали только как чисто телесные акты; на женщину, на свою возлюбленную они смотрели чисто как на вещь — жаль, что в этом не отдают им справедливости.

Если говорить строго, любовь (да и многие другие вещи, если понимать их так, как понимали их древние) для нас покажется вещью грубою, скотскою, отвратительною. Но мы своим обожанием древних и в этом, как и слишком во многом другом, вдохновлялись ими и «поем» на их мотив и, разумеется, весьма хорошо делаем. (Жаль, что мы оставили без внимания педерастию: хорошо было бы воспевать и ее, как воспевал Гораций и Virgilий, не говоря уже о греках, которые возвели ее на небо в особе Ганимеда, о котором мы заставляем учить детей. Однако, благодаря нашим взглядам на воспитание, многие из наших воспитанников начинают Ганимедами и оканчивают тем, что наконец и сами находят для себя Ганимедов.)

Это подражание древним в воспевании чисто материальном — кроме нравственного элемента любви — до того сильно укоренилось, что конечно большею частью поэты наши, когда пишут подобные стихи, и сами не подозревают, какую недостойную нашей степени развития вещь воспевают они. Они делают это машинально по установленной форме, не догадываясь, как она узка и безнравственна. Имея охоту написать лирическое стихотворение, тема которого любовь, они становятся машинально на принятую испокон века точку зрения, не замечая, как низка и безнравственна для нашего времени эта точка зрения. Тяжелым пятном легло бы на их славу, если бы они делали это с сознанием, а не по слепой рутине. Но влияние этой гадкой привычки было до сих пор так могущественно, что немного можно набрать лирических поэтов (кроме разве самых новых, вроде Лермонтова), которые были бы чисты от воспевания скотской любви, если только воспевали любовь, от воспевания женщины в том духе, как будто [бы она] была подушка и более того ничего.

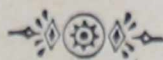
Конечно, всякий рассудит, что лучшая часть этого разряда книг самые опасные для нравственности, хотя, правда, весьма велико число людей, которые этим одним разрядом и ограничивают книги, которые не хотят давать детям; все другие, по их мнению, давать можно. Но большая часть простирает свое запрещение еще дальше. Есть книги, в которых не имеется ничего противного нравственности, которые почти даже нравственны, но в которых много есть сцен вольных, — таковы, например, весьма многие романы Поль-де-Кока, — есть люди, которые и их также не хотят давать детям и

ограничиваются этими двумя разрядами; часть людей прибавляет к числу запрещенных для детей книг еще все книги, в которых основная мысль весьма серьезна и нравственна, но или слишком нова, или оттого, что принадлежит к разряду таких вещей, над которыми только смеется толпа, пока они не будут приняты всеми, кажется большей части людей или парадоксальной, или несколько скандальной, или могущею подать повод к злоупотреблениям, или просто, несмотря на то, что они не могут отвергать ее истинности и нравственности, неудобноисполнимою, утопией, пагубною, если будет применяться к делу. К этому разряду причисляются теперь у нас почти все (кроме самых новых) сочинения Жоржа Занда. Есть и такие люди, которые распространяют запрещение и на такие книги, относительно которых невозможно никому и сомневаться, что основная мысль их необыкновенно нравственна и справедливость ее не подлежит никакому спору, если только эта истина, положенная в основание романа, не делает чести человеку, и если потом книга изображает людей мелких, грязных, пошлых, порочных, — каковы сочинения Диккенса и Гоголя; у Диккенса особенно мораль слишком ясно вытекает из рассказа, так что едва ли и 9-летнее дитя может не понять ее без объяснений. Люди, которые ограничивают число запрещенных для детей книг только теми разрядами, о которых мы уже сказали, конечно немногочисленны и покажутся массе воспитателей слишком слабо оберегающими нравственность детей; почти все думают, что не нужно давать детям и вообще никаких романов, кроме разве весьма немногих, вроде некоторых романов Вальтера Скотта (да и это весьма многим кажется непозволительно) — ведь в романах описывается любовь, как же позволить 12-летнему мальчику или девочке воспламенять свою голову подобным чтением. Можно давать им только такие романы, которые основаны не на любви и о любви в которых ничего не говорится, а таких романов очень мало, и если не грешат они изложением любви, так грешат чем-нибудь из тех вредных для ребенка вещей, о которых говорили мы выше. Жаль, прибавляют эти люди, что таким образом не остается почти ни одного романа, который можно было позволить взять в руки ребенку, весьма жаль, потому что таким образом они лишаются приятного занимательного чтения, которое заставляет другого пристраститься к книгам. Весьма жаль, но что же делать? «И нечего об этом и жалеть, скажет другой, потому что вообще никаких романов нельзя давать в руки детям — что им набивать голову этими бреднями, которые и больших-то сбивают с толку, — никаких романов нельзя давать детям, они разгорячают их фантазию и без того уж слишком живую, отвлекают их от полезного чтения, приучают к легкому, не приносящему никакой пользы; ведь роман, если не приносит прямого вреда, так вреден уже тем, что на него убивается попусту время, которое лучше было бы употребить на чтение серьезной книги». С этими господами, заботящимися о серьезном чтении и считающими романы «легким чтением», мы не будем спорить — эти люди, которые уже признаны отсталыми, все умные и образованные люди: слава богу, если мы не понимаем весьма многого, что давно бы нам следовало бы понимать, вообще понимать во всяком случае,

то, что роман серьезнее какой угодно грамматики или алгебры, что дюжинный роман почти всегда посерьезнее весьма недюжинной психологии. Теперь уже нечего спорить о том, что романы можно давать читать детям, спорить должно бы только о том, какие романы можно, какие нельзя, или о том, все ли можно или не все. Люди, которые не думали много, не учились сами много, только и считают книгами, которые нельзя давать в руки детям, романы; только романы и преследуют их воображение, как страшная некая зараза, которая может в мгновение ока испортить благонравное дитя, которое с таким старанием закупоривали они от «преждевременного» знакомства с жизнью. Но люди, у которых ум-то развился, да только развился навыворот, что бывает весьма часто, не могут не заметить, что, ограничиваясь одним этим отделом, они будут непоследовательны, и отнесут к книгам, которые опасны для нравственности детей, кроме романов, еще и другие разряды книг. Во-первых, по их понятиям чтение большей части исторических книг должно быть также вредно для детей, потому что известно, что в истории является чрезвычайно много людей низких, подлых, безнравственных, злодеев таких, каких не найдешь и в раздирательных романах; еще более является в ней людей ограниченных, глупых, пошлых — как же знакомить ребенка с такими характерами? Ведь нужно, чтобы он уважал старших, чтобы считал людей взрослых людьми почтенными, умными и добрыми. А еще хуже того, сколько в ней соблазнительных эпизодов — ведь нечего и говорить, что разврат — одна из главнейших причин событий исторических, одна из самых частых причин падения царей и народов; как часто там говорится о любовницах, о их влиянии, о любовных интригах при дворе, около какого-нибудь государя, вроде Людовика XIV или XV — как же можно все это давать читать детям? ¹ То же самое должен сказать и о большей части путешествий — сколько там бывает соблазнительных анекдотов; и кроме того, если путешественник человек наблюдательный и дельно описывает народы, к которым он ездил, а не фасад дворцов и прелестные или ужасные виды по дороге, всегда много говорит о той грязи, в которой живут до сих пор везде низшие классы, много у него должно быть картин, писанных диккенсовыми красками — как же знакомить преждевременно детей с этой грязью? Мы с своей стороны прибавим, что если так, то, если смотреть с этой точки зрения, нужно прибавить сюда уже и все до одной книги, в которых говорится о естественной истории животных — ведь там только и дело, что говорится «самец», «самка», «приносит по нескольку детенышей» и т. д. гораздо выразительнее; да нужно прибавить также все ботанические книги — ведь и там первое слово, которое попадает под глаза, будет растения явнотрачные и тайнотрачные, пестик и тычинка, мужской и женский цветок и т. д., все равно это может возбудить весьма нехорошие мысли в голове ребенка, и мы даже могли бы рассказать один анекдот в доказательство. Но если

¹ Отмечая это, Чернышевский говорит о сюжетной стороне романов, повестей на исторические темы, зачастую искажавших действительную историю. Чернышевский свои взгляды на историю высказывал неоднократно — смотри текст его исторических статей, помещенных в данной книге.

мы захотим быть решительно последовательны, то нам не мешает остерегаться произносить перед ребенком слова отец и мать, муж и жена, у него родился или у нее родился и т. д. — к скольким нескромным вопросам подают повод эти слова. Недурно даже постараться о том, чтобы ребенок не слышал слов «мужчина и женщина» и не знал о том, что есть на свете люди, которые называются мужчинами, и другие, которые называются женщинами, что эти люди даже отличаются друг от друга — ведь ему нельзя будет не захотеть узнать, чем же эти два класса людей отличаются друг от друга; мы поэтому полагали бы полезным для нравственности детей, чтобы их держали в особой крепко запертой комнате, чтобы они не могли ни видеть, ни слышать ничего такого, что могло бы навести их на мысль о различии полов; те люди, которые бы входили к ним, должны быть одеты все в одинаковое платье, мужское или женское, это все равно, только в одинаковое, по нашему мнению лучше в женское, потому что при мужском можно заметить — ведь чего дети не замечают, когда им не следует замечать, — разницу в образовании груди. Говоря с ними, нужно не употреблять слов «он» и «она», а всех людей называть или «он» или «она»; для этого недурно говорить по-татарски: там нет различия родов даже в третьем лице личного местоимения, не только что в именах существительных, — весьма хороший язык для нашей цели; разумеется, в именах также не делать такого различия «Иван Петрович», «Марья Петровна» — нужно или Ивана Петровича называть тоже Анною Петровною или Марью Петровну — Марию Петровичем. Ах, да мы и позабыли, что мерзкая борода и усы выдадут мужчину, да и гадкая привычка стричь волосы тоже. Последнему можно помочь: заботящийся о нравственности питомца воспитатель может отпустить себе волосы или во всяком случае купить женский парик и косу, а подбородок можно подвязывать платком и говорить, что у него болят зубы. Нам кажется, что если к этим главным предосторожностям прибавить еще несколько дополнительных, то мы можем надеяться достигнуть почти вполне своей цели, и дитя, нами воспитываемое, сохранится чистым от всех понятий, от всех естественных человеку, но оскверняющих его душу, если он узнает их раньше того торжественного дня, когда поведут его в церковь венчаться. Нам кажется, что наш воспитанник так может дожить до 30 или 40 лет, не испытавши даже в себе никаких намеков со стороны природы на то, что он существо, принадлежащее к известному полу, и что он, блаженной невинности и ангельской чистоты, верно с такою ревностью займется известным препровождением времени, что, может быть, и повенчавшись, предпочтет не объявляться никому своими удовольствиями — такие примеры бывали иногда и не при таком тщательном воспитании, как то, которое предлагаем мы.



УЧЕБНИК РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Часть I, Теория, для средних учебных заведений, А. Охотина, СПб 1849.

Часть II, История, для кондукторских классов первого штурманского полуэкипажа, А. Охотина, Кронштадт 1854¹.

Всего похвальнее в г. Охотине его скромность. Назначив первую часть своего учебника, изданную еще в 1849 году, для всех средних учебных заведений, в настоящее время он сам добровольно отказался от такого назначения своей книги и вторую часть назначил только для кондукторских классов первого штурманского полуэкипажа, где книга его должна занимать место записок. Только с этой точки зрения она и может иметь какое-нибудь значение и принести ту пользу, что ученики не будут обременены переписыванием своих уроков. Но как учитель должен знать свое дело, так и записки его должны быть согласны с современным состоянием науки и с целью воспитания юношества. Теория г. Охотина есть не что иное, как сокращенный и изуродованный курс Чистякова. Прежде всего бросается в глаза чрезвычайная отсталость научных понятий. Автор, например, хочет излагать теорию русской словесности, предполагая, вероятно, что есть особенная теория французской, немецкой словесности и т. д. В понятиях своих о поэзии г. Охотин живет еще в то блаженное время, когда поэзией называли стихотворство; поэтому роман, повесть отнесены им к разряду исторических сочинений. Все, что не написано стихами, он называет прозою и определяет ее таким образом: «Если в сочинении исследования ума, или желания, оживленные чувством, излагаются по способу разговорной речи, без соблюдения музыкального размера в предложениях (предложениях), в порядке, соответствующем внутреннему развитию чувств, мыслей и желаний, то такое сочинение обыкновенно называется прозою». Особенно искусен г. Охотин в определениях, например: «полное, разнообразное, правильное и связанное словесно-письменное изложение мыслей, желаний и чувствований касательно какого-либо предмета вещественной природы, или духовной, называется сочинением». Эпическую поэзию он называет стихотворным повествованием о какой-либо эпохе исторического быта целого народа, общества, или лица, с очаровательными фантастическими вымыслами чудесного. А вот еще оригинальный способ определений: «поэма героическая — например, *Россиада Хераскова*»; «романтическая поэма — например *Душенька Богдановича*». Хотя теория г. Охотина и не поэма, однакож и в ней встречаются фантастические вымыслы чудесного, например: «многие глазомером определяют верно музыкальное отношение тонов, их гармонию, мелодию, стихи и речи». Понятия об эстетической деятельности души перепутаны: то она отнесена к сфере чувства, то представляется как совокупность всех сил души. Также изящная словесность на стр. 44-й отнесена к звуковым искусствам (т. е. к музыке!), на стр. 45-й представляется как соединение пластики и музыки. В статье о слоге г. Охотин в

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. I, стр. 218—220, «Современник» № 12, 1854.

пример ошибок приводит образцовые места из лучших писателей, например, в следующих стихах Пушкина он видит излишнее много-словие:

...Смотрит храбрый князь
И чудо видит пред собою;
Найду ли краски и слова? —
Пред ним живая голова!

Он находит *странный недостаток* в повторении союза *что* в «Полтаве» Пушкина — в известной характеристике Мазепы. И, напротив, ему очень нравится повторение одного и того же слова в стихах Державина:

Зовет меня, зовет твой стон,
Зовет и к гробу приближает.

Не мудрено, что подобные теории в людях, не призванных к развитию науки, но и не лишенных здравого смысла, порождают сомнения в самой возможности существования теории.

«История» г. Охотина есть сухой перечень имен и заглавий. Изучение каждой науки учащимися должно содействовать их воспитанию. История литературы более многих других наук включает в себе такого воспитывающего элемента. Напротив, г. Охотин думает, что все достоинство учебной истории словесности состоит в том, чтобы она содержала в себе как можно более имен. Поэтому в историю русской литературы входят у него: География Арсеньева, История Смарагдова, неизвестное сочинение купца Вавилова о торговле, Фармакодинамика Горянинова, Руководство к сочинению писем и деловых бумаг Наливкина, и т. д., и т. д. Характеристики писателей состоят более в общих местах, без примеров, без разборов. А встречаются и такие характеристики: «Самый быт народа с его причудами сделался уже предметом сатиры (Кантемир)». Г. Охотин, отыскивающий ошибки в прекрасных стихах Пушкина, говорит, что «Наука о стихотворстве Боало и Езда на остров любви приобрели Тредияковскому *справедливое уважение современников и потомства*». Подобно покойной истории Кайданова, история литературы г. Охотина постоянно имеет тон похвальной речи. Без выписок из послужных списков также никак нельзя было обойтись.

Доказывая пользу теории и истории словесности, г. Охотин приводит в пример образцовых писателей (Пушкина и Булгарина), которые «глубоким изучением народной речи теоретически и исторически сообщили прекрасные качества своим сочинениям, которыми восхищаются все образованные читатели». Но самого г. Охотина теория и история словесности плохо выучили выражаться по-русски. Не угодно ли понять следующее место: Только сведущие в теории и истории ощущают высокое наслаждение при чтении прекрасных сочинений, и, когда сами владеют исправно благозвучным, гибким и сильным русским языком, для выяснения внутренней жизни своего духа». С знаками препинания г. Охотин никак не может сладить и потому беспрестанно ставит тире, от чего во многих местах также происходит неясность. Встречаются и фигурные выражения, напоминающие также блаженной памяти Кайданова, например: «Выражение бывает приятно, если оно пробуждает в нас сладостный трепет сердца. Для сего не-

обходимо употреблять слова и целые речения в сочинении, совершенно равносильные понятиям ума, чувствованиям сердца и представлениям воображения и располагать их с такою отчетливостью, чтобы частные (?) предложения к главному относились, как блестящие лучи к своему светлomu солнцу».

Имя г. Охотина известно (по крайней мере пишущему эти строки) еще «Уроками из русской грамматики» (СПБ 1842). В этих «Уроках» мы не находим учения о частных предложениях; зато находим, например, что предложение есть «речь, выражающая кратко и внятно (?) мысль, или суждение о предмете» и тому подобные очаровательные фантастические вымыслы чудесного.



МАГАЗИН ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ И ПУТЕШЕСТВИЙ

Географический сборник, издаваемый Николаем Фроловым, т. III, Москва 1854¹.

В прошедшем году издание второго тома «Магазина» дало нам случай поместить обширную критическую статью («Современник» 1854, май и июнь), в которой показывалось развитие основных идей географии и определялось высокое место, какое занимает эта наука в кругу человеческих знаний. Не повторяя здесь высказанное так недавно в нашем журнале, мы хотим, прежде нежели перейдем к обзору статей, помещенных в третьем томе «Магазина», сказать несколько слов о их общем характере.

На физическую географию, на этнографию, даже на статистику до недавнего времени географы обращали очень мало внимания; над всем преобладала так называемая «политическая география», очень хорошо памятная каждому из нас по тем учебникам, скучные страницы которых затверживал он с таким трудом и с такою быстротою позабывал. Дело тогда обходилось очень просто, хотя, нельзя не признаться, очень сухо, таким образом: «границы» Франции; перечисление 86 или 87 ее департаментов, с именами главных городов; о каждом городе ровно по две строки, как бы ни был важен, как бы ни был он ничтожен: Лион, Марсель и Гавр, Ванн, Бове и Тарб описывались одинаковым количеством слов, почти одними и теми же словами; о том что за народ французы, какие у них нравы, какие понятия и обычаи, говорилось менее, нежели о том, что такое Privas главный город Ардешского департамента, или Aurillac, главный город Кантальского департамента. Англия и Ирландия считались одним и тем же, хотя между этими странами и жителями их нет ни малейшего сходства; королевство Саксонское и прусская провинция Саксония не имели между собою ничего общего, хотя на самом деле эти земли различаются только краскою на ландкартах. Ита-

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т I, стр. 222—230, «Современник» № 1, 1855.

льянцев даже не существовало для географии, говорившей только, что королевство Сардинское разделяется на десять округов, а великое герцогство Тосканское — на пять. О Рейне известно было географии только то, что он служит границею между Баденом и Франциею, потом между рейнскою Пруссиею и герцогством Нассауским; об Альпах — что там есть гора Монблан, имеющая столько-то футов вышины. Одним словом, физической географии отделялось в старину в толстом географическом трактате пять страниц, статистике — пять строк, этнографии — ни одной строки.

Из этих пренебрегаемых старинною географиею важнейших составных частей ее первая успела убедить всех в огромном своем значении физическая география. Теперь каждый порядочный учебник обращает надлежащее внимание на физическую часть землеописания; даже у нас являются атласы с картами распределения гор, климатов, почвы, растений, животных и т. д. Статьями по этой отрасли земледения и по неразрывно связанной с нею математической географии по преимуществу наполнен и III том «Магазина» г. Фролова, как составляли они исключительное содержание второго тома. Мы вовсе не хотим считать эту специальность недостатком прекрасного издания г. Фролова; но мы должны поставить ее на вид и заметить, что ею далеко не исчерпываются интереснейшие для нашего времени стороны земледения; напротив, если даже оставить в стороне более или менее случайные и внешние разделения, которыми занимается так называемая политическая география, то остаются две другие важнейшие стороны земледения — этнография и статистические отношения различных земель и областей. Не будем говорить о значении статистического элемента в географии, потому что важность статистики, как отдельной науки, ныне достаточно признается всеми, хотя в географии статистическая часть далеко еще не достигла надлежащего развития. Но скажем несколько слов о важности этнографии в системе общего образования, куда проникать она должна через посредство географии.

Не считаем нужным распространяться о важности знакомства с обычаями народов, которые могут быть названы представителями той или другой цивилизации, — само собою разумеется, что качества каждого особенного направления цивилизации и возникших вследствие его общественных отношений должны быть ближайшим образом проверяемы изучением нравов и обычаев народа, сложившихся или видоизменившихся под влиянием этих отношений; нравы народа, образ его жизни, житейских понятий и привычек, с одной стороны, с другой — статистические данные представляют лучшее мерило для оценки достоинств и недостатков разных направлений цивилизации. Необходимость иметь определенное понятие об этом вопросе, одном из основных в общей системе понятий, не нуждается в доказательствах. Но вместе с народами, стоящими на высокой степени развития, земледение говорит о диких и полудиких племенах, о народах с мало выработавшимися или оцепеневшими формами жизни — оставляя все другие области, изучение которых представляет гораздо бо́льшую, но вместе с тем и гораздо очевиднейшую важность, обратим внимание на значение ближайшего знакомства с нравами, понятиями

и учреждениями народов, стоящих на низших ступенях умственного и общественного развития.

Как ни возвышенно зрелище небесных тел, как ни восхитительны величественные или очаровательные картины природы, человек важнее, интереснее всего для человека. Потому, как ни высок интерес, возбуждаемый астрономиею, как ни привлекательны естественные науки, важнейшею, коренною наукою остается и останется навсегда наука о человеке. Чтобы пуститься в дешевую ученость общих мест, которые хороши тем, что бесспорны, напомним о надписи дельфийского храма: «Познай себя». Позднее была высказана греческим философом великая мысль, всю истину которой постигли только в последнее время, со времен Канта, и особенно в последние десятилетия: «Человек мерило всего». Конечно, ближайшим предметом наших мыслей должен быть человек, развитый цивилизацией, его нравственные и общественные учреждения, понятия, потребности. Но эти учреждения и понятия жили так долго, образовались и изменялись под столькими различными условиями, что часто бывает трудно решить, в чем состоит их первоначальная сущность и в чем позднейшие изменения; не зная этого, часто бывает затруднительно решить, что именно в известном обычае или учреждении мы должны считать необходимым для нас, какие стороны его служат выражением действительной потребности, какие отжили свое время и при изменившихся условиях продолжают существовать только по закону косности, господствующему и в общественных отношениях, как в мире физическом. Итак, очень часто бывает необходимо проследить историю предмета с первобытных его зачатков, чтобы решить, действительно ли он сохранил свой истинный смысл, действительно ли удовлетворяет он в том виде, какой имеет теперь, настоящим отношениям. Все это было бы можно показать на очень живых примерах; но мы приведем только один, конечно имеющий в народной жизни только второстепенную важность, но представляющий, между прочим, ту выгоду, что не требует длинных пояснений. Общая тема большей части романов, повестей, стихотворений в наше время, как и прежде, — так называемая романическая любовь. Ясно, что в современной жизни не играет она такой важной роли, как в литературе, которая должна изображать жизнь. Отчего ж это различие между изображением и подлинником? Составляет ли сущность поэзии эта обыкновенная тема ее произведений, так что без влюбленных героя и героини на самом деле трудно обойтись роману? Многие так думают и осуждают роман на вечную односторонность. Но взглянем на зародыши, из которых развилась новая литература, и дело представится в другом виде. Важнейшая из первообразов новой поэзии — народная поэзия и песни трубадуров; начало нашей беллетристики находим в рыцарских романах и сборниках, подобных Декамерону Боккаччио. Для народных песен и трубадуров любовь действительно была единственною поэтическою темою.

Точно таково же было положение дела в обществе, которому принадлежали рыцарские романы: «Дама сердца», выходя замуж, становилась домохозяйкою, не более; муж гораздо больше думал об охоте, турнирах и мелких междоусобицах, нежели о жене. Само со-

бою разумеется, что поэзия, находя в этом обществе влюбленность единственным гуманным и живым элементом, сделала ее главной темой; этим она была верна своему назначению служить отражением жизни. Точно то же надобно сказать о рыцарских романах. Наконец книга Боккаччио и другие подобные сборники составлялись исключительно из анекдотов и рассказов, которые служат для препровождения времени в веселой компании; темой таких разговоров постоянно бывают любовные интриги. Все это показывает что главная тема произведений, послуживших основанием для последующей литературы, давалась общественными отношениями того времени; что народные песни, рыцарские романы и сборники анекдотов брали почти исключительно содержанием влюбленность потому, что общество на той степени развития не представляло других отношений между мужчиною и женщиною. Нет сомнения, что ответ этот, представляемый историей, в значительной степени облегчает решение споров о том, в сущности ли произведений литературы лежит то, что они повсюду вставляют любовь и влюбленность, или эта исключительность порождена исключительными условиями общественной жизни и мы должны ожидать, что она исчезнет вместе с ними.

Мы не хотим преувеличивать важности исторического способа решать вопросы, как то делают многие. Главным мерилем решения вопросов жизни должны служить настоятельные жизненные потребности современного положения дел. Но в том нет сомнения, что при затруднительных или просто спорных случаях исторические соображения многим людям помогают утвердиться в уверенности о необходимости и основательности решения, требуемого настоящим. В примере, который мы указали, эти соображения остаются на твердой исторической почве средних веков и греческого мира, не увлекая нас в темные области первоначальной истории племен. Это потому, что мы взяли явление, самые зародыши которого являются уж только при довольно значительном развитии цивилизации. Не то бывает при историческом исследовании почти всех важнейших понятий и учреждений, — почти все принадлежности общественной жизни возникли при самом ее начале, в те отдаленнейшие периоды, которые не внесены в летописи, от которых не осталось почти никаких памятников, кроме общих и темных намеков, уцелевших в языке. Потому-то в последнее время, когда убеждения большинства стали шатки, и с тем вместе сомнения его так робки, обратила на себя такое внимание историческая филология, старающаяся отгадать характер древнейших периодов исторического развития и объяснить первоначальный вид и коренное значение понятий и учреждений, в измененном виде продолжающих господствовать донныне. Для людей с твердым характером, с доверием к собственному суждению в этих разъяснениях нет необходимости; но для людей колеблющихся, нерешительных — они очень важны. Некоторым читателям может показаться, что мы отделились от нашего вопроса о значении этнографии, — нет, мы теперь в самом его средоточии. Все, что с неимоверными усилиями соображения успевает добыть историческая филология для объяснения первобытной жизни, сообщает нам этнография в живых, простых, ясных рассказах; потому что, как мы имели случай недавно говорить, наши

древнейшие предки начали с состояния, совершенно подобного нынешнему состоянию австралийских и других дикарей, стоящих на низшей степени развития, потом постепенно проходили те состояния несколько более развитой нравственной и общественной жизни, какую видим у различных негритянских племен, у северо-американских краснокожих, у бедуинов и других азиатских племен и народов; каждое племя, стоящее на одной из степеней развития между самым грубым дикарством и цивилизацией, служит представителем одного из тех фазисов исторической жизни, которые были проходимы европейскими народами в древнейшие времена. Потому этнография дает нам все те исторические сведения, в которых мы нуждаемся. Как, восходя от подошвы горы к ее вершине, мы в один день видим физическую жизнь, принадлежащую всем временам года—у подошвы желтеющие нивы осени и лета, выше яркую зелень весны, еще выше первое таяние снегов, и наконец царство зимы,—так, перенесясь в пустыни Америки, в степи Азии и Африки, мы переносимся в жизнь тысячелетия, предшествовавшего периоду греческой цивилизации; обзревая острова Великого Океана, проникаем еще далее в глубь веков. Степень развития и внешние условия жизни, с нею соединенные, почти безусловно властвуют над характером общества, его обычаями, понятиями и учреждениями; самое развитие в характере различных рас человеческого племени оказывает влияние почти совершенно ничтожное сравнительно с могущественным действием этих условий; потому-то для каждой степени развития на низших, для каждого направления цивилизации на высших ступенях исторической жизни человечества существует один тип; каковы нравы и учреждения одного пастушеского племени, таковы есть и были нравы и учреждения всех племен, когда они стоят на той же ступени развития; каковы ныне обычаи австралийцев, таковы же были обычаи всех племен, когда они были в том же периоде младенчества. Итак, посредством исторических разысканий о первобытных временах жизни наших предков мы открываем те же самые факты, какие видим в жизни различных диких и полудиких племен; этнография говорит совершенно то же, что историческая филология. Но есть и огромное различие между этими очень важными в наше время науками. Историческая филология отгадывает, строит гипотезы, основанные на скудных и часто бледных фактах, потому дает картины не полные, не довольно подробные и живые, иногда не совсем точные. Совершенно не таково положение этнографии: она видит и передает факты народной жизни во всей их жизненной полноте и точности; этнограф видит своими глазами то, что при помощи исследований языка можно только предчувствовать. И верность и полнота на стороне этнографии. Потому-то она должна быть главнейшею путеводительницею при восстановлении древнейших периодов развития народов, ставших ныне так высоко, но прошедших через те же самые периоды жизни, в которых донныне остаются различные племена, живущие звериною ловлею, собиранием плодов или пастушеством.

И действительно, в прежнее время мыслители, занимавшиеся исследованиями о первоначальном характере и значении различных учреждений и понятий, постоянно прибегали к помощи известий,

представляемых этнографией. У писателей, знаменитейших проницательностью и обширностью своих соображений по этим вопросам, беспрестанно мы встречаем ссылки на путешественников. Только со времени появления исторической филологии, был забыт на время этот богатый и верный источник положительных сведений. Вместо Кука и Бугенвиля начали цитировать исключительно Гримма. Но в творениях замечательнейших мыслителей последних годов мы уже видим возвращение к покинутой на время этнографии. Они ценят по достоинству драгоценные материалы, представляемые филологией, но находят гораздо больше и гораздо положительнейших известий в описаниях дикарского и младенчествуемого быта у племен, которые остались на этих древнейших ступенях развития до нашего времени. Большинство ученых конечно скоро последует примеру, который указывается корифеями науки...



НОВЫЕ ПОВЕСТИ¹.

Рассказы для детей, Москва 1854².

Книжка эта сама по себе не интересна. «Новые повести» едва ли не хуже всех старых и рассказаны самым неправильным языком. Но — какие странные события могут иногда возникать от самых незначительных причин! — книжка эта послужила поводом к следующему случаю.

Одна почтенная тетушка, имевшая пятерых племянников и племянниц, — если угодно, я даже могу их назвать по именам: старшего племянника звали Петруша, ему было тринадцать лет; двух младших звали Боринькою и Ваничкою; сестриц их — старшую Анетю, младшую Полиною — эта почтенная тетушка купила «Новые повести» и начала читать их с детьми. Много было прекрасных нравоучений в книжке; но всего более обратило на себя внимание тетушки правило, высказанное в конце одной из повестей: «Не должно быть неблагодарным; ибо неблагодарность есть порок» — Слышите, *mes enfants*, прибавила тетушка: нехорошо быть неблагодарным; это очень нехорошо.

— А что-ж это называется: неблагодарный? спросил Ваничка.

— Неблагодарным называют, мой друг, того человека, которому сделали какую-нибудь услугу, а он сам потом не хочет сделать такой же услуги своему благодетелю.

— А благодарные люди как же делают? спросила Полина.

— Они делают так: положим, я тебе доставила удовольствие;

¹ Эта рецензия, где автор в шуточной форме указывает детскую мелочность многих явлений тогдашней литературы-беллетристики и «художественной» критики, — в свое время очень раздражила против автора некоторых из тогдашних писателей-беллетристов, которые почувствовали себя задетыми. Статья любопытна как один из первых признаков приближавшегося оживления литературы — со второй половины пятидесятых годов. (Примечание издателя).

² Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. I, стр. 337—343.

и ты мне старайся сделать удовольствие; тогда и будешь благодарна. Ты видишь, что я стараюсь вам доставить удовольствие; и ты делай так же.

— *Ma tante*, ведь вы доставляете нам удовольствие, когда читаете нам эту книжку? спросил опять Ваничка.

— Конечно, мой дружок.

Этот разговор происходил после обеда. Вечером приехали гости; сели играть в карты, дети остались одни в своей комнате.

— *Messieurs et mesdames*, знаете ли, что я вам скажу — закричал Петруша, вскочив со стула: — тетушка говорила, что надобно платить услугою за услугу. Так ли?

— Разумеется, так; нечего и спрашивать, отвечали ему все в один голос.

— Я вздумал, что мы неблагодарные.

— Отчего ж это? спросила Анета.

— Как отчего? Ты уж большая (Анете было 11 лет); тебе пора понимать; ты не такая маленькая, как Полина.

— Я прежде была маленькая, а теперь я все понимаю, обидевшись возразила осьмилетняя Полина.

— Слушай же, если понимаешь. Большие пишут нам, детям, повести для нашего удовольствия; стало быть и мы должны писать для больших повести. А если не пишем, значит мы неблагодарные.

Петруша был одарен замечательною силою ума, как вы, читатель, видите из этого. Уличенные в неблагодарности, слушатели его готовились уж заплакать — но он, не останавливаясь, продолжал свои умозаключения:

— *Messieurs et mesdames*, давайте же писать повести.

— Давайте писать, давайте писать, подтвердили хором убежденные логичностью его выводов *messieurs* и *mesdames*. Побежали в классную комнату, вынули свои тетрадки и принялись писать. Через полтора часа, когда добрая тетушка пришла напомнить детям, что пора ложиться спать, птенцы бросились обнимать ее, крича: «мы благодарные, мы благодарные!», и поднимали как можно выше, стараясь приблизить к ее глазам, свои тетрадки. Сначала тетушка не могла понять ничего; но скоро Петруша, отличавшийся, как уж известно, даром слова, объяснил ей, в чем дело, и, восторгнувшись душою, тетушка повела писателей и писательниц в гостиную, рассказала всем присутствующим свою радость и просила послушать повесть ее питомцев. Иные гости поморщились; другие выказали не притворное внимание — они, по своему добродушию, и не подозревали, что повесть — не детская игрушка.

Чтение началось по очереди, с произведения младшей писательницы, Полины. Повесть Полины называлась:

«ПЯТЬ ЛЕТ».

Надежда Владимировна Бронская, когда была еще *Nadine* Иванишева, возбуждала общий восторг своею красотою. У ней были сотни поклонников; она отличала между ними блестящего барона

Гаугвица. Он являлся повсюду, где ни была она. Он был ее тенью. Они знали, что любят друг друга. Однажды — этот вечер был восхитителен: ярко освещенная зала Большого Театра была наполнена избраннейшим обществом Петербурга. Надина в упоении внимала дивным звукам Россини. Она была чудно хороша в ту минуту. С восторгом смотрел Гаугвиц на ее одушевленное лицо, и безвозвратное слово любви трепетало на его губах. — «Барон, Приклонская справедливо ревнует вас к этой девочке», шепнула ему на ухо кузина Надины, и барон вздрогнул. Он боялся насмешек Приклонской, его как молния поразила мысль: «Неужели Приклонская, эта неприступная, непобедимая красавица, может ревновать меня?» Мужчины любят суетно; их любовь — тщеславие, по крайней мере любовь таких мужчин, как барон. Мысль о том, что Приклонская интересуется им, не давала ему покоя. На другой день, на бале у графини Z***, барон был, хотя там не было Надины: он знал, что встретит там Приклонскую.

Пропускаем несколько глав из повести Полины; конец, как читатели догадываются, следующий:

Надина уже Надежда Владимировна Бронская: она три года замужем; она говорит барону: «Теперь я могу сказать, что я вас любила, потому что теперь я уверена в себе. Я не жалею о прошлом, я люблю своего мужа, который и т. д. Прощайте же; помните или забудьте меня, для меня все равно. Но для вас лучше забыть меня, потому что я искренно жалею вас. Ах, зачем не любят нас тогда, когда мы так готовы любить!»

— Какой прекрасный слог! Какие нежные, тонкие штрихи! Как верно понят, как художественно воспроизведен характер Надины! Последняя сцена безукоризненно художественна! — Таков был общий голос гостей. Некоторые прибавляли, однако, что в повести мало непосредственности; что рефлексия вредит таланту и что даровитая Полина должна более заботиться о непосредственности и, если можно так выразиться, — девственной свежести образов; что иначе рефлексия сгубит ее талант. Одна дама даже находила в повести Полины тенденцию, затаенную мысль и была этим очень недовольна. Другая соглашалась с нею, что в повести есть мысль, но была в восторге от этой мысли. Многие мужчины уверяли, что характер барона не верен природе или исключителен; потому что мужчина способен так же самоотверженно любить, как и женщина; утрировку характера барона многие из них объясняли личной антипатией Полины к мужчинам; другие возражали: нет, это просто следствие того, что автор — женщина; есть мужские характеры, которых не может понять женщина: но видеть в повести Полины филиппику против мужчин — верх нелепости; талант Полины отличается объективностью; в ее произведениях нет и следа субъективных симпатий и антипатий; лучшее доказательство того — прекрасная благородная роль, какую дает она мужу своей Надины. Несмотря на эти разногласия, все были согласны, что у Полины много рефлексии, еще согласнее были в том, что она одарена замечательным талантом. Я, также присутствовавший на этот раз в числе гостей, не мог не сказать, что «Пять лет» — прекрасная повесть. Следовательно, это дело решенное, и вам, чита-

тель, не принесет пользы никакое упорство. Лучше согласитесь с нами.

За восьмилетнюю Полиною начал читать девятилетний Ваничка, «рассказ»:

СТАРЫЙ ВОРОБЕЙ.

Сюжет его, если хотите, был несколько похож на сюжет «Пяти лет».

Свирцов, un homme blasé, не обращает внимание на Cathérine Буллинскую, но, когда робкая и небогатая девушка стала Катериною Васильевною Невзорцевой, блестящею и смелою дамою, он почел ее достойною дать занятие его утомленному, скучающему воображению. Она, ловко доведя его до формального объяснения, расхохоталась ему в глаза «самым непринужденным, веселым, звонким, ребяческим хохотом, и Свирцову показалось, что перед ним стоит не M-me Невзорцева, а Cathérine Буллинская, и стыдно стало ему, и горько припомнилось ему в ту минуту его натянутое невнимание, его изученная холодность» и т. д. «Останемся же друзьями, мой милый, добрый M-г Свирцов», продолжая хохотать, сказала ему M-me Невзорцева и протянула ему руку: «вы совсем не так злы, как мне казалось когда-то».

Все нашли, что характер Свирцова нарисован мастерскою рукою; некоторые даже прибавили: «вот истинный герой нашего времени, разоблаченный от фальшивой Лермонтовской драпировки». Нашлись даже господа, которые решили, что по развитию мысли — в художественном отношении они не сравнивают, обращая внимание преимущественно на мысль, которая душа повести, — что по развитию мысли Ваничка стоит выше Лермонтова; они хотели было прибавить, что это не доказывает еще превосходства Ваничкина таланта над талантом Лермонтова, а только то, что наше время далеко ушло вперед от Лермонтовской эпохи; но этих слов уж почти нельзя было расслушать: едва послышалось выражение «мысль есть душа произведения», как двадцать голосов закричали: «А художественность? Она главное. Вы забываете художественность; мысль без художественности ничего не значит. Художественностью произведения дается ему мысль» и т. д.; в азарте даже не заметили защитники художественности, что та мысль, о которой дерзнули заикнуться их противники, чрезвычайно пустовата, так что обращать внимание на ее присутствие или ее отсутствие решительно не стоит. Защита художественности не могла умолкнуть в течение десяти минут, и потому повесть Ванички осталась необсужденною; только вообще было высказано, что у Ванички несколько утомленный взгляд на жизнь и что он, конечно, много испытал или, по выражению одного из гостей, «его талант возмужал в испытаниях жизни». Теперь была очередь Бориньки, и он прочитал:

ЧЕРНАЯ ДОЛИНА (La Vallée Noire).

У пастуха Ивана есть падчерица Марья. Однажды вечером, стирая белье на живописной речке (см. «Jeanne» роман Жоржа Занда), слышит подле себя вздох — это Федор, который служит батраком на

соседнем пчельнике; Федор подходит к ней и, почесывая в затылке, исподлобья смотрит на нее:

— Чаво ня видал, глаза-те уставил? не без наивного кокетства спрашивает Марья, слегка краснея.

— Эх, Машутка, больно тея полюбил-то! Уж во-как оно легко, ажно вот как колом стоит в сердце-то!

— Исправды? Не пустое ли башь, Федька?

— Эх, ка-бы в душу-то мне заглянула! Вот бы все на чистоту увидала, без прилыгу! Да чево тее сказать! Во, бывало сижу на пчельнике-ти пчелок слушаю, как жужжат-то: больно хорошо таково, гармонии бы не слушал (см. *Maîtres Sonneurs, par George Sand*). Таперица и к пчелам охота отпала, а ведь пчелка наша кормилица! Все сижу, да плачу; во оно каково, мне-то; а ты башь, обманываю!

— А коли любишь, что сватов не засылаешь? говорит насмешливо Марья.

— Али не знашь? Бедность одолела; во постой полтинник зашибу, сватьбу справим, и т. д.

Дело кончается тем, что Федот, хозяин пчельника, узнав причину тоски своего батрака, дает ему вперед три целковых жалованья, на которые справляется богатая свадьба. Федор благодарит Федота:

— Уж так возблагодетельствовал меня, пуще отца родимого.

— Это что, ничаво; все люди должны суть пособлять дружка дружке, чтобы, знашь, рука руку мыла, как стары люди говаривали, отвечает Федот, расчувствовавшись: — у меня на душе таково сладимо: вот, значит, чувство есть; потому: человек есть: добро дело сделал, с меня и довольно».

По окончании Боринькиной повести был довольно жаркий спор о том, может ли простонародный быт дать содержание для художественного произведения. Некоторые говорили: не может; им возражали: может, и представляли, как неопровержимый пример, только что прочитанную повесть; но, прибавляли почти все защитники, только высокая художественность, до которой возвышается Боринька, только она и маскирует внутреннюю бедность содержания; иные, впрочем, не допускали «таких узких понятий» и предполагали, что для двух-трех повестей простонародная жизнь может дать содержание, несмотря на свое однообразие и даже пустоту. Один голос, напротив того, утверждал, что только простонародный быт и может дать истинное содержание для русского таланта, потому что только в Оренбургском крае сохранились русские элементы в неподдельном виде. Но все были согласны в высоком художественном достоинстве Боринькиной повести и до чрезвычайности восхищались удивительно глубокому знакомству Бориньки с простонародной жизнью и дивному его искусству владеть народным языком. Последнее не подлежало спору, потому что многие фразы его героев были не поняты слушателями, и Боринька должен был объяснять, что «ня, башь, тея, без прилыгу», значит: «не, баешь, или говоришь, тебя, без всякой лжи». Находили один только недостаток: Боринька позабыл украсить свою повесть многими в высшей степени характеристичными на-

родными словами: «малыш, касатка и махонький». Зато, говорили, с какой верностью воспроизвел он характеры и быт! Федор, почесывающий в затылке, объясняясь в любви — несравненный тип; еще вернее подмечена черта наивного кокетства в Марье, говорящей: «а коли любишь, чаво же сватов не засылаешь» и с скромно-насмешливым кокетством спрашивающей: «чаво не видал, глаза-те уставил». Высокая самобытность таланта Бориньки, его неподдельная народность были признаны неоспоримыми.

Теперь была очередь читать одиннадцатилетней Анете; но скромная девочка стыдилась, чувствуя, что ее повесть слаба сравнительно с прочитанными, а быть может и поняв, что дети вообще едва ли могут писать повести. Петруша, досадуя на замедление, нетерпеливо желая похвастаться своим произведением, закричал: «если не хочешь читать, та соеиг и не читай; не заставляйте ее, позвольте читать мне». Слушатели согласились, и Петруша начал:

МОЙ ЗНАКОМЕЦ

Иван Андреевич Загибин, которого Петруша саркастически называл своим знакомцем, намекая на многочисленность людей подобного рода, был тщеславен, любил прилгнуть, любил порою поиграть в карты, порою поволочиться или покутить. Эти пороки выставлялись Петрушею в самом ярком свете, и вся повесть была пропитана самою едкою ирониею. Вокруг Загибина группировались его приятели — франт любивший выказывать свое уменье говорить по-французски, другой молодой человек, щеголявший своею любовью к итальянской опере и тонким знанием музыки, но смешивавший Донизетти с Беллини; наконец третий молодой человек, любивший блеснуть своею начитанностью, высшими взглядами и остроумием. Петруша неумолимо разил и эти важные пороки. Другие лица были менее заметны, но столь же едко осмеяны, например Иван Федосеевич, хваставшийся своими знатными друзьями.

Повесть Петруши нашла восторженных поклонников, хваливших автора за то, что он «нелицеприятно разоблачает недостатки общества»; нашлись, однако, многие, порицавшие Петрушу за эту беспощадность и говорившие, что сатира должна быть осторожна и что не на все должно смотреть с такой мрачной стороны, что жизнь представляет много отрадных явлений и что направление Петруши слишком едко. Впрочем, о повести Петруши говорили не так много, как о предыдущих. Согласны были все только в том, что юмор Петруши глубок и бичует самые мрачные явления современности, потому имеет необыкновенно важное значение. Согласились также, что не должно слишком распространяться об этом и что лучше обратиться к другим предметам разговора, которые без сомнения будут доставлены кротким, примирительным мирозерцанием Анеты; потому все снова стали упрашивать ее, чтобы она прочитала свою повесть. Анета продолжала отказываться; но тетушка сказала строгим тоном: *Lisez, Annette*; и Анета начала читать:

ФЕДИНЬКА И ПЕТИНЬКА.

Фединька не любил учиться, а Петинька любил учиться; Фединька говорил: я сам все знаю; а Петинька говорил: ежели я не стану учиться, то ничего не буду знать. Когда они выросли большие, Фединька ничего не знал, а Петинька стал умным человеком.

Все нашли, что повесть Анеты слишком суха и тривиальна, и что едва ли даже не переведена она с немецкого или какого-нибудь другого языка; потому не стали о ней говорить и разошлись в приятной уверенности, что слышали четыре замечательные произведения и что были свидетелями возникновения четырех литературных направлений. Кроме того, все гости были уверены, что вечер был проведен очень поучительно и что если с одной стороны было прочитано четыре прекрасные и глубокие произведения, то с другой стороны было высказано очень много дельных замечаний и очень важных мыслей. Две или три из этих мыслей были даже сказаны мною; потому я остаюсь в приятном убеждении, что вечер был приятен, занимателен и вообще прошел небесполезно.

Но один из гостей, не участвовавший в наших рассуждениях, идя со мною по дороге, сказал, будто бы мы сами себя обманываем; будто бы прекрасные повести, нами слышанные, были совершенно ничтожны и будто бы о них не стоило говорить. — Почему же они ничтожны? — спросил я его обидевшись. Но он, по какому-то странному капризу, заговорил о погоде, не отвечая на вопрос, что мне показалось вовсе неучтиво.



ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ И ПЕРВЫЕ УРОКИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ¹.

Сочинение А. Ишимовой, ч. I, СПб 1855.

Имя г-жи Ишимовой, как составительницы детских книг, давно уже приобрело у нас такую известность, что педагогический курс, ею теперь издаваемый, не нуждается в наших похвалах. Мы ограничимся только извещением о содержании первой части «Уроков для маленьких детей». «Многие матери семейств, — так объясняет в предисловии г-жа Ишимова цель своего нового сочинения, — «занимающиеся сами воспитанием детей своих, давно говорят с величайшею похвалою о сочинении французской писательницы г-жи Тастю «L'éducation maternelle» и, сожалея, что у нас нет подобной книги, изъявляли не раз желание иметь, по крайней мере, перевод ее». Достоинство курса г-жа Тастю несомненно (продолжает г-жа Ишимова); но перевод его принес бы мало пользы нашим детям, потому что составительница обращает главное внимание на то, что нужно и интересно для французских детей, а не для русских. Потому г-жа Ишимова решилась из своей книги «Чтение для детей первого возраста»

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. II, стр. 322—323, «Современник» № 3, 1855.

составить такое руководство, которое, будучи применено к потребностям русского воспитания, с выгодой заменило бы для наших матерей-воспитательниц книгу г-жи Тастю.

В первой части, ныне изданной, заключаются уроки чтения, каллиграфии, нумерации и краткая священная история. Все это изложено в виде разговоров между матерью и детьми или в форме маленьких повестей, чтение которых, по мнению г-жи Ишимовой, будет завлекательно для детей. Разговоры и повести дают случай сообщить маленьким читателям первоначальные понятия из естественных наук и пр. Все они проникнуты чистейшею нравственностью.



ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ¹

В. Классовского, СПб 1855¹.

Математические науки, достигшие высокой степени совершенства, во многом должны служить образцом состояния, к которому надлежит стремиться и остальным наукам. Как стройно, как несомненно, как необходимо развивается в них каждое последующее предложение из предыдущего! Как точно определено содержание, как ясно сознается существенная задача каждой науки! Никто не спорит, к арифметике или геометрии, к дифференциальному исчислению или тригонометрии относится та или другая формула, та или другая теорема; никто не сомневается, что арифметика должна учить умножению и делению, а не землемерию или вычислению эллиптических функций, что геометрия должна учить землемерию площадей и тел, а не вычислению вероятностей или предсказыванию солнечных затмений. Математик может справедливо гордиться своею наукою и ставить ее в пример всем другим.

Не то в науках, касающихся человека и объясняющих явления его жизни. Пределы их, даже существенные задачи их так слитно сплетены, что трудно избежать темноты или ошибочности в понятиях о значении, содержании, методе каждой из них. Возьмем, например, историю литературы. Тотчас же является недоумение о том, как обширны должны быть границы ее. Она должна показать развитие умственной жизни народа. Итак, неправда ли, если она ограничится беллетристикою, поэзиею, историею, красноречием, она будет неполна, потому что только совокупностью всех отраслей умственной деятельности определяется развитие умственной жизни. Итак, история литературы должна говорить и о специальных науках — о математике, юриспруденции, медицине и т. д. Возможно ли одному человеку написать дельную книгу с таким широким объемом содержания? — решительно нет, но пусть будет написана такая книга; может ли понять ее один человек, если она будет отделяться от специальных

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. I, стр. 359—364, «Современник» № 3, 1855

наук не пустыми общими фразами? Могу ли я понять состояние математики у древних, могу ли понять заслуги Лаланда, Гауса, Пуассона, Коши, не зная высших частей математики? Могу ли я оценить открытия и ошибки Бруссе, Ганемана, Присница, не зная очень основательно медицины? Нужно найти всезнающих гениев, иначе не для кого и писать историю литературы в полном ее объеме. Сам Гумбольдт не все знает и не может читать серьезных трактатов о всех существующих в мире науках. Следственно, поневоле надобно в истории литературы ограничиваться изложением только общедоступных отраслей науки, имеющих ближайшую связь с умственной жизнью целого общества. Но какие науки имеют «ближайшую связь», какие только «отдаленную»? Опять сомнения и недоумения. То же самое, что об истории литературы, надобно сказать и об истории вообще, о филологии, философии и т. д. Повсюду трудности, повсюду возможность ошибок и недоумений.

Мы вовсе не хотим сказать, что ошибки неизбежны, недоумения неразрешимы. Наше время — время великих открытий, твердых убеждений в науке, и кто предается ныне скептицизму, свидетельствует этим лишь о слабости своего характера или отсталости от науки или недостаточном знакомстве с наукою. Но мы хотим только сказать, что ясные случаи могут помогать решению неясных, что все науки находятся между собою в тесной связи и что прочные приобретения одной науки должны не оставаться бесплодными для других. Надеемся, что это истина, не подлежащая спору, точно также как и то, что математические науки достигли несравненно высшего развития, нежели остальные.

К числу важных и прочных приобретений, каких уже достигла математика, принадлежит очень ясное различие, какое положено между частями ее, которые должны (потому что могут) быть известны всякому образованному человеку, и другими частями, знакомиться с которыми должен только человек, посвящающий себя специальному занятию математикою, потому что для неспециалиста они были бы непонятны. Никто не думает утверждать, чтобы в уездных училищах было возможно преподавать конические сечения, или в гимназиях вариационное исчисление. Эти части науки с пользою могут быть изучаемы только взрослыми юношами, специально посвящающими свою жизнь математическим наукам. Но даже и те части математики, которые должны входить в круг общего образования, излагаются тут совершенно не в том виде, какой имеют в строгой специальной науке. Мальчику, который учится арифметике, не считают нужным или возможным внушать, что арифметические действия — только частные случаи высших алгебраических законов и что сложение или умножение, собственно говоря, есть только особенное приложение какой-нибудь формулы интегрального исчисления, даже не говорят ему, что двенадцатиричная система гораздо лучше десятичной, которая совершенно произвольна, не считают нужным объяснить ему, что семьдесят пять пишется 75 по такому закону: $an^1 + bn^0$, где $n =$ десяти, а если бы n был равен двенадцати, то семьдесят пять написалось бы не 75, а 63, между тем как при двойничной системе, где в формуле $an^1 + bn^0, n = 2$, то же число семьдесят пять напишется

1 008 021, и что собственно все равно, как ни писать, лишь соблюдать формулу $an^2 + bn' + cn^0$. И всякий согласится, что хорошо делают, не муча мальчика, еще не знающего нумерации, над этими мудростями, хотя на них и основывается нумерация, как знает всякий, изучивший высшие части алгебры. Если бы начали семилетнему мальчику толковать эти совершенно необходимые для специалиста вещи, бедняжка мог бы сойти с ума, и наверное плохо пошло бы у него арифметическое дело.

Не должно ли прилагать и к другим наукам этот закон различия между частями и понятиями, доступными и нужными только специалисту, и между другими частями, необходимыми в системе общего образования? Кажется, что это необходимо. Пример математики нам доказывает, что общее и специальное образование различаются друг от друга не только объемом, но и характером изложения. Для специалиста 375 основаны на формуле $an^2 + bn' + cn^0$; специалист скажет даже, что в строго научном смысле 375 непонятны без формулы $an^2 + bn' + cn^0$; но формулу эту знают только сотни из миллионов, умеющих писать цифры и достаточно знающих арифметику.

Точно то же и в истории. Специалист скажет, что, не прочитав Zendavesty в подлиннике, нельзя понять персидское царство, не умея читать иероглифов, нельзя знать Египта. Но вообразим, что, увлекшись этими понятиями, справедливыми в строгом ученом смысле, мы заставим всякого, кому нужно знать, что Камбиз покорил Египет и убил быка Аписа, предварительно изучить Zendский язык и иероглифы. Что выйдет из этого? Кто не читал в подлиннике Гомера, тот не знает Греции, скажет специалист, и будет прав; но что выйдет, если мы начнем всякого, кому нужно знать об Ахиллесе и Троянской войне, учить читать в подлиннике Гомера и углубляться в тонкости ионического диалекта? Возможно ли это? И нужно ли это?

Теперь легко решить и филологические вопросы. Кто не умеет ставить на месте букву *ять* и знаков препинания, тот невежда. Выучиться правильно употреблять букву *ять* можно, только узнав различие частей речи, падежей и глагольных форм; правильно употреблять знаки препинания можно, только узнав состав предложения. Этому учит грамматика. Итак, без грамматики никому нельзя обойтись. Трудно ли выучиться ей так, чтоб уметь разбирать части речи, падежи, времена, подлежащее и сказуемое, слова дополнительные и определительные? О, если дело только в этом, нетупоумного мальчика можно выучить грамматике в две недели.

— А в чем же дело? Что же еще нужно знать?

— Как что? Разве вы забыли, что формы русских падежей объясняются только историческою грамматикою, состав предложения, смысл падежей, глагольных форм, частей речи только философскою грамматикою. Итак, нужно знать их.

— Прекрасно: но кому знать? каждому, кто обязан быть не невеждою, или только специалисту?

Вопрос, как мы говорили, решить очень легко. Нам нужно знать, что в дательном имен, имеющих в именительном *а*, пишется буква *ять*. Можно сказать просто, как говаривалось в старых грамматиках: «дательный ставится на вопрос: кому? дать брату, сестре; сестре

дательный падеж». Это каждый поймет в одну минуту. Чтобы таким способом правильно разбирать падежи, нужно только запомнить их имена, и дело будет кончено. Но неужели можно ограничиться такими скудными и в строгом ученом смысле неосновательными сведениями. Нет, нужно основательное знание. Оно дается только сравнительно-исторической филологией при помощи философской грамматики. Посмотрим, что скажет нам новый и основательный способ изучения.

Но прежде нужно сделать воззвание: читатель! если вы не искусились в безднах филологическо-философской грамматики, читайте следующие строки с вниманием, перечитайте их несколько раз — понятия, нами излагаемые, в сущности правильны, основательны, изложены логически; следовательно, должны быть понятны. Но если вы их поймете, то скажите: прояснилось или запуталось от наших мудростей ваше знание о дательном падеже и о том, что в дательном ставится буква *ять*, когда именительный имеет *а*. Читайте же со вниманием.

Предмет, выражаемый дополнением, не подвергаясь страдательно действию извне и не вызывая сопротивляемостью своею действия со стороны подлежащего, прямо противопоставляется подлежащему в виде чего-то самостоятельного, по собственной воле действующего. Он принимает форму дательного падежа и есть собственно падеж лица, а не вещи. Итак, дать *брату* — дательный падеж.

Но в фразе: он *ему* брат, *ему* не дательный падеж, а собственно родительный, только выражаемый формой дательного; или даже и не родительный, а прилагательное притяжательное, выражаемое падежом существительного. Напротив в фразе: он отнял *у брата*, *у брата* не есть родительный с предлогом *у*, а дательный беспредложный, выражаемый формой родительного с предлогом *у*. Это очевидно из следующего сличения:

Он *Иванов* брат, значит то же, что он брат *Ивану*; итак, *Ивану* здесь стоит вместо *Иванов*, потому и не есть дательный падеж, а прилагательное имя. Он согласуется с существительным — итак, *Ивану* есть в этой фразе имя прилагательное, мужского рода именительного падежа.

Точно так же: дал или отказал *брату* и отнял *у брата* отношение понятий совершенно одинаковое, потому *у брата* здесь дательный падеж.

Скажите, легко ли вам теперь узнавать дательные падежи? А мы привели только два пояснительных случая (*брат Ивану*, *Ивану* прилагат. имен. пад. и отнял *у брата* — *у брата* дательный без предлога); а для полноты и основательности нужны сотни подобных примеров; скажите же, удобно ли и верно ли достигается этим способом отличие дательного падежа от других падежей?

Неправда ли, привыкнуть узнавать таким образом столь же легко, как дойти до умения разрешать уравнения пятой степени с подкоренными величинами?

$$\left\{ \frac{a^5 \sqrt{b^3 + c^4 - \frac{d^2}{e^3}}}{a + b^2} \right\}^2 = \text{дательному падежу.}$$

Отыскать его по этой форме не легко, но полезно в качестве умственной гимнастики. Теперь мы знаем, что такое дательный, этим обязаны мы философской грамматике; взглянем, при помощи сравнительно-исторической филологии, на букву ъ, которую надобно ставить в дательном падеже имен.

ъ собственно не ъ, а аї. Это аї знак не только дательного, но и родительного падежа, как видно из латинского aquaī = воды и воде, но иногда ъ = не аї, а і, как видим из сличения славянского. Именительный — земля, родит. — земля, дат. — земли. Здесь очевидно новый язык заменил истинным дательным падежом родительный, а нынешний дательный землѣ, совершенно неправилен, явился неорганическим образом из смешения склонений. Итак, надобно писать землѣ, хотя это совершенно неправильно, потому что следовало бы писать в дательном земли, а в родительном земля, так: иду из земля моя; иду к земли моей.

Неправда, этими исследованиями подкрепляется правило о том, что в дательном должно писать землѣ, как пишем рекѣ, водѣ.

Таковы-то все специальные исследования и специальные приемы. Они пригодны и необходимы только специалисту, а на человека, не предназначившего себя быть специалистом, производят такое же действие, как чтение медицинской книги на человека, не изучавшего в течение многих лет медицину со всеми ее вспомогательными науками. У того и другого являются самые странные и тяжелые мысли. А играть роль филолога человеку, не употребившему нескольких лет жизни на изучение филологии, то же самое, что играть роль медика, не зная медицины: следствия будут очень вредные для пациентов. Специальностью нельзя играть. Специальность не маскарадное домино, в которое каждый может наряжаться по произволу.

Но однако же, возможно ли распространение филологического образования на массу общества? Не может ли филологическое образование войти в состав общего образования, как некогда входил латинский язык, как ныне входят новейшие языки?

Решить это очень легко. Человек, предназначаемый получить филологическое образование, должен предварительно ознакомиться: 1) с славянскими наречиями, именно: старославянским, сербским, хорутанским, чешским, лужицким, польским, 2) с языками: немецким (в его древней форме, так называемом готском языке), латинским, греческим.

Менее этого нельзя знать, а собственно говоря, должно знать еще несколько других языков и наречий.

Кроме того, он должен основательно изучить древности (мифологии, общественного быта, нравов) немецкие, кельтские, римские, греческие, не говоря уже о славянских.

Без этих приготовительных знаний филологическое образование так же невозможно, как знание дифференциального исчисления без знания алгебры.

Но мы говорили только об одной стороне нового метода, филологической; а он имеет и другую сторону — философию языка, оракулом которой является Беккер. Для решения того, какая степень умственного развития требуется от человека, желающего сделаться

учеником Беккера, довольно сказать, что учение Беккера о языке есть приложение к фактам языка философской системы Гегеля, которую понимать начинают только взрослые люди, да и то получившие прочное философское образование. Мы имеем основания предполагать, что многим из мнимых последователей Беккера эти слова покажутся удивительною новостью. В таком случае советуем им ближе познакомиться с системою, о которой мы говорим. Поняв ее, они увидят, что до того времени не понимали Беккера, учение которого остается пустою и бесполезною формою для людей, не знакомых с Гегелем. Этого достаточно, чтобы показать, до какой степени Беккерова система может войти в круг общего образования. Теперь надобно было бы сказать о степени ее основательности. Но людям, знающим современное положение философии, не нужно объяснять, что система Гегеля не удовлетворяет современным понятиям и что вместе с ее распадением и Беккерова система потеряла право считаться непреложною.

Наконец, оставляя в стороне вопрос о возможности, взглянем на пользу или цель этого стремления. Для чего нужно вводить философско-филологическое направление в первоначальное изучение грамматики? Для того, чтобы под формою грамматики учить детей филологии? Но филология такой же специальный предмет, как изучение восточных языков, и если не для чего желать, чтобы все мы выучились говорить по-арабски или по-персидски, то столь же напрасно желать дать всему обществу филологическое образование.

Или филолого-философские тонкости будут благотворною гимнастикою для ума? Но гимнастика должна быть соразмерна силам упражняемого в ней. Нельзя заставлять малютку бегать в латах Орланда или Амадиса Гальского, он падет в них, будет лежать неподвижно. И разве в системе общего образования мало предметов, считаемых превосходною гимнастикою для ума? Таковы все предметы, доступные детскому уму и не лишенные внутреннего смысла.

Но, заговорившись о методе, мы еще не коснулись книжки, изданной г. Классовским. Мы должны сказать, что эта книга прекрасна. Автор несомненно доказывает свои глубокие филологические познания изложением, которое отличается глубиною и ясностью, и также многочисленными цитатами. Назовем хотя немногих из огромного числа авторов, которых сочинения он приводит: Гумбольдт, г. Буслаев, Кюнер, г. Лавровский, г. Костырь, г. Борисов, г. Перевлесский, Кур-де-Жебелен, Беккер, Фатер, Потг, г. Шафранов, Таппе, Миклошич. Кроме того, г. Классовский очень часто цитирует самые источники: латинских и греческих писателей, наши летописи и старинные грамоты и пр. Таким богатым запасом эрудиции могут гордиться не многие из наших филологов, и не удивительно, что г. Классовский не только прекрасно излагает результаты, уже приобретенные наукою, но и движет науку вперед, предлагая вниманию специалистов новое определение видов глагола.



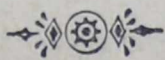
О ДРЕВНЕ-РУССКИХ УЧИЛИЩАХ¹.

Рассуждение Н. Лавровского, Харьков 1854.

Не скроем от читателя, что мы взяли за эту книгу с великими опасениями. Мы ожидали, что по примеру других, более или менее ученых изыскателей, трактовавших в последнее время о просвещении в древней Руси, автор будет доказывать, что при Владимире Мономахе или Иоанне Калите существовали на Руси учебные учреждения, подобные нынешним гимназиям, лицеям, университетам; что у нас процветало в XI—XIII веках изучение французского и немецкого языков, не говоря уже о латинском и греческом; что у нас ученым образом преподавалось тогда римское право, как в Болонье, медицина, как в Салерно, даже, по всей вероятности, органическая химия по системе Либиха и электромагнетизм по понятиям Фарадея и Араго. К счастью, ничего подобного автор не утверждает. Здравый смысл спас его от поразительных открытий, которыми столько раз удивляли нас в последнее время. Но, к несчастью, автор не мог найти решительно никаких определенных известий о предмете, который должен был составить содержание его книги. Потому его книга осталась совершенно без всякого содержания. В ней говорится об училищах, но говорится о них — ровно ничего, потому что ровно ничего нельзя сказать о них. Впрочем, ни нашей радости, ни нашего сожаления не должно понимать в безусловном смысле. Мы радуемся скромности выводов только потому, что ожидали найти гораздо больше и гораздо больших преувеличений, а не потому, чтоб автор был совершенно чист от желания преувеличить. Не должно также думать, чтоб источники не доставили автору ни одного указания об училищах — он не преминул привести известное место из летописи, что Ярослав в Новгороде «собрал от старост и поповых детей 300 учить книгам» — итак, мы жалеем не о том, что автору не попалось решительно ни одного факта, а только о том, что этот единственный факт его книги был уже более 300 000 раз приведен в других книгах и потому лишился своей свежести и завлекательности. Нам кажется, что о предмете столь богатом можно было написать разве три строки: «Ярослав, по словам летописи, собрал и т. д.; нет сомнения, что и после на Руси были люди, умевшие читать и писать; потому несомненно, что на Руси учили читать и писать; а более об этом ничего не известно». Но автор нашел средство написать около двухсот страниц. Интересно будет читателям узнать, каким образом. Вот каким. Все, что ему вздумается, он выписывает из летописей и других памятников русской литературы и во всем открывает признаки великого факта, что некоторые люди на Руси знали грамоте, открывает, произвольно толкуя все места в желаемом смысле. Главнейшее средство для этого дает глагол «учить», который значил не только учить, но также поучать, назидать. Все места, свидетельствующие, что пастыри церкви назидали свою паству в благочестии и благонравии, перетолковывает он в том смысле, что они заводили

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. I, стр. 398, «Современник» № 5, 1855.

училища и были наставниками в качестве школьных учителей, а не в том качестве, как повсюду и всегда каждый священник назывался наставником своей паствы. Между тем во всех случаях очевидно, что говорится не о школьном учении детей, а о благочестивом назидании взрослых. Но остается несколько мест, говорящих действительно об учении грамоте, и надобно видеть, как пользуется ими автор. Так, например, в «Степенных книгах» говорится, что митрополит Михаил советовал «давать каждому ученику урок по его силам» — ясно, что эти слова показывают (если только они действительно принадлежат Михаилу, а не составляют позднейшую вставку), что дело идет не о правильных школах, где много учеников и невозможно проходить с каждым особенный курс, а о том домашнем обучении, когда учитель занимается с двумя или тремя учениками, из которых каждому задает особые уроки. Но г. Лавровский, основываясь на этих словах, готов предполагать, что ученики делились на отделы по успехам, что в наших старинных школах было разделение по классам, между тем как даже не известно, существовали ли школы, или дело ограничивалось только домашним обучением, что и гораздо вероятнее. Мало того, он даже утверждает, будто бы у нас были школы, в которых содержались воспитанники; он даже полагает, что у нас учили в школах грамматике! На чем все это основано? Решительно ни на чем. Так вздумалось предположить автору. Подобным-то способом пишутся большие ученые трактаты о предметах, о которых нельзя сказать двух слов.



ВЫСШИЙ КУРС РУССКОЙ ГРАММАТИКИ¹, Составленный Владимиром Стоюниным, СПб 1855.

В прошедшем месяце мы говорили об учебном курсе русской грамматики, написанном с необыкновенно высокими философскими взглядами и чрезвычайно филологическою эрудициею. Теперь перед нами лежит другой учебник русской грамматики, также написанный в духе сравнительной филологии. Мы далеки от того, чтобы сравнивать по достоинству эти две книги. Недостатки руководства, на-

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. I, стр. 404—406, «Современник» № 5, 1855.

Эта рецензия, помещенная в отделе библиографии журнала «Современник» № 5 за 1855 г., свидетельствует о том, что Чернышевский как филолог интересовался вопросами различных направлений грамматики. В середине прошлого столетия в русской лингвистике вслед за исследованиями немецкого ученого Я. Гримма был поставлен вопрос об историческом принципе в изучении и преподавании грамматики. Крайние истористы хотели превратить и школьную грамматику в изучение исторических основ тех или иных изменений в языке. Чернышевский убедительно показывает, что такие исследования, тонкости языка нужны специалисту, школьная же грамматика должна помочь овладеть практическими знаниями языка, тем более, что значительную часть специальных понятий филологии учащиеся юноши просто в силу своих возрастных особенностей не могут охватить. В нашей школьной грамматике мы даем лишь и большие исторические экскурсы для понимания отдельных явлений нашего современного языка.

писанного г. Стоюниным, можем мы откровенно указать впоследствии, и должны сказать, что во всяком случае г. Стоюнин занимался обработкою своего сочинения очень добросовестно, добросовестно старался о приобретении познаний в том предмете, который излагается в его книге — преимущества очень важные и уничтожающие всякую мысль о сравнении. Кроме того, должны мы прибавить, что г. Стоюнин пишет скромно, не обнаруживает притязаний на великие преобразования в науке, не тщеславится цитатами из всех книжек, которые попадают ему под руку, не хочет разыгрывать роль величайшего из филологов и философов, одним словом, чужд всякого шарлатанства. Мы не думаем сравнивать по достоинству две книги, о которых говорим. Но во всяком случае частое появление грамматик, написанных с целью ввести филологическое направление в преподавание русской грамматики, доказывает, что этот метод, обольстительный по своей новости у нас, начинает входить в моду. Потому нельзя оставить без внимания это модное направление. Мы уже говорили о том, что филология, наука требующая слишком многих приготовительных познаний, не может быть предметом общего образования, как не могут входить в круг общего образования многие другие отрасли науки. Посмотрим же теперь на дело с другой точки зрения. Нужно ли, полезно ли стремиться к тому, чтобы ввести филологическое образование в круг общего преподавания?

Изучать родной язык необходимо, это не подлежит спору. Но с какой целью и в каком направлении должен каждый из нас изучать его? Конечно для того, чтобы уметь употреблять его для выражения своих мыслей. Разговорное употребление изучается практически. Каждый умеет на своем языке говорить о всем, что только знает. Письменное употребление представляет некоторые трудности по запутанности нашего правописания. Итак, необходимо выучиться писать без орфографических ошибок. Этого легко достигнуть, и тогда мы будем вполне владеть своим языком, насколько то позволяют наши способности и степень нашего умственного развития. Никому из русских великих писателей не понадобилось филологическое образование, чтобы писать так прекрасно, как они писали. Не совершенно ли достаточно будет знать нам о нашем языке настолько, насколько знали о нем Жуковский, Пушкин, Грибоедов? Разве Пушкин неправильно употреблял прошедшее время глаголов? А ведь он не знал, соответствует или не соответствует оно греческому аористу, не знал, каким санскритским суффиксам соответствует наше *л*, которым характеризуется прошедшее время, не знал, что в слове «люблю» первая гласная есть старославянская йотированное *оу*, а второе — старославянский *юс*, произносившийся с носовым отголоском. К чему нам знать, от какого корня происходят слова «рука» и «нога»? Разве не умеем мы и без того правильно употреблять эти слова? Но этого знания мало, говорят приверженцы модного филологического воспитания. Их понятия сделались так стереотипны, что каждым повторяются совершенно в одних и тех же выражениях. Возьмем же из предисловия к книге г. Стоюнина доказательства, что необходимо каждому юноше 13—15 лет изучать язык глубже, нежели изучал его Пушкин.

«Для человека вполне образованного мало только уметь пользоваться практическими правилами языка; нужно *разуметь* законы своего родного языка, видеть его историческое развитие и то место, какое он занимает между другими языками, понять тесную связь между языком и мыслью, понять, как под влиянием мысли образуется язык. Только при таком знании можно совершенно понять, что язык есть зеркало народа, что в нем отразилась вся духовная народная жизнь. Разумное знание языка раскрывает перед нами дух народа в его языке».

Эти мысли повторяются так часто и с такой безотчетною уверенностью, как будто они — аксиомы, вроде $2 \times 2 = 4$. Но увы, как неосновательны эти мнимые аксиомы и следствия, из них выводимые!

«Мало уметь практически пользоваться языком, нужно уразуметь его законы». — Но вы забываете, что язык — ни более, ни менее, как *орудие* для выражения мыслей, а орудием нужно только уметь пользоваться, а «разуметь законы, по которым оно образовано» дело специалиста, а не каждого человека, употребляющего это орудие. Желудок варит пищу, глаз видит предметы, хотя бы мы вовсе не знали, по какому физиологическому процессу это происходит. Точно так же моя мысль выражается словами: «времени не должно тратить на бесполезные знания, хотя бы я и не «разумел», по каким законам образовались эти слова и эта фраза. Зачем же нужно мне обременять голову тысячами ненужных подробностей о том, от каких корней, посредством каких приставок образовались слова «бесполезно» и «не нужно»? Филологу это знать необходимо, как математику необходимо знать свои формулы, как египтологу необходимо знать иероглифы. Но неспециалисту эти знания вовсе не нужны.

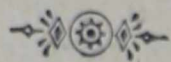
— «Но, изучая язык народа, мы изучаем дух народа». — Не гораздо ли легче, определеннее, полнее изучается дух народа изучением его истории, его литературы, его нравов? Зачем идти к цели длинным, скучным, неверным путем, когда можно гораздо вернее достигнуть ее другими путями, более удобными и более благотворными для умственной деятельности?

— «Но язык есть зеркало народной мысли»; — не все зеркала отражают предмет в его полном размере и истинном виде. В литературе, в истории, жизнь народа отражается верно и полно; в языке неточно, неполно и часто неверно. Мы знаем, что противоречим в этом случае общепринятому мнению, потому приведем несколько примеров. В арабском языке глагол не имеет времен, неужели же арабы не понимают различия между прошедшим, настоящим и будущим? В английском языке нет различия между родами имен существительных — неужели-ж англичане не понимают различия между поваром и кухаркою? а между тем то и другое понятие выражается по-английски одним и тем же словом. Дело в том, что мысль не вполне выражается словом — надобно подразумевать то, что не досказывается. Иначе люди научались бы из книг, а не из жизни и опыта. Конечно, развитие языка идет вслед за развитием народной жизни, но мы не «разумеем», какая нужда изучать отражение предмета в зеркале, когда он сам очень хорошо виден из литературы и истории. Ужели, в самом деле, дел Петра Великого нельзя узнать из Голикова «Дея-

ний Петра Великого», и непременно нужно для этого исследовать, какие слова ввел Петр Великий в русский язык? И скажите, каким образом из филологического изучения русского языка вы узнаете, что Пушкин ввел в русскую литературу новые идеи? Для этого нужно знать историю русской литературы, а не филологически разбирать русский словарь или русскую этимологию.

Филология наука очень важная¹ — но для того, кто хочет ею специально заниматься; человеку, который не намерен сделаться филологом, санскритский язык не принесет ни малейшей пользы. Еще менее пользы приобретет он, научившись различать большой юс от малого. Странно даже доказывать такие простые истины. Но как же не защищать их, когда модное направление стремится к тому, чтобы вместо сведений о человеке и природе набивать голову юноши теориями придыханий, приставок, корнями и суффиксами. Годы, посвящаемые человеком учению, драгоценные годы. Жаль тратить их на мученье ребенка или юноши над бесполезными для него тонкостями, которых не может он и постичь вполне.

Не будучи согласны с г. Стоюниным в необходимости или полезности руководств, подобных составленному им «Высшему курсу русской грамматики», мы должны, однако же, отдать автору ту справедливость, что он старался «уразуметь» филологию. Но его книга была бы свободнее от ошибок, если бы он был осмотрительнее в выборе авторитетов. Труды гг. Буслаева, Востокова, Давыдова, Срезневского можно пользоваться безопасно, они не введут в важные ошибки. Но драгоценные труды г. Павского могут принести пользу только опытному специалисту; до некоторой степени надобно сказать это и о труде г. Каткова; других своих руководителей напрасно не оставил г. Стоюнин, потому что у них более ошибочного, нежели верного. Сравнения с персидским языком, принадлежащие самому г. Стоюнину, часто бывают очень удачны и придают некоторую самостоятельность его труду. Но — если выразить наше мнение откровенно, то мы посоветовали бы г. Стоюнину или совершенно посвятить себя филологии, или совершенно оставить ее. Как и во всякой специальности, в филологии не должно существовать дилетантизма.



¹ Интересно привести в связи с этим мнение Н. Г. Чернышевского, высказанное им в письме к своему отцу. Так, он пишет: «На днях был очень забавный случай, у нас начали было толковать, что нужно, уча детей грамматике, преподавать им ужасные мудрости, известные под именем филологии, общесравнительной и исторической. В нескольких статейках по поводу грамматики, написанных с этими премудростями, я объяснял, что это нелепо, ... — вчера Срезневский, один из главнейших представителей филологического направления, сказал мне: «А к чему же наконец приведет филология?» — «Ни к чему», — отвечал я, — и он сказал: «Да, правда». («Литературное наследие», т. II, стр. 260.) Таким образом, мы видим, что эту мысль Чернышевский проводит настойчиво, упорно.

УЧЕБНЫЕ РУКОВОДСТВА ДЛЯ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ¹.

Руководство начальной геометрии, СПб. 1855.

Имя составителя этого руководства, г. Остроградского, служит достаточным свидетельством тех высоких научных достоинств, которыми отличается его сочинение, содержащее исследования относительно прямой линии и прямолинейных фигур. Если бы г. Остроградский написал руководство свое по общей методе, принятой для учебных геометрий, его книга и тогда, без сомнения, заслуживала бы величайшего внимания, потому что его математический гений необходимо улучшил бы изложение многих частей. Но руководство, составленное г. Остроградским, имеет другое, более глубокое, значение для науки, потому что наш знаменитый математик вводит совершенную реформу в методе учебников геометрии, предполагая заменить способ доказывания посредством черчения фигур способом аналитическим, доказывающим геометрические положения без пособия фигур. Вот как он говорит об этом в предисловии:

«Автор имеет в виду приблизить изложение истин начальной геометрии к способам, употребляемым в других частях математики. Однакож он не посмел, в первой попытке, войти в решительное состязание с изложением, которому Эвклид представил образец и которое употребляется более двадцати веков. Но если первый опыт будет одобрен, то в последующих изданиях автор поступит с большею решительностью и введет в начала науки все изменения, необходимые для совершенного выполнения сейчас указанной мысли. Теперь же только некоторые предложения доказаны способом аналитическим и без пособия фигур, т. е. дан алгебраический характер только некоторым частям геометрического изложения».

О научном превосходстве метода, предпочитаемой нашим гениальным аналитиком, не может быть и вопроса. Благоразумно предоставляя опыту доказать ее практическое превосходство в преподавании и потому вводя на первый раз только отчасти предпочитаемый метод, он выказывает скромность, чрезвычайно замечательную в таком ученом. Желаем от души, чтобы его справедливые ожидания исполнились и чтобы опыт всех преподавателей математики решил дело и пользу нового метода, соответствующего настоящему развитию науки. Очень важны — и без всякого сомнения полезны в преподавании — и другие изменения, вносимые г. Остроградским в изложение Начальной геометрии, именно: подробное развитие объяснений о предмете и основаниях науки и введение в курс новых предложений для сообщения совершенной научной строгости выводам. Вот справедливые мнения автора об этом:

«Что касается до подробностей в объяснении предмета и оснований науки, предположений, на которых она основана, и начальных ее истин, ...автор имел в виду избежать неполноты объяснений. Он полагает, что составители курсов Начальной геометрии, по примеру Эвклида, слишком сократили этот важный предмет и тем самым могли породить неясность в идеях и неправильные взгляды на основные начала науки... Некоторые из предложений также

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. I, стр. 431, «Современник» № 9, 1855.

могут показаться излишними; автор просит не произносить подобного приговора, не вникнув совершенно в вопрос: что следует принять как необходимое допущение? и что должно доказать? Вы, например, спросите: начерченная линия прямая или нет? «нет», отвечают вам, «это видно». В практике такое решение достаточно, но в началах науки свидетельство глаза не принимается. Где был бы конец допущениям, основанным на показании чувств? Пусть докажут, что приведенная линия не имеет свойств прямой, и тогда только убедят нас неоспоримо, что она не прямая».

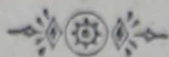
Не нужно доказывать справедливость этих слов; излишне также говорить, что руководство г. Остроградского отличается необыкновенною ясностью и строгостью изложения; излишне и рекомендовать его книгу величайшему вниманию всех преподавателей математики, — все это совершенно излишне, потому что на ней выставлено имя г. Остроградского.



ВЕНГЕРСКАЯ ГРАММАТИКА С РУССКИМ ТЕКСТОМ И В СРАВНЕНИИ С ЧУВАШСКИМ И ЧЕРЕМИССКИМ ЯЗЫКАМИ¹,

Составленная титулярным советником Андреем Дешко, СПб 1855.

Кто, не зная ни по-немецки, ни по-латыни, захочет познакомиться с венгерским языком, тот найдет в грамматике г. Дешко некоторое пособие для исполнения своего желания. Кроме этого, мы ничего не можем сказать в похвалу его книге, если не считать за похвалу неизбежной фразы, что автор заслуживает признательности за самое намерение, если не за выполнение этого доброго намерения. Зная по-венгерски, г. Дешко повидимому не почел нужным для себя приобрести надлежащие знания тех правил, без которых невозможно написать хорошую грамматику, говоря проще, совершенно незнаком с требованиями науки. Потому он вкладывает венгерский язык в рамки старинных латинских грамматик, которые совершенно не приходятся к этому своеобразному языку. Что же касается выводов, которые он извлекает из своих сравнений венгерского языка с чувашским и черемисским, они лишены прочного основания опять потому, что г. Дешко не познакомился с приемами и понятиями сравнительной филологии и вообще поступает в этом случае без всякой критики. Он говорит, что хочет также издать венгерско-русский словарь — желаем ему исполнить это доброе обещание, но с тем вместе желаем, чтобы он, прежде нежели приступит к составлению словаря, постарался приобрести достаточное филологическое образование, без которого нельзя составить хорошего словаря...



¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. I, стр. 439, «Современник» № 9, 1855.

ЦЫГАНЕНОК¹.

Повесть для детей П. М. Шпилевского, СПб 1855.

В основании повести г. Шпилевского лежит мысль добрая и справедливая; некоторые страницы рассказа показывают умение говорить с детьми, — и книжку, нами прочитанную, можно было бы назвать хорошею детскою книжкою, если бы сантиментальность и неправдоподобие многих подробностей не вредили ее достоинству. Дело в том, что сын небогатого помещика, мальчик лет двенадцати, встречается с другим мальчиком, несчастным цыганенком-сиротою, которого в таборе бранят и бьют все, хотя этот мальчик, выученный различным фокусам, кормит табор своими представлениями. Барчонку жаль бедного цыганенка, в котором он видит мальчика доброго и умного; он упрощает своего отца выручить маленького Мартина из несчастного положения; отец соглашается, и Мартин принят в дом своего маленького покровителя, делается товарищем его игр, учится у него читать и всею душою привязывается к барчонку. Это было в каникулы; когда каникулы кончились, барчонок отправляется в гимназию, Мартин остается в доме его отца и через несколько времени начинает так сильно тосковать о своем приятеле и благодетеле, что решается бежать из деревни в город, где учится барчонок, сбивается с дороги, два дня бродит по лесу без пищи; наконец найден и возвращен в деревню, — но от простуды и голода опасно занемогает, — больной, он получает от своего друга письмо, наполненное упреками: один из товарищей по гимназии сказал его маленькому покровителю, что Мартин убежал в лес, увлекшись цыганскою привычкою воровать, и гимназист поверил этому. Огорченный упреками его, Мартин занемогает еще труднее, и гимназист, разубежденный в своих несправедливых подозрениях письмом отца, приезжает в деревню, чтобы утешить и поддержать дух своего приемыша—но уже поздно: бедный Мартин умирает, осыпая выражениями признательности и любви своего маленького друга, который теперь вдвое сильнее прежнего понимает, какую беду наделало его опрометчивое письмо. Читатели видят, что цель повести — внушить сочувствие к бедным, бесприютным, показав, что эти люди за ласку и ободрение платят беграничною привязанностью, и при малейшей возможности становятся людьми добрыми; с тем вместе показать, как осторожен каждый должен быть в подозрениях. Жаль, что многие сцены рассказа, развивающего эти здравые мысли, испорчены излишнею сантиментальностью и что автор сделал его не совсем правдоподобным, заставив помещика не только дать приют цыганенку, но и ухаживать за ним, будто за знатным приемышем. Если г. Шпилевский намерен продолжать издавать повести для детей, то мы советовали бы ему обращать более внимания на простоту языка и естественность в развитии сюжета, — тогда его повести будут лучше изданной теперь, которою мы только наполовину довольны.



¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. I, стр. 471—472, «Современник» № 12, 1855.

РУКОВОДСТВО К ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ¹.

Сочинение Ф. Лоренца, ч. III, отд. 2, изд. 2-е, СПб 1855.

Достоинства книги г. Лоренца единогласно признаны всеми. Мало того, чтобы сказать: «это лучший учебник всеобщей истории на русском языке», — других хороших учебников всеобщей истории у нас нет, и ставить сочинение г. Лоренца выше других русских руководств — похвала еще слишком нерешительная. Но и в немецкой литературе, очень богатой прекрасными учебниками всеобщей истории, сочинение г. Лоренца считается одним из лучших. Автор — человек, которого по справедливости надобно назвать *ученым*; он самостоятельно изучал историю, особенно древнюю, по источникам; со всеми лучшими специальными сочинениями по всеобщей истории он знаком как нельзя лучше. Он выказал в своем «Руководстве» замечательный педагогический талант: рассказ его сжат, но связан и полон; не обременен излишними мелочными подробностями, избытком хронологических цифр и собственных имен — недостаток, которым почти всегда страдают учебники истории, — но содержит множество фактов и все важные факты излагает с обстоятельностью, необходимою для того, чтобы дать о них живое понятие — качество, которого также напрасно будем искать в других наших учебниках. Наконец, г. Лоренц необыкновенно выгодно отличается от других тем, что понимает — и справедливо понимает — значение исторических событий, имеет взгляд, — и взгляд основательный.

Странно, что при таких высоких достоинствах, при таком неизмеримом превосходстве над другими нашими «руководствами» по всеобщей истории учебник г. Лоренца мало распространен, что только немногие преподаватели истории избирают для своего преподавания эту книгу. Если не ошибаемся, главными затруднениями в этом случае преподавателям представляется цена книги и объем ее. Что касается первого затруднения, оно действительно важно — полное сочинение г. Лоренца (5 частей) стоит 11 руб. сер., то-есть вдвое дороже других учебников, и нам кажется, что издатель поступает нерасчетливо, продавая книгу так дорого, — выгоднее было бы для него продать 10 000 по 4 рубля, нежели 2 000 экземпляров по 11 руб. Впрочем, если бы дело останавливалось только за ценою, оно скоро уладилось бы: издатель понял бы, что его собственная выгода требует понижения цены, если с этим соединен всеобщий запрос на книгу. Вероятно, он продает книгу дорого только потому, что не видит ей слишком большого сбыта даже при низкой цене. Итак, дело останавливается только объемом сочинения, приводящим в смущение многих преподавателей.

Не пугаясь того, что руководство г. Лоренца в полтора или даже в два раза более по числу страниц, нежели другие руководства, преподаватели, как нам кажется, не достаточно принимают в соображение, что время, потребное для изучения книги, зависит не столько от ее объема, сколько от содержания. Страница какой-нибудь хронологи-

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. I, стр. 475, «Современник» № 12, 1855.

ческой таблицы или бессвязного перечня собственных имен отнимает у ученика более времени, нежели двадцать страниц связного, логически развивающегося рассказа, передающего события в живых картинах, не обремененного десятками ненужных имен. Советуем гг. преподавателям всеобщей истории обратить на это серьезное внимание. При том же, от их усмотрения зависит выпустить из своих уроков подробности, которые кажутся им слишком длинными, — и сам г. Лоренц уже облегчил это, различив мелким шрифтом подробнейшие рассказы от общего очерка событий.



ЛЕЙТЕНАНТ И ПОРУЧИК, БЫЛЬ ВРЕМЕН ПЕТРА ВЕЛИКОГО¹.

Сочинение Константина Масальского, две части, СПб 1855.

Если вы старик, читатель, вы не обратите внимания на «быль из времен Петра Великого», сочиненную г. К. Масальским: имя этого писателя не соединено с вашими воспоминаниями; если вы молоды, читатель, вы также не захотите читать «Лейтенанта и Поручика», зная, по беглым упоминаниям в журналах о г. Масальском, только то, что он когда-то считался одним из самых посредственных наших романистов; но если вы ни стары, ни молоды, вы — хотя тоже не будете читать «Лейтенанта и Поручика» — посмотрите на обертку этой «были» не без некоторого умиления: вы вспомните о том времени, когда вы, не только выучившись читать очень бегло, но и выучив четыре правила арифметики, две-три главы грамматики до глаголов или наречий, басни «Лисица и Ворона», «Стрекоза и Муравей», начали чувствовать, что в маленьком вашем сердце, в резвой вашей головке поселились, после прежних потребностей в пряниках и конфетах, в детских играх, после неугомонной шаловливости, неутомимой беготни, новая страсть — читать, читать... не грамматику и не басни Крылова, не «Русскую Историю» г-жи Ишимовой — все это скучно, потому что писано для детей — нет, читать книги, писанные «для больших». С какой жадностью бросались вы, десятилетний мальчик, на романы и какое наслаждение доставляли вам эти увлекательные маленькие томики! Это высокое наслаждение доставляли вам не те романы, которыми восхищались ваши тетушки и старшие,

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. II, стр. 281—286, «Современник» № 1, 1856.

В своей рецензии Чернышевский затрагивает вопросы создания увлекательной детской литературы.

На примере занятости сюжета в произведениях К. Масальского Чернышевский ставит вопрос о том, что специальная детская литература середины XIX века «поучительна», назидательна, наполнена морализирующим содержанием, но она должна быть иная: «детские книги должны быть интересны по содержанию, должны увлекать детей фабулой и сюжетом, должны быть просты по изложению».

«большие», братья: Марлинский, Пушкин, Лажечников, Зенеида Р-ва, Гоголь, Павлов, князь Одоевский, Вельтман, — все это было скучно для вас; но как занимательны были для вас «Леонид, или некоторые черты из жизни Наполеона», «Юрий Милославский», «Рославлев, или Русские в 1812 году», «Таинственный Монах, или некоторые черты из жизни Петра I», «Паята, дочь Ледзейки, или литовцы в XIV столетии», и проч., и проч.! Ах, как интересны были эти книжечки! Ныне уже не пишут таких книг, скажете вы с истинною грустью о нынешних десятилетних, двенадцатилетних мальчиках и девочках. Нет уже этой немудрой, но грамотной литературы: люди, не имеющие особенного таланта, но довольно начитанные и не лишенные некоторого умения сочинять складно, не пишут ныне в простоте души, как писалось в старину: нет! они пишут свысока, гонятся за художественностью, за психологическими тонкостями, за анализом, за юмором, как будто все это их дело, как будто все это им по плечу, — и пишут вещи бестолковые и скучные для взрослых, непонятные и скучные для детей.

Не так писали в старину: тогда, без всяких хитростей, половину страниц романа выписывали из какой-нибудь хорошей исторической книги — особенно богатый материал доставляла «История» Карамзина — а другая половина наполнялась незамысловатыми, но очень трогательными или до уморительности смешными приключениями каких-нибудь Владимиров, Анастасий и Киршей. «История» Карамзина написана прекрасно, стало быть нет и спора в том, что одна половина романа была хороша; а другая половина была еще лучше! Припомните только удивительно забавную сцену, как, обиженный Копычинским, Юрий Милославский, чуть ли не с револьвером Кольта в руках и с папироской в зубах, в наказание заставляет хвастливого пана Копычинского съесть, не переводя духа, огромного жареного гуся до последней косточки; пан Копычинский давится, задыхается от объедения, но ест, ест, ест, а Юрий торопит его, наведя свой кольтовский револьвер прямо на лоб наглого труса... ах, как это смешно! А как трогательна судьба Леонида, который борется с своим личным противником Наполеоном и побеждает его! Ведь Леонид и Наполеон были влюблены в одну и ту же девушку, и Наполеон шел в Москву не с другою целью, как только отбить у Леонида невесту и жениться — злодей! от живой жены, Марии-Луизы, — на Полине или Надине, — не помним ее имени, но помним, что дело в 1812 году шло собственно о том, кому «обладать Надиною» или Полиною — Леониду или Наполеону! Помните ли, каким жалким человеком казался этот волокита Наполеон в сравнении с своим соперником, великодушным и храбрым Леонидом? Зато ведь Леонид и победил Наполеона, потому что, если вы помните, Наполеон был побежден не кем другим, как именно Леонидом! Какие замечательные приключения! Прибавьте к этому чистый язык, чистую нравственность, и вы со вздохом скажете: «да, для нынешней малолетней публики уже нет таких прекрасных книжек, какими услаждали нас в детстве добрый Загоскин — гений этой литературы — и другие столь же добродушные и радушные деятели ее: г. Воскресенский, г. Р. Зотов, г. Масальский».

Да, вы не забудете г. Масальского, потому что и он доставил вашему детству столько же сладких часов, как г. Р. Зотов. Как занимательны были его «Стрельцы», «Регентство Бирона». Мы не можем теперь в точности припомнить содержание этих романов, знаем только, что они были хороши; но лучшим его произведением был, по нашим воспоминаниям, «Черный Ящик». Уж одно начало чего стоит! Какой-то молодой провинциал, Карп Силыч, целый век ходивший в чуйке, приехал в Петербург и начинает одеваться по моде, установленной Петром Великим (роман взят из эпохи Петра Великого). Ему принесли кафтан, брюки, жилет, галстук. Он не знает, как приладить эти немецкие штуки на свое туловище; особенно затрудняет его жилет. Уж подлинно, будет жалеть, кто станет надевать эту жалет! восклицает он, наконец решает, что жилет должен застегиваться на спине. После этого надобно, чтобы сюртук и брюки также застегивались на спине, и он надевает все принадлежности костюма задом наперед... Ах, как это смешно! Мы все — и братцы, и сестрицы, и десяток наших маленьких приятелей — целую неделю не могли без хохота вспомнить о том, как Карп Силыч шел по улице в платье, надетом задом наперед, как высокий воротник сюртука подпирал ему бороду, как мальчишки бежали за ним с хохотом и насмешками, как он пришел к своему нареченному тестю — потому что Карп Силыч приехал в Петербург жениться — и как на вопрос хозяйина: отчего все платье на нем надето задом наперед? отвечал: «ветром перевернуло на улице!..» Ах, как это смешно! А как страшно, когда — не помним уже кто, Карп Силыч или прекрасный юноша-офицер, влюбленный в красавицу, на которой хочет жениться Карп Силыч — ночью, при блеске молнии, отправляется на пустынный остров или в дремучий лес, — одним словом, в какое-то место очень страшное, выкопать из-под земли таинственный «черный ящик», в котором хранятся груды золота, с участью которого соединена судьба красавицы-невесты! Превосходно! Никогда не бывало и не будет лучшего, занимательнейшего романа для таких читателей, какими в то время были мы, нынешние люди средних лет.

И заметьте, что этот роман написан правильным, грамотным языком. Какая разница с «Совестдралом большим носом», с «Георгом, милордом аглицким», с «Франциском Венецианом», которыми в детстве воспитывался вкус наших дядей и дедов! О, мы были детьми в счастливое для детей время!

Вечную признательность должны мы хранить к гг. Р. Зотову, М. Воскресенскому, К. Масальскому!

Теперь уже не те времена! Что пишут и как пишут люди, наследовавшие талант этих почтенных авторов? Они хотят раскрывать нам сокровеннейшие изгибы человеческой души, пишут психологические рассуждения в лицах, толкуют о развитии, о борьбе страстей; они хотят блеснуть остроумной иронией, хотят прославиться знанием жизни и людей, хотят даже — о, ужас! — удивлять нас художественными совершенствами своих творений; они хотят быть Гоголями, Гончаровыми, Тургеневыми, Жорж-Сандами, Теккерейми, Диккенсами! Господа, будьте тем, чем создала вас природа; будьте преемниками г. Р. Зотова, г. К. Масальского, и вы принесете свою долю пользы,

и вы будете иметь множество читателей, которые будут хвалить вас. А теперь кто читает и кто хвалит ваши психологические и художественные произведения?

Подумайте об этом совете: его исполнение принесет столько пользы вам, сколько удовольствия тем читателям, которые еще не доросли до повестей с различными ухищрениями в психологическом и художественном роде. А как легко исполнить этот совет: подражать г. Р. Зотову и г. К. Масальскому гораздо легче, нежели подражать Гоголю, Теккерею или Жорж-Санду! И, если хотите, мы еще более облегчим для вас это дело, рассказав содержание и объяснив манеру романов, приносивших такую пользу в старину. Кстати же, перед нами лежит один из этих романов.

В 1710 году, в Петербурге, в бревенчатой избе сидели Александр (по фамилии Ветрин, по чину лейтенант) и Клавдий (по фамилии Ланов, по чину поручик). «Тому и другому собеседнику было около двадцати семи лет; оба считались редкими красавцами. Все девушки влюблялись в них с первого раза». Они пьют венгерское и поверяют друг другу свои тайны. Клавдий говорит, что назначен поход к Выборгу; Александр, восхищенный этим, объясняет, что там найдет он свою невесту, шведку, которую узнал, когда она с отцом жила в плену в Петербурге, — теперь пленные отпущены на родину и живут в окрестностях Выборга. Друзья клянутся в вечной дружбе, сливают назад в бутылку остатки венгерского, которое уже было разлито в серебряные чаши, запечатывают бутылку и обещаются не разрывать дружбы, пока не будет ими выпита эта бутылка. Потом описывается очень подробно осада Выборга. Клавдий, фуражируя в окрестностях города, влюбляется в Элеонору, у отца которой покупает хлеб. Она влюбляется в Клавдия. Он везет к ней своего друга: оказывается, что Элеонора та самая пленная шведка, о которой говорил Александр. Таким образом оба друга влюблены в одну девушку, которая также равно любит их обоих, не зная, кому отдать преимущество. Друзья часто готовы поссориться, но вспоминают о запечатанной бутылке и мирятся, наконец, оба вместе, делают предложение отцу Элеоноры: «пусть она избирает из нас того, кого более любит». Элеонора говорит, что равно любит обоих. Друзья уезжают домой и решаются бросить жребий: по жеребью достается Александру уехать, Клавдию — жениться на Элеоноре. Александр уезжает и, возвратясь через два года, встречает милого малютку — это сын Клавдия; сердечные раны Александра раскрываются. Но вот бежит навстречу другу Клавдий, ведет его насильно в свой дом, представляет его своей жене. Александр поднимает глаза — о, диво! о восторг! это не Элеонора, а Лиза, о которой не было и помину во все продолжение романа. Элеонора плакала, когда Александр уехал, и Клавдий женился на Лизе, а Элеонору сберег для друга. Вот уж подлинно друг! Да, кстати, где же запечатанная бутылка? Она брошена в Иматру, и, следовательно, дружба Александра и Клавдия уже ненарушима.

Какая трогательная наивность в изобретении романа! Столько же милой наивности и в изложении: идея и форма совершенно гармонируют между собою. Вот, например, сцена между друзьями, когда они, в приятном вечернем разговоре и в халатах, объяснились, на сон

грядущий, относительно страсти, наводящей грусть на обоих. (Начинает речь Клавдий.)

— Саша, слушай, что я тебе скажу: я люблю тебя, это ты знаешь! Люблю и Элеонору! Я перемогу себя, чего бы мне это ни стоило, помня нашу давнюю, священную для меня дружбу! Я испытаю себя! Я уверен, что уступлю тебе Элеонору. Конечно, я буду много и долго страдать; да что за беда!

— Нет, Клавдий, мой благородный Клавдий! Я не хочу, чтоб ты из-за меня страдал! Ты первый полюбил Элеонору, ты на нее более меня имеешь права! Пусть буду я страдать, а ты будь счастлив. Ты достоин этого!

— А если я сам хочу страдать, если мне это нравится? Не обижайся, Саша, если я тебе скажу, что я тверже тебя, что мне легче будет перенести страдание. Да что тут долго толковать! Я тебе уступаю Элеонору!

Ветрин засвистал какой-то марш и с мужественным, спокойным лицом начал ходить взад и вперед по комнате.

— Ты мне уступаешь Элеонору... — мрачно проговорил Ланов. — Нет, это невозможно! Этого я не хочу! Разве я не такой же друг тебе, как ты мне? Я не должен уступать тебе в благородстве, Клавдий! Иначе ты перестанешь уважать меня, а тогда не можешь остаться мне другом! Пусть страдает, пусть разрывается мое сердце. Я забуду Элеонору! Будь счастлив с нею, мой великодушный, благородный друг.

Друзья заплакали и сжали друг друга в объятиях. От сильных чувств, которые их волновали, ни тот, ни другой не мог вымолвить более ни слова. Ветрин снял халат и сапоги и лег в постель. Ланов сделал то же.

Какая умилительная борьба великодушия! Истинно, этот отрывок напоминает заключение басни, которую у казака Луганского немец-гувернер написал для своих воспитанников: «Сия басня научивает, что другой был великодушнее одного, а последний великодушнее первого». И как восхитительно заключается эта патетическая сцена дивным замечанием: «Ветрин снял халат и сапоги и лег в постель. Ланов сделал то же». О, несравненное, гениальное простодушие!

Что лучше этой повести может быть придумано для читателей того интересного возраста, когда от арифметики переходят к романам, от романов к игре в лапту или в мяч? Она показалась бы чрезвычайно занимательна этим читателям; но — увы! — она не дойдет до рук их, потому что дети не приобретают книг по своему выбору: они только берут книги, какие находят в библиотеках своих взрослых родных и знакомых; а кто из этих родных и знакомых почтет ныне нужным украсить свою библиотеку «Лейтенантом и Поручиком»? — И что ныне бедные читатели, равно любящие мяч и романы, найдут в этих библиотеках, за исключением повестей гг. Гончарова, Григоровича, Л. Н. Т., Тургенева и немногих других? что найдут они, кроме этих повестей, которые слишком не под силу детскому уму и детскому вкусу? Бедные дети нынешнего времени! Пожалейте их, господа подражатели Григоровича и Тургенева! Перестаньте тянуться вслед за этими писателями: это слишком трудно. Оставьте, подражайте лучше г. Р. Зотову и К. Масальскому: они были равны вам по таланту, но писали занимательно, хотя для некоторого класса публики, потому что не имели ваших претензий; подражайте же им, и если люди, перешедшие эпоху простодушия, попрежнему не будут читать вас, то никто не будет и осуждать вас; напротив, многие будут читать вас с удовольствием.

Но нет, это невозможно! В мире не осталось уже ныне романистов и нувеллистов наивных, которые, по выражению реторики Ко-

шанского, «писали, как умели, наудачу»: каждый ныне имеет претензии на глубокомыслие, на наблюдательность, на художественность, не думая о том, что лучше написать «Лейтенанта и Поручика», нежели... однако, к чему приводить примеры? Каждый читатель припомнит десятки их, а писатели, в пример которым ставим мы г. Р. Зотова и г. К. Масальского, вероятно, сами твердо помнят названия своих произведений.



АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН. ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНИЯ¹.

...Образованным человеком называется тот, кто приобрел много знаний и, кроме того, привык быстро и верно соображать, что хорошо и что справедливо и что дурно, что несправедливо, или, как выражаются одним словом, привык «мыслить», и, наконец, у кого понятия и чувства получили благородное и возвышенное направление, то-есть приобрели сильную любовь ко всему доброму и прекрасному. Все эти три качества — обширные знания, привычка мыслить и благородство чувств — необходимы для того, чтобы человек был образованным в полном смысле слова. У кого мало познаний, тот невежда; ум не привык мыслить, тот груб или тупоумен; у кого нет благородных чувств, тот человек дурной.

В детстве, в первую пору молодости, человек учится в школах: уроки наставников имеют ту цель, чтобы сделать юношу образованным человеком. Но когда он выходит из школы, перестает учиться, его образование поддерживается и совершенствуется чтением, то-есть вместо прежних наставников, которых слушал мальчик и юноша, взрослый человек имеет одну наставницу — литературу².



КРИТИКА³.

*Сочинения Т. Н. Грановского. Том первый,
Москва 1856.*

...На самом деле, у нас очень мало людей, которые следили бы за наукой, — тем больше, разумеется, чести немногим, действительно следящим за ней. Но обязанность их совершенно не та у нас, как на Западе, потому что они должны действовать в обществе, находящемся не на той степени умственного развития, как западное общество.

¹ Предисловие издателя (т. е. Н. Г. Чернышевского. Книга эта была издана без фамилии автора).

² Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. X, ч. 2, стр. 199—200. Отрывок из I главы, 1856.

³ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. II, стр. — 404—408.

Там прогресс состоит в дальнейшей разработке самой науки, у нас до сих пор еще — в том, чтобы полнее усваивать результаты, которых уже достигла наука; там на первом плане стоят потребности науки, у нас — потребности просвещения.

Грановский понимал это и служил не личной своей ученой славе, а обществу. Этим объясняется весь характер его деятельности. Специальная наука его была история. Чего недостает нам в настоящее время по этой важной отрасли знания? Чем мучится наше общество? Тем ли, что многие очень важные вопросы в этой науке еще не разрешены? Нимало; оно даже не предчувствует существования этих неразрешенных вопросов, и если слышит, что в науке еще не все сделано, то наивно предполагает нерешенными именно те вопросы, которые уже давно объяснены¹.

Возможность подобных недоразумений ясно указывает на то, в чем состоит истинная потребность нашего общества: в настоящее время ему нужно заботиться о том, чтобы короче познакомиться с наукой в ее современном положении. Оно и само требует от своих ученых именно этой, а не какой-нибудь другой услуги; они должны быть

¹ До какой степени простирается эта ошибка, можно видеть, например, из статьи «Московского Сборника», о которой упомянули мы выше. Автор, бесспорно принадлежащий к числу просвещеннейших людей у нас, говорит, между прочим, что наши ученые должны решить те важнейшие вопросы в истории, которые не решены западной наукой, и сетует на наших историков за то, что не двинули этих вопросов вперед, не сказали о них ничего нового. Каковы же задачи, не разъясненные, по мнению автора, наукою? Вот они: «Догадались ли мы, что каждый народ представляет такое же живое лицо, как и каждый человек, и что внутренняя его жизнь есть не что иное, как развитие какого-нибудь нравственного или умственного начала, осуществляемого обществом?» (Об этом давно все твердят с голоса Гегеля; трудно найти историческую книгу за последние двадцать лет, в которой бы дело это излагалось неудовлетворительно, в настоящее время скучно уже и говорить о подобных вещах.) «Самые важные явления в жизни человечества остались незамеченными. Так, например, критика историческая не заметила, что многое утратилось и обмелело в мыслях и познаниях человеческих при переходе из Эллады в Рим и от Рима к романизированным племенам Запада». (С того времени, как принялись за изучение греческих классиков, каждому известно, что греки в науке и поэзии были выше римлян, что Гомер выше Virгилия, перед Платоном и Аристотелем ничтожен Цицерон как философ и т. д.; а то, что латинские классики неизмеримо выше средневековых писателей, было всем известно даже в средние века.) «Так, разделение Империи на две половины после Диоклетиана и Константина является постоянно делом грубой случайности, между тем как, очевидно, оно происходило от разницы между просвещением эллинским и римским». (Да у какого же историка представляется оно делом грубой случайности? И какой историк не понимает и не объясняет, что деление произошло от разности между цивилизацией греческого и римского мира, Восточной и Западной империи? и т. д., см. «Московский Сборник» 1846 г., статья г. Хомякова, стр. 157—160.) В истории очень много неразрешенных вопросов; но к ним нимало не принадлежат задачи, на которые указывает русскому историку автор: о предметах, им исчисляемых, ни русский, ни немецкий, ни французский историк не может сказать ничего существенно нового, потому что они объяснены очень удовлетворительно. Говоря о них что-нибудь различное от настоящих решений, давно данных наукой, можно разве только повторять контраверсистов и схоластиков, — например, в вопросах о Византии Адама Церникава (Zernikaw — Зерников? Жернаков?) — тут будет еще меньше нового и самостоятельного, нежели в согласии с основательными решениями современной науки. (Примечание Н. Г. Чернышевского.)

посредниками между наукой и обществом. Таков и был Грановский. Но если мы до сих пор еще слишком мало усвоили себе науку, то главной виной этому в настоящее время должны считаться не какие-нибудь внешние препятствия, как то было до Петра Великого, а равнодушие самого общества ко всем высшим интересам общественной, умственной и нравственной жизни, ко всему, что выходит из круга личных житейских забот и личных развлечений. Это — наследство котошихинских времен, времен страшной апатии. Привычки не скоро и не легко отбрасываются и отдельным лицом; тем медленнее покидаются они целым обществом. Мы еще очень мало знаем не потому, чтоб у нас не было дарований — в них никто не сомневается, — не потому, чтоб у нас было мало средств — великий народ имеет силу дать себе все, чего серьезно захочет, — но потому, что мы до сих пор все еще дремлем, от слишком долгого навыка к сну. Оттого-то существеннейшая польза, какую может принести у нас обществу отдельный подвижник просвещения, посредством своей публичной деятельности, состоит не только в том, что он непосредственно сообщает знание — такой даровитый народ, как наш, легко приобретает знание, лишь бы захотел, — но еще более в том, что он пробуждает любознательность, которая у нас еще не достаточно распространена. В этом смысле, лозунгом у нас должны быть слова поэта:

Ты вставай, во мраке спящий брат!

Наконец, на людях, щедро наделенных природою и высоко развитых наукой, есть у нас еще обязанность, мало развлекающая силы западных ученых.

Общество дает у нас мало опоры научным и человеческим стремлениям: воспитание наше обыкновенно бывает неудовлетворительно¹: оно не полагает твердых оснований нашей будущей деятельности; не влагает в нас никакого сильного стремления, никакого определенного взгляда на самые простые житейские и умственные вопросы. Потому, даже в людях, наиболее даровитых и развитых, по уму, знанию и положению имеющих призвание быть деятелями просвещения, — по большей части не бывает никаких бодрых и решительных стремлений; мысли их колеблются, перепутываются, деятельность не имеет никакой определенной цели; они часто готовы бывают блуждать сами в смутном хаосе недоумений, по воле случая направляясь то туда, то сюда, не приходя и сами ни к чему, достойному внимания, не только не проводя за собою других к какой-нибудь возвышенной цели. Для них бывает нужен человек, который постоянно возбуждал бы в них

¹ Насколько прав Чернышевский в этом вопросе, мы можем видеть из оценки Ленина дела просвещения в России. В 1913 г. в статье: «К вопросу о политике министерства народного просвещения. Дополнения к вопросу о народном просвещении» — он пишет: «Такой дикой страны, в которой бы массы народа настолько были ограблены в смысле образования, света и знания, — такой страны в Европе не осталось ни одной, кроме России. И эта одичалость народных масс, в особенности крестьян, не случайна, а неизбежна при гнете помещиков, захвативших десятки и десятки миллионов десятин земли, захвативших и государственную власть...» (Ленин, Соч., т. XVI, стр. 409—416).

желание искать истинный путь, постоянно указывал бы направление их деятельности, решал бы их недоумения, который был бы для них авторитетом и оракулом. Вообще, часто бывает нужно восставать против слепого увлечения авторитетами; быть может, настанет зрелая, когда люди найдут, что могут обходиться и без авторитетов: тогда люди будут гораздо счастливее, нежели были до сих пор. Но пока — и это «пока» продолжится еще целые века — сила привычки и апатии так еще сильна, что большинство чувствует себя спокойным и уверенным только тогда, когда встречает объяснение стремлениям века и ободрение своим мыслям в каком-нибудь авторитете. Особенно должно сказать это о нашем молодом обществе. Оно не может, кажется, шагу ступить без поддержки какой-нибудь сильной отдельной личности. Явление, если говорить правду, само по себе прискорбное; но что же делать, когда иначе не бывает в известных периодах развития? По неволе надобно признать, что люди, которые были авторитетами добра и истины, заслуживают глубокой благодарности за пользу, которую принесли, за успехи, совершенные под их влиянием и пока не возможные без них.

Такова была доля Грановского в деле нашего развития. Он был одним из сильнейших посредников между наукой и нашим обществом; очень многие лица в нашей истории имели такое могущественное влияние на пробуждение у нас сочувствия к высшим человеческим интересам; наконец, для очень многих людей, которые, отчасти благодаря его влиянию, приобрели право на признательность общества, он был авторитетом добра и истины. Все это, как видим, не принадлежит к числу тех специальных заслуг, на которых зиждется слава ученого. А, между тем, в них-то именно и должно состоять истинное значение ученого в нашем обществе. То, что стало уже второстепенным делом на Западе, у нас еще составляет существеннейший вопрос жизни; то, чего требует от своих людей Запад, еще не требуется нашим обществом. Люди, которые скорбят о том, что наше общество, наше просвещение и т. д. как две капли воды походят на западное общество, западное просвещение и т. д., оскорбляются фактами, решительно созданными их воображением. Если б мы разделяли их понятия, мы, напротив, повсюду видели бы повод к радости: сходства между нами и Западом пока еще не заметно ни в чем, если хорошенько вникнем в сущность дела.

Так, например, и Грановский был возможен только у нас. Человек, по природе и образованию призванный быть великим ученым и шедший во всю жизнь неуклонно и неумолимо по ученой дороге, не оставил, однако, по себе сочинений, которыми наука двигалась бы вперед (единственное средство к приобретению имени великого ученого на Западе), — и, между тем, каждый из нас говорит, что он несомненно был великим ученым и исполнил все, к чему призывал его долг ученого. Кажется, такого суждения нельзя обвинять в подражательности западным примерам; мы не знаем даже, можно ли его сделать вразумительным для немца или англичанина, не обрусевшего в значительной степени. Так и во всем: наше общество все мерит своим аршином, а вовсе не французским метром (хотя он гораздо удобнее) и не английским футом (хотя он и введен у нас на словах).

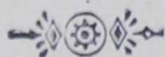
За оригинальность нашу нечего опасаться: сильнее обстоятельств времени не будет никто, подчиняется им всякий.

Однако почему же Грановский писал мало и не оставил сочинений,двигающих науку вперед? Потому что он был истинный сын своей родины, служивший потребностям ее, а не себе. Не знаем, сознавал ли он, на какую высоту становится, какую блестящую славу снискивает, отказываясь от своей личной ученой славы. По всей вероятности, он и не думал об этом: он был человек простой и скромный, не мечтавший о себе, не знавший самолюбия; надобно даже предполагать, что он и не приносил тяжкой для гордости жертвы, отказываясь от легко исполнимого при его силах стремления занять почетное место в науке капитальными трудами. Он просто исполнял свой долг, употребляя свои силы сообразно требованиям занимаемого им положения в русском обществе. Положение было таково, что все лежавшие на нем требования общества и науки существенно исполнялись живым словом, — и литературная деятельность была для него только повторением, только делом досуга и личной, случайной охоты повторить на бумаге то, что уже достигло своей цели посредством живого слова. Как профессор Московского университета, без всяких сравнений значительнейшего из ученых учреждений России по влиянию на жизнь общества и развитие нашего просвещения, Грановский имел круг деятельности, едва ли менее обширный, нежели круг действия литературы. Непринужденность изложения, полнота выражения мысли, какая давалась ему живым словом, не существует в литературе. Какое же побуждение мог он иметь для повторения в искаженном виде того, что уже было сообщено публике? Он не нуждался в литературе как посреднице между ним и публикой. Но, однакож, он должен был чувствовать важность литературы, должен был и на нее простираť свое влияние? И для этого точно также не имел он надобности писать. Его высокий ум, обширные и глубокие познания, удивительная привлекательность характера сделали его центром и душою нашего литературного кружка. Все замечательные ученые и писатели нашего времени были или друзьями, или последователями его. Влияние Грановского на литературу в этом отношении было огромно. Конечно, возможность такого действия через беседу, через личные отношения, связывающие людей в один кружок, обуславливается малочисленностью нашего литературного сословия. Ведь, если разобрать хорошенько, у нас в этом отношении и до сих пор существует порядок вещей, мало чем отличный от того, что было во времена «Беседы любителей Русского Слова» и «Арзамаса»: все наши литераторы и ученые — наперечет, каждый из них лично знаком со всеми остальными; это совершенно не то, что в Германии, Франции, Англии, где они считаются сотнями и тысячами, где всеобщее знакомство — вещь невозможная. У нас, если хотите, и вообще наука и литература отчасти семейное дело, и, по патриархальному обычаю, в ней устными разговорами и тому подобными догуттенберговскими средствами ведется многое, что в какой-нибудь Германии может существовать и обнаружить действие только при помощи типографских чернил.

Таким образом, Грановский удовлетворял всем условиям своего

положения, обнаруживал все свое влияние, не нуждаясь в посредстве литературных трудов, которые были для него делом второстепенным. Тем не менее, литературная его деятельность вовсе не так незначительна по объему, как полагали некоторые, не думавшие, чтоб из напечатанного Грановским при жизни составились два больших тома. Что касается важности его сочинений и особенно духа, проникающего все их, тут едва ли может быть место спору. Конечно, как и о всем на свете, об ученом достоинстве сочинений Грановского существуют мнения, не совершенно согласные. Одни, из благоговения к автору, благородная личность и чрезвычайно плодотворная деятельность которого действительно заслуживают всевозможного уважения, готовы поставить его произведения во всех отношениях слишком высоко; другие, не принимая в уважение особенных требований русского общества от науки, находят, что сочинения Грановского не имеют качеств, необходимо требуемых от капитального ученого труда в Германии или Франции. Но дело в том, что разноречие этих, повидимому противоположных, суждений существует преимущественно только в тоне, а не в самой мысли. Одни, по личным чувствам своим к автору, говорят о его сочинениях голосом любви, другие, также по своим чувствам к личности автора, голосом недовольства. Но и самые жаркие поклонники Грановского хорошо понимают, что собственно в европейской науке его сочинения не могут произвести эпохи, потому что не таково в настоящее время призвание русских ученых; и самые смелые из восстававших против Грановского признавали в его сочинениях, кроме мастерского изложения и других литературных достоинств, чрезвычайно замечательную ученость и глубокомыслие¹.

Действительно, сочинения Грановского, напечатанные при его жизни (суждение о его университетских курсах мы должны отложить до того времени, когда они будут обнародованы), не будучи таковы, чтоб ими производился переворот в науке, как производился он трудами Гизо, Шлоссера или Нибура, показывают, однако же, в авторе такие качества ума и такое обширное знание, что нельзя не признать его одним из первых историков нашего века, ученым, который был не ниже знаменитейших европейских историков; что в России не имел он соперников, это всегда было очевидно для каждого...



ОБЩИЙ КУРС ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ².

Сочинение М. Стасюлевича, СПб 1856.

Не отличаясь никакими положительными достоинствами, «курс» г. Стасюлевича, однакож, заслуживает одобрения потому, что лучше многих других руководств, которыми пользуются преподаватели все-

¹ Мы говорим, конечно, о мнении людей знающих в той и другой партии, не обращая внимания на выходки, некоторых несведущих людей, невежество которых было тогда же и изобличаемо. (Примечание Н. Г. Чернышевского.)

² Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. II, стр. 437, «Современник» № 7, 1855—1856.

общей истории, не имеющие возможности ввести в употребление между своими учениками сочинение г. Лоренца. Факты изложены у г. Стасюлевича сухо, бесцветно, но все-таки он сделал некоторое различие между мелочными подробностями и существенно важным и не слишком обременил свое руководство излишними именами и цифрами. Важные события выставлены у него не так рельефно и ясно, как того было-бы можно требовать, но все-таки не совершенно закрыты длинными перечнями ничтожных походов и стычек. И если вообще «курс» г. Стасюлевича написан по той же неудовлетворительной системе, как прежние наши учебники всеобщей истории, то написан с несколько бóльшим знанием и искусством. Многие из преподавателей, вероятно, будут и этим довольны.



ЗАМЕТКИ О ЖУРНАЛАХ¹.

*О воспитании, Бема. — Мысли по поводу статьи «О воспитании»
Даля. Июнь 1856.*

...«Морской Сборник», о котором часто случается слышать разговоры в обществе, и разговоры всегда в одном и том же духе полной признательности к замечательным достоинствам этого издания, без сомнения, занимающего первое место между нашими специальными журналами, — в последнее время приобрел еще более живости и разнообразия. Мы не будем перечислять всех заслуживших одобрение публики статей его, а хотим только заметить одну из тех особенностей, которые наиболее содействуют оживлению журнала. Нередко в нем помещается целый ряд статей об одном и том же предмете, писанных различными авторами, смотрящими на вопрос с разных точек зрения: один предлагает на обсуждение своим сотоварищам по занятию мысли, внушенные ему опытом жизни и службы; другой разбирает эти мысли, приводит новые доказательства в подтверждение их или делает замечания, возражения; автор статьи, подавший повод к этим замечаниям, выражает о них свое мнение, признавая их справедливость или разъясняя те пункты, которые первой статьей не были определены с достаточной подробностью. Иногда и еще новые лица принимают участие в этой беседе, которая всегда ведется в «Морском Журнале» со всей откровенностью литературного дела и со всей деликатностью разговора людей, просвещенных наукою и житейской опытностью. Ни с той, ни с другой стороны не бывает ни ложных уступок из лицепрятия, ни полемического увлечения: каждый говорит твердо и вместе спокойно. Таким образом, мнение одного разъясняется и дополняется мнением другого, и одна только несомненная истина остается результатом беседы, иногда очень живой и занимательной. Мы укажем два случая, которые могут служить прекрасными примерами пользы, доставляемой истине откровенным раз-

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. II, стр. 464—469, «Современник № 7», 1855—1856.

меном мыслей. В одном дело идет о вопросе, общем для всех — о воспитании; другой ближайшим образом относится к морскому делу, но имеет своим предметом отношения, повторяющиеся во всех сферах общественной жизни, и потому едва ли уступает первому своим интересом для каждого читателя, к какому бы званию ни принадлежал этот читатель.

В № 1-м «Морского Сборника» за нынешний год была помещена статья г. Бема «О воспитании», написанная прекрасно. Автор с большим знанием дела говорил о цели воспитания, об отношениях семейного воспитания к общественному, о том, какие предметы должны входить в круг общего преподавания и о степени относительной важности каждого из них, о различных методах преподавания и воспитания. Из людей, прочитавших это рассуждение, почти каждому, — в том числе, признаемся, и нам, — казалось, что статья касается всех главных сторон предмета и что если можно о том или другом из объясненных автором вопросов думать не совершенно одинаково с ним, то едва ли можно указать вопрос, которого он не коснулся бы. Но в предисловии к статье г. Бема Морской Ученый Комитет, заведующий изданием «Сборника», предлагал каждому читателю высказать свое мнение об этом важном для всех предмете. «Морской Ученый Комитет — говорило предисловие — обращается ко всем, кому дорого отечественное воспитание, особенно же к родителям и воспитателям, с покорнейшею просьбою о доставлении в редакцию «Сборника» своих замечаний, возражений, взглядов по поводу этой статьи, имеющей предметом одну из насущнейших потребностей всякого, а тем более — еще юного — русского общества».

Приглашение, сделанное так благородно, не осталось без ответа, и в следующих книжках «Морского Сборника» явилось несколько статей по поводу рассуждения г. Бема. Мы не будем рассматривать достоинств или недостатков каждой из них: наша речь клонится только к тому, чтобы сказать, что в одной из этих статей была указана совершенно новая точка зрения на предмет, была выставлена на вид истина, о которой слишком часто забывают, но которая имеет существеннейшую важность в этом деле. Заслуга напомнить об этой истине принадлежит г. Далю. Его «Мысли по поводу статьи: о воспитании», напечатанные в майской книге «Морского Сборника», заслуживают величайшего внимания как по своей справедливости, так и по редкой откровенности, с какою сообщил он нам результаты своей известной наблюдательности. Вот отрывки его прекрасного размышления, или, скорее, рассказа:

«Не столько в сочинениях о воспитании, сколько на деле, весьма нередко упускается из виду безделица, которая, однако же, не в пример важнее и полновеснее всего остального: воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника, или, по крайней мере, должен искренно и умиленно желать быть таким и всеми силами к тому стремиться.

«Проследите же несколько за нравственною жизнью воспитателей, познайте, с какою искренностию и с каким убеждением они следуют не на словах, а на деле своему учению, и у вас будет мерило для надежд ваших на все их успехи.

«Если бы, например, воспитанники, по общей молве, рассказывали друг другу, что-де такой-то воспитатель наш беспутно промотал все, и свое и чужое, и спасся от окончательного крушения в мирной пристани, в заведении, при котором состоит, не отказываясь, впрочем, и ныне кутнуть на чужой счет, где случай представится, — но делает это очень ловко, осторожно и скрытно; если бы говорили о другом, что он, как хороший хозяин, был в свое время всегда избираем товарищами для заведывания общим столом и также счел за лучшее удалиться под конец с этого поприща и от доверчивых товарищей и вступить в новый и более чужой круг; если бы всем рассказывали о третьем, что он ставит в поведении полные баллы всем воспитанникам, которые не берут казенных сапогов, а ходят в своих; о четвертом, что, беседуя в классах о разговорных пустяках, при внезапном входе начальника с удивительным спокойствием и находчивостью продолжает беседу тем же голосом, тем же выражением, но отрывая прежнее пустословие свое на половине слова, переходя к продолжению преподавания, которого прежде того и не начинал, — словом, если бы воспитанники были такого рода или подобного мнения о воспитателях своих: каких вы бы ожидали от того последствий? Поверите ли вы, что из рук таких воспитателей выйдут молодые люди высокой нравственности, благородные, правдивые?»

«Что вы хотите сделать из ребенка? Правдивого, честного, дельного человека, который думал бы не столько об удобстве и выгодах личности своей, сколько о пользе общей, — не так ли? Будьте же сами такими: другого наставления вам не нужно. Незримое, но и неотразимое, постоянное влияние вашего благодушия победит зародыши зла и постепенно изгонит их. Если же вы должны сознаться, в самом заветном тайнике души своей, что правила ваши шатки, слова и поступки не одинаковы, приноровливаясь к обстоятельствам, что облыжность свою вы оправдываете словами: живут же люди неправдой, так и нам не лопнуть стать; что вы наконец и в воспитатели попали потому только, что без хлеба и без места жить нельзя, словом: если вы в тайнике совести своей должны сознаться, что вы желаете сделать из воспитанника своего совсем не то, что вышло из вас, тогда, добрый человек, вы в воспитатели не годитесь, каких бы наставлений вы ни придерживались, чего бы ни начитались. Не берите этого греха на душу; несите с собой, что запасли, и отвечайте за себя.»

«Если бы, например, воспитатель, по врожденным или наследственным свойствам своим, на деле, стоял на трех сваях — *авось, небось, да как-нибудь* — а на словах неумолчно проповедывал: *добросовестность, порядок и основательность*, то что бы из этого вышло? Верьте мне, и воспитанники его станут, в свою очередь, поучать хорошо, а делать худо.»

«Если бы воспитатель не находил в себе самом основательных причин, для чего ему отказываться от обычных средств жизни, то есть: прокармливая казенного воробья, прокормишь и свою коровушку, то какие убеждения он в этом отношении невольно и неминуемо передаст воспитаннику?»

«Если бы воспитатель свыкся и сжился, может быть и бессозна-

тельно, с правилом: не за то бьют, что украл, а за то, чтоб не попался, то какие понятия он об этом передаст другому, младшему? Какие правила, конспекты, программы, курсы и наставления на бумаге и на словах могут совершить такое чудо, чтобы воспитанники современем держались понятий и убеждений противоположных?

«Всего этого к коже не пришьешь. Если остричь шипы на дичке, чтобы он с виду походил на садовую яблоню, то от этого не даст он лучшего плода: все тот же горько-слад, та же кислица. Надобно, чтобы прививка принялась и пустила корень до самой сердцевины дерева, как оно пускает свой корень в землю.

«С чего вы взяли, будто бы из ребенка можно сделать все, что вам угодно, наставлениями, поучениями, приказаниями и наказаниями? — Внешними усилиями можно переделать одну только наружность. Топором можно оболванить как угодно полешко, можно даже выстрогать его, подкрасить и покрыть лаком, но древесина от этого не изменится: полено в сущности осталось поленом.

«Воспитатель должен видеть в мальчике живое существо, созданное по образу и подобию Творца, с разумом и со свободной волей. Задача состоит не в том, чтобы изнасиловать и пригнести все порывы своеволия, предоставляя им скрытно мужать под обманчивою наружностью и вспыхнуть современем на просторе и свободе: нет! задача эта вот такая: примером на деле и убеждениями, текущими прямо из души, заставить мальчика понять высокое призвание свое как человека, как подданного, как гражданина, заставить страстно полюбить — как любит сам воспитатель, не более того — бога и человека, а стало быть и жить в любви этой не столько для себя, сколько для других...

«Мальчик, сызмала охочий копаться над какою-нибудь ручной работой, слушая в заведении, где воспитывался, физику, вздумал сам построить электрическую машину. В течение нескольких месяцев собирал он и копил гривенные доходы свои и, отправившись на каникулы к дяде, с жаром принялся за это дело. И спит и видит свою машину. Накупив на толкучем несколько стеклянных стоек — остатки какой-то великолепной люстры или паникадила, и разбитое зеркало толстого стекла, он около двух недель провозился за обделкой его, чтобы, чуть не голыми пальцами да зубами, округлить стекло, обтереть или обточить его и просверлить в середине дыру. С этим-то запасом под мышкой, он, по окончании каникул, отправился обратно в заведение, счастливый и довольный, и притом пеший, потому что гривенник, отпускаемый ему на извозчика, ушел на строительные припасы.

«Ему надо было пройти Исакиевскую площадь. Только что успел он поровняться с домом, стоявшим тогда рядом с домом графини Лаваль, как над ним раздался громкий голос: «Мальчик! Эй, мальчик! поди сюда!» Взглянув на помянутый дом, мальчик наш встретил в растворенной форточке знакомое и страшное лицо воспитателя, которому, однако же, он лично знаком не был и прозвания он его не знал, потому что был из другого класса. «Поди сюда, мерзавец! что ты это несешь?» Робкий детский голос пробормотал что-то неслышное при стуке карет по мостовой. Тот, перекрикивая и стук карет

этих, повторил вопрос свой до нескольких раз и, наконец, рассыпавшись бранью, приказывал самым настоятельным образом бросить стекло и сверток на мостовую. «Брось! брось сейчас, мерзавец!» кричал он, выходя из себя, а пойманный с поличным стоял навтыяжку неподвижно под окном, хлопая глазами, молчал, но стекло свое крепко прижимал под мышку. Расстаться с этим стеклом, бросить его на мостовую — это вовсе не вмещалось в голове мальчика, он слов этих не понимал. «Так я ж тебя!» закричал тот в отчаянном негодовании своим и, захлопнув форточку, вероятно, поспешил насчет поимки и представления под караул ослушника. Но этот бедняк, с электрической машиной под мышкой, сам не зная, что делает, бросился без памяти бежать в Галерную улицу, кинулся на первого извозчика, дрожа всем телом, переправился на перевоз, запрятал стекло с принадлежностями в самое скрытное, никому не доступное место, и только чрез месяц, когда всякая молва и розыски по этому страшному делу миновали, снова принялся за работу и благополучно окончил свое произведение.

«Помяну еще о другом случае.

«В то время, в заведении, где мы воспитывались, в Новый год всегда давался маскарад, на который мы являлись — готовясь к этому задолго — в шпалерных кафтанах, пеньковых париках и бумажных латах, со львиными головами на оплечьях, из хлебного мякиша. Почти каждая рота изготовляла тайком и приносила в маскарадную залу свою пирамиду — великолепное бумажное здание, расписанное и раскрашенное, пропитанное маслом и освещенное изнутри, где бедный фонарщик сидел, как в бане, задыхаясь от жару и чаду. Я сказал не без умысла: «изготовляла тайком», — пирамиды эти строились очень скрытно и тайно, не столько ради нечаянности, как ради того, что подобное занятие — как вообще всякая забава или занятие, подающее повод к отвлечению от учения и к неопрятности и сору в спальнях, — строго запрещалось. Между тем, когда, с крайним страхом и опасением, удавалось скрытно окончить такое бумажное египетское произведение к сроку, принести и поставить его на место и осветить, то все воспитатели низших, средних и высших разрядов не без удовольствия ходили вокруг брэнного памятника, отыскивали и свои вензеля, с иносказательными венками и украшениями, любовались этим и громко хвалили художников, отдавая преимущество той или другой роте.

«Вы спросите, может быть, какой же смысл и толк в поступках этих? — а вот, послушаем дальше.

«Вторая рота отличалась два или три года сряду огромностью и изяществом своей пирамиды; в первой роте составлен был заговор перещеголять на этот раз вторую. Сделали общий сбор. Гроши и гривны посыпались отсюда. Помню, что один мальчик, вовсе безденежный, не захотел, однако же, отстать от товарищей и, продав богачам утреннюю булку свою за три дня, по грошу каждую, внес три гроша в общественное казначейство. Опытные художники взяли за дело. Изготовленная лучина отнесена была на чердак, картузная бумага была склеена, выкроена и скатана, чтобы удобнее было ее спрятать; вырезки разных видов для картин, вензелей и украше-

ний розданы для работы по рукам, и каждый прятал свою у себя, как и где мог, чтобы не возбудить подозрения. Все принялись за работу так дружно, так усердно, что недели за две или за три до срока знаменитая пирамида поспела. Надо было собрать лучинковые леса, пригнать чехол, и наконец, оставалось только смазать маслом про-светы.

«Но в декабре на чердаке холодно, особенно в одной куртке. Решено было собрать пирамиду наскоро в умывальне, в такое время, когда нельзя было ожидать прихода воспитателя, и, притом, расставив, из предосторожности, часовых, как делают журавли, воруя хлеб, да обезьяны, опустошая сады и огороды. Беготня, суматоха, крик, радость — у главных зодчих более десяти помощников, у каждого помощника по десяти подносчиков — дело кипит... но внезапно входит дежурный воспитатель, которого называли внуком тогдашнего директора и очень боялись... Не берусь описывать подробностей происшедшего побоища: негодование, неистовство этого человека превзошло всякое понятие. Много розог было охлестано тут же, на месте — это бы еще ничего — да беспримерное в летописях маскарадных здание, пирамида в семь аршин вышины, была изломана, истоптана ногами и сожжена тут же в печи.

«Однако, почесав затылки, погоревав и опомнившись, предприимчивые и решительные строители не упали духом: давай собирать, что осталось; иное было тут и там, иное успели во время выхватить и спасти от конечного истребления, и — через неделю поспела новая пирамида, ни в чем не уступавшая первой. Она красовалась на маскараде 31-го декабря 1817 года. Первенство осталось на сей раз за нею, за первой ротой. Это подтвердили все, обхаживая вокруг и любуясь необыкновенно пестрыми и кудрявыми вензелями. Подтвердил даже и сам внук директора, который был так незлопамятен, что, во уважение общей радости и удовольствия на маскараде, и не поминал о том участии, какое принимал он в сооружении этого знаменитого здания.

«Теперь, кончив рассказ, я вас спрошу: что́ это такое? чего вы ожидаете от такого воспитателя? Но вы опять отвечаете мне, что это либо выдумка злословия, либо пример, который в пример не годится, потому что представляет неслыханное исключение. Итак, возьмем что-нибудь обиходное.

«Начальник, при воспитаннике, спрашивает в сомнении: исполняется ли такое-то правило или приказание? И воспитатель удостоверяет его в этом самым положительным образом, не смигивая глазом, хотя и лжет наголо.

«Воспитанник знал дома два чужих языка и позабыл их в заведении наполовину, а воспитатель уверяет радушного посетителя на испытании, что мальчик выучился этим языкам здесь.

«Воспитатель ходит в церковь или водит туда мальчиков по положению, при начальнике даже много и часто крестится; но понятия и убеждения его о вере и вечности не могут укрыться от тех, с кем он проводил по несколько часов в день, если бы это и были малолетки. Облыжность, ханжество, бесчестность, самотничество, в каких бы мелких и скрытых видах и размерах оно ни проявлялось,

прилипчивее чумы и поражает вокруг себя все, что не бежит без оглядки. Но, может быть, всего этого нет и не бывало и быть не может, все это выдумка и клевета? Вот такое-то отрицательное направление нас и губит; донесения о благополучии ослепительны, как вешний снег.

«Не будем спорить, я ищу и желаю совсем иного. Выкиньте все примеры мои, как не пригодные к делу, и вставьте свои, то-есть случаи, вам самим известные. Поройтесь в памяти: вы их найдете. Подведите к ним мое или, пожалуй, также свое заключение — и оно ничем не будет разниться от того, что сказано, по глубокому и полному убеждению, в этой статейке:

«Воспитатель, в отношении нравственном, сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника, — по крайней мере, должен искренно и умиленно желать быть таким и всеми силами к тому стремиться.

«Но вы скажете: ангелов совершенства нет на земле, мы все люди»; для того-то я, сказав: «воспитатель должен быть таким», прибавил: «или искренно хотеть быть таким и всеми силами к тому стремиться». Будь же он прям и правдив, желай и ищи добра: этого довольно. Ищи он случая в присутствии воспитанников, но без похвалы, без малейшего тщеславия, сознаваться в ошибках своих, — и один подобный пример направит на добрый путь десятки малолетков.

«Вот в чем заключается наука нравственного воспитания».



ЗАМЕТКИ О ЖУРНАЛАХ¹.

Июнь 1856.

...Тут говорит человек, и имеет право говорить, потому что понимает, в чем дело, и, между прочим, понимает, что такое художественность и чего надобно требовать от литературного произведения. Больше таких статей давайте нам, господа русские критики, и вы увидите, будет ли уважать вас публика. Вы, быть может, умеете хорошо писать, — публика не знает этого, потому что — греха нечего таить — она не читала ваших мнимо-художественных разборов, быть может и прекрасно написанных. Не читала потому, что вы думали, будто можно заинтересовать ее рассуждениями об узорах, цветочках и кудерьках, как бы хороши ни были эти кудерьки и узоры, и какими бы красными словами, какими бы кружевными периодами ни объяснялись их грациозные изгибы и хитросплетения. Какое кому дело до всех этих прикрас?

У вас, быть может, есть талант и вкус. Вы думали, что этого довольно. Нет, кроме того, нужна дельная мысль, нужно знание дела. Вы пишете хорошо, и вас никто не поблагодарил ни одним сло-

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. II, стр. 463—464.

вом за все ваши красноречивые страницы, и вы сами не были довольны друг другом: так сильна потребность дела и правды, что даже мысль: «он занят тем же, чем я», не могла пересилить в вас сознания: «он занят пустяками». И вот, сравните с сзоими искусными периодами те простые или, быть может, даже неловко написанные отрывки, которые мы приводим ниже, и скажите: не в тысячу ли раз живее и лучше красноречивых рассуждений о художественности токарных изделий и филигранных прикрас эти небрежные, чуждые литературной отделки слова? Отчего ж разница? Ведь предметы, о которых вы пишете, гораздо живее и интереснее, нежели сухие вопросы, о которых идет там речь? Ведь вы пишете о поэзии, и ведь в поэзии жизнь и страсть — и, однако же, все, и вы сами первые, дремали и умирали от скуки над этими толками о поэзии. А вот люди, которые и не претендуют равняться с вами в искусстве сочинительства, пишут о предметах гораздо менее увлекательных — о воспитании детей, о должности старшего офицера на каком-нибудь фрегате: кажется, читателю позволительно бы зевнуть над рассуждениями о таких сухих материях, и, однакож, кто не пробежит с интересом тех выписок, которые мы сейчас приведем? Отчего ж это? Едва ли не от того, что слова этих людей служат выражением дельной мысли, а не прикрытием пустоты.

...Другая статья¹, обратившая на себя общее внимание, помещена в «Морском Сборнике» и служит продолжением различных рассуждений о воспитании, о которых мы говорили в предыдущем номере. Это — «Вопросы жизни. Отрывок из забытых бумаг, выведенный на свет неофициальными статьями «Морского Сборника» о воспитании», — знаменитого нашего хирурга г. Пирогова².

Охотники спорить, пожалуй, захотели бы заметить в статье господина Пирогова некоторые частности, относительно которых возможно держаться не того воззрения, какое кажется справедливым автору. Но в таком случае несогласие было бы более о словах, нежели о деле. О сущности дела, о коренных вопросах образованному человеку невозможно думать не так, как думает г. Пирогов. Вот эти

1 Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. II, стр. 526—531, «Современник» № 7, июль 1856 г.

2 Н. И. Пирогов — известный хирург и педагог — своими статьями «Вопросы жизни», «Быть и казаться» поднял вопросы воспитания, вызвал положительное отношение Чернышевского к своим взглядам на воспитание человека, на общее образование.

Для характеристики позиций Пирогова, его колебаний, нерешительности приведем высказывание В. И. Ленина. В 1913 г. в статье «Возрастающее несоответствие» В. И. Ленин писал: «Пирогов в 1860-х годах соглашается, что надо сечь, но требовал, чтобы секли не безучастно, не бездушно» (Ленин, Соч., т. XVI, стр. 324).

В 1859 г. Пирогов, будучи попечителем Киевского учебного округа, составил «Правила о поступках и наказаниях учеников гимназий Киевского учебного округа».

Этими правилами разрешалось наказание учеников розгами.

Н. А. Добролюбов — в статье «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами» — дал резкую и должную оценку действий Пирогова.

Статья Добролюбова была напечатана в журнале «Современник» № 1 за 1860 год.

6 Н. Г. Чернышевский, «Избранные педагог. высказывания»

коренные мысли, в высокой степени справедливые: воспитание главною своею целью должно иметь приготовление дитяти и потом юноши к тому, чтобы в жизни был он человеком развитым, благородным и честным. Это важнее всего. Заботьтесь же прежде всего о том, чтобы ваш воспитанник стал человеком в истинном смысле слова. Когда это основное, общее направление к знанию и правде уже достаточно утверждено в нем, тогда, — и только тогда, а не раньше, — пусть он сам под вашим руководством выбирает себе специальную дорогу, к которой наиболее расположен и способен. Если вы будете поступать иначе, с самого раннего детства заботясь только о том, чтобы сделать из вашего воспитанника офицера, и, притом еще, именно инфантерийского или кавалерийского, морского или инженерного офицера, или чиновника, или, притом, чиновника именно такого, а не другого министерства, и для большей аккуратности именно по таким-то и таким-то, а не другим должностям, — вы делаете очень важную ошибку, следствия которой будут вредны и для вашего воспитанника и для общества. Вы, не дождавшись, пока у человека развился рассудок и характер, скуете его на всю жизнь, втолкнете его на узкую дорогу, с которой уже нет ему выхода, и идти по которой он почти всегда оказывается не способен потому, что ведь выбор был делом слепого произвола, каприза с вашей стороны, а не разумного соображения его наклонностей и способностей. Что же окажется в результате? Множество специалистов, не способных именно к своей специальности и не способных ни к чему иному, и мало людей, истинно знающих свое дело, а еще меньше того людей развитых, образованных и имеющих благородное направление. Да и чего же иного можно ждать? Жизнь — тяжелая борьба: в ней много и соблазнов и недоумений; а вы позаботились ли о том, чтобы приготовить юношу к честной борьбе с соблазнами, к светлому взгляду на недоумения? Нет, вы хлопотали только о том, чтобы механически вбить ему в голову какое-нибудь ремесло: чему же удивиться, если он не выдерживает житейской борьбы с соблазном, против которого не вооружили вы его ни развитостью ума, ни благородными убеждениями, и если редко он остается человеком чистым? Вы, не дождавшись развития его наклонностей и способностей, дали ему в руки ремесленный инструмент, что же удивительного, если он оказывается потом и не способен и не склонен хорошо владеть этим инструментом, который ему вовсе не по рукам? Вы хромого сделали кровельщиком, глухого — музыкантом, бессильного труса — кучером: что ж чудного, если и кровельщик ваш, и музыкант, и кучер — все одинаково плохо исполняют свое дело? А если бы поступили вы разумно, подождав, пока можно будет различить качества этих людей и пока они поймут, к чему они годны, тогда и результаты были бы не те: тому глухота не помешала бы сделаться хорошим кровельщиком, другому трусость — хорошим скрипачем, третьему хромота — хорошим кучером. Произвол ваш не дал развиваться людям и перепутал специальности — в результате получилось: неспособность, невежество и отсутствие твердой честности. А поступайте иначе,сообразно здравому смыслу и природе, — и все должно пойти гораздо лучше.

Кто и не хотел бы, должен согласиться, что тут все — чистая правда, — правда очень серьезная и занимательная не менее лучшего поэтического вымысла. Теперь читатель знает общую мысль «Вопросов жизни» г. Пирогова; познакомим его с некоторыми отрывками размышлений нашего гениального специалиста.

Эпиграф статьи очень удачен:

«К чему вы готовите вашего сына? кто-то спросил меня.

«Быть человеком, отвечал я.

«Разве вы не знаете — сказал спросивший — что людей собственно нет на свете? Это одно отвлечение, вовсе не нужное для нашего общества. Нам необходимы негоцианты, солдаты, механики, моряки, врачи, юристы, а не люди.

«Правда это или нет?»

Вот и начало статьи, не менее прекрасное:

«Мы живем, как всем известно, в девятнадцатом веке, по преимуществу практическом.

«Отвлечения, даже и в самой столице их, Германии, уже не в ходу более. А человек, что ни говори, есть, действительно, только одно отвлечение.

«Зоологический человек, правда, еще существует с его двумя руками и держится ими крепко за существование; но нравственный, вместе с другими старосветскими отвлечениями, как-то плохо принадлежит настоящему.

«Впрочем, не будем несправедливы к настоящему. И в древности искали людей днем с фонарями, но — все-таки искали.

«Правда, языческая древность была не слишком взыскательна. Она позволяла иметь все возможные нравственно-религиозные убеждения: можно было *ad libitum* сделаться эпикурейцем, стоиком, пифагорейцем; только худых граждан она не жаловала.

«Несмотря на все наше уважение к неоспоримым достоинствам реализма настоящего времени, нельзя, однако же, не согласиться, что древность как-то более дорожила нравственной натурой человека.

«Правительства в древности оставляли школы без надзора и считали себя не в праве вмешиваться в учения мудрецов. Каждый из учеников мог пролагать, впоследствии, новые пути и образовать новые школы. Только жрецы, тираны и zeloty от времени до времени выгоняли, сжигали и отравляли философов, если их учения уже слишком противоречили поверьям господствующей религии; да и то это делалось по интригам партий и каст.

«Язычество древних, не озаренное светом истинной веры, заблуждалось, но заблуждалось, следуя принятым и последовательно проведенным убеждениям.

«Если эпикуреец утопал в чувственных наслаждениях, то он делал это, основываясь, хотя и на ложно понятом, учении школы, утверждавшей, что «искать по возможности наслаждения и избегать неприятного значит быть мудрым».

«Если стоик делался самоубийцею, то это случалось от стремления к добродетели и идеалу высшего совершенства.

«Даже кажущаяся непоследовательность в поступках скептика извиняется учением школы, проповедывавшей, что «ничего нет верно-го на свете и что даже сомнение сомнительно».

«В самых грубых заблуждениях языческой древности, основанных всегда на известных, нравственно-религиозных началах и убеждениях, проявляется все-таки самый существенный атрибут духовной природы человека — стремление разрешить вопрос жизни о цели бытия».

Теперь нет этой последовательности, нет этой честной верности своим нравственным убеждениям, потому что воспитание, обыкновенно, и не заботится о приготовлении воспитанника к честной последовательности в жизни: оно только учит мастерству, — и юноша, не имеющий ни правил, ни понятий, кроме принадлежащих его ремеслу, вдруг становится среди общества, которое предлагает ему принять тот или другой из взглядов на цель и правила человеческой жизни. Каковы же эти взгляды? Вот, для примера, некоторые из них:

«Вот, например, *первый* взгляд, очень простой и привлекательный. Не размышляйте, не толкуйте о том, что необъяснимо. Это, по малой мере, лишь потеря одного времени. Можно, думая, потерять и аппетит и сон. Время же нужно для трудов и наслаждений, аппетит — для наслаждений и трудов, сон — опять для трудов и наслаждений, труды и наслаждения — для счастья.

«Вот *третий* взгляд — старообрядческий. Соблюдайте самым точным образом все обряды и поверья. Читайте только благочестивые книги, но в смысл не вникайте. Это главное для спокойствия души. Затем, не размышляя, живите так, как живется.

«Вот *четвертый* взгляд — практический. Трудясь, исполняйте ваши служебные обязанности, собирая копейку на черный день. В сомнительных случаях, если одна обязанность противоречит другой, избирайте то, что вам выгоднее или, по крайней мере, что для вас менее вредно. Впрочем, предоставьте каждому спасаться на свой лад. Об убеждениях, точно так же, как и о вкусах, не спорьте и не хлопчите. С полным карманом можно жить и без убеждений.

«Вот *пятый* взгляд, также практический в своем роде. Хотите быть счастливыми, думайте себе, что вам угодно и как вам угодно, но только строго соблюдайте все приличия и умейте с людьми ужиться. Про начальников и нужных вам людей никогда худо не отзывайтесь и ни под каким видом им не противоречьте. При исполнении обязанностей, главное, не горячитесь. Излишнее рвение не здорово и не годится. Говорите, чтобы скрыть, что вы думаете. Если не хотите служить ослами другим, то сами на других верхом ездите; только молча, в кулак себе смейтесь.

«Вот *шестой* взгляд, очень печальный. Не хлопчите: лучшего ничего не придумаете. Новое только то на свете, что хорошо было забыто. Что будет, то будет. Червяк на куче грязи, вы смешны и жалки, когда мечтаете, что вы стремитесь к совершенству и принадлежите к обществу прогрессистов. Зритель и комедиант поневоле, как ни бейтесь, лучшего не сделаете. Белка в колесе, вы забавны, думая, что бежите вперед. Не зная, откуда взялись, вы умрете, не зная, зачем жили.

«Вот восьмой взгляд, и очень благоразумный. Отделяйте теорию от практики. Принимайте какую вам угодно теорию для вашего развлеченя, но на практике узнавайте, главное, какую роль вам выгоднее играть; узнав, выдержите ее до конца. Счастье — искусство. Достигнув его трудом и талантом, не забывайтесь; сделав промах, не пеняйте и не унывайте. Против течения не плывите».

Спрашивается: что выйдет из юноши, поставленного среди таких понятий о жизни, без всякого приготовления к борьбе с ними? Примеры мы видели и видим, — и, чтобы они, по крайней мере, не вторгались в будущее, воспитание должно изменить свой характер, и не к ремеслу только, а прежде всего к честной борьбе с соблазнами жизни должно оно готовить нас:

«Приготовить нас с юных лет к этой борьбе значит именно:

«Сделать нас людьми».

«То-есть тем, чего не достигнет ни одна ваша реальная школа в мире, забываясь сделать из нас, с самого нашего детства, негоциантов, солдат, моряков, духовных пастырей или юристов.

«Человеку не суждено и не дано столько нравственной силы, чтобы сосредоточивать все свое внимание и всю волю, в одно и то же время, на занятия, требующие напряжения совершенно различных свойств духа.

«Погнавшись за двумя зайцами, ни одного не поймаешь.

«На чем основано приложение реального воспитания к самому детскому возрасту?

«Одно из двух: или в реальной школе, назначенной для различных возрастов (с самого первого детства до юности), воспитание для первых возрастов ничем не отличается от обыкновенного, общепринятого.

«Или же воспитание этой школы с самого его начала и до конца есть совершенно отличное, направленное исключительно к достижению одной известной, практической, цели.

«В первом случае нет никакой надобности родителям отдавать детей до юношеского возраста в реальные школы, даже и тогда, если бы они во что бы то ни стало, самоуправно и самовольно назначили своего ребенка еще с пеленок для той или другой касты общества.

«Во втором случае можно смело утверждать, что реальная школа, имея преимущественно целью практическое образование, не может в то же самое время сосредоточить свою деятельность на приготовление нравственной стороны ребенка к той борьбе, которая предстоит ему впоследствии, при вступлении в свет.

«Да и приготовление это должно начаться в том именно возрасте, когда в реальных школах все внимание воспитателей обращается преимущественно на достижение главной, ближайшей цели, заботясь, чтобы не пропустить времени и не опоздать с практическим образованием. Курсы и сроки учения определены. Будущая карьера резко обозначена. Сам воспитанник, подстрекаемый примером сверстников, только в том и полагает всю свою работу, как бы скорее выступить на практическое поприще, где воображение ему представляет служебные награды, корысть и другие идеалы окружающего его общества.

«Отвечайте мне, положив руку на сердце, можно ли надеяться, чтобы юноша в один и тот же период времени изготовлялся выступить на поприще, не самим им выбранное, прельщался внешними и материальными выгодами этого, заранее для него определенного, поприща и, вместе с тем, серьезно и ревностно изготовлялся к внутренней борьбе с самим собою и с увлекательным направлением света?

«Не спешите с вашею прикладною реальностью. Дайте созреть и окрепнуть внутреннему человеку: наружный успеет еще действовать; он, выходя позже, но управляемый внутренним, будет, может быть, не так ловок, не так сговорчив и уклончив, как воспитанник реальных школ, но зато на него можно будет вернее положиться: он не за свое не возьмется.

«Дайте выработаться и развиться внутреннему человеку, дайте ему время.

и средства подчинить себе наружного, и у вас будут и негоцианты, и солдаты, и моряки, и юристы; а главное — у вас будут люди и граждане.

«Значит ли это, что я предлагаю вам закрыть и уничтожить все реальные и специальные школы?»

«Нет! я восстаю только против двух вопиющих крайностей.

«Для чего родители так самоуправно распоряжаются участью их детей, назначая их, едва выползших из колыбели, туда, где, по разным соображениям и расчетам, предстоит им более выгодная карьера?»

«Для чего реально-специальные школы принимаются за воспитание тех возрастов, для которых общее человеческое образование несравненно существеннее всех практических приложений?»

«Кто дал право отцам, матерям и воспитателям властвовать самоуправно над благими дарами Творца, которыми он снабдил детей?»

«Кто научил, кто открыл, что дети получили врожденные способности и врожденное призвание играть именно ту роль в обществе, которую родители сами им назначают? — Уже давно оставлен варварский обычай выдавать дочерей замуж поневоле, а невольный и преждевременный брак сыновей с их будущим поприщем допущен и привилегирован; заказное их венчание с наукой празднуется и прославляется, как венчание дожа с морем!

«И разве нет другого средства, другого пути, другого механизма для реально-специального воспитания? Разве нет другой возможности получить специально-практическое образование, в той или другой отрасли человеческих знаний, как распространяя его на счет общего человеческого образования?»

«Вникните и рассудите, отцы и воспитатели!»

Когда мы припомним, какое важное значение имел и продолжает иметь во всех образованных европейских государствах вопрос о необходимости общего воспитания и о степени участия, которое может быть уступлено специальным наукам в высшем преподавании, и вспомним, в каком смысле решается повсюду этот спор, вспомним, например, о том, много ли военных школ существует во Франции, славной своей воинственностью, — мы оценим и высокий интерес и чрезвычайную справедливость этих мнений о необходимости, чтобы общечеловеческое образование играло главную роль в воспитании — мнений, которые с такою силою высказывает, — не забудем, — человек, который всеми единогласно признан знаменитейшим из всех наших ученых в настоящее время. Если он — слава наших специалистов — говорит, что специализм обманчив, вреден и для общества и для самого обрекаемого на специализм, когда не основан на общем образовании, — кто у нас может сказать: «я лучший судья в этом деле, нежели г. Пирогов»? кто имеет у нас право не принять в уважение его мнения? Слова г. Пирогова, без сомнения, будут иметь сильное и благодетельное влияние на образ мыслей в нашем обществе. Честь и слава г. Пирогову за прекрасное и решительное выражение таких здравых убеждений; полная честь и «Морскому Сборнику»¹ за помещение таких статей.



¹ Ежемесячный журнал «Морской Сборник», издавался с 1848 по 1867 год Морским ученым комитетом, а затем Ученым отделом Морского технического комитета. Журнал издавался сначала небольшими книжками. Затем, с 1853 года, тематика журнала «Морской Сборник» становится шире — в нем начинают печататься статьи и по вопросам воспитания, например статья Пирогова и др.

РУССКАЯ ГРАММАТИКА¹.

В. Классовского, СПб 1856.

Г. Классовский, известный в качестве ученого сочинителя несколькими брошюрками о теории страстей, о душевных болезнях и грамматическими исследованиями в филологическом вкусе, оставил, как видим, ученые претензии на построение различных глубокомысленных теорий, — не знаем, на время ли или навсегда, и издал обыкновенную грамматику, вроде тех, какие были изданы Ивановым, Половцевым и многими другими. Нельзя тому не радоваться: новый труд г. Классовского, не возбуждая изумления, не заслуживает насмешки. Жаль только, что в нем все еще слишком много тонкостей и мудростей: таковы следы прежней привычки! От души желая, чтобы г. Классовский остался на скромной, но безопасной дороге, на которую вступил, мы советуем ему при дальнейших педагогических трудах менее мучить детей излишними и до крайности тонкими подразделениями: детская грамматика чем проще, тем лучше. Недурно также было бы, еслиб он отбросил излишне оригинальные термины вроде: «вид бескратный начинательный», «вид бескратный окончательный», и т. д. Тогда его грамматические руководства будут столь же годны для преподавания, как грамматика г. Иванова или г. Половцева. Ученостью перед детьми щеголять не нужно, а хитрыми тонкостями мучить их не должно.



«ДЕТСТВО И ОТРОЧЕСТВО»².

Сочинение графа Л. Н. Толстого. СПб 1856.

ВОЕННЫЕ РАССКАЗЫ

Графа Л. Н. Толстого. СПб 1856.

«Чрезвычайная наблюдательность, тонкий анализ душевных движений, отчетливость и поэзия в картинах природы, изящная простота — отличительные черты таланта графа Толстого». Такой отзыв вы услышите от каждого, кто только следит за литературою. Критика повторяла эту характеристику, внушенную общим голосом, и, повторяя ее, была совершенно верна правде дела.

Но неужели ограничиться этим суждением, которое, правда, заметило в таланте графа Толстого черты, действительно ему принадлежащие, но еще не показало тех особенных оттенков, какими отличаются эти качества в произведениях автора «Детства», «Отрочества», «Записок Маркера», «Метели», «Двух Гусаров» и «Военных Рассказов»? Наблюдательность, тонкость психологического анализа,

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. II, стр. 558, «Современник» № 9, 1856.

² Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. II, стр. 638—647, «Современник» № 12, 1856.

поэзия в картинах природы, простота и изящество, — все, что вы найдете и у Пушкина, и у Лермонтова, и у г. Тургенева, — определить талант каждого из этих писателей только этими эпитетами было бы справедливо, но вовсе не достаточно для того, чтобы отличить друг от друга; и повторить то же самое о графе Толстом еще не значит уловить отличительную физиономию его таланта, не значит показать, чем этот прекрасный талант отличается от многих других столь же прекрасных талантов. Надобно было охарактеризовать его точнее.

Нельзя сказать, чтобы попытки сделать это были очень удачны. Причина неудовлетворительности их отчасти заключается в том, что талант графа Толстого быстро развивается и почти каждое новое произведение обнаруживает в нем новые черты. Конечно, все, что сказал бы кто-нибудь о Гоголе после «Миргорода», оказалось бы недостаточным после «Ревизора», и суждения, высказавшиеся о г. Тургеневе, как авторе «Андрея Колосова» и «Хоря и Калиныча», надобно было во многом изменять и дополнять, когда явились его «Записки Охотника», как и эти суждения оказались недостаточными, когда он написал новые повести, отличающиеся новыми достоинствами. Но если прежняя оценка развивающегося таланта непременно оказывается недостаточною при каждом новом шаге его вперед, то, по крайней мере, для той минуты, как является, она должна быть верна и основательна. Мы уверены, что не дальше, как после появления «Юности», то, что мы скажем теперь, будет уже нуждаться в значительных пополнениях: талант графа Толстого обнаружит перед нами новые качества, как обнаружил он севастопольскими рассказами стороны, которым не было случая обнаружиться в «Детстве» и «Отрочестве», как потом в «Записках Маркера» и «Двух Гусарах» он снова сделал шаг вперед. Но талант этот, во всяком случае, уже довольно блистателен для того, чтобы каждый период его развития заслуживал быть отмечен с величайшею внимательностью. Посмотрим же, какие особенные черты он уже имел случай обнаружить в произведениях, которые известны читателям нашего журнала.

Наблюдательность у иных талантов имеет в себе нечто холодное, бесстрастное. У нас замечательнейшим представителем этой особенности был Пушкин. Трудно найти в русской литературе более точную и живую картину, как описание быта и привычек большого барина старых времен в начале его повести «Дубровский». Но трудно решить, как думает об изображаемых им чертах сам Пушкин. Кажется, он готов был бы отвечать на этот вопрос: «можно думать различно: мне какое дело, симпатию или антипатию возбудит в вас этот быт? я и сам не могу решить, удивления или негодования он заслуживает». Эта наблюдательность — просто зоркость глаза и памятьливость. У новых наших писателей такого равнодушия вы не найдете; их чувства более возбуждены, их ум более точен в своих суждениях. Не с равною охотою наполняют они свою фантазию всеми образами, какие только встречаются на их пути; их глаз с особенным вниманием всматривается в черты, которые принадлежат сфере жизни, наиболее их занимающей. Так, например, г. Тургенева

особенно привлекают явления, положительным или отрицательным образом относящиеся к тому, что называется поэзией жизни, и к вопросу о гуманности. Внимание графа Толстого более всего обращено на то, как одни чувства и мысли развиваются из других; ему интересно наблюдать, как чувство, непосредственно возникающее из данного положения или впечатления, подчиняясь влиянию воспоминаний и силе сочетаний, представляемых воображением, переходит в другие чувства, снова возвращается к прежней исходной точке и опять и опять странствует, изменяясь, по всей цепи воспоминаний; как мысль, рожденная первым ощущением, ведет к другим мыслям, увлекается дальше и дальше, сливает грезы с действительными ощущениями, мечты о будущем с рефлексией о настоящем. Психологический анализ может принимать различные направления: одного поэта занимают всего более очертания характеров; другого — влияние общественных отношений и житейских столкновений на характеры; третьего — связь чувств с действиями; четвертого — анализ страстей; графа Толстого всего более — сам психический процесс, его формы, его законы, диалектика души, чтобы выразиться определенным термином.

Из других замечательнейших наших поэтов более развита эта сторона психологического анализа у Лермонтова; но и у него она все-таки играет слишком второстепенную роль, обнаруживается редко, да и то почти в совершенном подчинении анализу чувства. Из тех страниц, где она выступает заметнее, едва ли не самая замечательная — памятные всем размышления Печорина о своих отношениях к княжне Мери, когда он замечает, что она совершенно увлеклась им, бросив кокетничанье с Грушницким для серьезной страсти.

«Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь» и т. д. — «Из чего же я хлопочу? Из зависти к Грушницкому? Бедняжка! Он вовсе ее не заслуживает. Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего, чтобы иметь мелкое удовольствие сказать ему, когда он в отчаянии будет спрашивать, чему он должен верить:

« — Мой друг, со мною было то же самое, и ты видишь, однако, я обедаю, ужинаю и сплю преспокойно, и, надеюсь, сумею умереть без крика и слез...» и т. д.

Тут яснее, нежели где-нибудь у Лермонтова, уловлен психический процесс возникновения мыслей, — и, однакож, это все-таки не имеет ни малейшего сходства с теми изображениями хода чувств и мыслей в голове человека, которые так любимы графом Толстым. Это вовсе не то, что полумечтательные, полурефлексивные сцепления понятий и чувств, которые растут, движутся, изменяются перед нашими глазами, когда мы читаем повесть графа Толстого, — это не имеет ни малейшего сходства с его изображениями картин и сцен, ожиданий и опасений, проносящихся в мысли его действующих лиц; размышления Печорина наблюдаются вовсе не с той точки зрения, как различные минуты душевной жизни лиц, выводимых графом Толстым, — хотя бы, например, это изображение того, что переживает человек в

минуту, предшествующую ожидаемому смертельному удару, потом в минуту последнего сотрясения нервов от этого удара:

«Только что Праскухин, идя рядом с Михайловым, разошелся с Калугиным и, подходя к менее опасному месту, начинал уже оживать немного, как он увидел молнию, ярко блеснувшую сзади себя, услышал крик часового: «маркела!» и слова одного из солдат, шедших сзади: «как раз на бастион прилетит».

Михайлов оглянулся. Светлая точка бомбы, казалось, остановилась на своем зените — в том положении, когда решительно нельзя определить ее направление. Но это продолжалось только мгновение: бомба быстрее и быстрее, ближе и ближе, так что уже видны были искры трубки и слышно роковое посвистывание, опускалась прямо в середину батальона.

— Ложись! крикнул чей-то голос.

Михайлов и Праскухин прилегли к земле. Праскухин, зажмурясь, слышал только, как бомба где-то очень близко шлепнулась на твердую землю.

Прошла секунда, показавшаяся часом — бомбу не рвало. Праскухин испугался: не напрасно ли он струсил? может быть бомба упала далеко, и ему только казалось, что трубка шипит тут же. Он открыл глаза и с удовольствием увидел, что Михайлов около самых ног его недвижимо лежал на земле. Но тут же глаза его на мгновение встретились с светящейся трубкой в аршине от него крутившейся бомбы.

Ужас — холодный, исключаяющий все другие мысли и чувства, ужас — объял все существо его. Он закрыл лицо руками.

Прошла еще секунда — секунда, в которую целый мир чувств, мыслей, надежд, воспоминаний промелькнул в его воображении.

«Кого убьет — меня или Михайлова? или обоих вместе? А коли меня, то куда? в голову, так все кончено; а если в ногу, то отрежут, и я попрошу, чтобы непременно с хлороформом, — и я могу еще жив остаться. А может быть, одного Михайлова убьет: тогда я буду рассказывать, как мы рядом шли, его убило и меня кровью забрызгало. Нет ко мне ближе... меня!»

Тут он вспомнил про двенадцать рублей, которые был должен Михайлову, вспомнил еще про один долг в Петербурге который давно надо было заплатить; цыганский мотив, который он пел вечером, пришел ему в голову. Женщина, которую он любил, явилась ему в воображении в чепце с лиловыми лентами, человек, которым он был оскорблен пять лет тому назад и которому не отплатил за оскорбление вспомнился ему, хотя вместе, нераздельно с этими и тысячами других воспоминаний чувство настоящего — ожидание смерти — ни на мгновение не покидало его. «Впрочем, может быть не лопнет», подумал он и с отчаянной решимостью хотел открыть глаза. Но в это мгновение, еще сквозь закрытые веки, глаза его поразил красный огонь, с страшным треском что-то толкнуло его в середину груди: он побежал куда-то, споткнулся на подвернувшуюся под ноги саблю и упал на бок.

«Слава богу! я только контужен», было его первую мыслью, и он хотел руками дотронуться до груди, но руки его казались привязанными, и какие-то тиски сдавили голову. В глазах его мелькали солдаты, и он бессознательно считал их; «один, два, три солдата; а вот, в подвернутой шинели, офицер», думал он. Потом молния блеснула в его глазах, и он думал, из чего это выстрелили: из мортиры или из пушки? Должно быть из пушки. А вот еще выстрелили; а вот еще солдаты — пять, шесть, семь солдат, идут все мимо. Ему вдруг стало страшно, что они раздавят его. Он хотел крикнуть, что он контужен, но рот был так сух, что язык прилип к небу, и ужасная жажда мучила его. Он чувствовал, как мокро было у него около груди: это ощущение мокроты напоминало ему о воде и ему хотелось бы даже выпить то, чем это было мокро. «Верно, я в кровь разбился, как упал, подумал он, и, все более и более начиная поддаваться страху, что солдаты, которые продолжали мелькать мимо, раздавят его, он собрал все силы и хотел закричать: «возьмите меня», но вместо этого застонал так ужасно, что ему страшно стало слушать себя. Потом какие-то красные огни запрыгали у него в глазах, — а ему показалось, что солдаты кладут на него камни; огни все прыгали реже и реже, камни, которые на него накладывали, давили его больше и больше. Он сделал усилие, чтобы раздвинуть камни, вытянулся и уже больше не видел, не слышал, не думал и не чувствовал. Он был убит на месте осколком в середину груди».

Это изображение внутреннего монолога надобно, без преувеличения, назвать удивительным. Ни у кого другого из наших писателей не найдете вы психических сцен, подмеченных с этой точки зрения. И, по нашему мнению, та сторона таланта графа Толстого, которая дает ему возможность уловлять эти психические монологи, составляет в его таланте особенную, только ему свойственную силу. Мы не то хотим сказать, что граф Толстой непременно и всегда будет давать нам такие картины: это совершенно зависит от положений, им изображаемых, и наконец просто от воли его. Однажды, написав «Метель», которая вся состоит из ряда подобных внутренних сцен, он в другой раз написал «Записки Маркера», в которых нет ни одной такой сцены, потому что их не требовалось по идее рассказа. Выражаясь фигуральным языком, он умеет играть не одной этой струной, может играть или не играть на ней, но самая способность играть на ней придает уже его таланту особенность, которая видна во всем постоянно. Так, певец, обладающий в своем диапазоне необыкновенно высокими нотами, может не брать их, если то не требуется его партией, — и все-таки, какую бы ноту он ни брал, хотя бы такую, которая равно доступна всем голосам, каждая его нота будет иметь совершенно особенную звучность, зависящую собственно от способности его брать высокую ноту, и в каждой ноте его будет обнаруживаться для знатока весь размер его диапазона.

Особенная черта в таланте графа Толстого, о которой мы говорили, так оригинальна, что нужно с большим вниманием всматриваться в нее, и тогда только мы поймем всю ее важность для художественного достоинства его произведений. Психологический анализ есть едва ли не самое существенное из качеств, дающих силу творческому таланту. Но обыкновенно он имеет, если так можно выразиться, описательный характер, — берет определенное, неподвижное чувство и разлагает его на составные части, — дает нам, если так можно выразиться, анатомическую таблицу. В произведениях великих поэтов мы, кроме этой стороны его, замечаем и другое направление, проявление которого действует на читателя или зрителя чрезвычайно поразительно: это — уловление драматических переходов одного чувства в другое, одной мысли в другую. Но обыкновенно нам представляются только два крайние звена этой цепи, только начало и конец психического процесса, — это потому, что большинство поэтов, имеющих драматический элемент в своем таланте, заботятся преимущественно о результатах, проявлениях внутренней жизни, о столкновениях между людьми, о действиях, а не о таинственном процессе, посредством которого вырабатывается мысль или чувство; даже в монологах, которые повидимому чаще всего должны бы служить выражением этого процесса, почти всегда выражается борьба чувств, и шум этой борьбы отвлекает наше внимание от законов и переходов, по которым совершается ассоциация представлений, — мы заняты их контрастом, а не формами их возникновения, — почти всегда монологи, если содержат не простое анатомирование неподвижного чувства, только внешностью отличаются от диалогов: в знаменитых своих рефлексиях Гамлет как бы раздвояется и спорит сам с собою; его монологи в сущности принадлежат к тому же роду

сцен, как и диалоги Фауста с Мефистофелем или споры маркиза Позы с Дон-Карлосом. Особенность таланта графа Толстого состоит в том, что он не ограничивается изображением результатов психического процесса: его интересует самый процесс, — и едва уловимые явления этой внутренней жизни, сменяющиеся одно другим с чрезвычайною быстротою и неистощимым разнообразием, мастерски изображаются графом Толстым. Есть живописцы, которые знамениты искусством улавлять мерцающее отражение луча на быстро катящихся волнах, трепетание света на шелестящих листьях, переливы его на изменчивых очертаниях облаков: о них по преимуществу говорят, что они умеют улавлять жизнь природы. Нечто подобное делает граф Толстой относительно таинственнейших движений психической жизни. В этом состоит, как нам кажется, совершенно оригинальная черта его таланта. Из всех замечательных русских писателей он один мастер на это дело.

Конечно, эта способность должна быть врождена от природы, как и всякая другая способность; но было бы недостаточно остановиться на этом слишком общем объяснении: только самостоятельную деятельность развивается талант, и в той деятельности, о чрезвычайной энергии которой свидетельствует замеченная нами особенность произведений графа Толстого, надобно видеть основание силы, приобретенной его талантом. Мы говорим о самоуглублении, о стремлении к неутомимому наблюдению над самим собою. Законы человеческого действия, игру страстей, сцепление событий, слияние обстоятельств и отношений мы можем изучать, внимательно наблюдая других людей; но все знание, приобретаемое этим путем, не будет иметь ни глубины, ни точности, если мы не изучим сокровеннейших законов психической жизни, игра которых открыта перед нами только в нашем общественном самосознании. Кто не изучил человека в самом себе, никогда не достигнет глубокого знания людей. Та особенность таланта графа Толстого, о которой говорили мы выше, доказывает, что он чрезвычайно внимательно изучал тайны жизни человеческого духа в самом себе; это знание драгоценно не только потому, что доставило ему возможность написать картины внутренних движений человеческой мысли, на которые мы обратили внимание читателя, но еще, быть может, больше потому, что дало ему прочную основу для изучения человеческой жизни вообще, для разгадывания характеров и пружин действия, борьбы страстей и впечатлений. Мы не ошибемся, сказав, что самонаблюдение должно было чрезвычайно изострить вообще его наблюдательность, приучить его смотреть на людей проницательным взглядом.

Драгоценно в таланте это качество, едва ли не самое прочное из всех прав на славу истинно замечательного писателя. Знание человеческого сердца, способность раскрывать перед нами его тайны — ведь это первое слово в характеристике каждого из тех писателей, творения которых с удивлением перечитываются нами. И, чтобы говорить о графе Толстом, глубокое изучение человеческого сердца будет неизменно придавать очень высокое достоинство всему, что бы ни написал он и в каком бы духе ни написал. Вероятно, он напишет много такого, что будет поражать каждого читателя дру-

гими, более эффектными качествами, глубиной идеи, интересом концепций, сильными очертаниями характеров, яркими картинами быта — и в тех произведениях его, которые уже известны публике, этими достоинствами постоянно повышался интерес, — но для истинного знатока всегда будет видно — как очевидно и теперь — что знание человеческого сердца основная сила его таланта. Писатель может увлекать сторонами более блистательными; но истинно силен и прочен его талант только тогда, когда обладает этим качеством.

Есть в таланте г. Толстого еще другая сила, сообщающая его произведениям совершенно особенное достоинство своею чрезвычайно замечательной свежестью — чистота нравственного чувства. Мы не проповедники пуританизма; напротив, мы опасаемся его: самый чистый пуританизм вреден уже тем, что делает сердце суровым, жестким; самый искренний и правдивый моралист вреден тем, что ведет за собою десятки лицемеров, прикрывающихся его именем. С другой стороны, мы не так слепы, чтобы не видеть чистого света высокой нравственной идеи во всех замечательных произведениях литературы нашего века. Никогда общественная нравственность не достигала такого высокого уровня, как в наше благородное время, — благородное и прекрасное, несмотря на все остатки ветхой грязи, потому что все силы свои напрягает оно, чтобы омыться и очиститься от наследных грехов. И литература нашего времени, во всех замечательных своих произведениях, без исключения, есть благородное проявление чистейшего нравственного чувства. Не то мы хотим сказать, что в произведениях графа Толстого чувство это сильнее, нежели в произведениях другого какого из замечательных наших писателей: в этом отношении все они равно высоки и благородны, но у него это чувство имеет особенный оттенок. У иных оно очищено страданием, отрицанием, просветлено сознательным убеждением, является уже только как плод долгих испытаний, мучительной борьбы, быть может целого ряда падений. Не то у графа Толстого: у него нравственное чувство не восстановлено только рефлексией и опытом жизни, оно никогда не колебалось, сохранилось во всей юношеской непосредственности и свежести. Мы не будем сравнивать того и другого оттенка в гуманическом отношении, не будем говорить, который из них выше по абсолютному значению, — это дело философского или социального трактата, а не рецензии, — мы здесь говорим только об отношении нравственного чувства к достоинствам художественного произведения, и должны признаться, что в этом случае непосредственная, как бы сохранившаяся во всей непорочности от чистой поры юности, свежесть нравственного чувства придает поэзии особенную — трогательную и грациозную — очаровательность. От этого качества, по нашему мнению, во многом зависит прелесть рассказов графа Толстого. Не будем доказывать, что только при этой непосредственной свежести сердца можно было рассказать «Детство» и «Отрочество» с тем чрезвычайно верным колоритом, с тою нежною грациозностью, которые дают истинную жизнь этим повестям. Относительно «Детства» и «Отрочества» очевидно каждому, что без непорочности нравственного чувства невозможно было бы не только исполнить эти повести, но и задумать их. Укажем другой пример — в «Записках

Маркера»: историю падения души, созданной с благородным направлением, мог так поразительно и верно задумать и исполнить только талант, сохранивший первобытную чистоту.

Благотворное влияние этой черты таланта не ограничивается теми рассказами или эпизодами, в которых он выступает заметным образом на первый план: постоянно служит она оживительницею, освежительницею таланта. Что в мире поэтичнее, прелестнее чистой юношеской души, с радостною любовью откликающейся на все, что представляется ей возвышенным и благородным, чистым и прекрасным, как сама она? Кто не испытывал, как освежается его дух, просветляется его мысль, облагораживается все существо присутствием девственного душою существа, подобного Корделии, Офелии или Дездемоне? Кто не чувствовал, что присутствие такого существа навеивает поэзию на его душу, и не повторял вместе с героем г. Тургенева (в «Фаусте»):

Своим крылом меня одень,
Волненье сердца утиши,
И благодатна будет сень
Для очарованной души...

Такова же сила нравственной чистоты и в поэзии. Произведение, в котором веет ее дыхание, действует на нас освежительно, миротворно, как природа, — ведь и тайна поэтического влияния природы едва ли не заключается в ее непорочности. Много зависит от того же веяния нравственной чистоты и грациозная прелесть произведений графа Толстого.

Эти две черты — глубокое знание тайных движений психической жизни и непосредственная чистота нравственного чувства, придающие теперь особенную физиономию произведениям графа Толстого, останутся существенными чертами его таланта, какие бы новые стороны ни выказались в нем при дальнейшем его развитии.

Само собою разумеется, что всегда останется при нем и его художественность. Объясняя отличительные качества произведений графа Толстого, мы до сих пор не упоминали об этом достоинстве, потому что оно составляет принадлежность, или, лучше сказать, сущность, поэтического таланта вообще, будучи собственно только собирательным именем для обозначения всей совокупности качеств, свойственных произведениям талантливых писателей. Но стоит внимания то, что люди, особенно много толкующие о художественности, наименее понимают, в чем состоят ее условия. Мы где-то читали недоумение относительно того, почему в «Детстве» и «Отрочестве» нет на первом плане какой-нибудь прекрасной девушки лет восемнадцати или двадцати, которая бы страстно влюблялась в какого-нибудь также прекрасного юношу... Удивительные понятия о художественности! Да ведь автор хотел изобразить детский и отроческий возраст, а не картину пылкой страсти, и разве вы не чувствуете, что если бы он ввел в свой рассказ эти фигуры и этот патетизм, дети, на которых он хотел обратить ваше внимание, были бы заслонены, их милые чувства перестали бы занимать вас, когда в рассказе явилась бы страстная любовь, — словом, разве вы не чувствуете, что единство рассказа было бы разрушено, что идея автора погибла бы, что усло-

вия художественности были бы оскорблены? Именно для того, чтобы соблюсти эти условия, автор не мог выводить в своих рассказах о детской жизни ничего такого, что заставило бы нас забыть о детях, отвернуться от них. Далее, там же мы нашли нечто вроде намека на то, что граф Толстой ошибся, не выставив картин общественной жизни в «Детстве» и «Отрочестве»; да мало ли и другого, чего он не выставил в этих повестях? в них нет ни военных сцен, ни картин итальянской природы, ни исторических воспоминаний, нет вообще многого такого, что можно было бы, но не уместно и не должно было бы рассказывать: ведь автор хочет перенести нас в жизнь ребенка, — а разве ребенок понимает общественные вопросы, разве он имеет понятие о жизни общества? Ведь этот элемент столь же чужд детской жизни, как лагерная жизнь, и условия художественности были бы точно так же нарушены, если бы в «Детстве» была изображена общественная жизнь, как и тогда, если бы изображена была в этой повести военная или историческая жизнь. Мы любим не меньше кого другого, чтобы в повестях изображалась общественная жизнь; но ведь надобно же понимать, что не всякая поэтическая идея допускает внесение общественных вопросов в произведение; не должно забывать, что первый закон художественности — единство произведения, и что потому, изображая «Детство», надобно изображать именно детство, а не что-либо другое, не общественные вопросы, не военные сцены, не Петра Великого и не Фауста, не Индиану и не Рудина, а дитя с его чувствами и понятиями. И люди, предъявляющие столь узкие требования, говорят о свободе творчества! удивительно, как не ищут они в «Илиаде» — Макбета, в Вальтере Скотте — Диккенса, в Пушкине — Гоголя! Надобно понять, что поэтическая идея нарушается, когда в произведение вносятся элементы, ей чуждые, и что если бы, например, Пушкин в «Каменном Госте» вздумал изображать русских помещиков или выражать свое сочувствие к Петру Великому, «Каменный Гость» вышел бы произведением нелепым в художественном отношении. Всему свое место: картинам южной любви в «Каменном Госте», картинам русской жизни в «Онегине», Петру Великому в «Медном Всаднике». Так и в «Детстве» или «Отрочестве» уместны только те элементы, которые свойственны тому возрасту, — а патриотизму, героизму, военной жизни будет свое место в «Военных Рассказах», страшной нравственной драме — в «Записках Маркера», изображению женщины — в «Двух Гусарах». Помните ли вы эту чудную фигуру девушки, сидящей у окна ночью, помните ли, как бьется ее сердце, как сладко томится ее грудь предчувствием любви?

«Простясь с матерью, Лиза одна пошла в бывшую дядину комнату. Надев белую кофточку и спрятав в платок свою густую длинную косу, она потушила свечу, подняла окно и с ногами села на стул, устремив задумчивые глаза на пруд, теперь уже весь блестящий серебряным сияньем.

«Все ее привычные занятия и интересы вдруг явились перед ней совершенно в новом свете: старая, капризная мать, несудящая любовь к которой сделалась частью ее души, дряхлый, но любезный дядя, дворовые, мужики, обожающие барышню, дойные коровы и

телки, — вся эта все та же, сколько раз умиравшая и обновлявшаяся природа, среди которой с любовью к другим и от других она выросла, все, что давало ей такой легкий, приятный душевный отдых — все это вдруг показалось *не то*, все это показалось *скудно, не нужно*. Как будто кто-нибудь сказал ей: «дурочка, дурочка! двадцать лет делала вздор, служила кому-то, зачем-то и не знала, что такое жизнь и счастье!» Она это думала теперь, вглядываясь в глубину светлого неподвижного сада, сильнее, гораздо сильнее, чем прежде ей случалось это думать. И что навело ее на эти мысли? Нисколько не внезапная любовь к графу, как бы это можно было предположить. Напротив, он ей не нравился. Корнет мог бы скорее занимать; но он дурен, бедный, и молчалив как-то. Она невольно забывала его и с злобой и с досадой вызывала в воображении образ графа. «Нет, не то», говорила она сама себе. Идеал ее был так прелестен! Это был идеал, который среди этой ночи, этой природы, не нарушая ее красоты, мог быть любимым, — идеал, ни разу не обрезанный, для того чтобы слить его с какой-нибудь грубой действительностью.

«Сначала уединение и отсутствие людей, которые бы могли обратить ее внимание, сделали то, что вся сила любви, которую в душе каждого из нас вложило Провидение, была еще цела и невозмутима в ее сердце; теперь же уже слишком долго она жила грустным счастьем чувствовать в себе присутствие этого чего-то и, изредка открывая таинственный сердечный сосуд, наслаждаться созерцанием его богатств, чтобы необдуманно излить на кого-нибудь все то, что там было. Дай бог, чтобы она до гроба наслаждалась этим скупым счастьем. Кто знает, не лучше ли и не сильнее ли оно? и не одно ли оно истинно и возможно?»

«Господи боже мой! — думала она — неужели я даром потеряла счастье и молодость, и уж не будет?.. никогда не будет? неужели это правда?», и она вглядывалась в высокое светлое около месяца небо, покрытое белыми волнистыми тучами, которые, застилая звездочки, подвигались к месяцу. «Если захватит месяц это верхнее белое облачко, значит правда», подумала она. Туманная, дымчатая полоса пробежала по нижней половине светлого круга, и понемногу свет стал слабеть на траве, на верхушках лип, на пруде, черные тени деревьев стали менее заметны. И, как будто вторя мрачной тени, осенившей природу, легкий ветерок пронесся по листьям и донес до окна росистый запах листьев, влажной земли и цветущей сирени.

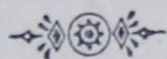
«Нет, это неправда — утешала она себя — а вот если соловей запоеет нынче ночью, то значит вздор все, что я думаю, и не надо отчаяваться, подумала она. И долго еще сидела молча, дожидаясь кого-то, несмотря на то, что снова все осветилось и ожило, и снова несколько раз набегали на месяц тучки, и все померкло. Она уже засыпала так, сидя у окна, когда соловей разбудил ее частой трелью, раздавшейся звонко низом по пруду. Деревенская барышня открыла глаза. Опять с новым наслаждением вся душа ее обновилась этим таинственным соединением с природой, которая так спокойно и светло раскинулась перед ней. Она облокотилась на обе руки. Какое-то томительно сладкое чувство грусти сдавило ей грудь, и слезы чистой широкой любви, жаждущей удовлетворения, хорошие, утешитель-

тельные слезы, налили в глаза ее. Она сложила руки на подоконник и на них положила голову. Любимая ее молитва как-то сама пришла ей в душу, и она так и задремала с мокрыми глазами.

«Прикосновение чьей-то руки разбудило ее. Она проснулась. Но прикосновение это было легко и приятно. Рука сжимала крепче ее руку. Вдруг она вспомнила действительность, вскрикнула, вскочила и, сама себя уверяя, что не узнала графа, который стоял под окном, весь облитый лунным светом, выбежала из комнаты...».

Граф Толстой обладает истинным талантом. Это значит, что его произведения художественны, то-есть в каждом из них очень полно осуществляется именно та идея, которую он хотел осуществить в этом произведении. Никогда не говорит он ничего лишнего, потому что это было бы противно условиям художественности, никогда не безобразит он свои произведения примесью сцен и фигур, чуждых идее произведения. Именно в этом и состоит одно из главных требований художественности. Нужно иметь много вкуса, чтобы оценить красоту произведений графа Толстого; но зато человек, умеющий понимать истинную красоту, истинную поэзию, видит в графе Толстом настоящего художника, то-есть поэта с замечательным талантом.

Этот талант принадлежит человеку молодому, с свежими жизненными силами, имеющему перед собою еще долгий путь — многое новое встретится ему на этом пути, много новых чувств будет еще волновать его грудь, многими новыми вопросами займется его мысль, — какая прекрасная надежда для нашей литературы, какие богатые новые материалы жизнь дает его поэзии! Мы предсказываем, что все, данное доньше графом Толстым нашей литературе, только залогом того, что совершит он впоследствии; но как богаты и прекрасны эти залогом.



ЛЕССИНГ, ЕГО ВРЕМЯ, ЕГО ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ¹.

...Педантизм, робость, подобострастие и предрассудки всякого рода властвовали в обществе. Мы говорили, что оно разделялось на касты, чуждавшиеся одна другой; главной двигательницей жизни в каждой касте было мелочное тщеславие, преклонение перед высшими, презрение к низшим. Религиозное одушевление исчезло после Тридцатилетней войны, но осталась вражда различных христианских вероисповеданий: католики, лютеране, кальвинисты ненавидели друг друга; религиозные и нравственные понятия были суровы и грубы; вообще, умственная жизнь была стеснена предрассудками и предубеждениями.

Наука, которая должна была бы противодействовать этим неблагоприятным для народного развития отношениям и вести нацию вперед, при распространившейся привычке к педантизму и формализму

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. III, стр. 638—640, 650—654, 656—658, «Современник» № 10—12, 1856 г., № 1, 3, 6, 1857 г.

получила такой вид, что сама служила одним из главнейших препятствий прогрессу умственной и общественной жизни. Университеты и школы, вообще говоря, не просвещали, а только еще более затуманивали умы. Все науки преподавались с кафедр и разрабатывались в кабинетах, в самой сухой и мертвой форме. Ученый обыкновенно был педантом и формалистом, слепо верившим тому, чему научился от своего бывшего наставника; он без всякой критики компилировал факты, не отыскивая в них смысла, заботясь только о систематичности и внешней ученой форме. Мертвый догматизм властвовал во всех отраслях науки, от философии до изучения древних языков, от законовещения до теории словесности. Параграфы, аксиомы, теоремы, леммы, королларии, подразделения заставляли забывать о живом содержании в нравственных и юридических науках, которые излагались с такою же сухостью, как алгебра или геометрия. В истории больше всего занимались хронологическими и генеалогическими таблицами и мелочными подробностями, не обращая внимания на смысл фактов и связь событий; в законовещении господствовал взгляд совершенно отвлеченный и односторонний, так что применение его к жизни было страшным бедствием для всего народонаселения: юристы были истинными мучителями для Германии; в богословии сохранялись понятия, свойственные средним векам, и самый протестантизм стал неподвижен и безжизнен если не больше, то не меньше католицизма. Книги вообще писались так сухо и тяжело, что только записные ученые решались читать их. Еще в 1765 году Зульцер говорил:

«Книги остаются исключительно в руках одних профессоров, студентов и журналистов, и мне кажется, что писать для настоящего поколения — дело, едва ли стоящее труда. Если в Германии существует читающая публика вне круга людей, по ремеслу своему обязанных обращаться с книгами, то я должен признаться в своем невежестве — я не знаю о существовании такой публики. Я вижу за книгами только студентов, кандидатов, там и сям одинокого профессора, изредка проповедника. Общество, в котором эти читатели составляют незаметную — действительно, совершенно незаметную — частицу, не имеет и понятия, что такое литература, философия, что такое разумно нравственные убеждения и вкус».

Картина, составляющаяся из фактов, нами исчисленных, очень мрачна; но никто из знакомых с политическим и умственным состоянием Германии в половине прошлого века не скажет, чтобы можно было представлять себе это состояние в ином свете. «Гнуснейшее варварство» (*die hässlichste Barbarei*) — вот выражение, которым характеризует положение своего отечества около 1750 года Гервинус; а Гервинус принадлежит к числу людей очень умеренных, даже слишком умеренных в своем образе мыслей: он патриот, иногда даже слишком пристрастный к родной старине.

Но прошло время, когда ни один из европейских народов не мог оставаться в закоснелости своих недостатков и предубеждений, когда каждая нация почувствовала потребность новой, лучшей, жизни, — и Германия пробудилась из своей нелепой и тяжелой летаргии.

Свежим воздухом веяло на нее из Франции, из Англии, — лучи

нового света стремились на нее из этих стран, опередивших ее в XVII веке. Крепок был сон, долго медлила Германия пробудиться от него; густ был мрак, тяготевший над нею, но свет-таки восторжествовал над мраком, и открылись наконец глаза, отягощенные мертвою дремотою...

Отец сам учил его; но некоторое время давал ему, кроме того, уроки некто Милиус, с братом которого Лессинг впоследствии очень подружился. Чем больше рос мальчик, тем сильнее обнаруживались в нем дарования и любознательность. Это много-много утешало родителей, говорит его брат: на двенадцатом году они решились отдать его в Мейссенскую княжескую школу, нечто, соответствующее тем из наших гимназий, в которых все ученики должны жить в пансионе. В выборе Мейссенской школы отец и мать руководились как хорошею славою этого заведения в ученном отношении, так и необходимостью воспитывать сына на казенном содержании при недостаточности собственных средств. Но в школу не принимали детей ранее тринадцатилетнего возраста, и потому Лессинг был показан годом старше, нежели сколько было ему на самом деле.

Интересно познакомиться с устройством этой школы, считавшейся образцовою, чтобы видеть, в каком состоянии находилось школьное образование в Германии лет сто двадцать тому назад. Это описание как бы переносит нас из XVIII столетия в XVI. Брат Лессинга с обычным своим добродушием смотрит на школу с наивыгоднейшей точки зрения и старается убедить нас, что дело образования велось в ней очень недурно.

«Княжеская школа [говорит он] не была свободна от недостатков, общих училищам того времени. Но где вы найдете училище, в котором не было бы заметно недостатков? Важнее и лучше всего было в ней то, что воспитанники не развлекались заботами о своем содержании; дети знатных и простолюдинов, богатых и бедных пользовались в Мейссенской школе одинаковою пищею, одинаковыми удобствами помещения, уроками одних и тех же воспитателей; сто двадцать юношей беззаботно жили вместе, и скоро между учениками водворилась короткость. В школе ни слуху, ни помину не было о тех рассеяниях, которые так много вреда наносят пылкой и неопытной молодежи в больших городах; в нее не проникали мелочные дрязги высшего или низшего общества. В школе занимались Элладою и Лацнумом более, нежели Саксонией; по-латыни говорили лучше, нежели по-французски, молились очень много, но ханжили очень мало. Прилежный, даровитый, добрый ученик был почти всегда ценним своими товарищами, — не всегда учителем, которых, впрочем никто не обвинял зато в пристрастии. Воспитанники только гордились про себя, что превзошли учителей проницательностью. На первый взгляд казалось, что в Мейссенской школе нельзя было выучиться ничему, кроме латинского и греческого языков; но кто ближе знаком с устройством ее, найдет упрек этот несправедливым. Если латинским и греческим языками занимались слишком много и при объяснении греческих и римских писателей обращали более внимания на слова, чем на мысли, то это была случайность, зависевшая не от правил школы, но от незнания или предубеждения того или другого учителя, который не хотел соединять с словами смысла. Даже философскими и математическими науками занимались в школе серьезно, учили французскому и итальянскому языкам, рисованью, музыке и танцованью. Если и было законом, или, скорее, обычаем, уроки из последних предметов давать только в рекреационные часы, то разве только очень немногие из учителей считали эти предметы пустыми; другие хотели только, чтобы древние языки сохраняли, так сказать, преимущество над французским и над изящными искусствами. В этой монастырской школе Лессинг провел целых пять лет и, как часто говаривал, ей одной был обязан тем, если приобрел какую-нибудь ученость и основательность».

Посмотрим же ближе на эту школу, которая в то время считалась одною из лучших.

Ученики были подчинены друг другу строгим чиноначальством. В каждом нумере жило четыре воспитанника: один из старшего класса (*primanus*) был комнатным надзирателем за своими товарищами; помощником его в этом деле был другой, из второго класса (*secundanus*): два остальные из младших классов, третьего и четвертого, ни за чем уже не надзирали, а были только предметами надзора. Когда ученики переходили из своих комнат в классные залы, они подчинялись новому чиноначалию: на каждой скамье был декурион, наблюдавший за остальными товарищами, сидевшими на этой скамье. Двенадцать первых учеников старшего класса наблюдали за товарищами во время стола и на прогулках, нося титулы столовых и дворовых наблюдателей. Этого не довольно: каждый из учителей поочередно жил неделю в школе, исправляя должность гебдомадария — недельного надзирателя за всею ученическою иерархией, — и в свой черед доносил обо всем конференции преподавателей, собиравшейся раз в неделю.

Строгое благочестие блюлось порядком школы. На молитву было назначено более трех часов в день — всего в течение недели 25 часов. Во время обеда один из учеников читал отрывки из Ветхого Завета.

Школа имела два отделения: старшее и младшее; каждое отделение делилось на два класса, которые слушали уроки вместе, кроме только «эмендации» — классов, посвященных на исправление латинских и греческих сочинений учеников: тут у каждого класса были свои особенные задачи и лекции. В младшем отделении уроки распределялись таким образом: закон божий 5 часов; латинский 15 часов; греческий — 4 часа; французский язык, математика, история и география — по часу или по два, всего 7 часов. В старшем отделении также 5 часов были заняты законом Божиим, 15 латинским и 4 часа греческим языком; с латинскими уроками соединялись уроки [латинской] реторики и просодии. Три часа занимал еврейский язык, по два часа — математика и история, один час — география. Таким образом, большая половина времени употреблялась на латинский язык; все остальные предметы, кроме закона Божия и греческого языка, считались ничтожными сравнительно с этим главным. В преподавании же латинского языка важнейшим делом считалось не чтение древних писателей, а упражнение в сочинениях на заданные темы, исправлению которых учитель и посвящал большую часть уроков. Только за успехи в латинских сочинениях ученик ценился школьным начальством, — и оно гордилось тем, что из школы выходило много людей, умевших писать латинские стихи. Родной язык был в совершенном пренебрежении: ему, как видим, не было дано ни одного часа ни в одном классе школы; чтение немецких книг считалось предосудительным для воспитанников, потому что могло повредить исключительному занятию их латынью.

Полный курс школы обнимал шесть лет, так что в каждом отделении ученики обыкновенно проводили по три года, и если кто из них успевал, переходя каждый семестр из одной декурии в другую,

старшую, из одного класса в другой, достичь высшего класса и прослушать весь курс ранее определенных шести лет, то все-таки оставался в школе и продолжал слушать уроки до истечения шестилетнего срока. О том, что эта задержка нимало не нужна ему, никто не заботился: пусть утвердится в хорошем латинском слого, говорили начальники школы, и родители совершенно соглашались с таким полезным правилом.

Словом сказать, Мейссенская княжеская школа, подобно всем другим немецким школам того времени, была исключительно школою средневекового латинского педантства. Образ жизни, порядок и дух преподавания, распределение классных занятий, — все в ней сохранилось по образу и подобию средних веков.

Не в натуре Лессинга было удовлетвориться и проникнуться этим направлением: двенадцатилетний мальчик сначала поддался было ему и приобрел любовь учителей, — быстро переходил из класса в класс, считался превосходнейшим учеником, — но светлый ум рано развился в нем, он увидел пустоту латинской стилистики, тем более, что скоро постиг все ее мудрости, стал заниматься самостоятельно, пренебрегая латинскими темами, писать которые было ему уже легко, — и тогда начальство стало жалеть о том, что юноша с такими быстрыми способностями губит свое время и погубит себя. «Этому коню нужно задавать двойную порцию корма», говорили начальники: «он уж научился у нас всему, чему может научить наша школа», прибавляли они — и все-таки жалели о том, что он занимается другими предметами, кроме латинского языка, и все-таки настаивали на том, чтоб он досидел на школьной скамье определенный шестилетний термин, хотя все курсы были уже давно пройдены им.

Лессинг поступил в Мейссенскую школу 21 июня 1741 года, и через сто лет, в 1841 году, школа торжествовала юбилей дня, когда вступил в нее ученик, прославивший место своего воспитания, но не успевший, по мнению тогдашних своих наставников, кончить курс, как следует хорошему ученику.

Сначала, однако же, как мы говорили, дело шло хорошо. Во втором классе Лессинг был первым учеником и через полгода, на семнадцатом году, переведен был в следующий, последний, класс; но тут — увы! он решительно начал губить себя во мнении мудрых преподавателей. «Пока Лессинг все свободное время употреблял исключительно на чтение классиков и на сочинение латинских рассуждений и стихов (говорит его брат), он оставался любимцем ректора Гёре, который уважал только филологию и теологию. Но как скоро этот ученый муж узнал, что Лессинг начал заниматься также новыми языками и математикой, он стал считать его рассеянным юношей, из которого не выйдет проку».

Ученик, переросший головою своих учителей, чувствовал, что ему нечего делать в школе, и настоятельно упрашивал отца позволить ему выйти из школы, говоря, что давно уже он достаточно приготовлен к слушанию университетских лекций; но, по правилу шестилетнего термина, ему оставалось пробыть в школе еще года полтора, и отец медлил согласием. Но тут произошло столкновение, в сущности вздорное, однако же помогшее Лессингу победить нерешитель-

тельность отца, хотя и вовсе не приятным для родительского сердца образом.

В школе, как мы уже знаем, было правилом, чтобы каждый из наставников поочередно дежурил неделю в комнатах воспитанников, или, как тогда называли это, был *hebdomadarius*'ом. По воскресеньям¹ все наставники собирались для совещания об училищных делах. В эту конференцию призывались лучшие двенадцать учеников, надзиравшие за товарищами, *inspectores*; они отдавали отчет за прошедшую неделю и выслушивали распоряжения на будущую неделю, — это называлось *censura*. В числе *inspectores* был и Лессинг. В одну из таких ценсур ректор спросил, почему ученики на прошлой неделе, когда *hebdomadarius* был конректор Гёре, поздно приходили на молитву. Все *iesphtrное* молчали, а Лессинг шепнул на ухо стоявшему подле него товарищу: «Я знаю, почему». Ректор, расслышавший эти слова, приказал Лессингу сказать громко, что ж он знает; Лессинг не хотел говорить, но его заставили, и он сказал: «Г. конректор опаздывает, потому и ученики думают, что незачем приходить рано». Конректор не нашелся ничего возразить и проговорил только: *admirabler Lessing* — «дивный Лессинг!» — прозвание, с той поры оставшееся за учеником между его товарищами. Но простить ученику этой улики Гёре не мог: он был глубоко оскорблен, так что, когда через несколько лет привезли в школу одного из младших братьев Лессинга, Гёре, принимая его, сказал: «Ну, с богом, учись прилежно, только не умничай, как брат...»

Лейпцигский университет считался в то время одним из лучших в Германии; он имел множество знаменитых профессоров: например, философский факультет блистал именами Готтшеда, Криста, Иохера, Винклера, Эрнести. Не менее блистательны были, по тогдашним понятиям, и другие факультеты. Но Лессинг был не такой человек, чтобы ему мог понравиться какой-нибудь немецкий университет того времени. Взглянем поближе на состояние Лейпцигского университета, и мы оправдаем Лессинга за то, что он не был прилежным студентом.

Университет был устроен наподобие какого-нибудь ремесленного цеха². Все в нем делалось по заказу, по расчету, не по призыванию. Довольно указать на один обычай. Кафедры каждого факультета распределялись по известному порядку почетности. Профессор такого-то предмета считался старшим, другого — вторым, третьего — третьим по достоинству места и т. д.; когда почетнейшая кафедра становилась вакантною, профессора факультета переменили кафедры, подымаясь ступенью выше по иерархическому порядку, нужды нет, хотя бы через это попадали на кафедру предмета, совершенно чуждого им. Можно вообразить, какой ералаш происходил оттого в их занятиях и каково были многие знакомы с теми науками, лекции о которых читали. Впрочем, потеря для достоинства лекций была от того незначительна: почти все профессора читали по учебникам, только немногие составляли сами записки, которых буквально

¹ Биография, написанная братом Лессинга.

² Данцель.

держались. В духе преподавания господствовали вообще непроходимый педантизм, формализм и страшная сухость. Словом, направление преподавания было вовсе не привлекательно для юноши с светлой головою; студенты выносили из аудитории понятия, которые могли быть хороши разве для XVI века.

Неудивительно, что лекции очень скоро наскучили такому даровитому юноше, как Лессинг, — юноше с пылким характером, с нетерпеливым желанием углубляться в основные вопросы каждой науки, а не жить чужой головой, как то было принято в тогдашних немецких университетах. Отец, ожидавший, что он будет прилежным слушателем теологических курсов, скоро узнал, что сын вовсе не сообразуется с его желанием. С первого же разу Лессинг оставил богословский факультет и объявил, что хочет посещать курсы медицинских наук. Действительно, богословие в Лейпциге преподавалось в совершенно устаревшем духе Лютера и Меланхтона. Эта отсталая система решительно отталкивала живого юношу, который уже имел настолько начитанности, чтобы чувствовать ее несостоятельность. Но и с медицинскими занятиями дело пошло не лучше, нежели с богословскими: по правде говоря, Лессинг только для формы поступил в медицинский факультет — нужно же было хотя сколько-нибудь успокоить отца относительно своей карьеры и насущного хлеба в будущем. На самом же деле он занимался всем, что только привлекало его внимание, между прочим, занимался и медициной, и богословием, но сам по себе, как ему хотелось, а не официальным порядком, и медицинских курсов не посещал точно так же, как и богословских. Шутя, он говорил после, что во всю свою жизнь был только на одной медицинской лекции, именно на лекции акушерства, которое почел было интереснейшей отраслью медицинских наук.

Очень мало посещал он и лекции других факультетов, хотя у очень многих профессоров побывал на лекциях, для пробы, по два, по три раза. Почти ни один из профессоров не удовлетворял его. Чаще других посещал он в одно полугодие знаменитого филолога Эрнести, но и у того не выслушал полугодичного курса.

Что же он думает делать с собою, до такой степени negliжируя университетскими занятиями? Было над чем призадуматься отцу, погоревать матери. Правда, не посещая лекций, сын их самостоятельными занятиями приобрел во сто раз больше знаний, нежели имели их аккуратнейшие студенты и, быть может, знаменитейшие лейпцигские ученые; но кто же поверил бы, что молодой человек, не посещая лекций, не теряет, а выигрывает время для приобретения глубоких и обширных знаний? Отец и мать не могли быть уверены в его домашних занятиях; они знали наверное только то, что он не посещает лекций.

Мало того, что сын не посещает лекций: до родителей доходили слухи, еще более огорчительные: с какими людьми он знается! — не с профессорами, не с прилежными и добропорядочными юношами, а с бездомными гуляками; задушевнейший приятель и руководитель его — неумытый, небритый Милиус, который ходит в сапогах без подошв, в дырявом платье с голыми локтями — тот самый Милиус, которого прозвали «вольнодумцем», о котором с негодованием гово-

рит весь Каменеу, осмеянный им в наглой сатире, который лично оскорбил в этой сатире двумя едкими стихами самого первенствующего пастора! — и с этим побродягою-пасквилянтом сдружился теперь погибающий юноша, слушается его во всем, вероятно, уже выучился у него и смеяться над отцом и кощунствовать над Лютером — это ужасно!

Милиус, вся жизнь которого прошла в борьбе с нищетой и в увлечении излишествами и который умер слишком рано, для того чтобы упрочить себе в науке славу, на которую имел право по своим дарованиям и учености, — этот Милиус был действительно ближайшим из друзей Лессинга в первой поре его деятельности...



ЗАМЕТКИ О ЖУРНАЛАХ¹.

Май 1857.

...Наука не существует в отвлеченности. Она выражается в произведениях людей, признаваемых ее представителями. Истина в науке в данное время есть то, что признается за истину передовыми людьми этой науки в данное время. Огромное большинство публики, для пользы которой всегда должна существовать литература, состоит не из специалистов, гордящихся самостоятельностью своих воззрений, а из людей, которые скромно говорят: «более, нежели собственному суду, мы доверяем мнениям великих ученых об этом предмете». Итак, в какое положение ставит своих противников партия, начинающая ссылаться на авторитеты? Она говорит публике: «Наши противники искажают науку, заставляя ее говорить в свою пользу. Наука говорит в нашу пользу, потому что вот такие-то и такие-то великие ученые говорят то же самое, что и мы». Если бы эти слова были оставлены без возражений, дело было бы проиграно во мнении публики теми людьми, которые теперь обвиняются в противоречии с авторитетами науки. Большинство публики, не доверяя собственному суждению, положило бы на мнение людей, выставляемых ему как авторитеты науки, и согласилось бы с мнением партии, сославшейся на эти авторитеты. Между тем, противная партия убеждена, что это мнение есть заблуждение. Итак, она считала бы себя отступницей от дела истины, если бы не подвергла критике перед глазами публики тех оснований, по которым ее противники заставляют верить себе публику. Итак, выставленные авторитеты должны быть подвергнуты критике, — и вот, по необходимости, начинается спор о том, действительно ли такой-то ученый, выставляемый представителем науки, есть великий ученый и действительно ли он должен считаться представителем науки? Вы видите, что от общих вопросов об идеях спор перешел к вопросу об ученых заслугах такого-то или такого-то человека. Вы видите, что это не могло быть иначе. Каждый шаг, делаемый прением, необходим и совершенно законен. Кто

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. III, стр. 255—256.

говорит: «пусть ведутся споры об ученых предметах, но не переходят в споры об ученых качествах отдельных лиц», тот говорит: «я не хочу, чтобы люди, ведущие ученый спор, пользовались совершенно законными и необходимыми средствами для защиты того мнения, которое кажется им истиною. Я хочу, чтобы люди, желающие защищать истину, соглашались безответно видеть торжество заблуждения. Я хочу, чтобы всякая резкость к защите истины служила только для торжества заблуждений». По нашему мнению, такой человек поступил бы лучше, если бы откровенно сказал: «я не хочу, чтобы была защищаема истина. Я хочу, чтобы ум публики дремал, чтобы ученые молчали». Такие слова были бы, по крайней мере, искренни. В искренности есть что-то благородное и привлекательное. Признаемся, желание, столь откровенно выраженное, показалось бы нам обольстительно по своей прямоте, и мы были бы расположены даже сочувствовать ему, если бы успели убедиться в том, что оно удобоисполнимо. В самом деле, какая приятная перспектива открывается этим желанием! Публика не тревожится никакими мыслями, безмятежно наслаждается своим житейским, семейным и общественным счастьем. Солнце так кротко и ясно светит на поля и города. Деревья зеленеют, и под каждым деревом мирно сидит доброе и счастливое семейство, ведя приятный и мирный разговор о том, как хороша погода, о том, каков будет ныне урожай хлебов, и тому подобным, приятным и безобидным предметам. Мы любители всяких идиллий. Необходимым условием каждой идиллии предполагается то, чтобы не было ни журнальной полемики, ни толков о журналах или книгах, ни даже мысли о них. О, как были бы мы счастливы, если бы могли обратиться в Меналков и Тирсисов! Мы играли бы на свирелях, мы пасли бы наших овец, и мы сами были бы похожи на кротких овец. Усладительная, обольстительная картина! Не только журнальной полемикой, всеми журналами можно бы пожертвовать, если бы такой ценой возможно было купить подобное счастье.

К сожалению, нельзя его купить принесением в жертву не только журнальной полемики или журналов, не только всех ученых и литераторов, но даже и всех грамотных людей.

Люди, преданные литературе и науке, слишком преувеличивают силу науки и литературы над народным сознанием. Ученые и литераторы вовсе не имеют такой власти над развитием общества, чтобы слова их могли разбудить его, если оно спит, чтобы молчание их могло усыпить его, если оно проснулось. Не книгами, не журналами, не газетами пробуждается дух нации, — он пробуждается событиями. Не шумные толки французских журналов погубили Наполеона — при нем и не было никаких толков. Его погубил поход 1812 года. Не русские журналы пробудили к новой жизни русскую нацию, ее пробудили славные опасности 1812 года.

...Иные из людей, преданных интересам просвещения, науки, литературы, могут сказать, что мы очень неудовлетворительно думаем о силе литературы. Но что же делать? Истина, хотя бы и невыгодная, лучше самого приятного самообольщения. К сожалению, надобно признаться, что типографский станок не может ни деятельностью

своей пробудить народный дух, ни бездействием своим усыпить его. То и другое зависит от событий. Печатный лист имеет совершенно другое значение. Он придает мирный и разумный характер мысли, пробуждаемой событиями. Он не в силах не только пробуждать ее, он не в силах даже, когда она пробудилась, сообщить ей то или другое направление, привлечь ее к тем или другим стремлениям. Все это зависит от событий¹, над которыми не властен не только журнальный лист или слабая рука, его писавшая, но не властны и сильнейшие люди на земле. Одна только сила принадлежит литературе: сообщать разумный и мирный характер тем стремлениям, которые и рождаются, и укрепляются, и исчезают по власти событий. Зато в этом деле помощь литературы не заменима ничем...



СОЧИНЕНИЯ И ПИСЬМА Н. В. ГОГОЛЯ².

Издание П. А. Кулиша, шесть томов, СПб 1857.

...При развитии, подобном тому, какое получил Гоголь, только для очень немногих, самых сильных умом людей настает пора умственной возмужалости, та пора, когда человек чувствует, что ему не достаточно основываться в своей деятельности только на отрывочных суждениях, вызываемых отдельными фактами, а необходимо иметь систему убеждений. В Гоголе пробуждалась эта потребность.

Какими материалами снабдило его воспитание и общество для утоления этой потребности? В нем ничего не нашлось из нужных для того данных, кроме преданий детства; те умственные влияния, о которых вспоминал он и с которыми встречался он в заграничной жизни, все склоняли его к развитию этих преданий, к утверждению в них. Он даже не знал о том, что могут существовать иные основания для убеждений, могут быть иные точки зрения на мир...



СТАТЬЯ «ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ» О НАРОДНОМ ОБРАЗОВАНИИ, О ТЕЛЕСНЫХ НАКАЗАНИЯХ И О СЕМЕЙНЫХ ПРАВАХ ПРОСТОЛЮДИНОВ³.

...Хотя просвещение есть корень всякого блага, но не всегда оно само по себе уже бывает достаточно для исцеления зла; часто требуются также и другие, более прямые, средства, потому что зло не

¹ Чернышевский понимал, что, для того чтобы «пробудить народный дух», нужны события, что «дух нации пробуждается событиями», что просвещение зависит от социально-экономических условий и ими определяется.

² Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. III, стр. 370, «Современник», № 8, 1857.

³ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. III, стр. 548—549, «Современник» № 10, 1857.

всегда бывает основано непосредственным образом на одном только невежестве — иногда оно поддерживается и другими обстоятельствами, которые, конечно, в свою очередь порождены невежеством, но бывают такого свойства, что до уничтожения их не возможно и распространение просвещения. Чтобы дело было яснее, взглянем на состояние индийских париев¹. Они невежды, нравы их грубы. Это так. Какие же прямейшие средства для смягчения их нравов? Просвещение? Но могут ли когда парии просветиться? Этому полагается непреодолимое препятствие самым их положением. Во-первых, они так угнетены нуждою, что им очень трудно найти время и средства для учения; во-вторых, брамины и кшатрии никак не допустят серьезных забот о просвещении парий, потому что все привилегии браминов и кшатрий, все выгоды, ими извлекаемые из касты парий, основываются на невежестве парий. Потому, чтобы дать возможность париям смягчить свои нравы образованием, прежде всего должно изменить положение парий в индийском обществе; они должны из парий сделаны быть просто подданными правительства, а не браминов и кшатрий.

Нечто подобное можно сказать и о смягчении нравов поселян. Тут на одно просвещение нельзя надеяться. Грубость нравов поселянина основана не на одном его невежестве, а также и на характере того обращения, какое испытывает он и его семья от других. Пока сам поселянин подвергается грубому обращению со стороны других, нравы его не могут смягчиться. Пока мы имеем полную возможность быть грубы с женою поселянина, бранить ее и дать ей пинка, поселянин не может наблюдать в обращении с нею особенной деликатности...

Улучшение общественного и материального положения — вот необходимейшее предварительное средство для возможности распространяться просвещению и улучшаться нравам.

...бедные дети действительно очень, очень нуждались в самых строгих ограждениях своего здоровья, своей жизни от безумно-жадной небрежности. Каждому жителю Петербурга хорошо знакома фигура мальчика, зимою, при десяти или пятнадцати градусах стужи, бегущего по улице в ветхом летнем халатике, с полураскрытою от прорех грудью, часто без шапки на голове, еще чаще без обуви на ногах. Можно вообразить, какими удобствами в домашней жизни пользуется этот мальчик, когда в такой костюмировке бывает посылаем по улице. По собственным наблюдениям, почти каждому из нас известно, что у многих мастеров ученики ведут самую ужасную жизнь, — холодают и голодают несказанно, подвергаясь беспрестанным истязаниям; не редкость, что пьяный портной тычет ученика горячим утюгом; о том, коротко ли знакомы с сапожною колодкою головы учеников сапожника, нечего и говорить...².

¹ По условиям царской цензуры Чернышевский вынужден был под словами «Индия», «брамины», «парии» подразумевать Россию, помещиков, крепостное крестьянство. И читатели понимали «своеобразие» языка Чернышевского.

² Можно сказать, что положение мальчиков и девочек, отдаваемых в ученье, оставалось почти таким же до Октябрьской Социалистической революции, когда поднявшийся на борьбу пролетариат нашей страны навсегда свергнул власть капиталистов и помещиков.

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК НА RENDEZ-VOUS¹.

Размышления по прочтении повести г. Тургенева «Ася».

...Без приобретения привычки к самобытному участию в гражданских делах, без приобретения чувств гражданина, ребенок мужского пола, вырастая, делается существом мужского пола средних, а потом пожилых лет, но мужчиною он не становится, или по крайней мере не становится мужчиною благородного характера. Лучше не развиваться человеку, нежели развиваться без влияния мысли об общественных делах, без влияния чувств, пробуждаемых участием в них. Если из круга моих наблюдений, из сферы действий, в которой вращаюсь я, исключены идеи и побуждения, имеющие предметом общую пользу, т. е. исключены гражданские мотивы, что остается наблюдать мне? в чем остается участвовать мне? Остается хлопотливая сумятица отдельных личностей с личными узенькими заботами о своем кармане, о своем брюшке или о своих забавах...



БОРЬБА ПАРТИЙ ВО ФРАНЦИИ ПРИ ЛЮДОВИКЕ XVIII КАРЛЕ X².

...С теоретической стороны либерализм может казаться привлекательным для человека, избавленного счастливой судьбою от материальной нужды: свобода — вещь очень приятная. Но либерализм понимает свободу очень узким, чисто формальным образом. Она для него состоит в отвлеченном праве, в разрешении на бумаге, в отсутствии юридического запрещения. Он не хочет понять, что юридическое разрешение для человека имеет цену только тогда, когда у человека есть материальные средства пользоваться этим разрешением. Ни мне, ни вам, читатель, не запрещено обедать на золотом сервизе; к сожалению, ни у вас, ни у меня нет и, вероятно, никогда не будет средств для удовлетворения этой изящной идеи; потому я откровенно говорю, что нимало не дорожу своим правом иметь золотой сервиз, и готов продать это право за один рубль серебром или даже дешевле. Точно таковы для народа все те права, о которых хлопочут либералы. Народ невежествен, и почти во всех странах большинство

¹ Чернышевский, Полное собр. соч., т. I, стр. 98, «Атеней» № 3, 1858.

Цель воспитания определялась Чернышевским как воспитание гражданина-общественника, человека передовых идей, способного во имя общественного дела, — дела народа — к решительным действиям. Чернышевский считал революцию в России стоящей «у порога».

И сам Чернышевский, как известно, был готов к непосредственному участию в революционной борьбе, участвовал в ней, «не пугаясь ни крови, ни грязи, которые будут ее сопровождать».

² Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. IV, стр. 157—159, «Современник» № 8—9, 1858.

его безграмотно; не имея денег, чтобы получить образование, не имея денег, чтобы дать образование своим детям, каким образом станет он дорожить правом свободной речи? Нужда и невежество отнимают у народа всякую возможность понимать государственные дела и заниматься ими, — скажите, будет ли дорожить, может ли он пользоваться правом парламентских прений?

Нет такой европейской страны, в которой огромное большинство народа не было бы совершенно равнодушно к правам, составляющим предмет желаний и хлопот либерализма. Поэтому либерализм повсюду обречен на бессилие: как ни рассуждать, а сильны только те стремления, прочны только те учреждения, которые поддерживаются массой народа. Из теоретической узкости либеральных понятий о свободе, как простом отсутствии запрещения, вытекает практическое слабосилие либерализма, не имеющего прочной поддержки в массе народа, не дорожащей правами, воспользоваться которыми она не может по недостатку средств.

Не переставая быть либералом, невозможно выбиться из этого узкого понятия о свободе как о простом отсутствии юридического запрещения. Реальное понятие, в котором фактические средства к пользованию правом поставляются стихией более важною, нежели одно отвлеченное отсутствие юридического запрещения, совершенно вне круга идей либерализма. Он хлопочет об отвлеченных правах, не заботясь о житейском благосостоянии масс, которое одно и дает возможность к реальному осуществлению права.

...И не приходило в голову этим людям, что не альпийская роза, а кусок хлеба нужен вам, потому что голодному не до цветков природы или красноречия, и дивились они, и осыпали вас упреками в неблагодарности к ним, в равнодушии к вашему собственному счастью за то, что вы холодно смотрели на их подвиги и не лезли за ними через скалы и пропасти, и не поддерживали их, когда они с своей заоблачной вышины падали в бездну. Жалкие слепцы, они не сообразили, что достать для вас кусок хлеба было бы им гораздо легче, — не сообразили потому, что и не предполагали, будто кому-нибудь может быть нужна такая прозаическая вещь, как кусок хлеба.



ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ¹.

(1859)

...Меры должны состоять в усиленной заботливости английского правительства о развитии английской промышленности, о распространении просвещения в Англии и более всего — о возвышении благо-

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. V. Январь, 1859 г., стр. 511.

состояния бедных классов английского народа. Последняя забота важнее всех, как потому, что благосостояние массы само по себе главнейший источник государственного могущества, так и потому, что оно служит необходимым условием для развития двух других условий государственной силы, для развития промышленности и просвещения. Если вы пойдете по этому пути быстрее, нежели Россия, с каждым годом вы будете становиться сильнее ее; а если она хочет идти другим путем, путем войны, завоеваний и насилия, она быстро будет терять и прежнюю свою силу. Но я не желаю вреда никакому народу, хотя больше всего желаю пользы своему. Я не радовался бы, если бы Россия действительно хотела губить себя войнами и завоеваниями. Я хочу думать, что нынешнее столкновение ее с Турцией было только следствием несчастных обстоятельств, которые скоро минуются; и во всяком случае нельзя не предвидеть, что очень скоро она обратит свои силы вместо завоеваний на развитие истинных источников могущества, на заботу о своей промышленности, своем просвещении, о благосостоянии своих простолюдинов, и как вы, если будете благоразумны, быстро станете усиливаться, так будет возрастать и ее истинное могущество. Пусть возрастает: мы должны желать ей того, как надобно желать и всякому другому народу, потому что такое могущество дает только счастье и безопасность самой державе, им владеющей, а не представляется опасностью для других держав: ведь оно основано на промышленности, образованности, на благосостоянии массы народа; а чем промышленнее и образованнее государство, тем меньше ищет оно войны, и чем благосостоятельнее масса народа, тем усерднее народ станет, в случае надобности, защищать свои границы, но тем меньше будет у него охоты нападать на других. Такова была сущность мыслей, которыми Брайт доказывал ненужность и вред войны с Россией для самой Англии...



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО¹.

(1859).

...Один из самых избитых трюизмов состоит в том, что человек все больше подчиняет себе природу. Когда одно из данных количеств останется неизменным (силы природы), а другое (силы человека) постоянно возрастает и притом чем далее, тем быстрее, то простое арифметическое соображение показывает нам, что второе количество с течением времени необходимо сравняется с первым и даже превзойдет его. Таким образом, мы принимаем за арифметическую истину, что современем человек вполне подчинит себе внешнюю природу, насколько будет ему нужно, переделает все на земле сообразно с своими потребностями, отвратит или обуздает все невыгодные для

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. IV, стр. 449—459, «Современник» № 2, 1859.

себя проявления сил внешней природы, воспользуется до чрезвычайной степени всеми теми силами ее, которые могут служить ему в пользу. Этот один путь уже мог бы привести современем к уничтожению несоразмерности между человеческими потребностями и средствами их удовлетворения. Но достижение такой цели значительно сократится изменением в размере и важности разных человеческих потребностей. С развитием просвещения и здравого взгляда на жизнь будут постепенно ослабевать до нуля разные слабости и пороки, рожденные искажением нашей природы и страшно убыточные для общества; будет ослабевать и общий корень большинства этих слабостей и пороков — тщеславие. Итак, с одной стороны, труд будет становиться все производительнее и производительнее, — с другой стороны, все меньшая и меньшая доля его будет тратиться на производство предметов бесполезных. Вследствие дружного действия обоих этих изменений, люди придут когда-нибудь к уравниванию средств удовлетворения с своими потребностями. Тогда, конечно, возникнут для общественной жизни совершенно новые условия и между прочим прекратится нужда в существовании законов для экономической деятельности. Труд из тяжелой необходимости обратится в легкое и приятное удовлетворение физиологической потребности, как ныне возвышается до такой степени умственная работа в людях просвещенных: как вы, читатель, перелистываете теперь книгу не по какому-нибудь принуждению, а просто потому, что это для вас занимательно и что было бы для вас скучно не посвящать чтению каждый день известное время, так некогда наши потомки будут заниматься материальным трудом. Тогда, конечно, производство ценностей точно так же обойдется без всяких законов, как теперь обходится без них прогулка, еда, игра в карты и другие способы приятного препровождения времени. Каждая пробужденная потребность будет удовлетворяться досыта, и все-таки останется за потреблением излишек средств удовлетворения; тогда, конечно, никто не будет спорить и ссориться за эти средства, и распределение их вообще будет обходиться без всяких особенных законов, как ныне обходится без особенных законов пользование водами океана: плыви, кто хочет, — места всем достанет...



СУЕВЕРИЕ И ПРАВИЛА ЛОГИКИ¹.

Позволительна ли по правилам логики гипотеза о вредном влиянии общинного владения на земледелие. — Что такое называется азиатством и в чем заключаются действительные препятствия успехам нашего земледелия.

Нам, людям просвещенным, чрезвычайно смешны кажутся деревенские простяки, верящие в знахарство и заговоры. Пропадет у бабы холст, который разострала она белить за огородом, — баба отправляется к знахарю, главе всех окрестных мошенников, и знахарь объявляет ей, что холст найдется в таком-то овине или хлеве. Долго бьет мужика неотвязно лихорадка: призывают знахарку, — она поит его вином, к которому примешан мышьяк, сопровождая лечение причитыванием разных заговоров, и лихорадка проходит, если больной не умрет от мышьяка. И баба, нашедшая свой холст, и мужик, выздоровевший от лихорадки, остаются в твердом убеждении, что действие произведено причитываниями и таинственными жестами, с которыми знахарь гадал о потерянной вещи и знахарка давала лекарство. Какое нелепое, тупоумное суеверие! Но если, вместо того чтобы смеяться над ним, мы захотим разобраться, отчего произошло дикое заблуждение, мы найдем, что сущность его состоит в предположении, будто бы результат произведен фактом, только случайно совпадающим с другими фактами, обратить внимание на которые не хотят суеверные простяки и которые сами по себе уже очень достаточны для объяснения дела. Знахарь имеет сношение с ворами — это известно всем в селе; не было ли бы довольно этого, чтобы понять, как может он указать место украденной вещи, поделившись оброком от простодушной крестьянки с своими агентами — ворами? Мышьяк — лекарство слишком вредное, но радикальное лекарство от лихорадки; не было ли бы довольно этого, чтобы объяснить излечение мужика? Но деревенские невежды, пренебрегая причинами положительными, непременно хотят строить гипотезы о мнимом влиянии таких фактов, которые ровно ничем не участвовали в совершении дела.

Если мы не захотим забывать найденной нами существенной черты суеверия, то без всякого затруднения мы найдем слово, которым надобно характеризовать мнение отсталых экономистов о том, будто бы плохое состояние нашего земледелия имеет какую-нибудь связь с общинным владением. Это мнение, точно так же как вера в силу таинственных жестов знахарства, основывается исключительно на

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. IV, стр. 549—564.

Чернышевский считал, что популяризация, распространение, знаний является основной задачей ученых.

Задачу ученых — на том этапе развития дела просвещения в народе, Чернышевский видел в том, чтобы распространять знания.

Он видел вокруг себя темноту, невежество, нищету, поэтому он всю силу своего гениального ума отдал на борьбу за подлинное просвещение народа. И Чернышевский стал пропагандистом, революционером-просветителем. В этом свете его статья — «Суеверие и правила логики» — имеет особо интересный характер.

том, что отсталые экономисты непременно хотят придумать гипотезу для объяснения факта, слишком достаточно объясняемого действием причин очевидных и несомненных. В одной статье мы говорили о возражениях против общинного владения, проистекающих от незнакомства с философией, в другой — о возражениях, проистекающих из незнакомства с характером дельного законодательства, из неумения отличить его от бестолковой регламентации; теперь мы будем говорить о предрассудке, возникающем из незнакомства с основными правилами логики.

Когда мы хотим исследовать, может ли какое-нибудь обстоятельство считаться причиною известного факта, логика предписывает нам, во-первых, рассмотреть, нужна ли гипотеза о какой бы то ни было лишней причине, или тот факт, происхождение которого мы хотим узнать, совершенно достаточно объясняется действием причин уже известных. Если окажется этих несомненных причин уже совершенно достаточно, и что нет надобности придумывать новую причину, логика велит нам испытать, нет ли положительных указаний, что факт, происхождение которого мы объясняем, возникает исключительно от этих причин, совершенно независимо от обстоятельства, которому наше суеверие приписывало влияние на него. Для этого логика велит внимательнее обозреть природу и историю, чтобы видеть, не повторяется ли этот факт в полной своей силе и там, где не существует обстоятельства, которое суеверным образом ставится в связь с ним. Для человека рассудительного бывает обыкновенно довольно первой половины исследования; но тот, кто ослеплен суеверием, принужден бывает сознаться в своем заблуждении только по приложении к спорному вопросу и второго способа — способа отрицательной проверки. Положим, например, что я вздумал бы утверждать, будто поднятие ртути в барометрической трубке зависит от свойств стеклянной массы, составляющей стенки этой трубки. Как узнать, основательно ли мое мнение? Каждому известно, что ртуть поднимается в трубке давлением атмосферы, и логика велит прежде всего исследовать, достаточно ли влияние одной этой причины для поднятия ртути на ту высоту, какой она достигает в барометре. Если окажется, что достаточно одного давления атмосферы для произведения этого факта, рассудительные люди уже увидят неосновательность моего мнения о связи этого явления с качествами стекла; но я в упорстве своего ослепления все еще могу твердить: «так, ртуть поднимается давлением атмосферы; но почему знать, не поднимается ли она отчасти также и каким-нибудь свойством стекла?» Чтобы отнять у меня возможность такого пустословия, надобно сделать барометр из железа, кости или какого-нибудь другого материала; когда в роговой или глиняной трубке ртуть будет подниматься точно так же, как в стеклянной, нелепость моей гипотезы обнаружится таким осязательным способом, что, не отказавшись от нее, я представляюсь уже просто или человеком недобросовестным, или тупоумным суевером. Упрямство отсталых экономистов таково, что необходимо довести исследование о предполагаемой связи между низким состоянием земледелия и общинным владением до этого последнего результата. Для них мало будет простого указания на то, что предположе-

ние об этой связи — гипотеза совершенно лишняя, потому что и без нее факт слишком достаточно объясняется такими причинами, влияние которых на состояние земледелия несомненно.

Развитие сельского хозяйства в России слабо. Но могло ли оно достичь высокой степени, какова бы ни была у нас система владения землею? Существовало ли у нас до сих пор хотя одно из тех обстоятельств, от которых зависит усиленное развитие земледелия? Не очевидно ли, напротив, что все данные, которыми обуславливается положение сельского хозяйства, находились у нас до сих пор на ступени, чрезвычайно неблагоприятной его успехам? Пересмотрим поочередно главнейшие из этих данных, чтобы видеть, какого развития могло достигнуть у нас сельское хозяйство при каком бы то ни было способе владения землею.

Статистика говорит, что степень успехов сельского хозяйства везде соответствует густоте населения. Лучше всего в Европе земля обрабатывается в Англии, в Рейнской Германии и в Ломбардии: эти страны имеют от 5 до 6000 населения на квадратную милю. Во Франции, где население простирается до 4000 человек на квадратную милю, земля обрабатывается далеко не с такой заботливостью. В восточных частях Австрийской империи, где население еще реже, обработка земли еще хуже. В собственной Венгрии, где на квадратную милю считается 2500 населения, сельское хозяйство до сих пор остается под господством методов обработки совершенно первобытных. Еще меньше усовершенствований имеет сельское хозяйство в Трансильвании, где приходится на квадратную милю по 2000 человек. Венгрия и Трансильвания до такой степени отстали в методах сельского хозяйства от прочих земель Западной Европы, что статистика, говоря о земледелии в Западной Европе, никак не думает и вспоминать о восточных областях Австрии, как о странах сколько-нибудь похожих в этом отношении на земли более населенные, которые служат исключительным местом усовершенствований в земледелии. У нас нет ни одной губернии, которая густотою своего населения равнялась бы хотя Венгрии, и, за исключением одной Московской, нет ни одной губернии, которая превосходила бы в этом отношении Трансильванию. Если мы возьмем даже только одни так называемые земледельческие наши губернии, то-есть западную часть центральной России, Малороссию и землю черноземной полосы, все-таки, в общей сложности, мы не получим более 1200 человек на квадратную милю в этом пространстве, где главным образом сосредоточено наше земледелие¹. Скажите же, каких усовершенствованных методов, при каком бы то ни было способе населения, можно ожидать в сельском хозяйстве такой страны, которая имеет населения

¹ Мы отбрасываем губернии Архангельскую, Олонецкую, Вологодскую, Астраханскую и другие, в которых населения несравненно меньше. Читатель знает, что если считать эти громадные пустыни, то средняя густота населения в Европейской России едва достигает 650 человек на квадратную милю. Но мы берем только ту половину Европейской России, в которой население по нашей русской норме считается уже довольно густым и которая преимущественно имеется в виду, когда речь идет о земледелии. (Примечание Н. Г. Чернышевского.)

в два раза меньше, чем Венгрия и Трансильвания, где, по многоземелию, нет надобности в усовершенствованных методах? Если Франция, имеющая около 4000 жителей на квадратную милю, до сих пор держится трехпольного хозяйства, если она до сих пор остается почти совершенно чужда усовершенствованным способам производства, то не безумно ли приписывать мистическому влиянию общинного владения то обстоятельство, что мы, подобно французам, держимся трехпольной системы и подобно французам плохо удобряем свою землю? Кто, сравнивши густоту населенности в Европейской России и в Западной Европе, будет нуждаться еще в гипотезе о вредном влиянии общинного владения, тот, по нашему мнению, должен, в случае болезни, лечиться не у докторов, а у знахарей; действие медицинских средств ему должно казаться тоже недостаточным, и он должен искать помощи себе в каком-нибудь заговоре колдуна.

Зависимость усовершенствованных способов обработки земли от густоты населения яснее всего выказывают Соединенные Штаты. Они в высокой степени обладают всеми другими условиями, вызывающими усовершенствованное сельское хозяйство: и громадным развитием городов, и превосходными путями сообщения, и страшным богатством капиталов, — всеми этими условиями, которых лишена Россия; они отличаются от Англии только тем, что густота населения в них невелика и от разницы в этом одном обстоятельстве происходит то, что североамериканец пренебрегает усовершенствованными методами сельского хозяйства. Спросите его, почему он не употребляет на улучшение акра земли в каком-нибудь Огайо по 100 долларов, между тем как англичанин тратит на улучшение своей земли гораздо больше, — он или захохочет, считая вас помешанным, или рассердится, думая, что вы принимаете его за дурачка, над которым можно потешаться. Но если вы объясните ему, что вы спрашиваете серьезно, и докажете, что вы человек не глупый, а только чересчур начитавшийся отсталых экономистов, то он растолкует вам, в чем дело. Он скажет: если я буду обрабатывать свою землю по английской усовершенствованной методе, я не обработаю и третьей части того количества, какое находится у меня теперь под посевом. Земля у нас так дешева, что тратить много денег на ее улучшение еще невыгодно.

Отсталые экономисты вообще так сообразительны, что, пожалуй, тотчас же придумают новую гипотезу, все во вред тому же не постижимому для них общинному владению. Надобно поскорее сделать оговорку, чтобы предупредить их остроумную догадку. Хорошо, скажут они, затрачивать много денег на улучшение земли у нас нельзя потому, что земля слишком дешева и население не имеет густоты, как в Англии. Но причиную малой населенности и дешевизны наших земель не должно ли считаться общинное владение? Мы не сами выдумали это остроумное соображение, после которого остается только предположить, что нерасчищенность фарватера наших рек происходит также от общинного владения. Отсталые экономисты действительно говорили, что развитие населения у нас задерживается общинным владением; но это показывает только, что они не читали даже извлечения из русской истории Карамзина, которое приложено к не-

мецкой грамматике г. Таппе для упражнения в переводах. Иначе они знали бы, что до половины XVII века вся Европейская Россия была театром таких событий, при которых можно дивиться разве тому, что уцелели в ней хотя те малочисленные жители, которых имела она при Петре. Татарские набеги, нашествие поляков, многочисленные шайки разбойников, походившие своею громадною на целые армии,—все это постоянно дотла разоряло русские области. Они опустошались также страшною неурядицею управления. Мы знаем, что вольные люди записывались за помещиков, лишь бы найти себе какую-нибудь защиту, потому что закон был совершенно бессилем оградить их,—это факт, говорящий о таком положении вещей, соответствие которому в истории Западной Европы представляют лишь те мрачные времена средних веков, когда аллодиальные владельцы принимали на себя феодальную зависимость. Удивительно ли, что при таком положении дел народонаселение оставалось чрезвычайно малочисленным? Только с XVIII века внешние разорители были обузданы и внутренняя администрация стала несколько улучшаться; с тех пор, в течение 160 лет, она постоянно улучшалась, но по нынешнему ее состоянию можно судить о том, какова она была лет 70 тому назад. Если теперь производятся вещи, тысячной доли которых не мог описать Щедрин, то рассказы наших отцов и дедов свидетельствуют, что в их времена господствовал произвол, невероятный даже для нас. Не будет ли явным безрассудством отыскивать какие-нибудь другие причины к объяснению того факта, что Россия заселена еще очень слабо? Мы удивляемся не тому, что теперь наше население еще слишком мало; напротив, скорее требовало бы объяснения то обстоятельство, каким образом могло оно увеличиться хотя до настоящей цифры при известной нам судьбе русского народа в этот период. Сравнивая цифру населения собственно русских областей в наше время с населением их за полтора столетия, мы должны приписать натуре русского человека чрезвычайную переносливость — черта, которая обнаруживается также всею нашею историею и всеми особенностями нашего быта.

Мы сказали только об одной причине неразвитости нашего сельского хозяйства, и эта одна причина — малая населенность даже самых населенных наших земель — уже могла бы служить очень удовлетворительным объяснением тому, что наше земледелие еще не вышло из-под господства первобытных методов обработки; но сколько есть еще других несомненных причин, действующих в том же направлении. Замечено, например, что развитие сельского хозяйства идет в уровень с развитием городов. Дело очень понятное: методы производства улучшаются тогда, когда нужно усиленное производство; усиление производства возможно только тогда, когда есть сбыт для продуктов. В большой стране города собственного государства должны служить важнейшим местом сбыта сельских продуктов. Потому, чем значительнее пропорция городского населения в общем числе жителей страны, тем высшего развития достигает в ней земледелие. Противники общинного владения восхищаются английским сельским хозяйством; но ведь в Англии более двух третей населения живет в городах. Один Лондон, с принадлежащими к нему местечками,

представляет массу покупателей хлеба едва ли не большую, чем все города Русской империи от Петербурга до Якутска¹.

В Англии более двух третей населения сосредоточено в городах. В Пруссии городские жители все еще составляют около третьей части всего населения; даже в Австрии в городах живет восьмая часть населения. У нас оно составляет едва двенадцатую часть. Итак, не сравнивая России с Англией, ни даже с Францией и Пруссией, довольно будет заметить, что по пропорции между городским и сельским населением русское земледелие находится в положении, в полтора раза неблагоприятнейшем, чем земледелие Австрии, самой отсталой западной державы по методам сельского хозяйства.

Отсталые экономисты могут в чем угодно обвинять общинное владение. Может быть, оно причиною того, что климат наш суров, что часты у нас засухи; но едва ли даже они дойдут до мысли приписывать ему неразвитость наших городов. А между тем, странно сказать, как ни малы наши города, они почти не увеличиваются, как будто бы нет у нас и потребности в них. Одесса, Харьков, еще два, три города — и кончен список всех центров, развивающихся заметным образом. Даже столицы наши увеличиваются далеко не так быстро, как большие города Западной Европы. В Москве, например, с незапамятных времен, чуть ли еще не при Иване III Васильевиче, а наверно при Елисавете Петровне, считали 300 000 жителей. По прошлогоднему календарю считалось в ней 354 927 жителей. Надобно будет справиться в календаре за нынешний год, не вознаградили ли в последние десять месяцев застой целого столетия. Шутки в сторону. Каких успехов можно ожидать при каком бы то ни было способе землевладения от сельского хозяйства такой страны, где после двух столичных губерний и Херсонской губернии с ее полуиностранною Одессою первое место, по пропорции между городским и сельским населением, занимают провинции, недавно завоеванные от Турции, как будто бы самые передовые в экономическом развитии².

¹ В Лондоне с окрестными местечками считается до 3 миллионов жителей, а во всех городах Русской империи — до 5 с половиною миллионов. Но почти во всех наших уездных и даже во многих губернских городах большинство населения занимается хлебопашеством. Эти люди — горожане только по имени, а в самом деле они такие же поселяне, как и деревенские мужики, несмотря на свой титул мещан. Нет надобности говорить, что в Лондоне, напротив того, каждый житель не производит, а только потребляет хлеб. (Примечание Н. Г. Чернышевского.)

² Для курьеза — именно для курьеза, потому что цифры эти восхитительны, — выписываем верхнюю часть таблицы городского населения из Тенгоборского.

На 1000 человек населения считается городских жителей:

Губернии,

1. Санкт-Петербургская	517
2. Московская	258
3. Херсонская (Одесса)	237
4. Таврическая (калмыцкая цивилизация)	172
5. Бессарабия (турецкая цивилизация)	163
6. Астраханская (калмыцкая цивилизация)	140
7. Курляндия (немцы)	121
8. Харьковская (слава Богу, вот и мы наконец)	114

(Примечание Н. Г. Чернышевского.)

Наши города оставались до сих пор какими-то пародиями на города. Но если они представляли для сбыта сельских произведений рынок столь ничтожный, что не могли поднять земледелия, зато есть у нас другой источник сбыта — заграничная торговля. Мы кричим очень много об отправляемом нами за границу хлебе. Но в целые десять лет, с 1844 до 1853 включительно, мы вывезли из всех наших гаваней, всех сортов хлеба вместе, всего 57 миллионов четвертей, по 5 700 000 четвертей в год, то-есть, считая по полуторы четверти на продовольствие одного потребителя, весь наш заграничный отпуск равнялся присутствию четырех миллионов потребителей. Из этого следует, что если мы соединим размер внутреннего рынка (городские потребители) с продажей на заграничные рынки, мы получим, что все поощрение нашего земледелия к усиленному производству равнялось потребности 8 миллионов потребителей¹. Итак, оба рынка, внешний и внутренний, едва могут производить у нас на земледелие столько возбуждающего влияния, сколько производится в Австрии одним внутренним рынком.

Отстальные экономисты могут приписать все это общинному владению; но дело известное, что слабое развитие наших городов имеет своею причиною неразвитость нашей промышленности и торговли, а отпуск хлеба за границу стесняется отсутствием сносных путей сообщения. Надобно ли говорить, что обе причины, кроме косвенного вреда, приносимого ими земледелию через ограничение заграничного сбыта и городского потребления, страшно вредят сельскому хозяйству и прямым образом? Надобно ли говорить, что, каково бы ни было число жителей в городах, земледелие не может делать успехов в стране, где слаба промышленность и торговля? Надобно ли говорить, что всякое производство, а в особенности земледельческое производство, нуждается для своего развития в удобных путях сообщения? Кому не известно, что Псковская губерния может умереть с голоду прежде, чем получит хотя четверть хлеба из Малороссии, которая в то же время будет страдать от невозможности сбыть куда бы то ни было свой хлеб? Или надобно говорить о том, что наша торговля находится в самом неудовлетворительном положении, а пути сообщения до последнего времени находились еще в худшем?

Есть еще одно важное коммерческое обстоятельство, специальным образом тяготеющее над нашим земледелием. Из всех отраслей производства в сельском хозяйстве всего ощутительнее важность оборотного капитала. Фабрика или завод обыкновенно или создается или покупается тем самым человеком, который бывает хозяином производства. При покупке или устройстве своего заведения он обыкновенно рассчитывает, чтобы нужное количество капитала оставалось у него для оборота. Не то в сельском хозяйстве. Земля чаще всего достается по наследству, и владелец, не получив вместе с нею оборотного капитала, обыкновенно и не понимает нужды в нем: земля

¹ Мы полагаем из 5 с половиною миллионов городского населения до 4 000 000 человек, покупающий хлеб, — цифра слишком высокая, — и к ним прибавляем 4 000 000 потребителей, которых мы продовольствуем за границей. (Примечание Н. Г. Чернышевского.)

у него есть, работа даром исправляется крепостными людьми: о чем же еще думать владельцу? Если у него есть деньги, он пускает их в другие предприятия или, чаще всего, проживает, а земледельческое производство совершается у него решительно без всяких затрат оборотного капитала. Между тем известно, что успехи земледелия находятся в прямой зависимости от величины затрат на оборотный капитал. Каких успехов можно ожидать там, где нет понятия о надобности в оборотном капитале?

Это положение приводит нас к одному из основных источников нашей отсталости во всех отношениях — к крепостному праву. Коренным образом крепостное право принадлежит сфере сельского хозяйства, и само собою разумеется, что если оно обессиливало всю нашу жизнь, то с особенною силою должны были отражаться его результаты на земледелии, которое полнее всего подчинялось его силе. Неуместно было бы здесь распространяться об этом предмете, — о нем довольно наговорено в последнее время бесчисленными писателями, которые вдруг обнаружили благороднейшее негодование против бедствия, имевшего привилегию столь долго не вызывать никаких порицаний. Мы сами грешили этими внезапными вспышками благородства

В те дни, когда нам было ново
Значенье правды и добра...

и теперь не можем не краснея вспоминать о тогдашних наших подвигах. Итак, довольно будет сказать, что цена хлеба зависела от той части его, которая производилась крепостным трудом, то-есть не имела ровно никакой цены в глазах владельца, и что крепостное право, переделавши в своем духе все наши обычаи, конечно, не могло содействовать ни развитию духа предприимчивости, ни поддержанию трудолюбия в нашем племени. Если бы не было никаких других неблагоприятных обстоятельств, одного крепостного права было бы достаточно, чтобы объяснить жалкое положение нашего земледелия.

Крепостное право было одним из учреждений, ослаблявших народную энергию. Но не одному ему надобно приписывать страшный упадок ее. Крепостное право было только одним из множества элементов, имеющих такое же влияние на силу нации. Мы не хотим теперь перечислять всех этих вредных учреждений: для нашей цели довольно будет обратить внимание только на результат их. Русский народ жил, или, лучше сказать, прозябал или дремал в тяжелой ледяной гаргии, не многим отличающейся от расположения духа, владычествующего над азиатцами. Энергия труда¹ подавлена в нас вместе со

¹ Труд, по мнению Чернышевского, есть физиологическая потребность человека, есть основная функция человеческого организма, «дающая основание и содержание всем другим формам движения: развлечению, отдыху, забаве, веселью» (Д. С. Милль, Основания политической экономии, т. VII, стр. 70—76), но труд превращается в рабство, тяжелое бремя при феодализме, капитализме. Труд при социализме «из тяжелой необходимости обратится в легкое и приятное удовлетворение физиологической потребности, как ныне вышается до такой степени умственная работа в людях просвещенных: как вы, читатель, перелистываете теперь книгу не по какому-нибудь принуждению, а просто потому, что это для вас занимательно и что было бы для нас скучно не

всякою другою энергиею. Исторические обстоятельства развили в нас добродетели чисто пассивные, как, например, долготерпение, переносливость к лишениям и всяким невзгодам. В сантиментальном отношении эти качества могут быть очень хороши, и нет сомнения, что они очень удобны для людей, пользующихся ими к своей выгоде, но для развития экономической деятельности пассивные добродетели никуда не годятся.

Мы сказали, что не хотим перечислять причин, подавляющих энергию труда в русском народе. Это перечисление было бы слишком огорчительно для нашего с вами патриотизма, читатель (мы надеемся, что вы такой же яростный патриот, как и мы; что вы, подобно нам, восхищаетесь нашим общественным устройством во всех его подробностях, начиная с петербургских и кончая сельскою администрациею). Но мы должны обратить внимание на одну сторону народной жизни, которая, сама обуславливаясь благосостоянием и свободою народа, служит коренным источником всех успехов его экономической деятельности. Каждое человеческое дело успешно идет только тогда, когда руководится умом и знанием; а ум развивается образованием, и знания даются тоже образованием; потому только просвещенный народ может работать успешно. В каком же положении наше образование? В целой Западной Европе, имеющей около 200 миллионов жителей, не найдется столько безграмотных людей, как в одной нашей родине; в какой-нибудь Бельгии, или хотя бы даже Баварии, при всей отсталости Баварии от других земель Западной Европы, на 5 миллионов населения считается столько же учащих в школах, сколько в целой России, и число всех грамотных людей в России таково, что едва ли бы достало его на одну провинцию в Прусском королевстве¹. О том, насколько распространено у нас высшее образование, нечего и говорить: об этом слишком красноречиво свидетельствуют цифры изданий Гоголя, Пушкина, Тургенева и число экземпляров, в каком издаются наши газеты и журналы².

посвящать чтению каждый день известное время, — так некогда наши потомки будут заниматься материальным трудом» (Экономическая деятельность и законодательство, т. IV, стр. 449).

¹ По самым щедрым расчетам предполагается, что из 65 или 70 миллионов жителей Русской империи, людей, умеющих читать, набирается до 5 миллионов. Но эта цифра, по всей вероятности, слишком высока. Большинство грамотных людей сосредоточено в городах; в селах едва ли наберется половина того, сколько находится в городах. Но и в городах гораздо больше половины жителей еще не знают грамоте. Судя по этому, едва ли мы ошибемся, положив число грамотных людей в России не превышающим 4 миллионов. (Примечание Н. Г. Чернышевского.)

² Все наши ежедневные газеты вместе взятые расходятся в числе 30 или много 35 тысяч экземпляров; все большие журналы вместе взятые далеко не достигают этой цифры. Предположим для каждого экземпляра даже по 10 человек читателей, мы увидим, что все наше образованное общество едва ли простирается до полумиллиона человек. Во Франции, где чтение распространено меньше, нежели в Германии и Англии, одни только парижские ежедневные газеты печатаются в числе более 200 000 экземпляров (провинциальных газет мы не считаем). Итак, во Франции приходится один экземпляр газеты на 180 человек, а в России один экземпляр на 2 200 человек. Но всего прелестнее цифры изданий наших классических писателей. Кто из людей сколько-нибудь образованных не читал Гоголя? Число всех экземпляров всех изданий Гоголя не простирается и до 10 тысяч. (Примечание Н. Г. Чернышевского.)

Как из неуспешности русского человека в материальной работе провинциальные люди вывели, что он от природы расположен к лени, так из слабого развития нашей образованности они заключают, что русское племя мало имеет охоты к просвещению. Обе эти клеветы одинаково тупоумны и нелепы. Стремление в народе чрезвычайно сильно; но обстоятельства слишком не благоприятствуют его осуществлению.

Мы перечислили много причин, имеющих губительное влияние на наше земледелие: отсутствие умственного развития в народе, упадок его энергии, крепостное состояние, недостаток оборотного капитала, неразвитость торговли и промышленности, плохое состояние путей сообщения, слабое развитие городов, незначительная степень населенности, — все это такие причины, из которых каждая сама по себе и без содействия других бывает в состоянии задержать сельское хозяйство на низкой степени развития. Из европейских народов нет ни одного, у которого хотя один из этих фактов, враждебных успехам земледелия, имел бы такой обширный размер, как у нас, и нет в Европе ни одного народа, у которого бы соединялись все эти факты, соединенные у нас. Что ж удивительного, если земледелие у нас находится в худшем положении, чем у западных народов? Когда есть так много и столь сильных несомненных причин, производящих данное положение, позволяют ли правила логики придумывать еще гипотетические и мистические причины? При виде фактов, нами перечисленных, говорить, что наше земледелие задерживается общинным владением, значит подражать той даме, которая зимою поехала на бал накинув на голые плечи только легкую мантилью, а потом, выдержав горячку, приписывала свою болезнь тому обстоятельству, что забыла взять с собою веер. Мы не знаем, имеет ли веер свойство предохранять от простуды; но можно думать, что если б он и был у ней в руках, он не заменил бы для нее шубы и теплых ботинок. Можно полагать, что каков бы ни был способ землевладения в стране, где население мало, города не развиты, путей сообщения нет, торговли и промышленности почти нет, оборотного капитала в земледелии нет, где не развита в народе энергия и нет простора умственной деятельности, — можно думать, что, каков бы ни был способ владения землею в такой стране, земледелие не могло бы достичь в ней никаких успехов.

Говорить о вредном влиянии общинного владения на земледелие в России значит приписывать цвету волос или величине усов неподвижность человека, у которого поражены параличом руки и ноги. Нас так восхищает гипотеза о вредном влиянии общинного владения, что мы предложим ряд вопросов, которые все могут быть разрешены посредством вредного влияния общинного владения с таким же успехом, как и вопрос о слабом развитии нашего земледелия.

Почему наши города так плохо развивались до сих пор? Общинное владение мешало их развитию, препятствуя купцам развивать свои дела покупкою земель у крестьян. Почему неизмеримые леса наших северных губерний гниют на корню, между тем как средняя и южная Россия нуждаются в лесе? Общинное землевладение останавливает поток колонизации, который без него устремился бы в благо-

датную Олонецкую губернию и пустил бы в торговлю ее леса. Почему ярославские мужики имеют рыжие бороды? Причиною тому должно считаться общинное владение, препятствующее ярославцам походить на французов, имеющих бороды темного цвета. Почему русские экономисты отсталой школы не в состоянии понимать самых простых и ясных фактов? Причиною тому должно считаться общинное владение, задерживающее успехи русских людей как в отношении материальном, так и в отношении умственном.

Задерживая умственное развитие русских экономистов отсталой школы, общинное землевладение препятствует им удовлетворяться предыдущими доказательствами, совершенно достаточными для обыкновенного здравого смысла. Потому мы считаем не достаточным для них предшествующее положительное указание на факты, которые свидетельствуют, что нет надобности в гипотезе о вредном влиянии общинного владения для объяснения неразвитости нашего земледелия: надобно прибегнуть также к отрицательному методу проверки гипотез, чтобы показать еще очевиднейшим образом неуместность их предположения.

На земном шаре находится очень много стран, в которых состояние земледелия не лучше, или не многим лучше, или даже гораздо хуже, чем в России, но которые имеют способ землевладения, могущий, по мнению отсталых экономистов, поднять наше сельское хозяйство, будто бы убиваемое общинным землевладением. Мы сделаем обзор этих стран, чтобы видеть, в состоянии ли господство частной поземельной собственности помочь у нас тому делу, плохое положение которого занимает нас. В Испании положение сельского хозяйства едва ли лучше, чем у нас; многие из условий, не благоприятствующих нашему земледелию, существуют и там, хотя далеко не в такой степени. Население в полтора раза гуще наших земледельческих губерний, пропорция городского населения гораздо значительнее. Средиземное море и Атлантический океан представляют удобный путь сбыта для продуктов целой половины страны; но все-таки сходство с нашим положением довольно велико; население, хотя и больше нашего, все-таки не довольно густо, развитие городов все-таки не удовлетворительно, пути сообщения плохи, оборотных капиталов в земледелии нет, торговля и промышленность очень слабы и общественные учреждения подавили прежнее просвещение и прежнюю энергию испанского племени. Сходство по этим основным условиям достаточно для того, чтобы земледелие производилось чрезвычайно небрежно, хотя испанцы не имеют и понятия об общинном владении. Дайте им общинное владение или уничтожьте его у нас, положение сельского хозяйства ни у нас, ни у них не изменится, если перечисленные нами условия останутся в прежнем виде. Точно таково же положение вещей в Неаполе и в Папской области, хотя и они не знают общинного владения.

Но если мы хотим видеть в Европе страну, где обстановка земледельческого производства представляет наибольшее сходство с нашей, мы должны взглянуть на Турцию. Не надобно и говорить, что и в ней успехи земледелия задерживаются общинным владением.

Слово Турция пробуждает в нас новую мысль, которая, к сожа-

лению, до сих пор не приходила нам в голову: иначе были бы излишни все наши прежние рассуждения. Европейская Турция до сих пор остается в сущности азиатским государством, хотя и лежит в Европе, неправда ли? Итак найден нами ключ к объяснению всего, о чем толковали мы с подробностями, которые теперь оказываются ненужны. Азиатская обстановка жизни, азиатское устройство общества, азиатский порядок дел — этими словами сказано все, и нечего прибавлять к ним. Может ли земледелие получить европейский характер при азиатском порядке дел? В самом деле Азия¹ представляет обширнейший прототип того земледельческого положения, о котором мы говорим, со всеми причинами, производящими его, т. е. мешающими ему замениться чем-нибудь лучшим; а, между тем, Азия точно также не знает общинного владения землею, как и Западная Европа, Анатолия, Сирия, Месопотамия, Персия, Кабул, Бухара, Хива, Кокан, — все эти страны точно так же имеют личную поземельную собственность, как и Англия, Бельгия, Рейнская Германия. Из этого, кажется, можно заключить, что личная поземельная собственность вовсе не служит ручательством за высокое развитие земледелия, что порядок землевладения, будучи необыкновенно важен по своему влиянию на распределение имущества между разными сословиями, не имеет ровно никакого влияния на развитие технической стороны сельского хозяйства. В чьи руки идет сбор хлеба, доставляемый десятиною земли, — вот это решается способом землевладения. Но как обрабатывается эта десятина и как велик сбор хлеба, ею даваемый, это зависит от совершенно других условий, важнейшие из которых мы перечислили. Теперь мы знаем также, как надобно называть совокупность тех условий, при которых обработка земли бывает плоха и сбор хлеба мал: совокупность этих условий, враждебных развитию сельского хозяйства, называется просто — азиатством.

Мы чувствуем, что наши слова об азиатстве решительно неудовлетворительны. Но что же делать! наш язык не выработался настолько, чтобы можно было удовлетворительно выражать им серьезные понятия. Недаром все ученые жалуются на бедность нашей терминологии. Если бы мы, писали по-французски или по-немецки, мы, вероятно, писали бы лучше. Но, не удостоившись от судьбы получить такое счастье, мы должны писать на языке, который, по какому-то загадочному случаю, устроен так, что никак не сумеешь излагать на нем своих мыслей связно и ясно. Наш язык — орудие слишком непо-

¹ Под «Азиею» мы разумеем здесь не всю ту часть света, которая известна под этим именем в географии, а только те земли в этой части света, которые издавна знакомы нашему народу и по которым составил он себе понятие об азиатстве. Это — страны, лежащие на запад от Китая и на север от Индии, собственно только мусульманская часть Азии. Столь ученое примечание мы сочли необходимым сделать, имея в виду обыкновенную сообразительность отсталых экономистов, иначе они тотчас возразили бы: «не явное ли невежество говорить о том, что земля в Азии возделывается дурно, когда известно, что в Китае она обрабатывается самым тщательным образом». Сделав такое возражение, они остались бы очень довольны собою. К сожалению, наша статья имеет в виду не Китай, где, по крайней мере, прочность обычая служит некоторым вознаграждением за слабость закона, а только страны, имеющие порядок дел, подобный турецкому, персидскому, хивинскому и коканскому. (Примечание Н. Г. Чернышевского.)

корное мысли и истине, беспрестанно увлекает писателя в такие уклонения от его идеи, которые могут быть неприятны не только читателю, но и самому автору, но которые должен извинять великодушный читатель. Удержаться на прямой дороге развития идеи нет возможности, когда пишешь по-русски, и писателю остается только, когда он заметит, что уклонился от своей идеи слишком далеко, делать крутые повороты, чтобы взяться опять за дело, ускользнувшее из-под его пера по сбивчивости нашего языка. Мы так и сделаем. Забывая наш неудовлетворительный эпизод об азиатстве, мы беремся опять за логику и смотрим, что велит она делать при рассуждении о неосновательных гипотезах, каково разбираемое нами предположение отсталых экономистов о вредном влиянии, будто бы оказываемом на земледелие нашею системою общинного владения.

Логика говорит, что не довольно опровергнуть ошибочное мнение, а надобно также показать, каким образом могло оно произойти, потому что иначе ошибка оставалась бы делом произвольным, не имеющим достаточных причин, то-есть загадочным. Чтобы исполнить это последнее требование логики, нам нужно только рассмотреть посылку, из которой отсталые экономисты выводят свое ошибочное мнение. «Наше земледелие, — говорят они, — задерживается в своем развитии тем, что поземельная собственность не имеет у нас достаточной безопасности». Мысль совершенно справедливая, и ошибка заключается только в том, что причиною небезопасности поземельной собственности принимается отсталыми экономистами общинное владение. В статье «Законодательство и регламентация» мы подробно доказывали, что общинное владение землею из всех форм поземельной собственности — форма самая прочная, безопасная, самая свободная от всяких придиорок и юридических столкновений. Но мы оканчивали нашу статью согласием в том, что общинное владение, при всем своем юридическом превосходстве, далеко не оказывает у нас всех полезных действий, каких следует ожидать от его существенного характера. Мы обещались в нынешней статье разобрать причины такого несоответствия между сущностью принципа и его результатами. К тому же самому делу приводит нас и надобность показать причину, вовлекающую отсталых экономистов в их фальшивую гипотезу.

Отыскать причину их ошибки очень легко. Они сравнивают поземельное владение у нас и в Западной Европе; они замечают, что в Западной Европе поземельная собственность безопасна, у нас не имеет безопасности; они видят с тем вместе, что на Западе существует одна форма поземельного владения, у нас — другая. И вот они делают из этих фактов следующее заключение: «в Западной Европе поземельная собственность безопасна, а форму ее там составляют присвоение собственности частному лицу; итак, присвоение поземельной собственности частному лицу дает ей безопасность. У нас, напротив того, поземельная собственность лишена безопасности и с тем вместе имеет форму общинного владения. Итак, форма общинного владения служит причиною небезопасности поземельной собственности».

Эта форма умозаключения — очень обыкновенная у людей, не привыкших к логическим приемам; видя два факта известного рода со-

единенными в одном месте и два факта другого рода соединенными в другом месте, не опытные в логике умы тотчас же заключают, без дальнейшего исследования, что в каждой паре фактов существует между двумя явлениями причинная связь. Если бы этот род умозаключений был пригоден для ученых изысканий, наука уже давно постигла бы все тайны природы и общественной истории. Но, к сожалению, логика заклеила такой легкий способ отыскания истины знаменитою фразою *cum hoc, ergo propter hoc* и объявила, что подобные умозаключения решительно никуда не годятся. Если бы остальные экономисты были знакомы с логикой, они знали бы, что все нелепости суеверия были основаны на этой самой форме умозаключения, и знали бы, какое множество примеров приводится этому в логике.

Например, на чем были основаны ауспиции древних римлян? Однажды перед битвою они слышали ворону, каркающую с правой стороны, и проиграли битву; в другой раз слышали ворону, каркающую с левой стороны, и выиграли битву. Дело ясное: *cum hoc, ergo propter hoc*—совпадает, следовательно имеет причинную связь. Итак, карканье вороны с правой стороны приносит войску гибель, карканье с левой дает ему победу.

Все суеверия основаны на этой форме умозаключения. Доказывать его нелепость было бы скучно; довольно будет сказать, что суеверную привычку делать заключения по форме, нами указанной, логика велит заменять строгим исследованием положительных причин, прибавляя, что очень часто могут совпадать между собою факты, тенденции которых противоположны, и что в таком случае результаты слабейшего факта подавляются противоположными ему результатами сильнейшего факта.

Положительно известно, например, что просвещение облагораживает человека, а благородство противоположно, например, хоть взяточничеству. Между тем, сколько мы видим у нас взяточников, кончивших курс в высших учебных заведениях. По способу умозаключения, которого держатся отсталые экономисты, вывод из этого совпадения фактов таков: человек, кончивший курс в одном из высших заведений, берет взятки—итак, ученье делает человека взяточником. Логика велит судить об этом иначе. Она говорит: если даже люди образованные становятся взяточниками, несмотря на противоречие между образованностью и взяточничеством, то надобно полагать, что в обстановке, среди которой живут эти люди, есть обстоятельства, столь могущественно влекущие к взяточничеству, что противоположное направление, внушаемое образованностью, может изнемогать под силою этих обстоятельств.

Другой пример. Светское воспитание, хорошо оно или дурно в других отношениях, но имеет ту несомненно хорошую тенденцию, что делает человека деликатным в обращении, отучает его от низких, грязных манер. Но сколько у нас есть людей, получивших светское воспитание, которые чрезвычайно грубы в обращении с своими подчиненными, которые невежливо обращаются с мелкими чиновниками, если бывають в гражданской службе, которые ругают солдат, если бывають офицерами. По умозаключению отсталых экономистов, опять

выходил бы такой силлогизм: люди, получившие светское воспитание, унижаются до пошлых грубостей — итак, светское воспитание отнимает у человека вежливость. Логика опять говорит напротив: если даже люди, получившие светское воспитание, бывают невежливы, грубы, пошлы в обращении с другими, то надобно думать, что в обстановке, среди которой живут эти люди, есть обстоятельства, столь сильно располагающие к нахальному попиранию всякой слабой личности, что даже вежливость, даваемая светским воспитанием, подавляется этими обстоятельствами.

В подобных случаях логика велит, вместо того чтобы останавливаться на тупоумном предположении «совпадает, следовательно имеет причинную связь», пристальнее всматриваться в обстоятельства, среди которых происходит явление, чтобы отыскать истинные причины его. Так поступим и мы. Отыскать истинные причины небезопасности нашей поземельной собственности очень нетрудно. Можно даже сказать, что они известны каждому, кроме отсталых экономистов.

Собственность принадлежит к числу общественных учреждений. Чем же ограждается безопасность общественных учреждений? — Законами. — Прекрасно. Какими способами проявляется в обществе действие законов? Опять каждому известно, что для приведения законов в действие общество имеет два органа: администрацию и судебную власть. Итак, если мы рассуждаем о безопасности какого-нибудь общественного учреждения в известном обществе, то не должен ли нам прежде всего приходиться в голову вопрос о том, какое состояние администрации и судебной власти в этом обществе?

Мы не имеем намерения подробно отвечать здесь на такой вопрос. Сколько бы ни наговорили мы о качествах нашей администрации и судебной власти, мы не сказали бы ничего такого, что не было бы не хуже нас известно каждому из наших читателей. Доказывать истину было бы тут не для кого и спорить не с кем. Мы полагаем, что даже отсталые экономисты, так мало понимающие нашу жизнь, понимают, каково положение администрации и судебной власти у нас.

Мы нашли коренную причину не только явления, объяснением которого специально занимаемся в этой статье, но и всех фактов, которые представлялись нам ближайшими причинами его. Не только слабость успехов нашего земледелия, но и медленность в развитии нашего населения вообще, нашего городского населения в частности, неудовлетворительное состояние наших путей сообщения, торговли, промышленности, недостаток оборотного капитала в земледелии — все это, и не только это, но также и крепостное право, и упадок народной энергии, и умственная наша неразвитость, — все эти факты, подобно всем другим плохим фактам нашего быта, коренную, сильнейшую причину свою имеют в состоянии нашей администрации и судебной власти.

Даже другая сильнейшая причина нашей бедности — крепостное право произошло некогда от дурного управления и поддерживалось им. О происхождении крепостного права мы заметим только, что это учреждение развилось от бессилия нашей старинной администрации охранить прежние свободные отношения поселян, живших в из-

вестной даче, к владельцу дачи и удержать постепенное расширение произвольной власти, захватываемой владельцем над населявшими его землю людьми; заметим еще, что возможность учредить крепостное состояние происходило только оттого, что вольные люди, слишком плохо защищаемые управлением, терпели слишком много притеснений, так что переставали дорожить своею свободою и не видели слишком большой потери для себя от записки в принадлежность сильному человеку. Излагать подробнее этот предмет, относящийся к старине, было бы неуместно в статье, говорящей о нынешнем положении дел. Мы хотели сказать, что если крепостное право держалось до сих пор, то оно было обязано такою продолжительностью своего существования только дурному управлению. Действительно, каковы бы ни были законы, определявшие права помещиков над крепостными людьми, но если б даже эти законы соблюдались, то, во-первых, все помещики давно бы перестали находить выгоду в крепостном праве, во-вторых, почти во всех поместьях крепостное право было бы прекращено частными судебными решениями по процессам о злоупотреблении власти.

Метода лечения знахарей и знахарок представляет драгоценную параллель с тою системою, по которой отсталые экономисты думают поправить неприятное для них явление экономического быта — например помочь жалкому положению нашего земледелия. Появился какой-нибудь веред на ноге: знахарь, не задумываясь, прикладывает к нему какую-нибудь лепешку и ожидает, что болезнь уступит этому местному медикаменту. О том, отчего произошел веред, он не думает. Он не думает видеть в нем только симптом общего худосочия, только ничтожное обнаружение болезни, недращейся в целом организме, проистекающей от испорченности основного процесса организма, от испорченности крови, от расстройства питания. Наука, напротив, говорит, что какое-нибудь, повидимому местное, поражение очень часто не может быть исцелено никакими припарками и прижиганиями собственно больного места, что для исцеления болезни, обнаруживающейся этим местным симптомом, больной должен изменить весь образ жизни, чтобы исправился расстроившийся основной процесс организма.

Потому-то и отвратительно нам слышать рассуждения отсталых экономистов о том, как дурное состояние нашего земледелия может быть исправлено приложением местной припарки — уничтожением общинного землевладения и введением на его место частной поземельной собственности. Не потому отвратительно слышать нам эти тупоумные, суеверные рассуждения, что мы — приверженцы общинного землевладения; нет, все равно, мы негодовали бы на них и тогда, когда бы думали, что частная поземельная собственность лучше общинного владения. Каково бы ни было полезное или вредное влияние известной системы землевладения на успехи сельского хозяйства, все-таки это влияние совершенно ничтожно по сравнению с неизмеримым могуществом тех условий нашей общественной жизни, в которых нашли мы истинные причины жалкого положения нашего земледелия. Больной чувствует лихорадочный озноб оттого, что гнилой климат и изнурительный образ жизни развивают в нем чахотку; а вы, мило-

«Милостивые государи, советуете ему лечиться порошком из раковых жерновков. Я не знаю, действительно ли помогают раковые жерновки от лихорадки. Медицина говорит, будто бы это средство совершенно вздорное. Но все равно. Пусть оно будет и превосходным средством от лихорадки, оно все-таки никуда не годится в нашем случае. Болезнь не та, как вы думаете, милостивые государи. Она произошла не от легкой простуды, которую вы хотите лечить вашими милыми раковыми жерновками, и какие лекарства не употребляйте против озноба, который один замечен вам из всех симптомов страшной болезни, вы не уничтожите не только общей болезни организма, но даже и этого частного ее проявления. Вы только губите больного, заставляя его терять время на пустяки, когда каждый день увеличивает опасность его положения. Всмотритесь получше в состояние организма, и вы найдете, что лихорадочный озноб производится причинами, против которых необходимо употребить средства, совершенно различные от рекомендуемых вами суеверных пустяков. Вся обстановка жизни больного должна измениться, для того чтобы прекратилось гниение основного органа его тела. А когда его легкие будут здоровы, сам собою, без всяких раковых жерновков, исчезнет и мнимый лихорадочный озноб. Позаботьтесь о том, чтобы мы получили хорошую администрацию и справедливый суд, тогда вы увидите, что не нужно будет нашему земледелию прибегать к вашим раковым жерновкам, — к разделению общинных земель на потомственные участки, — тогда вы увидите, что общинные владения не будут мешать успехам сельского хозяйства, потому что тогда будет исчезать наша бедность и явятся те условия, которых теперь нет и без которых ни при какой системе землевладения сельское хозяйство не может прийти в удовлетворительное состояние.



ПРОЧНОСТЬ АВСТРИЙСКОГО ПОРЯДКА¹.

...Истребление средневековых форм вовсе не враждебно развитию национальностей, а, напротив, должно послужить для них источником безопасности и укрепления.

Стоит только пересмотреть книгу Чорнига, чтобы найти сотни фактов, победоносно разрушающих всякое возражение против благонамеренности или просвещенности австрийского правительства. Мы возьмем на пробу один вопрос.

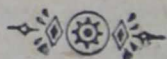
Враги Австрии утверждали, будто бы ее правительство враждебно просвещению. Это совершенная клевета, судя по фактам, приведенным у Чорнига. Начать с того, что после 1849 года было учреждено особое министерство народного просвещения, — «что показывало сознание необходимости полного преобразования по этой части; деятельности и благоразумию министра графа Туна удалось в несколько

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. V, стр. 461—462, «Современник» № 12, 1859, отдел «Политика».

лет придать всему новую жизнь». Прежде, по словам Чорнига, университеты находились в дурном положении; они преобразованы по образцу лучших немецких; сословию профессоров теперь дано почетное и независимое положение, введена свобода преподавания, усилен вообще научный элемент; учреждены при университетах институты для образования преподавателей. Для обширной Венгрии было недостаточно одного университета, существовавшего в Пеште; потому были возведены на степень высших учебных заведений, увеличены в размере и получили щедрые штаты прежние ничтожные академии в Пресбурге, Раабе, Кашау, Гросвардейне, Дебречине, Аграме и Германштате. Для того чтобы государство имело просвещенных чиновников, учреждены при университетах комиссии, подвергающие экзамену людей, желающих поступать на службу. «Благодаря преобразованию университетов, неусыпной заботе о приобретении хороших профессоров и приглашению ученых знаменитостей из других немецких земель, — говорит Чорниг, — умственная жизнь получила новое развитие, — это факт, не подлежащий спору». Точно так же усилены были средства ученых академий, деятельность которых в последнее время стала очень плодотворна. «Особенно должно сказать это об императорской венской академии наук, основанной в 1847 году и с 1848 года развившей свою деятельность плодотворным образом». В 1851 году был учрежден при ней центральный метеорологический институт. «Гимназическое преподавание [продолжает Чорниг] было преобразовано, как и университетское. Оно получило более основательности, так что требования от учащихся сделались строже и гимназии стали в уровень с потребностями общего научного образования». Были составлены хорошие учебники, приобретены хорошие преподаватели учреждением институтов и особенных испытаний. Для технического образования учреждены реальные школы. В конце 1857 года считалось уже 24 высшие и 142 низшие реальные школы. Улучшены были и первоначальные училища, составлены для них лучшие учебники, увеличено жалованье их учителям. Словом сказать, куда ни помотришь, везде многочисленные улучшения. Особенную заботу правительства, по словам Чорнига, составляет в деле преподавания охранение права национальностей. За каждым племенем признано право требовать, чтобы его дети получили общее образование на собственном языке. Потому в каждом месте элементарное преподавание производится на том языке, которым говорит большинство жителей. В гимназиях также оно производится на местных наречиях. Есть гимназии чешские, словацкие, польские, сербо-кroatские, мадьярские и русинские. Какой обширный размер получило народное образование в Австрии, можно видеть по числу учебников, требуемых первоначальными училищами. Те же цифры могут показать, как правительство помогает развитию национальностей. В 1856 году экспедиция учебников продала 2 534 000 учебных книг для первоначальных школ. В том числе было 1 076 000 на немецком языке, 706 000 на славянском, 545 000 на итальянском, 23 000 на восточно-румынском, 184 000 на мадьярском языке. О том, как покровительствуется в Австрии литература и как быстро она развивается, можно судить по громадному количеству ежегодно выходящих

книг. Кроме 455 журналов и газет, в 1855 году в Австрии было издано 6 244 книги, имевшие в сложности 85 952 печатных листа. В том числе было: на немецком языке 1806, на итальянском 1497, на мадьярском 640, на чешском 208, на латинском 187, на польском 116, на сербо-кroatском 60, на словенском 41, по 30 на еврейском и французском, на румынском 25, на рутенском 13, на армянском 9, на старо-славянском 5, на английском 4 и по одной на греческом и испанском языках.

Какой отрадный отчет! А между тем дело просвещения — еще самая отсталая часть государственной австрийской жизни. Каковы же должны быть усовершенствования в других частях? И действительно, читая книгу Чорнига, испытываешь то чувство, которое так хорошо выражает у Гоголя одно из действующих лиц словами: «душа радуется, дух торжествует». Огромное большинство просвещенных людей в Западной Европе, при обыкновенной своей склонности верить так называемым документам и официальным цифрам, до последнего времени восхищалось новым развитием Австрии, и даже у нас, как мы заметили, слышались похвалы финансовой мудрости Брука. Чтобы верить и восхищаться, нужно было только забыть о существенном характере австрийского правительства. Кто помнил его характер, всегда знал очень хорошо, может ли быть хоть капля правды в его похвалах себе, может ли оно сделать какое бы то ни было действительное улучшение, может ли оно управлять хотя так, чтобы положение дел не становилось год от году хуже.



КАПИТАЛ И ТРУД¹.

«Начала политической экономии», сочинение Ивана Горлова, т. I, СПб 1859.

..Каждый предмет имеет свой собственный характер, которым отличается от других предметов, или, как говорится, имеет свою индивидуальность. Потому основной принцип каждой науки должен иметь в себе особенность, должен быть таков, чтобы принадлежал именно этой науке; например: нравственная философия говорит «поступай честно», юриспруденция — «заботься об оправдании невинного и осуждении виновного»; это две мысли решительно различные. Но говорила ли бы что-нибудь свое, что-нибудь специальное политическая экономия, если бы сущность ее выражалась правилом: «водворяй свободу»? Это одна из задач, равно принадлежащих всем нравственным и общественным наукам. Общий принцип всех их: служить благу человека. Свобода, подобно истине (или, лучше сказать, просвещению, потому что здесь имеется в виду субъективное развитие истины в индивидуумах), не составляет какого-нибудь част-

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. VI, стр. 11—12. «Современник» № 1, 1860.

ного вида человеческих благ, а служит одним из необходимых элементов, входящих в состав каждого частного блага; свобода и просвещение — это кислород и водород, которые не могут быть предметами особенных наук, потому что и сами по себе не составляют отдельных предметов, не могут существовать в природе независимым, самостоятельным образом, отделяются от других элементов только искусственным анализом, но без которых не существует в природе никакая жизнь. Какое благо ни возьмете вы, вы увидите, что условием его существования служит свобода; потому она составляет общий предмет всех нравственных и общественных наук, — водворение свободы служит общим принципом их. Для чего юриспруденция старается оградить личность и собственность своими гражданскими и уголовными законами и своими приговорами? Для того чтобы человеку свободнее было жить на свете. Могут ли быть хороши гражданские и уголовные законы, которые клонятся не к увеличению, а к уменьшению свободы? Никак не могут быть хороши. Возьмите какую угодно другую нравственную или общественную науку, — о предмете и цели каждой из них вы должны сказать то же самое. В числе других наук это надобно сказать и о политической экономии. Но точно такую же роль в нравственных науках играет, как мы заметили, и просвещение. Его интересы также служат неизменною нормою того, хорошо или худо какое бы то ни было общественное учреждение, хорошо или дурно какое бы то ни было правило, имеющее претензию определять жизнь частного человека или общества. Но где же отдельная наука о просвещении? Для какой науки может служить специальным принципом правило: «водворяй просвещение»? Это общий принцип всех нравственных и общественных наук. В числе их и о политической экономии должно сказать: соответствие интересам просвещения служит нормою ее правил, а распространение просвещения — верховною целью забот ее. Итак, если говорить: *Laissez faire, laissez passer*, то надобно также сказать: *Laissez éclairer, laissez être intelligent*, — давайте свободу, давайте просвещение. Без этих двух вещей ничего хорошего не бывает; потому обе они равно должны служить принципами для политической экономии, которая, разумеется, должна стремиться к тому, чтобы на свете становилось не хуже, а лучше. Но должно прибавить, что к этому же стремятся все нравственные и общественные науки, и потому у всех у них общий девиз: свобода и просвещение.



ИЮЛЬСКАЯ МОНАРХИЯ¹. (1860)

...Теперь, когда опыт показал, что всеобщим избирательством дается власть обскурантам и реакционерам, многие лучшие люди потеряли веру в этот принцип. Дело в том, что и тут, как во всех исторических делах, разные условия общественного благосостояния связаны одно с другим и какое из них ни возьмете в отдельности, оно оказывается непрактичным без других условий. Политическая власть, материальное благосостояние и образованность, — все эти три вещи соединены неразрывно. Кто находится в нищете, тот не может развить своих умственных сил; в ком неразвиты умственные силы, тот не способен пользоваться властью выгодным для себя образом; кто не пользуется политической властью, тот не может спастись от угнетения, т. е. нищеты, т. е. и от невежества. Эта неразрывность условий, похожая на фальшивый логический круг, приводит в отчаяние людей не твердых духом или нетерпеливых.



СОБРАНИЕ ЧУДЕС, ПОВЕСТИ, ЗАИМСТВОВАННЫЕ ИЗ МИФОЛОГИИ².

*Сочинение американского писателя Натаниэля Готорна,
СПБ 1860.*

Готорн писатель великого таланта, и надобно было надеяться, что он превосходно перескажет мифологические предания; в его таланте есть особенность, делавшая его необыкновенно способным к отличному исполнению взятой им на себя задачи. После Гофмана не было рассказчика с такой склонностью к фантастическому, как Готорн. С фантастичностью счастливо соединяется в нем обыкновенная принадлежность таланта, главная сила которого состоит в богатстве фантазии: он простодушен. Повидимому нельзя было бы найти лучшего сказочника для детей. Но вышло не то: книжка, переведенная теперь на русский язык, написана очень талантливо, а все-таки оказывается плохой. Беда произошла оттого, что Готорн почел нужным переделывать передаваемые им греческие мифы. Впрочем, переделка переделке рознь. Гёте переделал индийский миф о «Магадеве и Баядерке», греческое сказание о посещении, сделанном умершей невестой жениху, и рассказы не стали хуже от переделки. «Магадева и Баядерка», «Коринфская невеста» вещи превосходные. Гёте переделал также легенду о Фаусте, и первая часть Фауста также вышла удивительно прекрасное создание. Хорошо вышло в этих случаях потому, что переделка совершалась по разумному основанию: поэт находил в старинных рассказах намек на идею, которую сам был проникнут, раз-

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. VI, стр. 81, Отрывок из первой главы. «Современник» № 1, 1860.

² Там же, стр. 274—285, «Современник» № 6, 1860.

вивал этот намек, ярко выставлял тот смысл, какой могли видеть в старом предании люди, ему современные. Бызают хорошие переделки и другого рода: автор, имея в виду, что читатели, которым он пересказывает предания иной страны, иной эпохи, — люди неученые, не успевшие приобрести археологических, исторических, этнографических сведений, какие нужны для легкого понимания передаваемых рассказов, для верной оценки их, для полного наслаждения, чувствует необходимость незаметно вплести в рассказ сведения, какие нужны его читателям: если он человек с талантом и сам получил достаточное образование, он исполнит эту надобность удачно, без педантства, без неловких натяжек, так что читать его рассказ будет очень легко, и для людей неученых гораздо легче, чем читать предания в оригинальной форме. Так, Нибур передавал детям мифы классической древности в рассказах, которые посвятил своему маленькому сыну. Но Готорн переделывал их не по этим надобностям, не для того, чтобы сделать понятнее, и не для того, чтобы развить их смысл сообразно с идеями своего века: он ударился в то, что обыкновенно называют художественностью люди, не имеющие понятия о художественности; вдобавок вообразил, что в подлинных рассказах много неприличного, могущего развратить детское воображение, что надобно уродовать их для сглажения в них того, что люди с развращенным воображением считают безнравственностью. Он писал под влиянием двух этих мыслей и результатом вышло — дрянь.

Число дрянных книжек для детского чтения так велико, что, разумеется, не стоило бы много заниматься появлением еще одной такого же достоинства; а эти многочисленные дрянные книжки так плохи, что рассказы Готорна могут даже назваться очень сносными по сравнению с другими (тем более, что изданы недурно и язык перевода довольно недурен); стало быть, не для чего было бы много заниматься доказыванием, что Готорн написал для детей плоховатую книжку. Но нам вздумалось произвести вивисекцию этой книжки на пользу и назидание нашим собственным авторам так называемых художественных произведений: авось кто-нибудь из них увидит, что урок может относиться и к нему с его собратиями. Мы станем говорить о Готорне, человеке постороннем, значит речь наша будет безобидна для своих; а свои сделают недурно, если поразмыслят над ней: ведь и за ними, между нами будь сказано, водятся те самые грешки, благодаря которым так шлепнулся в мифологических рассказах Готорн, несмотря на свой огромный талант, — такой огромный, что из наших художников не найдется ни одного, равного ему по таланту. А если человек более сильный, чем они, написал плохо оттого, что писал неблагоприятно, то, значит, им еще больше надобности в благоприятных мыслях.

Соблазн считать перерабатываемый материал нуждающимся в моральной подчистке был у Готорна извинительнее, чем у наших художников: ведь Готорн писал для детей, а они хотят иметь читателями взрослых людей. Да и греческие мифы составились под влиянием обычаев, из которых иные были решительно противны нынешнему развитию цивилизации, — например отношения, апотеозою которых служат мифы о Леде или о Ганимеде. Важность не в том,

что рассказываются тут известные факты, а в том, что рассказываемые факты выставляются явлениями законными, хорошими. Трудно решить, как поступать с подобными материалами писателю, публикой которого должны быть люди того возраста или умственного развития, которому совершенно чужда самая мысль о существовании таких фактов, как отношения Юпитера к Ганимеду. Обыкновенно говорят, что благоразумнее всего оставлять их в незнании об этих дурных вещах, к счастью не известных им. Ответ совершенно справедливый в применении к тем случаям, когда действительно существует в наших слушателях или читателях предполагаемое ими условие незнания фактов того рода, какие мы сочтем полезными скрывать от них. Но в том и беда, что это условие встречается на самом деле несравненно реже, чем предполагают утаивающие воспитатели и учителя, слишком наивно забывающие о собственном детстве и о характере житейских событий и разговоров, среди которых растет ребенок.

Из тысячи детей разве одно воспитывается так заботливо, что не видит и не слышит беспрестанно тех вещей, о которых не говорит с ним воспитатель или учитель, будто с незнающим о них. Предположим случай почти невозможный, — предположим, что вся семья и вся прислуга в жилище ребенка — люди совершенно нравственные и в поступках и в словах; но ведь ребенок прогуливается же иногда по улице, а на улице нельзя пробыть пяти минут, не услышав сквернословия. Положим, что он не видит грязных сцен между людьми (чего трудно ожидать, если он не содержится взаперти); но ведь по двору и по улице под его окнами бегают куры, собаки, а в его комнате летают мухи: на них он довольно насмотрится того, чего по нашему предположению не видал от людей. Разумеется, мы делаем предположение совершенно фантастическое, когда берем такую обстановку ребенка, чтобы разговоры и действия домашних не разоблачали перед ним очень часто тех вещей, которых по нашему мнению и не следовало бы знать ему. Мы все так неосторожны, привычка говорить о скандалах и не соблюдать деликатности в собственной жизни так сильна в нас, что от нас самих ребенок наглядится и наслушается всего того, что привлекает к Фоблазу известных читателей и читательниц. Если бы самое знание фактов, самый звук слов были так губительны для нравственной чистоты, как обыкновенно полагают, все семилетние девочки и мальчики в нашем обществе и во всяком другом нынешнем обществе были бы до крайности развратны. Но этого нет. Кроме особенно несчастных случаев, очень искусственной обстановки, дети сохраняют чистоту. Кто наблюдает жизнь, беспрестанно встречает примеры этой чистоты, рассказ о которых был бы изумителен, невероятен для людей, судящих по предубеждению, а не по исследованию действительной жизни. Часто вы встречаете взрослую девушку, выросшую среди самого грязного домашнего быта и сохранившую столь полную чистоту не только в своих поступках и чувствах, но и в самой фантазии, что хочется повторить о ней слова Гамлета об Офелии:

С этой чистой душой, среди этих людей,
Белый голубь она в черной стае грачей.

Часто вертепами цинизма бывают не то, что жилища несчастных женщин, презираемых порядочным обществом, а жилища семейств, пользующихся почетом в том же самом обществе; но и в этих семействах дочери до очень поздней поры бывают обыкновенно невинны, чему не поверили бы мы сами, если бы несчастья следующей жизни этих девушек не показывали, что даже и они в 16, в 18 лет не были готовы к той роли, какая достается им. О мальчиках и юношах нельзя сказать того же только по одному чисто физическому отношению: большая часть из них очень рано испытывает физическую любовь; но, — факт опять невероятный для людей, судящих по готовым предрассудкам и внешним признакам, а не по наблюдению сущности дела, — эти мальчики, испытывавшие наслаждение, которое по пошлости обыкновенных отношений слишком часто сопровождается чем-то, похожим на разврат, — даже и они до очень поздней поры обыкновенно сохраняют невинность души, и очень часто остается чисто даже их воображение. Это доказывается чистотою чувства, какое испытывают почти все они в юношестве, встречаясь с порядочными женщинами: очень мало таких испорченных юношей, которые, несмотря на свои прежние физические отношения к женщинам, не испытывали бы того, что называется первой любовью или платонической любовью, — название ошибочное, потому что дело не в том, которая по счету женщина внушает мужчине благородное чувство, а платонизм говорит об идеальной сентиментальности, которая очень приторна и скользка, но мы указываем не на имена чувства, а на его характер. С 13—14 лет мальчик испытывает приятные любовные шалости, но все-таки в 18 или в 20 лет проникается самым чистым чувством к женщине: он робок с нею, застенчив, краснеет, бледнеет, готов пожертвовать жизнью для ее счастья, — не только для ее счастья, — для ее каприза или для того, чтобы получить от нее пожатие руки, ласковое слово... Как вы думаете, неужели красавицы не заманивали много раз в свои комнаты того пажа, о котором рассказывает Шиллер в балладе, названной у Жуковского «Кубком»? Наверное, он знал ласки многих женщин; а посмотрите, что сделалось с ним, когда пришла пора ему испытать настоящую любовь. Зачем он бросился в пучину первый раз? Он сам не смеет подумать о награде, которой ждет за свою смелость: он хочет того, чтобы царица подумала: «он лучше всех этих рыцарей». Он сам боится отдать себе отчет в этой надежде, которую отваживается выразить лишь одним, самым неопределенным намеком в своем рассказе.

И был я один с неизбежной судьбой
От взора людей далеко.
Один меж чудовищ, с любящей душой...

Слышите ли, он позволяет себе сказать лишь то, что любит, — кого любит, на это нет никакого намека; хоть бы взглянул он при этих словах на царицу, — нет, и того он не смеет. — Он слишком хорошо испытал ужас пучины: он не имел никакого понятия о нем, пока не был в ней сам, и никто из окружающих не может вообразить, как ужасна была судьба, на которую он обрекал себя. Тогда он содрогнулся, конечно, в первый раз в жизни, и сам он говорит, что

страшно ему и подумать о том, что испытал. А между тем он опять бросается на эту страшную смерть, лишь только увидел, что царевне жаль его, что она не совсем холодна к нему. Она просит отца не посылать отважного юношу за кубком во второй раз, — этого довольно:

В нем жизнью небесной душа зажжена,
Отважность сверкнула в очах.
Он видит, — краснеет, бледнеет она,
Он видит в ней жалость и страх, —
Тогда, неописанной радости полный,
На жизнь и погибель он бросился в волны...

Что же, отважился ли он попросить поцелуя у невесты, обещанной ему за подвиг, или хоть поцеловать её руку на прощание, или хоть сказать ей слово?.. Нет, ему это было труднее, чем умереть для нее. Кто наблюдает жизнь, тот беспрестанно видит правду Шиллерова рассказа, видит ее почти на каждом из молодых людей, на которых смотрит. Всякая утрировка переходит в обратную утрировку: педанты, претендующие на идеальное понятие о высоких добродетелях, к каким способен человек, имеют слишком грязное понятие о людях, которых видят в действительной жизни. Они требуют, чтобы девушка или молодой человек не слышали ни одного слова о вещах, с которыми, по их мнению, не следует знакомиться человеку в этом возрасте; зато чрезвычайно легко сделаться нравственно погибшим существом в их мнении. В обоих отношениях они одинаково фантазеры: они хотят держать человека в чистоте лишь потому, что он, по их мнению, слишком падок на грязь; они воображают его зловонным животным и оттого льют на него целыми ушатами эс-букет своих нравственных речей. Человек не нуждается в таком избытке косметических средств, потому что он человек: грязь мерзка для него, и потому разве от слишком сильного и долгого втаптывания в грязь получает он привычку к ней. Можете вовсе не беречь его нравственность, и он будет нравственен, если вы, поклонники нравственности, сами не принудите его к разврату вашим безумным обращением с ним.

Дело в том, что пока не пробудилась в человеке органическая потребность известного удовольствия, оно вовсе не составляет для него удовольствия, не тянет его к себе, не привлекает к себе не только его чувства, даже его внимания. Дети, видя, что старшие каждый вечер по несколько часов сидят за преферансом, все-таки любят не сидение за ломберным столом с картами в руках, а любят бегать, шалить, резвиться. Потребность, сажающая людей за копеечный преферанс — скука головы, требующей умственного труда и не находящей его: дети не чувствуют этой умственной пустоты, для них шалости служат достаточным занятием, и оттого они не сядут за карточный стол, пока не станут взрослыми людьми и притом взрослыми людьми в пустом обществе. Преферанс не привлекателен для них. Конечно, если старшие позаботятся, то могут и в 10-летних мальчиках развить страсть к преферансу: пусть разгорячат воображение детей рассказами, что приятнее всего выигрывать деньги у других, пусть внушают им презрение к детским играм, не дающим

денежного выигрыша, и может быть мальчики и девочки начнут мечтать не об игрушках и беготне, а об десяти в червях. Впрочем, этих моральных раздражений едва ли будет достаточно: вероятно, понадобится прибегнуть к физическим средствам. Заприте детей в тесных комнатах, отнимите у них игрушки, не велите им шуметь, велите сидеть неподвижно, — тогда они возьмутся за карты. Подобной пытке подвергаются те бедные дети, которые раньше, чем следует, принимаются за физическую любовь или искусственные способы заменять ее. Им беспрестанно толкуют, чтобы они подражали старшим — вот они и подражают. Им внушают презрение к детству, — хотят преждевременно сделать их взрослыми, — вот они и делаются. Кто хочет, чтобы дети сохраняли нравственную чистоту, вовсе не нуждается в обманывании их, в утайке от них; он только не должен убивать в них самостоятельности, подавлять в них наклонностей, принадлежащих детству: детские игры так будут наполнять их воображение, что не останется им времени, не будет у них охоты думать об удовольствиях, которых еще не требует их организм. Если вы не испортили детей принуждением, то пусть они читают какие-нибудь книги: они во всех книгах будут замечать лишь шумные сцены сражений, разных геройских подвигов, а любовные интриги будут пропускать они без всякого внимания. Пусть каждый, чье детство не было убито слишком тяжелой стеснительностью педантического надзора, слишком натянутой формалистикой, припомнит, какое впечатление оставляли в его детской голове романы, читанные в 10, 12 или 14 лет: все эротические страницы он перевертывал с пренебрежением, отыскивая дуэлей, драк с зверьми или с разбойниками, страшных приключений; для него существовал только сказочный интерес драматических внешних происшествий и, чем шумнее были они, тем лучше казалась книга. Мы помним про себя, как в детстве с восторгом перечитывали раз двадцать в Римской истории Роллена период Самнитских войн, по которому тянется непрерывный ряд сражений: никакой роман не занимал нас так, как эти страницы, которых не в состоянии прочесть взрослый человек по их невыносимой монотонности. Около того же времени попался нам в руки какой-то скандальнейший роман покойного Степанова, кажется, «Тайна», а может быть «Постоялый двор»: мы не прочли и половины первой части, так скучна показалась нам эта книга. Через несколько времени было прочтено нами несколько романов Поль-де-Кока. Нас очень забавляли в них уморительные приключения вроде того, как один господин сталкивает другого с лестницы, или, вышедши прогуливаться, вдруг замечает среди многолюдной улицы, что на нем нет галстука и что мальчишки бегут за ним, выделывая разные гримасы. В цинических сценах мы замечали только смешную сторону. Например, входит дама в комнату, где живут три студента, у которых только один костюм, поочередно надеваемый дежурным счастливецом, между тем как двое других сидят, завернувшись в простыни. Увидев такую нелепую картину, дама в ужасе кричит, студенты тоже кричат, и двое, которые в простынях, лезут под кровати, а дама бежит, падает, разбивает нос, опять бежит, опять спотыкается — это ужасно смешно! Циническая сторона сцены совершенно не была замечена нами. Каж-

дый может проверить справедливость этих воспоминаний, если потрудится наблюдать впечатления и мысли ребенка, лишь бы ребенок был обыкновенный, не слишком обезображенный постороннею заботливостью обратить его в миниатюрную карикатуру взрослого человека.

Готорн не понимает этого; он воображает, что ребенок сосредоточит все свое внимание на эротической стороне рассказа, будет даже доискиваться, нет ли каких-нибудь любовных отношений там, где прямо не говорится о них; он воображает детей похожими на злоязычных старух или пожилых развратников, которые не могут слышать женское имя без того, чтобы не приплести к нему скандальных сплетен или цинических грез. Потому он с забавною шепетильностью, доходящею до совершенной нелепости, выпускает из греческих мифов все похожее на любовь или переделывает их самым пошлым образом, чтобы предохранить детей от мысли, которая и без того не вошла бы в их маленькие головы. Очень потешна в этом отношении его история о ящике Пандоры. Миф говорит, что ящик был свадебным подарком Пандоре, которая выходила замуж, — больше этого ничего и не говорится, и, кажется, скандального тут мало. Вероятно дети и без мифа знают, что их маменька — жена их папеньки (хорошо, если они знают это, а не то, что их маменька — не жена их папеньки, а жена у папеньки — дурная женщина, или, что у их папеньки есть дети кроме их маменькиных детей — случай довольно частый и всегда известный детям в тех семействах, где бывают подобные случаи). Вероятно дети знают, что взрослые девушки выходят замуж и их старшая сестрица — невеста или скоро будет невеста (хорошо, если они знают только это, а не то, что вот такая-то вот взрослая девушка, может быть их сестрица, дала над собой какому-то молодому человеку сделать то, что следует делать только после свадьбы, и оттого все бранят ее). Короче сказать, в словах мифа, что, когда Пандора выходила замуж за Эпиметей, Меркурий принес ей вместо свадебного подарка очень красивый ящик, — в этих словах нет повидимому ровно ничего цинического, скандального или такого, знание о чем можно было бы утаить от детей. Но Готорн сообразил очень проникательно: «свадьба, невеста, жених... Какие скандальные слова! К каким соблазнительным мыслям поведут они детей!» Сообразно такому мудрому размышлению, он взял да и переделал начало мифа следующим образом:

«В древнее время, о! да ведь в такое древнее, когда старый свет только что еще рождался, жил мальчик, по имени Эпиметей, у которого никогда не было ни отца, ни матери; а чтоб ему не было скучно, то ему прислали из очень дальней стороны другого ребенка, тоже без отца и матери, чтобы им вместе играть. Это была маленькая девочка, которую звали Пандора.

«Первое, что бросилось ей в глаза в ту минуту, как она поставила ногу на порог хижины, где жил Эпиметей, — был большой ящик».

Прелестно. Цель забавна; но посмотрим, достиг ли Готорн хотя своей жалкой цели. Мальчику скучно; чтобы развлечь его, нужна девочка. Почему же девочка? Зачем мальчику девочка? Мальчику с мальчиком веселей играть, чем с девочкой. Для чего же Эпиметею нужна девочка? Верно тут есть какая-нибудь особенная забава, и,

верно, эта забава — приятнее тех игр, в которые играют мальчики с мальчиками? Если фантазия детей так загрязнена, что слова свадьба, жених, невеста наводят их на грезы о физической любви, то Готорнова переделка еще скорее привлечет их к этим грезам. Уж если быть последовательным, так надобно было ему изгнать из своих рассказов либо слово мальчик, либо слово девочка: он находит нужным взрослых людей обращать в детей, чтобы охранить от скандала, так уж надобно было всех детей одеть в один костюм, чтобы все были мальчики. Для чтения мальчиков это было бы хорошо. Но вот беда, если книгу станут читать девочки: с ними не годится говорить о мальчиках, это наведет их на дурную мысль. Итак, будем писать для мальчиков особые сказки, для девочек особые: из одних изгоним слова женщина, девушка, девочка; надобно уже для полного достижения цели изгнать слова сестра и мать; не мешает изгнать местоимение женского рода *она*, а то ведь и оно наведет на дурные мысли; а чтоб изгнать его, надобно будет избегать всяких существительных женского рода: вместо дверь будем писать ставень, вместо рука будем писать глаз, вместо стена будем писать потолок. Из книг для девочек, напротив, изгоним слова мальчик, муж, отец, брат, он; нос заменим ногой, язык — головой и т. д. Но слово мужчина можно оставить, оно с виду походит на женщину; только уж будем употреблять его в женском роде: «сия добрая мужчина».

Нам с Готорном хорошо: мы шутки шутим по своим глупостям. Но вообразите себе, какие вещи должны происходить на свете, если бы нашлись люди, держащиеся подобных правил, ослепленные подобными фантазиями в серьезных вещах. «Этого не говорите, это наведет на дурные мысли: и вот этого не говорите, это тоже поведет к дурным мыслям; а говорите вот что, это не возбудит дурных мыслей, и говорите еще вот что — это возбудит хорошие мысли». Ах вы чудаки, чудаки! Да разве вы в самом деле успеете скрыть что-нибудь такое, что захотят знать люди? Да разве то, что скрываете вы от них, не видят и не слышат они на каждом шагу? Если они не делают того, что вас пугает, от мысли о чем думаете вы удержать их вашими стараниями утаить шило в мешке, так это просто значит, что не пришло еще им время приняться за это дело, что они еще не хотят думать о нем, что у них еще не пробудилась потребность к нему; а когда придет пора, заметят они шило в мешке, старайтесь или не старайтесь вы скрыть его, — да и как не заметить? — ведь оно колет их; а если они еще не замечают его, значит они еще так не привыкли думать, что не сообразят связи между своею болью и шилом. А пока еще так слабо в них соображение, вы безопасно могли бы допустить их слушать, что угодно: ведь все равно они ничего бы не поняли. Кроме шуток, если люди сами не умеют знать того, что могли бы узнать от других, это значит, что они еще не чувствуют надобности, не хотят знать, а когда захотят, никакими способами ничего не скроете от них; потому всякая утайка совершенно напрасна.

Но оставим мысли об исторических делах, чтобы заняться литературными вопросами, которые, как известно читателю, гораздо важнее и милее для нас всех общественных дел. Иные люди могут иметь свой расчет, когда утаивают и искажают факты, как Готорн искажает

греческие мифы; но какая надобность может заставлять художника искажать психологическую истину в своих произведениях? Ведь ему от этого нет никакой выгоды, он тут поступает чисто по слепому, предубеждению. Мы припомним один пример, не называя имен. Есть одна прекрасная повесть, героем которой, как по всему видно, следовало быть человеку, мало писавшему по-русски, но имевшему самое сильное и благотворное влияние на развитие наших литературных понятий, затмевавшему величайших ораторов блеском красноречия, — человеку, не бесславными чертами вписавшему свое имя в истории, сделавшемуся предметом эпических народных сказаний. Кажется, такой человек мог быть изображен как человек серьезный. Автор повести, кажется, и хотел так сделать; но вдруг ему вздумалось: «а что же скажут мои литературные советники, люди такие рассудительные, умеющие так хорошо упрочивать свое состояние, если получили его в наследство, или по крайней мере с таким достоинством держать себя в кругу людей с состоянием, если сами не получили большого наследства? Человек, который так расстроил свои семейные отношения, что остался безо всего при существовании значительного родового имения, который занимал деньги у богатых приятелей, чтобы раздавать их бедным приятелям, — нет, такой человек не может считаться серьезным по суду моих благоразумных советников». И вот автор стал переделывать избранный им тип: вместо портрета живого человека рисовать карикатуру, — как будто лев годится для карикатуры. Разумеется, такое странное искажение не удалось, да и самому автору по временам, кажется, было совестно представлять пустым человеком исторического деятеля. Повесть должна была бы иметь высокий трагический характер, посерьезнее Шиллерова Дон-Карлоса, а вместо того вышел винегрет сладких и кислых, насмешливых и восторженных страниц, как будто сшитых из двух разных повестей.

Можно бы припомнить и еще несколько повестей в том же роде, — повестей прекрасных, лучших в нынешней нашей литературе, но имеющих только один маленький недостаток: автор боялся компрометировать себя или своих героев и героинь; он боялся, что скажут: «это безнравственно». Быть может, у него была и та боязнь, как у Готорна: читатели столь невинны и вместе столь склонны к порче, что грешно рассказывать им вещи так, как сам их знаешь: ну, неравно соблазнишь их на что-нибудь дурное, о чем они и не будут иметь понятия, если я не скажу им этого? Нет-с, пишите то, что знаете, никого из нас не удивите, мы все знаем не меньше вашего. И если мы еще не совсем испорчены, так это не потому, чтобы мы не знали, какова жизнь, а потому, что не чужими словами портится человек и не сценами, которые видит, а только собственным положением. Ради собственной вашей репутации не подражайте Готорну: ведь и для детей смешно, когда он боится вымолвить слова жених и невеста.

Но Готорн не удовлетворяется тем, что переделывает греческие мифы из безнравственных в нравственные. Он находит, что надобно придавать им привлекательность художественной отделкой: без нее они были бы слишком сухи, имели бы слишком мало картинности,

лица не выходили бы рельефны. Вот он и придает им художественность. В чем же состоит она? А вот в чем. В подлиннике миф рассказан на двух страничках, он растягивает его на пятьдесят страниц. Если в мифе сказано «поле», он размалевывает, что на этом поле растет трава, и какая трава, и как приятно смотреть на траву; тут для красоты подвернется ему и корова, — вот она ходит по полю, щиплет траву: все описано, какая корова и как щиплет; к корове кстати приписан пастух, и пастух описан. Если в мифе сказано «Пандоре хотелось раскрыть ящик, а Эпиметей говорил, что это запрещено», — Готорн размалевывает из этих слов длинейший разговор, очень мило, с глубоким психологическим анализом, с ловко подмеченными переходами речей и переливами чувств, какие бывают при подобных спорах. Это размазыванье и растягиванье чрезвычайно украшает рассказываемую историю, — по крайней мере так думает Готорн.

Нам было бы мало убытка, если бы так думал и делал только Готорн. Но на беду припоминается нам одно из прекраснейших произведений отечественной литературы. Недавно мы читали на целых тридцати или пятидесяти страницах очень милое развитие следующего положения: беседует молодой человек с молодой дамой; он говорит: «вам скучно», она говорит «нет»; он возражает: «нет, вам скучно, потому что вы не живете, вы не наслаждаетесь жизнью», — положение очень хорошее и предмет разговора прекрасный, но вероятно у Шекспира, — или куда уж нам до Шекспира! — вероятно и у Пушкина, и у Лермонтова, и у Гоголя такая сцена никак не заняла бы более двух страниц, и все было бы высказано на этих двух страницах: и характеры разговаривающих обрисованы очень рельефно, и с полностью высказаны все мысли, которыми обменивались разговаривающие. Так, но Лермонтов и Пушкин нам не указ: они не художники, а мы художники. У них был талант — отрицать нельзя, но пользоваться им они не умели. Разверните «Герой нашего времени»: просто жалость как скомканы, сбиты все сцены; ничего развитого, ничего художественного, — скажет несколькими словами в чем сущность дела, и идет дальше. Нет, мы сделали бы не так. Растягивай, размазывай, повторяй, тверди одно и то же по двадцати раз, все с новыми (очень грациозными) вариациями, переливами красок, модуляциями мыслей, оттенками чувства. У нас, например, если герой надевает туфли, надевание занимает по крайней мере полторы страницы, а надевает он их раз десять, и каждый раз у нас достанет искусства написать об этом по полторы страницы: вот уж подлинно художественность, — на то у меня и талант. Попробуйте-ко вы тянуть эту руладу, у вас голоса не достанет, а я тяну. Прекрасно, только искусство ваше несколько напоминает процесс, совершаемый за обедом беззубыми стариками: у кого зубы хорошие, сразу раскусывает кусок, а беззубый бедняжка жует, жует его, мямлет, мямлет, так что дивишься только: как это, господи, достает у человека терпенья. По-нашему уж и не берись за такой кусок, которого сразу не раскусишь. — Зато художественно, зато талант виден. Оно так, автору приятно, и в произведении сладость сахарная, только читать тяжеловато. Все равно, как слушаешь человека, который и очень умно говорит, только косноязычен: тянет, тянет, так душу из тебя и вытя-

гивает. О, мы умеем пользоваться своими лицами и положениями. Если, например, девушка попадется нам в руки, мы ее всю по ниточке размочалим: «она была очень грациозна», — и напишем страницу, как она была грациозна; «она улыбнулась ему в ответ», — и опишем, как улыбнулась. Тютрюмов не умеет так бобровые воротники писать, как мы умеем все описывать. Вы можете восхищаться Рафаэлем и Шекспиром, а по нашему мнению мы с Тютрюмовым выше Рафаэля и Шекспира. Хотите ли образчик нашей духожественности? — вот он.

Положим, молодой человек идет в сад, чтобы встретить там любимую девушку и сказать ей, что любит ее. По вашему, нехудожественному, рассуждению дело и состоит в том, чтобы рассказать встречу их. Нет, позвольте... По нашему мнению очень интересна была минута, когда герой причесывал голову.

«Вот и галстух повязан. Иван Андреевич сел перед маленьким столиком орехового дерева, слегка растреснувшимся посередине. «Вот она, неопрятность холостой жизни, подумал он. Федор не догадается, что надобно бы столик отодвинуть от окна в простенок: вон как его перекоробило солнцем». Иван Андреевич взял в руки гребень и осмотрел его: один зуб расщепился: «тоже никому нет дела присмотреть, что гребень уж не годится; то ли дело, когда дом озарен и оживлен присутствием милой женщины; при ней не будешь держать себя неряхой; при ней и Федор был бы расторопней». Он взглянул в зеркало, стоявшее на столике. Оно было в овальной рамке красного дерева старинного фасона с бронзовыми украшениями и инкрустацией: «Что за безвкусица — на ореховом столике зеркало красного дерева. Неряха, лентяй, сонливец...» Он с упреком взглянул на лицо, отражавшееся перед ним в зеркале. Живая мысль уже светлелась на этом лице, которое неделю тому назад помнилось ему таким вялым, таким сонным. В отворенное окно влетела бабочка; радужная пыль ее бархатных крылышек искрилась на солнце, будто миллионы маленьких бриллиантиков, изумрудиков, рубинов. Иван Андреевич с минуту любовался на бабочку. Он сравнивал ее с кем-то, с другим существом, столь же легким, столь же нежным, — и сладко было ему мечтать... «Однакоже пора, — подумал он: — или еще нет? Он знал, что давно пора, но он робел, ему было тяжело и сладко, он медлил, потому что ему было хорошо; «да, пора, пора», подумал он и коснулся гребнем волос. (Описание волос было уже сделано семнадцать раз, потому здесь они не описываются: они уже довольно рельефно рисуются перед читателем.) Он медленно, с какою-то негой, два раза провел гребнем по своим шелковистым волосам и задумался: он сам любовался своими белокурыми кудрями, кольца которых вились так мягко; он в первый раз заметил, что на висках у него показалось несколько седых волосков. (О том, что на висках у него было несколько седых волосков, читателю уже было сообщено четыре раза и впоследствии будет сообщено еще двадцать девять раз.) Гребень выпал из его руки, он задумчиво склонил лоб на другую руку, которая прежде лениво лежала на столике. Ему припомнилось время, когда еще не было седины в его кудрях. Вот перед ним широкая поляна с пыльной дорогой, ведущей к покачнувшемуся помещицкому

дому...» (Начинается описание деревни, в которой вырос Иван Андреевич, рассказывается его детство.)

Как это вам нравится, читатель? Мило, очень мило, только скучновато и длинновато немного. Девушка, начавшая читать, как собирался наш герой на свидание, может выйти замуж, может сделаться матерью и сынок ее (очень милый шалун, мы его вам опишем при случае) может, резвясь, изорвать книжку, прежде чем бывшая барышня успеет дочитать повесть до той главы, где герой уже берется за ручку двери, чтобы идти в сад на свидание.

А ведь покайтесь, читатель, вы восхищались такими рассказами? Или не восхищались, а только уверяли, что восхищаетесь, потому что одни люди без художественной жилки в душе (это техническое выражение «художественная жилка» очень нравится людям, ею одаренным) могли не восхищаться такой художественностью?

Это разведение водою — художественность? Какая тут художественность! — Художественность состоит в том, чтобы каждое слово было не только у места, — чтобы оно было необходимо, неизбежно и чтоб как можно было меньше слов. Без сжатости нет художественности. Поэзия тем и отличается от прозы, что берет лишь самые существенные черты и берет их так удачно, что они во всей полноте рисуются перед воображением читателя с двух, с трех слов гениального писателя. На пяти или десяти страницах описать лицо так, чтобы можно было знать все его приметы, — это сумеет сделать самый бездарный прозаик. Нет, вы художник только тогда, когда вам нужно всего пять строк, чтобы возбудить в воображении читателя такое же полное представление о предмете. Пустословие может быть очень милым, изящным пустословием, но с художественностью не имеет оно ничего общего. Поэзия и болтовня — вещи противоположные. Сущность поэзии в том, чтобы концентрировать содержание: разведение водою убивает ее.

Наши художники обращаются с нами, как Готорн с детьми: одни утаивают от нас жизненную правду, чтобы не соблазнить, не испортить нас; другие занимают нас пустословием, будто нам, как детям, приятно слушать болтовню: лишь бы звучал воздух какими-нибудь словами, лишь бы не было молчания, а то нам все равно, с удовольствием слушаем всякие пустяки. Хорошо было бы, если б только художники обращались так с нами, если б только в вымышленных рассказах давали нам ложь вместо правды, пустословие вместо дела. Нет, с нами точно так же поступают и в вещах, от которых прямо зависит вся наша жизнь. Нас считают детьми. Хорошо, будем же брать пример хоть с детей, если уж в самом деле мы так неразвиты, так неопытны, так легковверны, так слабы. Разве дети бывают довольны такими пустяками, какими угощает их Готорн? Посмотрите, любит ли ребенок растянutosть, водянистость рассказа? Нет, он беспрестанно понукает вас: «Ну, что же дальше? ну, что же дальше? Говорите скорей: скорей ведите к концу сказку; говорите только самое существенное». Разве ребенок любит хитрые умолчания, двоедушную замену настоящих слов другими, не соответствующими делу? Нет, он требует, чтоб с ним говорили прямо, каждую вещь называли ее настоящим именем; он не потерпит смягчений и прикрас;

Если вы скажете ему: Медуза была добрая девушка, Минотавр не пожирал людей, а ласкал их, ребенок прямо скажет вам: вы лжете, ведь чудовища злы и вредны людям; или вы хотите обольстить меня к мягкому мнению о них? Если так, пойдите прочь от меня, мне противно и скучно ваше лживое пустословие...



НЫНЕШНИЕ АНГЛИЙСКИЕ ВИГИ¹.

Маколей, Полное собр. соч., т. I. Критические и исторические опыты, изд. Н. Тиблена, СПб 1860.

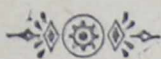
...Г. Вызинский справедливо удивляется «огромной массе знания», которою обладал Маколей. Но по свидетельствам, приводимым у самого г. Вызинского, вникнем в характер этого знания. «Он мог бы удивить Кузена, цитую *Sugus* г-жи Скюдери» (предисл., стр. IV). Мы не наводили справок, на чьем показании основывается это уверение, что Маколей хранил в своей памяти пустейший из французских романов прошлого столетия, читать который утомительнее алгебры и бесполезнее сочинений маркиза Фудраса; но нельзя не верить этому факту, когда на странице LXXII-й читаешь, слова одного из людей, «близко знавших Маколея». «Имена всех пап, с апостола Петра до Пия IX, имена всех архиепископов кентербёррийских, со времени основания этого архиепископства, равным образом фамилии и титулы всех канцлеров и министров Англии — он умел пересказать по пальцам». Г. Вызинский сообщает, что «г-жа Бичер-Стоу подтверждает это свидетельство». Трудно решить, что похвальнее и полезнее: терять время на изучение романов г-жи Скюдери или помнить имена всех пап. Обыкновенно такие факты объясняют одною страшною силою памяти. Так, человек без особенной силы памяти не в состоянии блистать подобными знаниями. Но одной силы памяти тут еще мало: надобно поддерживать ее частым занятием. Скалигер знал наизусть Илиаду — но ведь он, вероятно, каждый год по несколько раз перечитывал ее, иначе через 3 года после последнего чтения не мог бы припомнить половину стихов, как бы твердо ни знал их прежде.

Мы знали юношу, который, много занимавшись латинским языком, помнил почти всего Горация; через несколько времени он бросил латинский язык и через 5 лет не мог уже прочесть на память ни одной оды поэта, бывшего некогда его любимцем. Даже родной язык забывают люди, когда теряют случай говорить и читать на нем. На-

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. VI, стр. 374, «Современник» № 12. 1860.

Виги — политическая партия в Англии. Революция 1688 года была в значительной мере победой вигов. Виги стояли на позициях ограничения королевской власти и расширения прав и полномочий парламента. Виги были сторонниками колониального расширения Англии. Ядро партии вигов состояло из финансовой олигархии, торгово-промышленных элементов, землевладельческой аристократии. Впоследствии партия вигов стала называться либеральной.

добно полагать, что имена всех пап может помнить лишь человек или специально занимающийся историей папства, да и то лишь в то время, пока пишет сочинения о папстве, или человек, не умеющий различать важные знания от неважных, нужные от ненужных и беспрестанно читающий много такого, что бесполезно читать...



ОСНОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ.

...В известном народе известные качества развиваются собственно только от обстоятельств его жизни, и разница между людьми разных наций почти исключительно, если не совершенно исключительно, зависит от различия форм, которые получила жизнь по историческим обстоятельствам. Возьмем для разбора два крайних примера различных качеств, представляемых Эшером: с одной стороны итальянца, который живо понимает все, быстро приспосабливается ко всему, но не имеет специальной подготовки ни к чему, а с другой стороны, англичанина, который лучше всех других работников исполняет свою очень узкую специальность, но за пределами этой специальности не понимает и не умеет делать ничего. Надобно ли приписывать такую чрезвычайную разницу самой природе этих двух людей? Сам Эшер упоминает обстоятельство, совершенно постороннее врожденным качествам и достаточное для объяснения всей разницы. Английский работник получил специальное воспитание, исключительно подготовившее его к отличному исполнению его специального занятия. Какая же тут природа, в чем же тут органическая особенность, если он исполняет свое специальное дело лучше итальянца? Воспитайте таким же образом итальянца и он будет исполнять это дело также лучше других итальянцев, не подготовленных к тому специально. Но это специальное воспитание, полученное англичанином, имело характер самой узкой ограниченности, рутинности, машинальности; оно убило в нем самостоятельность соображения, оно отучило его от внимания ко всему остальному, кроме его узкой специальности; натурально он оказывается лишенным сообразительности во всех занятиях, кроме своего специального дела. Итальянец, напротив того, ничему не научился искусственным воспитанием, зато и не был умственно подавлен машинальной дрессировкой. С самого детства он был предоставлен на произвол судьбы, на собственную сообразительность в своей работе. Разница между ним и англичанином—не разница народностей, а просто разница степеней экономического развития в двух странах: в одной стране еще не водворилось дробное разделение труда, делящее работников как будто на касты по мелким специальностям работ; в другой стране это разделение труда уже введено. Франция занимает в этом отношении середину между Англией и Италией; французский работник сообразно тому занял середину между итальянским и английским. В Германии по историческим обстоятельствам издавна

развилося над народною жизнью господство формалистики, потому немецкий работник, умственная живость которого убивается формалистикою, приближается к английскому своей тупостью в сравнении с итальянцем; но он не имеет такого высокого достоинства в специальной работе, потому что разделение труда еще не охватило массу в Германии так сильно, как в Англии; зато общее образование простонародья в Германии лучше, чем в Англии, оттого немецкий работник кажется умнее английского. (Полн. собр. соч. т. VII, стр. 165).

...Вредное действие разделения труда на экономический быт и на самый организм рабочего сословия при нынешнем порядке дел не подлежит сомнению. Это факт, равняющийся своею достоверностью математическим теоремам, потому что он состоит только в приложении к данному вопросу простых истин: нездоровое для человека вредит здоровью, за меньшее количество платится меньшая сумма. Но с тем вместе остается столь же несомненным, что для человеческого благосостояния нужно усиление производства, а возрастание производства требует разделения труда. Что же мы имеем теперь? Мы имеем две формулы, соединение которых дает тот вывод: элемент, развитие которого необходимо для благосостояния, гибелен для массы людей своим развитием (т. VII, стр. 183).

...Разделение труда необходимо. Так, но следует ли из этого необходимость отдельному работнику заниматься целый день, целую жизнь именно только трудом над известною дробною операцией? Этого принцип разделения труда вовсе еще не предполагает. Напротив, чем выше проводится разделение труда, тем легче становится одному человеку поочередно заниматься множеством разных дробных операций. Не легко одному человеку быть и хорошим портным, и хорошим сапожником, потому что в этих производствах еще очень слабо разделение труда и ряд операций, налагаемый необходимостью дела на одного работника, очень многосложен, так что порядком приучиться к нему — вещь очень долгая и трудная. Но обратимся к примеру, который дает нам Адам Смит — к булавочному производству. Один работник тянет проволоку, другой прямит ее, третий режет. Разве вы не видите, что операция каждого из них может быть в совершенстве усвоена в очень короткое время? Нельзя поручиться, чтобы самый способный человек в полгода выучился сапожному ремеслу; но тянуть проволоку каждый выучится в пять минут, — ведь вся мудрость только в том, чтобы держаться обеими руками за клещи и тянуть их к себе. Или мудренее того резать проволоку? Ведь ножницы сделаны так, что куски нужной длины отмериваются сами собой, надобно только одною рукою держать проволоку, а другою рукою поднимать и опускать ходящую половину ножниц. Это такие операции, о которых нельзя и говорить, чтобы они исполнялись хорошо или худо, искусно или неискусно: нет человека, который бы, — не говорим: не был бы в состоянии исполнить их в совершенстве, — нет, этого мало, надобно сказать: который был бы в состоянии исполнить их не в совершенстве. Понятие искусства нейдет к ним, как нейдет к уменью носить ложку в рот, или пить, или дышать. Даже понятие обучения почти совершенно

нейдет к таким вещам, учиться тут нечему — слишком просто (т. VII, стр. 184).

...При высоком разделении труда нет работнику никакого затруднения поочередно переходить от одной операции к другой, меняя их так, чтобы организм его поочередно работал всеми частями, поочередно находился в разных положениях, чтобы разнообразием сохранилось его здоровье. Если каждый день по 12 часов, в течение многих лет будет человек все резать проволоку, он непременно испортит здоровье; но пусть, в эту неделю резав проволоку, он в следующую неделю тянет ее, а на третью неделю пусть носит листы картона на сушильную карточной фабрики и т. д. и т. д.; через два, через три месяца не вредно будет ему возвратиться к резанию проволоки и опять идти тем же кругом переменных работ, а пожалуй, и каким-нибудь другим кругом каких-нибудь других работ, потому что подобных работ целые сотни может поочередно исправлять один и тот же человек без всякой растраты времени и материала на свое обучение им.

Этому разнообразию нимало не мешает самый принцип разделения труда: напротив, он ведет к нему. Он должен выводить человека из монотонности одного занятия в живую смену разнообразных занятий, чего и требует гигиена (т. VII, стр. 185).

...Поселянин, занимающийся собственно земледелием, мог бы уделять много времени на фабричные занятия, а фабричные работники — сильно помогать земледелию в недолгие периоды пашни и уборки хлеба. Надобно ли говорить, что такой периодический прилив и отлив рабочих сил, то от земледелия к другим занятиям, то от других занятий к земледелию, очень выгоден для увеличения производства? (т. VII, стр. 186—187).

...Развлечение внимания вредно, но еще вреднее, когда внимание тупеет от монотонности. Если бы нас, образованных людей, не учили бы одновременно нескольким разным наукам и искусствам, а учили бы, чтобы не развлекать внимание, в нынешнем году одной только математике и больше ничему, в следующем году одной только грамматике и больше ничему, конечно, мы еще хуже нынешнего знали бы то, чему нас хоть как-нибудь выучили; а если бы кого-нибудь из нас вздумали все учебное время продовольствовать одною грамматикою, изгнав из нашего курса все другие науки, этот несчастный ученик, вероятно, не сделался бы ничем, кроме как олухом (т. VII, стр. 188).

...Сам принцип разделения занятий носит в себе тенденцию к сочетанию разнообразных занятий в деятельности одного работника: он ведет к этому, упрощая операции до того, что исчезают все невыгоды и растраты, которыми задерживается сочетание разных занятий в круге работ одного лица при недостаточном развитии разделения занятий. Сбережение и укрепление здоровья в работнике, производимое разнообразием занятий, составляет громадный выигрыш для производства. Столь же важна другая выгода такой формы деятельности работника. При разнообразии занятий он будет иметь более широкую сообразительность, умственные силы его будут развиваться от работы, а не тупеть, как тупеют при ограничении всей деятельности его одною упрощенною до машинальности операциею. Подумаем только, может ли быть какое-нибудь сравнение — по изобилию материа-

лов для умственного развития, по богатству промышленной опытности, по догадливости — между работником, который бывал и на полевой работе, и на ткацких фабриках, и на постройках, и в ремеслах, и между таким работником, который всю жизнь просидел у одного колеса одной машины на одной фабрике? Тут разница такая же, как между человеком, изъездившим вдоль и поперек Россию, и другим, который носа не высовывал за шлагбаум своего уездного города... решительно ни один из элементов успешности производства не имеет такого громадного значения, как степень умственного развития в работнике. Климат, почва, запасы капитала, самая крепость физических сил — все это ничтожно по сравнению с развитием мысли. Из этого развития все возникает, все достигает только той величины, какая сообразна с ним, все поддерживается только им. Потому важнейшим препятствием к развитию производства надобно считать те формы, которые неблагоприятны умственному развитию работника (т. VII, стр. 188—189).

...Разнообразие занятий заменяет хилого работника здоровым, тупого — сообразительным; оно дает также возможность при каждом данном размере рынка доводить разделение занятий, т. е. совершенствование производительных процессов, до степени гораздо высшей, чем какая возможна без поочередного занятия одного и того же работника разными операциями (т. VII, стр. 190).

...Есть юноша, имеющий все средства к образованию, но он не хочет учиться; есть другой юноша, имеющий охоту учиться, но лишенный средств к образованию. Что тут делать? Неужели вести спор о том, который из них достигнет лучшего успеха в науках: юноша с желанием без средств или юноша со средствами без желания? По всей вероятности, вместо этого (впрочем, очень интересного) спора следовало бы заняться тем, чтобы подумать: нельзя ли в юноше, имеющем средства, возбудить охоту, а юноше, имеющему охоту, доставить средства (т. VII, стр. 210).

... Кто декламирует или играет на скрипке, сам наслаждается своею декламациею или игрою, — которая по настоящему и хороша бывает, которая по настоящему и для других может служить источником наслаждения лишь тогда, когда служит наслаждением для декламирующего или играющего¹. Потому деятельность, производящая предметы эстетического наслаждения, не должна иметь никакого другого вознаграждения, кроме удовольствия, чувствуемого занимающимся ею человеком. О меновой ценности не должно быть тут никакого помина и с этой стороны.

Точно так же не должна иметь меновой ценности и та умственная деятельность, которая имеет своим результатом развитие самого человека, ею занимающегося, а источником своим имеет потребность узнать истину. Сюда принадлежит, во-первых, всякая ученая деятельность, во-вторых, деятельность учащегося. Учащийся должен по настоящему учиться только из желания выучиться, из потребности

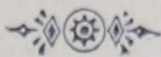
¹ Если вы замечаете, что актер играет не по влечению природы, а только по найму, его игра уже отвратительна для вас. (Примечание Н. Г. Чернышевского.)

знания. Точно так же ученый должен заниматься наукою только из желания овладеть ею или двинуть ее вперед. Самая успешность в том и в другом случае бывает соразмерна преобладанию этой, так сказать самонаслаждающейся любви к делу над всякими другими расчетами.

Но есть умственная деятельность другого рода, составляющая не самонаслаждение, а жертву для занимающегося ею. Это деятельность педагогическая. Конечно, воспитатель или учитель бывает хорош лишь тогда, когда занимается своим делом усердно, добросовестно; а для этого нужна и некоторая привязанность к делу. Но и по своему внутреннему характеру, и по своему отношению к другим чувствам этого человека такая привязанность ничем не отличается от привязанности всякого порядочного работника, плотника или ткача к ремеслу: ведь и каменщик должен любить свое дело, заниматься им усердно и добросовестно. Эта привязанность — просто привязанность честного человека к исполнению принятого на себя долга. Она возникает только из нежелания быть обманщиком и сознания о полезности данного дела. Это — далеко еще не такое чувство, как органическая потребность заниматься именно известным предметом, — потребность, которая создает и живописца, и актера, и ученого, — не такая потребность, которая принадлежит к деятельности, противоположным понятию внешнего вознаграждения. Педагог — такой же чернорабочий, как землекоп или портной. Его труд должен иметь экономическую ценность.

Но лишь в некоторых частных случаях эта экономическая ценность педагогического труда может прямо соразмеряться с ценностью труда, производящего внешние предметы. Это надобно сказать о ремесленном или вообще техническом обучении. Обучение плотничеству приносит лишь ту пользу, что делает человека способным успешнее производить внешние предметы, ценностью которых может определяться ценность обучения. Но совершенно иное дело — то воспитание или обучение, которое развивает умственные или нравственные достоинства человека, окончательный продукт которого — не предмет, посторонний человеку, а сам человек. Этим делом удовлетворяются надобности совершенно иного рода, чем надобность в домах или стульях, в сапогах или рубашках. Прямой соразмерности нельзя тут найти, и педагогический труд общего нравственного или научного воспитания не может быть оценен сравнительно с трудом, производящим внешние предметы (т. VII, стр. 445—446).

...Ребенок, который переносит меньше оскорблений, вырастает человеком, более сознающим свое достоинство (т. VII, стр. 524).



... Все образованные люди в Малороссии привыкли читать и почти все — свободно говорить по-великорусски.

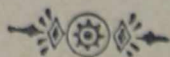
... Не таково положение малорусских простолюдинов, — людей едва грамотных или желающих учиться грамоте. Им книги серьезного содержания были бы гораздо понятнее на малорусском языке. Поэтому популярная литература — серьёзные книги для чтения в школах, в семействах поселян должны явиться на малорусском языке теперь же. Это тем необходимее, что и по-великорусски порядочной популярной литературы еще нет; малоруссы ровно ничего не потеряют, отказавшись от нее, — ведь все равно дело еще надобно начинать с самого начала, на великорусском ли, на малорусском ли языке; а если люди не связаны драгоценностью уже готового материала, то лучше всего им приняться за подготовку именно такого материала, какой нужен для них, — великоруссам за доставление своему народу книг на своем языке, малоруссам — своему на своем.

Высказывая такое мнение, мы полагаем, что и для успехов нашей великорусской популярной литературы будет полезно, если малороссы станут работать для доставления своему народу книг на своем языке, не удовлетворяясь для этой цели великорусскими книгами и не полагаясь на нас. У них любовь к народности так сильна, что за снабжение народа книгами наверно примутся люди самые даровитые, и книги будут написаны ими очень хорошие. А достоинство популярных книг на малорусском языке возбудит соревнование и в нас: нам станет тогда совестно не потрудиться хорошенько для нашего племени.

Преподавание малорусскому народу на малорусском языке, развитие популярной малорусской литературы — вот, по нашему мнению, та цель, к которой всего удобнее и полезнее будет стремиться малороссам на первое время.

О малорусской беллетристике, и поэзии мы не говорим, потому что права этих отраслей малорусской литературы признаны всеми, даже и обскурантами.

Когда популярною литературою и распространением школ будет в Малороссии подготовлена надобность и в других малорусских книгах, кроме популярных, беллетристических и поэтических, — сами собою разовьются и другие отрасли малорусской литературы, но они разовьются этим естественным путем настоятельной нужды в них лишь в том случае, если явится в Малороссии масса просвещенных людей, не имеющих нынешней привычки говорить и думать на великорусском языке обо всем, превышающем сферу обыденной, домашней, простонародной жизни.



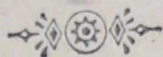
¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. VIII, стр. 52—53, «Современник» № 1, 1861.

О ПРИЧИНАХ ПАДЕНИЯ РИМА¹.

(ПОДРАЖАНИЕ МОНТЕСКЬЕ.)

(История цивилизации во Франции от падения Западной Римской империи. Сочинение Гизо, члена Французской академии, ч. I. Переведено под редакцией М. Стасюлевича, СПб 1861)

... Прогресс основывается на умственном развитии; коренная сторона его прямо и состоит в успехах и развитии знаний. Приложением лучшего знания к разным сторонам практической жизни производится прогресс и в этих сторонах. Например, развивается математика, от этого развивается и прикладная механика; от развития прикладной механики совершенствуются всякие фабрикации, мастерства и т. д. Развивается химия; от этого развивается технология; от развития технологии всякое техническое дело идет лучше прежнего. Разрабатывается историческое знание; от этого уменьшаются фальшивые понятия, мешающие людям устраивать свою общественную жизнь, и она устраивается успешнее прежнего. Наконец всякий умственный труд развивает умственные силы человека, и чем больше людей в стране выучивается читать, получает привычку и охоту читать книги, чем больше в стране становится людей грамотных, просвещенных, — тем больше становится в ней число людей, способных порядочно вести дела, какие бы то ни было, — значит, улучшается и ход всяких сторон жизни в стране. Стало быть, основная сила прогресса — наука; успехи прогресса соразмерны степени совершенства и степени распространенности знаний. Вот что такое прогресс — результат знания.



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА².

...Для читателей, не знакомых с семинарскими порядками, нужно будет объяснить некоторые подробности этой записки. Например: что такое значит «делать возражения»? В семинарском преподавании осталось еще очень много средневековых обычаев; к числу их при-

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. VIII, стр. 158, «Современник» № 5, 1861.

² Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. IX, стр. 9—11, «Современник» № 1, 1862.

Н. Г. Чернышевский поступил в семинарию в 1844 году шестнадцатилетним юношей непосредственно в старший класс. До поступления в семинарию он воспитывался дома. Чернышевский очень отрицательно отзывался о воспитании в семинарии.

Не лучшего мнения он был и о «светских учебных заведениях». В письме к своему отцу он пишет: «Вы отчасти видели по опыту, каков казенный хлеб, чего стоит для нравственности жить на казенном. Но поверьте, что бурса и грязные ее комнаты и дурная провонялая пища — рай в сравнении с светскими казенно-учебными заведениями». («Литературное наследие», т. II, стр. 70).

надлежат «диспуты ученика с учителем. Кончив объяснение урока, учитель говорит: «кто имеет сделать возражение?» — Ученик, желающий «отличиться», — отличиться не столько перед учителем, сколько перед товарищами, — встает и говорит: «я имею возражение». — Начинается диспут; кончается он очень часто ругательствами возразившему от учителя; иногда возразивший посылается и «на колени»; но зато он приобретает между товарищами славу «гения». — Надобно сказать, что каждый курс в семинарии имеет человек пять «гениев», перед которыми совершенно преклоняются товарищи. — Я описываю порядок, бывший лет 15 или 20 тому назад в семинарии, где я учился.

М. Е. Лебедев упоминает о «задачах». — Не знаю как теперь, а в мои времена достоинство лучших учеников оценивалось в семинарии не по знанию уроков, а по достоинству «задач», или сочинений на темы, задаваемые преподавателем. Уроки спрашивались у учеников, только начиная с осьмого или десятого имени в списке, который составлялся не по алфавитному порядку, а по успехам. Первый «пяток» в мое время вовсе никогда и не учил уроков, зная, что никогда не будет спрошен в учебное время. Зато он работал над «задачами», собрание которых приносилось каждым учеником и на экзамен. У кого эти «задачи» составляли толстую кипу, тому было обеспечено благоволение всего экзаменующего начальства.

Не мешает объяснить и термин «сдувать», употребляемый М. Е. Лебедевым. Количество тем, находившихся в обращении при задавании задач, было не слишком многочисленно: «страдания приближают нас к богу», «о пользе терпения», «дурное общество развращает нравы», и т. п. — в риторическом классе, или низшем отделении семинарии; «о различии души и тела», «о преимуществе умозрительного метода над опытным» и т. п. — в философском классе, или среднем отделении; всех различных тем, задававшихся в течение целых 5 или 6 курсов, т. е. 10 или 12 лет, набралось бы вероятно не больше 100; а каждый год писалось несколько десятков «задач», стало быть одни и те же темы очень часто повторялись. Поэтому старые «задачи» заботливо хранились, передавались от одного курса к другому в наследство на случай неизбежного повторения тех же тем. У меня были товарищи, у которых по большому сундуку было набито таким запасом. «Гении» конечно презирали этот способ отличиться чужим трудом, и он носил имя «сдувательства». В руках у семинаристов бывало очень мало книг, как упоминает и М. Е. Лебедев; потому списыванье чужих «задач» было почти единственным доступным для них способом пользоваться какими-нибудь пособиями при сочинении «задачи»; от этого всякое пользование какими-нибудь пособиями было подводимо общественным мнением семинаристов под обыкновенный случай «сдувательства».

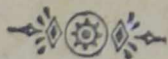
Отсутствие близких дружеских отношений между Николаем Александровичем и его товарищами по семинарии достаточно объяснялось бы уже одним тем обстоятельством, которое выставлено и у М. Е. Лебедева: Николай Александрович был сын городского священника, пользовавшегося почетом у епархиального начальства. Чтобы могли понять это люди, не знакомые с семинарским бытом, скажу о своих

отношениях с товарищами. Мой отец был также священник губернского города в богатом (1) приходе (доходы моего отца от служб простирались до 1500 рублей ассигнациями, и мы жили безбедно). Все товарищи были мне приятели; человек десять из них были со мной задушевные друзья. Сколько раз мяли мы бока друг другу в шуточной борьбе, — счета нет; словом сказать, в классе и «бурсе» (куда я ходил чуть не каждый день для дружеской беседы) со мною церемонились товарищи так же мало, как и со всяким другим. Но в гости ко мне ходили только двое или трое из товарищей, и то изредка; и надобно сказать, что они вовсе не были из числа ближайших моих друзей: они были не больше как приятели; но они не совестились посещать меня в моем семействе потому, что у них была приличная одежда и обувь. Ничто не может сравниться с бедностью массы семинаристов. Помню, что в мое время из 600 человек в семинарии только у одного была волчья шуба, — и эта необычайная шуба представлялась чем-то даже не совсем приличным ученику семинарии, вроде того, как если бы мужик надел брильянтовый перстень. Помню, как покойный Миша Левитский, не имевший другого костюма, кроме синего зипуна зимой и желтого нанкового халата летом, — помню, как этот первый мой друг не решался навестить меня, когда я недели три не выходил из дому, будучи болен лихорадкой; а между тем мы с Левитским не могли пробыть двух дней не видавшись, и, когда он не ходил в класс, я каждый день приходил к нему. Коротче сказать, как ни умеренна была степень знатности и богатства моей семьи, но почти для всех моих товарищей войти в мой дом казалось так же дико, они чувствовали бы себя в нем такими же бедняками и ничтожными людьми, как я чувствовал бы себя в салоне герцога Девонширского. С той поры конечно много изменилось в нашей семинарии; но не настолько, чтобы рассказ мой сделался совершенно обветшавшею стариною.

Очень может быть, что и в нижегородской семинарии около 1850 г., когда учился Николай Александрович, было не совсем так, как в мое время, около 1845 г., в саратовской семинарии; но не думаю, чтоб разница была значительная.

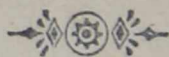
Теперь, как я слышу, в многих, а может быть и во всех семинариях уменьшилось или совсем вывелось пьянство. Но в мое время в саратовской семинарии никакое сходбище семинаристов не могло не быть попойкою. Николай Александрович был настолько моложе своих товарищей, что не годился бы быть участником попоек, если бы жизнь в семействе и не удерживала его от подобной склонности. Вот другая причина, по которой он довольно редко виделся с товарищами вне классов (впрочем в «бурсу» он довольно часто ходил к товарищам, навещал и товарищей, живших на квартирах, как видно будет из его семинарского дневника, напечатанного на следующих страницах). Не думаю, чтобы в нижегородской семинарии кутили тогда так сильно, как в саратовской в мои времена, более старые и грубые. Но М. Е. Лебедев упоминает, что его товарищи все-таки сильно кутили. А потом еще — разница лет: когда я перешел в реторику, из моих 122-х человек товарищей только четверо имели по 14 лет и только один был 13 лет, — и мы смотрели на него, как на

ребенка. Этот юноша кутил очень сильно и с необычайным усердием выделывал всякие молодецкие штуки; но все его ухарство было не достаточно, чтобы товарищи смотрели на него, как равного себе. Николай Александрович перешел в реторику, имея только 12 лет. Он действительно не мог по своим летам войти в жизнь товарищей.



ФРАНЦУЗСКИЕ ЗАКОНЫ ПО ДЕЛАМ КНИГОПЕЧАТАНИЯ¹. (1862)

... Форма действий человека определяется степенью его образованности. Рассердится очень грубый человек, — он бьет в зубы того, на кого рассердился; если он немножко образован, он уже не станет драться, — он стыдится драки, да и знает, что она — дело лишнее: он умеет достаточно уязвить противника грубыми словами. Но если он еще более развит, он и грубые-то слова находит лишними: в мягких, совершенно приличных выражениях он сумеет обнаружить свое раздражение и достигнет той же цели. Значит, дело не в том, бывают ссоры или не бывает их: это зависит от обстоятельств жизни, чаще всего от денежных дел, а не от степени просвещения; она определяет только то, какая форма избирается для ссоры: грубая или благопристойная...



„ЯСНАЯ ПОЛЯНА“. ШКОЛА².

*Журнал педагогический, издаваемый гр. Л. Н. Толстым,
1862, Москва.*

«ЯСНАЯ ПОЛЯНА». КНИЖКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

Книжка I и II.

Этот педагогический журнал и эти книжки для народных школ издаются при школе, устроенной графом Л. Н. Толстым в селе или деревне Крапивенского уезда, Тульской губернии, Ясной Поляне. В первой же книжке журнала помещено описание школы. — Часов в 8 поутру звонят в школе, сзывая учеников из деревни. Они идут — и посмотрите на них, вы увидите замечательную черту:

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. IX, стр. 131 (первый полутом), «Современник» № 3, 1862.

² Там же, стр. 114—127, «Современник» № 3, 1862.

«С собою никто ничего не несет, — ни книг, ни тетрадок. Уроков на дом не задают. Мало того, что в руках ничего не несут, им нечего и в голове нести. Никакого урока, ничего сделанного вчера он не обязан помнить нынче. Его не мучит мысль о предстоящем уроке. Он несет только себя, свою восприимчивую натуру и уверенность в том, что в школе нынче будет весело так же, как вчера. Он не думает о классе до тех пор, пока класс не начался. Никогда никому не делают выговоров за опаздывание и никогда не опаздывают; нешто старшие, которых отцы, другой раз, задержат дома какую-нибудь работой. И тогда этот большой рысью, запыхавшись, прибегает в школу».

Что ж, это очень хорошо, что дети идут в школу с легким сердцем, без всяких тревог. В ожидании учителя ученики и ученицы болтают, играют, шалют, как бывает, впрочем, во всех школах. Но вот уже не во всех школах видит учитель при входе в класс то, что находит в классной комнате яснополянской школы. В наших форменных училищах дети обыкновенно сторожат приход учителя и, завидев вдалеке своего наставника, торопливо рассаживаются по местам, принимают натянутый, чинный вид, — словом сказать, приучаются скрывать, лицемерить и подобострастничать. В Яснополянской школе этого нет.

«Учитель приходит в комнату, а на полу лежат и пищат ребята, кричащие: «мала куча!» или «задавили ребята!» или «будет, брось виски-то» и т. д. — «Петр Михайлович!, — кричит снизу кучи голос входящему учителю, — вели им бросить». «Здравствуй, Петр Михайлович», кричат другие, продолжая свою возню. Учитель берет книжки, раздает тем, которые с ним пошли к шкапу; из кучи на полу — верхние, лежа, требуют книжку. Куча понемногу уменьшается. Как только большинство взяло книжки, все остальные уже бегут к шкапу и кричат: и мне, и мне. «Дай мне вчерашнюю», «а мне кольцоую»¹ и т. п. Ежели останутся еще какие-нибудь два разгоряченные борьбой, продолжающие валяться на полу, то сидящие с книгами кричат на них: «Что вы тут замешались? — Ничего не слышно. Будет». Уличенные покоряются и, запыхавшись, берутся за книгу и только в первое время, сидя за книгой, поматывают ногой от неупокоенного волнения. Дух войны улетает и дух чтения воцаряется в комнате».

Садятся по местам дети, где кто попал, кому где вздумалось: начальственного распределения мест нет. Зато, принимаясь учиться без всякого принуждения и стеснения, дети учатся с таким же полным усердием, с каким до начала класса шалили. «Во время класса» (говорит автор статьи, вероятно гр. Толстой, а впрочем не знаем: статья не подписана) «я никогда не видел, чтобы шептались, щипались, смеялись потихоньку, фыркали в руку и жаловались друг на друга учителю». Оно и натурально, потому что учатся не по принуждению, а по охоте: кому показалось скучно, может уйти из класса, никто ему не мешает. Иногда случается в Яснополянской школе, особенно по вечерам перед праздником, когда дома топят бани,

¹ Так дети называют стихотворение Кольцова.

дети расходятся, не досидев класса, но не от скуки, а потому, что вспомнили, что дома их ждут.

«На втором или третьем послеобеденном классе два или три мальчика забегают в комнату и спеша разбирают шапки. «Что вы?» — Домой. — «А учиться? Ведь пение». — А ребята говорят домой! отвечает он, ускользая с своей шапкой. — «Да кто говорит?» Ребята пошли! — «Как же так?» спрашивает озадаченный учитель, приготовивший свой урок — «останься!». Но в комнату вбегает другой мальчик с разгоряченным, озабоченным лицом. «Что стоишь?» — сердито нападает он на удержавшего, который в нерешительности заправляет хлопki в шапку: — Ребята уж во он где, у кузни уж небось». — Пошли? — «Пошли». И оба бегут вон, из-за двери крича: «Прощайте, Иван Иванович!» И кто такие эти ребята, которые решили итти домой, как они решили? — Бог их знает. Кто именно решил, вы никак не найдете. Они не совещались, не делали заговора, а так — вздумали ребята домой. «Ребята идут»? — и застучали ножки по ступенькам, кто котом свалился со ступеней и, подпрыгивая и бултыхаясь в снег, обегая по узкой дорожке друг друга, с криком побежали домой ребята. Такие случаи повторяются раз и два в неделю. Оно обидно и неприятно для учителя — кто не согласится с этим, но кто не согласится тоже, что вследствие одного такого случая насколько большее значение получают те пять, шесть, а иногда и семь уроков в день для каждого класса, которые свободно и охотно выдерживаются каждый день учениками. Только при повторении таких случаев можно быть уверенну, что преподавание, хотя и недостаточное и одностороннее, не совсем дурно и не вредно. Ежели бы вопрос был поставлен так: что лучше — чтобы в продолжение года не было ни одного такого случая, или чтобы случаи эти повторялись больше, чем на половину уроков, — мы бы выбрали последнее. Я, по крайней мере, в Яснополянской школе был рад этим несколько раз в месяц повторявшимся случаям. Несмотря на частые повторения ребятам, что они могут уходить всегда, когда им хочется, — влияние учителя так сильно, что я боялся последнее время как бы дисциплина классов, расписаний и отметок незаметно для них не стеснила их свободы так, чтобы они совсем не покорились хитрости нашей расставленной сети порядка, чтобы не утратили возможности выбора и протеста. Ежели они продолжают ходить охотно, несмотря на предоставленную им свободу, я никак не думаю, чтобы это доказывало особенные качества Яснополянской школы, я думаю, что в большей части школ то же самое бы повторялось и что желание учиться в детях так сильно, что для удовлетворения этого желания они подчинятся многим трудным условиям и простят много недостатков. Возможность таких убеганий полезна и необходима только как средство застрахования учителя от самых сильных и грубых ошибок и злоупотреблений».

Превосходно, превосходно. Дай бог, чтобы все в большем числе школ заводился такой добрый и полезный «беспорядок», — так называет его в виде уступки предполагаемым возражателям автор статьи, его панегирист, — а по-нашему следует сказать просто: «порядок», потому что какой же тут беспорядок, когда все учатся очень

прилежно, насколько у них хватит силы, а когда сила покидает их или надобно им отлучиться из школы по домашним делам, то перестают учиться? Так и следует быть во всех школах, где это может быть, — во всех первоначальных народных школах.

Такое живое понимание пользы предоставлять детям полную свободу, такая неуклонная выдержанность этого принципа подкупает нас в пользу редакции журнала, издаваемого основателем Яснополянской школы. В предисловии к журналу¹ гр. Л. Н. Толстой говорит, что готов выслушать возражения против мыслей, кажущихся ему истинными, и что боится он только одного, — чтобы мнения, противные его мыслям, «не выражались желчно, чтобы обсуждение столь дорогого и важного для всех предмета, как народное образование, не перешло в насмешки, личности, в журнальную полемику», которая отвлекла бы от сущности дела к спорам и горячности из-за мелочей. Потому издатель «Ясной Поляны» просит «будущих противников» его мнений «выражать свои мысли» спокойным и безобидным тоном. Из уважения к порядку, установленному им в Яснополянской школе, и к его горячей преданности этому доброму порядку мы исполним его желание; и без этого обстоятельства, т. е. если бы не знали мы, как свободно и легко устроено для детей учение в Яснополянской школе, мы, вероятно, не удержались бы от колкостей при разборе теоретических статей «Ясной Поляны», потому что есть в них вещи, напоминающие о знаменитых статьях г. Даля и г. Белюстина.

Вот, например, первая статья 1-й книжки, содержащая profession de foi редакции. На первой же странице автор высказывает недоумение очень странное. «Отчего это», говорит он, «народ постоянно противодействует тем усилиям, которые употребляет для его образования общество или правительство?» — Это, говорит он, «явление, непонятное для меня». Оно стало непонятным только потому, что исключительные случаи возведены автором в общее положение. Мало ли чему может иногда противодействовать народ. При Иосифе II в Бельгии и Венгрии он противодействовал разрушению феодального порядка; при Аранде и Флориде Бланке в Испании он противодействовал отменению инквизиции; у нас он противодействовал попыткам ознакомить его с возделыванием картофеля. Если я из этих исключительных случаев выведу общее заключение, будто бы народ «постоянно» противодействовал уничтожению привилегий, преследований, улучшению пищи, то оно действительно выйдет вещь непонятная. Только эта вещь, т. е. постоянство народного сопротивления всему полезному, вовсе не будет «явление», черта исторической жизни; это вещь просто будет моя мечта, моя ошибка в построении

¹ «Ясная Поляна» журнал, издававшийся Л. Н. Толстым в 1862 г. Издание журнала началось 1 октября 1861 г.; в феврале 1862 г. вышла первая книжка, а в сентябре — последняя; таким образом, издание состояло из двух выпусков

В 1862 году Л. Н. Толстой, посылая комплект журнала Н. Г. Чернышевскому, обратился к нему с письмом, в котором просил Чернышевского дать отзыв на журнал «Ясная Поляна» в «Современнике».

Ответом на эту просьбу и явилась данная статья Н. Г. Чернышевского, опубликованная в 1862 году в № 3 журнала «Современник».

силлогизма. В некоторых, — пожалуй, в довольно многих — случаях, народ довольно упорно противился заботам об его образовании. Что ж тут удивительного? Разве народ — собрание римских пап, существ непогрешительных? Ведь и он может ошибаться, если справедливо, что он состоит из обыкновенных людей. А почему трудно предположить и то, что в этих случаях виновата была какая-нибудь ошибка или какая-нибудь недобросовестность людей, принимавших на себя заботу о народном образовании? Ведь они тоже были люди; значит, могли ошибиться или могли действовать по эгоистическим расчетам, не соответствовавшим народной потребности. Ни в той, ни в другой альтернативе нет ничего непонятного.

Кроме того, что иногда (очень редко) случается упорное сопротивление со стороны народа образованию, по какой-нибудь случайной ошибке народа или его просветителей, есть еще один факт, который мог бы ввести редакцию «Ясной Поляны» в заблуждение насчет существенных отношений народа к образованию. Этот факт уже не исключительный, а общий, и проходит через всю историю просвещения. Он состоит в том, что когда кто бы то ни был, — сам ли народ, т. е. большинство простолюдинов, — образованное ли общество, правительство ли задумает какую-нибудь реформу в народном образовании, реформа на первых порах встречает более или менее сильную оппозицию, — но не исключительно в народе, а точно также и в образованном обществе (если ею занимается оно) и в некоторых членах самого правительства (если реформу задумает правительство). Но тут нет никакой специальной черты, относящейся именно только к частному делу народного образования или только к народу. Эта общая принадлежность реформ или перемен в чем бы то ни было и с кем бы то ни было, что они не совершаются без некоторой оппозиции, — проще сказать, не совершаются без хлопот, без надобности толковать, рассуждать, убеждать. Возьмите самое простое дело, — например хоть в какой-нибудь деревне починку моста, который стал плох и который всем в деревне одинаково нужен; все-таки сначала потолкуют и поспорят — кто же? — Сами же мужики между собой. Мужики, которые посообразительнее или порешительнее, — раньше других увидят, что надобно чинить мост, а другие думают, что можно еще погодить этим делом; вот вам и неизбежность спора. Да разве в одном народе так? Во всяком классе то же самое. Помните, например, как шли дела о том, нужны или не нужны железные дороги, электрические телеграфы и пр. — и в английских и во французских парламентах, палатах, в парижском институте были споры: одним казалось, что эти вещи нужны, полезны, другим, — что они неудобны, вредны.

Штука состоит в том, что везде по всякому делу обнаруживается существование двух партий: консервативной и прогрессивной, вечных партий, соответствующих двум сторонам человеческой природы — силе привычки и желанию улучшений. Натурально, что эти две партии являются и в деле народного образования, как в недрах общества, так и в самом народе. Есть мужики и мещане (как есть купцы, чиновники, дворяне), говорящие: будем жить по-старому и воспитывать детей по-старому; есть другие мужики и другие мещане, подобно

другим купцам, чиновникам и дворянам, говорящие: постараемся устроить жизнь получше прежнего и станем воспитывать детей лучше, чем воспитывались сами.

Ну, что же тут особенного? Отчего тут смущаться, терять «понимание»?

Есть еще один факт, тоже проходящий через всю историю, — его заметила даже редакция «Ясной Поляны»: мужики стесняются посылать своих детей в школы потому, что сын или дочь помогали бы в чем-нибудь по хозяйству, оставаясь дома, или зарабатывали бы несколько денег на фабрике, или в каком-нибудь мастерстве. Это обстоятельство уж действительно прискорбное, когда дела родителей так стеснены, что мысль о пользе детей подавляется необходимостью как можно скорее извлекать из детей что-нибудь на подмогу хозяйству. Но и это разве у одних простолюдинов бывает? Сколько есть небогатых чиновников и дворян, которые принуждены не давать детям учиться, а как можно раньше определять их на гражданскую службу или в юнкера. Очень жаль, что это так; но разве это можно назвать упорством против образования? Вовсе нет, — очень многие из родителей, принужденных так поступать, самые горячие приверженцы образования. Плачут, что не могут дать детям такого образования, как желали бы, но что ж делать, когда нет средств? — Ну, разумеется, относительно этого факта не достаточно успокаивать себя психологическими соображениями о врожденной силе консерватизма в человеческой натуре или о неизбежности ошибок, недоразумений и эгоистических целей, о чем рассуждали мы выше. Тут дело не в человеческой натуре, а в недостатке денег; значит деятели народного образования должны заботиться о том, как бы улучшить материальное положение народа. Но и это опять не какая-нибудь специальная черта только простонародного образования, — и во всяком сословии будет учиться большее количество детей и будут учиться они дольше, будут образовываться они лучше, если сословие будет пользоваться лучшим благосостоянием. Ни непонятного, ни особенного тут ровно ничего нет.

Так что же оказалось у нас? Большою помехой ученью детей простолюдинов служит бедность простолюдинов; иногда заботы о народном образовании могут оставаться неудачны по какой-нибудь случайной ошибке или недобросовестности заботящихся, иногда по какому-нибудь случайному недоразумению самих простолюдинов, а во всяком случае, и при успешном и при неуспешном ходе, улучшение народного образования, как и всякое другое улучшение, имеет против себя людей, в которых консерватизм слишком силен и которые составляют и в простом народе, как и во всяком другом сословии, довольно значительную долю (впрочем все-таки меньшинство), а другая, тоже довольно значительная доля простолюдинов (как и людей всякого другого сословия) будет очень горячо стоять за улучшение; впрочем, и эта доля, состоящая из людей, в которых прогрессивность решительно преобладает над консерватизмом, также только меньшинство в простом, как и во всяком другом, сословии; а главная масса простонародья, как и всякого другого сословия, будет держать себя нерешительно, выжидать, приглядываться, как идет дело: пойдет оно

хорошо, вся эта масса примкнет к прогрессистам; пойдет оно неудачно, вся она примкнет к консерваторам. Что тут особенного и непонятного? Неужели сама редакция «Ясной Поляны» не видела перед своими глазами зсего, о чем мы говорим? Наверное, встречала она между мужиками таких непоколебимых прогрессистов, которые ломают себе все одно: «ученье — свет, а неученье — тьма», и которых никакие ошибки или неудачи народных просветителей не могут сбить с этого пункта; и наверное видела она, что масса выжидает и говорит: «а посмотрим, что выйдет из начинающихся попыток».

Человек вообще — не то, что в частности простолюдин, а человек, *genus homo* или по другим натуралистам *species homo*, двуногое млекопитающее, довольно тяжелое на подъем, — довольно склонен отлагать дело, если на первый раз видит неудачу или хоть не видит большой удачи с первого раза; но эти свойства он обнаруживает по всяким улучшениям, не в одном деле образования; а все-таки, рассуждая хладнокровно, надобно сказать, что он всегда расположен улучшать свое положение по всяким делам; значит он скорее наклонен к образованию, чем упорен против него.

Но редакция «Ясной Поляны», предполагая в мужике какие-то особенные свойства, которых нет в человеке, — т. е. просто в человеке какого бы там звания он ни был, — думает, что народ «постоянно противодействует» заботам помочь его образованию. Ну что, если бы в самом деле было так? Ведь тогда всем нам следовало бы бросить всякие заботы о народном образовании; между прочим графу Л. Н. Толстому не следовало бы основывать школу, издавать ни его журнала, ни его книжек. Ведь насильно мил не будешь; а навязывать какое-нибудь дело людям, которые вечно должны упорствовать против него по своей натуре, значит напрасно мучить их, напрасно утруждать себя.

Нет, редакция «Ясной Поляны» делает не такой вывод; оно и точно, не следует ей делать такого вывода, потому что она не думает, что народ враждебен образованию: на второй же строке первой страницы первой статьи своей она говорит, что «народ хочет образования», и мы напрасно опровергали противное мнение: она сама его отвергает, как видно из этой второй строки. Но если так, какими же судьбами на 9-й строке той же страницы очутились слова, против которых мы спорили, что будто бы «народ постоянно противодействует» и т. д.? А вот каким способом улаживаются эти две мысли, мало идущие одна к другой: если народ, желающий образования, постоянно противодействует всем заботам о его образовании, это значит, по мнению «Ясной Поляны», что мы, образованные люди, не знаем, чему его учить и как его учить, и никак не можем узнать этого. Что это за странность: возьмите неглупого человека какого хотите сословия, сведите его с неглупым человеком какого хотите другого сословия, и они могут растолковать друг другу, что кому из них нужно; отчего же это такая непостижимая вещь, что никак не могли нам растолковать неглупые люди из простолюдинов, чему нужно учить и как нужно учить их, простолюдинов. Сяду я на постоялом дворе, стану расспрашивать проезжих мужиков о чем хотите из их быта, — все их потребности и желания по всякому делу

я могу узнать и понять, только будто бы по одному делу образования не могу. Это что-то неправдоподобно.

Но если это такое непостижимое дело, то, почему знать, не нужно ли нашим простолюдинам учиться, например, латинскому языку? Редакция «Ясной Поляны» хохочет: «Ну, этого уж им наверное не нужно!» отвечает она. (Или она не в состоянии отвечать даже этого?) А если вы хотя об одном предмете знаете, что его не нужно преподавать в народных школах, так вы, значит, уже имеете некоторое понятие о том, что́ нужно народу. Ведь судить о том, что́ не нужно, можно только на основании знания о нужном. Ведь отрицательные ответы основываются же на чем-нибудь положительном.

Или вы ничего не знаете не то что о предметах учения, а только о методах учения? Полноте, и об этом у вас есть верные понятия. Если бы кто-нибудь захотел поступить в Яснополянскую школу преподавателем и объяснил, что учить мальчишек нельзя иначе, как таская их за волосы, кормя оплеухами и т. д., ведь вы не приняли бы такого преподавателя? (Или приняли бы?) Нет, у вас положен принцип: учить не только без всяких наказаний, даже без всяких наград и совершенно никакого принуждения не употреблять. Метод прекрасный, за твердость в котором нельзя не сочувствовать вам; но пока дело не в том, что ваш метод хорош, а в том, что у вас есть метод. Зачем же вы говорите, что вы не знаете метода, когда не только знаете, но даже исполняете.

«Да это еще не метод преподавания, это лишь система обращения с учениками». Положим, но из этой системы уж непременно происходит и метод преподавания, и притом очень определенный. Если наказывать и принуждать нельзя, нужно преподавать так, чтобы ученье было интересно и легко. Вы так и стараетесь делать. «Да нет, это все еще не метод». Как не метод? Ну вот, если кто-нибудь вам скажет: преподавать русскую историю надобно, заставляя детей зубрить наизусть руководство г. Устрялова, — что вы на это скажете? Опять расхохочетесь. Значит, вы знаете, как не следует преподавать русскую историю, а из этого обнаруживается, что вы знаете, как следует ее преподавать.

Быть может напрасно мы говорим таким тоном с редакцией «Ясной Поляны». Быть может она найдет его обидным. Но воля ваша, ведь досадно слушать, когда люди, основавшие школу и преподающие в ней и даже утверждающие, что устроили свою школу очень хорошо и преподают в ней недурно, — когда эти люди говорят, что не знают, чему учить и как учить народ и не знают даже, нужно ли его учить. Полноте, господа, говорить про себя такие пустяки.

А ведь нет, они говорят про себя не пустяки; они действительно не знают, чему и как учить, и есть в их программе, в передовой статье, которую мы разбираем, такие места, что даже ослабляют надежду на возможность им когда-нибудь узнать и понять это. Слушайте, читатель.

Стр. 8. В России «народ большей частью озлоблен против мысли о школе». Где же озлоблен против школы? Против дурных школ, в которых ничему не выучивают, в которых только бьют, терзают детей, притупляют их, развращают их, против таких школ народ

точно озлоблен; но ведь против них озлоблены и мы с вами. Это значит, только, что и мы с вами думаем, и народ думает об этом, как следует думать порядочным и неглупым людям.

Стр. 8. В той же России «все школы, даже для высшего сословия, существуют только под условием приманки чина. До сих пор детей везде почти силою заставляют идти в школу». Это было с грехом пополам правдою лет 20 тому назад или побольше. А теперь разве то? Из нескольких тысяч человек нынешних университетских студентов вы наверное не найдете даже одного десятка человек, которые были бы силою заставлены пойти в университет. Где вы видели таких студентов? Бог с вами, вы говорите бог знает что. А что касается до чина, даваемого за ученье, то из людей небогатых, которым надобно будет жить жалованьем, конечно, многие интересуются получением чина по праву ученой степени, но и то мало; поверьте, никто из них не учится собственно для чина; но не давать им его, — было бы несправедливостью, потому что ведь получают его на службе их сверстники, которые прямо из гимназии пошли служить. Неужели справедливо было бы, чтобы молодой человек проигрывал по службе тем, что посвятил несколько лет на лучшее приготовление себя к ней университетским образованием?

Стр. 11. «Образование, имеющее своею основой религию, т. е. божественное откровение, в истине и законности которого никто не может сомневаться, неоспоримо должно быть прививаемо народу, насилие в этом случае законно».

Стр. 15. «В Германии девять десятых школьного народного населения выносят из школы столь сильное отвращение к испытанным ими путям науки, что они впоследствии уже не берут книг в руки». В противоположность этому можно привести ходячий в низших слоях нашего среднего класса рассказ о том, как «немец землю пашет, а сам в руке книжку держит, читает». — Надобно быть слишком легковверным, чтобы утверждать то или другое.

Стр. 22. В народных школах Марсели преподается «счетоводство», т. е. бухгалтерия. «Каким образом счетоводство может составить предмет преподавания, я никак не мог понять, и ни один учитель не мог объяснить мне». Это очень странно. Чего тут не понимать? Марсель — город торговый, и бухгалтерия может пригодиться всякому простолюдину. А что она может быть предметом преподавания, это доказывают все коммерческие училища, в которых читается курс бухгалтерии. Нет, по мнению автора статьи, делать бухгалтерию предметом преподавания не стоит потому, что «она есть наука, требующая четыре часа объяснения для всякого ученика, знающего четыре правила арифметики». Нет, бухгалтером сделаться не так легко; иначе порядочные бухгалтеры не были бы так редки и не получали бы такой большой платы в торговых конторах. Автор статьи не потрудился познакомиться с делом, иначе не порицал бы марсельские школы за преподавание бухгалтерии.

Стр. 26. «Хорошо немцам на основании 200-летнего существования школы исторически защищать ее; но на каком основании нам защищать народную школу, которой у нас нет?» Что такое? Что такое? глазам не верим. Неужели редакция «Ясной Поляны» думает,

что это только немцам нужны народные школы, а нам не нужны? Да, повидимому, так, — в этом духе тянется рассуждение на всей 26-й странице. Не нужно, дескать, нам народных школ, потому что «мы, русские, живем в исключительно счастливых условиях относительно народного образования». На следующей странице сначала как будто не то, что не нужно нам школ, а только то, что наши народные школы не должны быть рабским сколком с западных; но дальше опять то же, что в школах нет надобности у нас, потому что уже и «в Европе образование избрало себе другой путь, обошло школу», не нуждается в ней (стр. 28). Удивительно.

Тут же, на стр. 27-й, другая удивительная вещь: автор статьи убедился, что «народ подчиняется образованию только при насилии», — ей-богу так и написано на строке 24-й этой 27-й страницы. — Тут же, 5-ю строками ниже, третья удивительная вещь: автор статьи убедился, что «чем дальше двигалось человечество, тем невозможнее становился критерий педагогики, т. е. знание того, чему и как должно учить». Неужели? Чем больше приобреталось людьми опытности в деле образования, тем менее могли они судить об этом деле? Неужели так? Это противоречило бы тем законам рассудка и жизни, по которым всегда бывает, что чем больше знакомишься с предметом, тем больше знаешь его.

Стр. 29. «Основанием нашей деятельности служит убеждение, что мы не только не знаем, но и не можем знать того, в чем должно состоять образование народа, что не только не существует никакой науки образования и воспитания — педагогики, но что первое основание ее еще не положено, что определение педагогики и ее цели в философском смысле невозможно, бесполезно и вредно». Повторяем: если не знаете, то нельзя еще вам быть основателями школ, наставниками в них, издателями педагогических журналов; вам надобно еще учиться самим, — отправляйтесь в университет, там узнаете. — Но вы думаете, что даже и не можете узнать, — очень жаль, если так, — но это свидетельствовало бы только о несчастной организации вашей нервной системы: если вы не можете понять такой простой вещи, как вопрос о круге предметов народного преподавания, то значит природа лишила вас способности приобретать какие бы то ни было знания.

Берем 2-ю книжку «Ясной Поляны» и просматриваем в ней руководящую статью, которая называется: «О методах обучения грамоте». Общий смысл статьи — развитие мысли, что все методы обучения грамоте одинаково хороши или одинаково дурны, так что по какой ни учить, все равно. С такой точки зрения пришлось бы говорить точно то же обо всем на свете. Например: какой способ добывать огонь самый удобный, — трение двух кусков дерева друг о друга, или кремень и огниво, или фосфорные спички? — все равно, каждым из этих способов можно достичь огня. Какая бритва самая хорошая: наша ли доморощенная из обломка косы, или плохая английская, или хорошая английская? — все равно, всякой можно обрить бороду. Какое делопроизводство самое лучшее: бухарское ли, или наше, или французское? — все равно, по каждому можно решать дело. Ведь подобные ответы свидетельствуют только, что у человека, их даю-

щего, не установились понятия о предмете. Я, например, о многих предметах принужден давать такие ответы: например, спросите меня, какой метод интегрирования лучше: лейбницевский или ньютоновский, — я решительно не знаю, но слыхивал, что по тому и другому выучивались интегрированию; вот я и отвечаю: все равно, каждый годится. Или спросите меня, какой паровой плуг лучше: Бойлев или Фаулеров? Я не могу судить ни о том, ни о другом, но слыхивал, что можно тем и другим пахать; вот я и должен отвечать: оба хороши. Эти ответы показывают только, что я не гожусь быть ни преподавателем высшей математики, ни управляющим завода земледельческих машин, ни английским фермером; ими только прикрывается мое незнание. Помилуйте, как скоро есть два способа делать что-нибудь, то непременно один из этих способов вообще лучше, а другой вообще хуже; а если есть исключительные обстоятельства, в которых удобнее применяется менее совершенный способ, то знающий человек умеет в точности определить и перечислить эти исключительные случаи. А кого эти исключительные случаи смущают так, что он не может разобрать разницу между их особенностями и общим правилом, тот мало знаком с делом. Такое впечатление и производит общий смысл статьи: «О методах обучения грамоте». Но кроме общего смысла всей статьи изумляют в ней многие отдельные места; например:

Стр. 9. «Народ не хочет учиться грамоте». Это напечатано на строке 16-й.

Стр. 10. «Факт противодействия народа образованию посредством грамоты существует во всей Европе».

Стр. 11. «Спор в нашей литературе о пользе или вреде грамотности, над которым так легко было смеяться, по нашему мнению есть весьма серьезный спор». Неужели? Неужели может казаться не лишенным основательности мнение людей, утверждающих, что грамотность вредна? Да, на их стороне не менее основательности и правды, чем на стороне людей, признающих пользу грамотности, — таков смысл последней половины 11-й страницы. Защитники грамотности — теоретики, противники грамотности — наблюдатели фактов, и «те и другие совершенно правы» (стр. 11, строка 20), — т. е. по теории грамотность полезна, а на практике оказывается вредной. Но это еще пока только колебание между двумя мнениями, а в начале стр. 12-й автор уже склоняется на сторону противников грамотности. Он говорит: если ближе всмотреться в действительные результаты нынешнего обучения грамоте, то «я думаю, что большинство ответит против грамотности» (стр. 12-я, строка 1-я).

Далее следуют на той же стр. 12-й очень неосторожные колкости против людей, занимающихся преподаванием в воскресных школах. Это уж решительно нехорошо. Каковы бы там ни были эти люди, умны ли они по-вашему, или глупы, но они честные люди, любящие народ, делающие для него все, что могут. Если вы поднимаете на них руку, от вас должны отвернуться все порядочные люди.

На стр. 23-й находятся такие же колкости против людей университетского образования, занимающихся обучением народа, с пояснением, что «пономари учат лучше их».

Редакция «Ясной Поляны» может оскорбиться тем, как мы обозревали передовые статьи ее педагогического журнала, может сказать: зачем же вы брали из наших статей только эти места, а не брали других, имеющих совершенно противоположный смысл? Действительно, мы были бы несправедливы, если бы подбирали дурные места с целью сделать из них вывод, что редакция «Ясной Поляны» проникнута духом мракобесия. Но мы этого вовсе не хотим сказать, а хотим только указать ей, какие странные вещи попадают в ее мыслях по отсутствию надлежащего знакомства с предметами, о которых она рассуждает. Мы говорим ей: прежде чем станете поучать Россию своей педагогической мудрости, сами поучитесь, подумайте, постарайтесь приобрести более определенный и связный взгляд на дело народного образования. Ваши чувства благородны, ваши стремления прекрасны; это может быть достаточно для вашей собственной практической деятельности: в вашей школе вы не деретесь, не ругаетесь, напротив, вы ласковы с детьми, — это хорошо. Но установление общих принципов науки требует, кроме прекрасных чувств, еще иной вещи: нужно стать в уровень с наукой, а не довольствоваться кое-какими личными наблюдениями да бессистемным прочтением кое-каких статей. Разве не может, например, какой-нибудь полуграмотный заседатель уездного суда быть человеком очень добрым и честным, обращаться с просителями ласково, стараться по справедливости решать дела, попадающие ему в руки. Если он таков, он очень хороший заседатель уездного суда, и его практическая деятельность очень полезна. Но способен ли он при всей своей опытности и благонамеренности быть законодателем, если он не имеет ни юридического образования, ни знакомства с общим характером современных убеждений? Чем-то очень похожим на него являетесь вы: решитесь или перестать писать теоретические статьи, или учиться, чтобы стать способными писать их.

Редакция «Ясной Поляны» извинит нам жестокость этого приговора, если поймет, как в самом деле дурны многие из вещей, отысканных нами в ее статьях. Она убедится тогда, что мы говорим неприятную ей правду собственно из желания, чтобы она увидела опасность компрометировать себя такими странными тирадами, дурную сторону которых не замечала прежде конечно только по непривычке к теоретическому анализу мыслей, к выводу последствий и отысканию принципов. Просим ее не сердиться, но если она и рассердится, все равно, мы обязаны перед публикой не селадонничать с «Ясною Поляною», а прямо указать недостатки теоретического взгляда редакции этого журнала, потому что хорошие стремления его могли бы иначе подкупить многих на неразборчивое согласие со всем, что наговорено в «Ясной Поляне». А наговорено в ней все без разбора: и хорошее и дурное. Сущность дела состоит вот в чем.

За издание педагогического журнала принялись люди, считающие себя очень умными, склонные считать всех остальных людей, — например и Руссо и Песталоцци, — глупцами; люди, имеющие некоторую личную опытность, но не имеющие ни определенных общих убеждений, ни научного образования. С этими качествами принялись они читать педагогические книги; читать внимательно, дочитывать до кон-

ца они не считают нужным, — это, дескать, все глупости написаны, до нас никто ничего не смыслил в деле народного образования. Но в прочтенных ими отрывках книг и статей излагаются взгляды очень различные: у одного автора рекомендуется один метод преподавания, у другого — другой, у третьего — третий; у одного автора один взгляд на потребности народа, у другого — другой, и т. д.; по одному автору круг предметов преподавания для народа один, у другого — другой и т. д. Чтобы разобратъ, кто прав в этой разноголосице, нужно тяжелое изучение, нужна привычка к логическому мышлению, нужны определенные убеждения. А эти люди не постарались приобрести ни одного из этих условий, и потому не в силах ничего разобратъ. Вот и явился у них вывод, что ничего нельзя разобратъ, что все вздор и все правда, и все системы никуда не годятся, и все системы справедливы, и науки нет, и предмета нельзя знать, и методов нельзя определить. И осталось им руководиться только своими случайными впечатлениями, да своими прекрасными чувствами. Но кое-что они все же читали и запомнили, и обрывки чужих мыслей, попавшие в их память, летят у них с языка как попало, в какой попало связи друг с другом и с их личными впечатлениями. Из этого, натурально, выходит хаос.

Лучшая часть «Ясной Поляны» — издающиеся при ней маленькие книжки для простонародного чтения, и хороша в них собственно та сторона, для выполнения которой не нужно иметь и убеждений в мыслях, а достаточно иметь некоторую личную опытность и некоторый талант: хорошо в них изложение. Оно совершенно просто; язык безыскусствен и понятен. Как, например, не похвалить манеру рассказа в следующем отрывке:

«Жил был во Франции столяр, звали его Николай. Жена у него померла, а сын остался. Сыну было 4 года. Николай не был богат: у него был дом и было земли немного, — сажал он на ней виноград. С земли Николаю прожить нельзя было, а ходил он по людям работать. Его мальчик оставался дома. Матери не было, никто не обшивал его; отец жалел мальчика, а жениться другой раз не хотел.

Раз идет Николай с работы домой и слышит: кто-то плачет. Он посмотрел и увидел девку. Девку звали Марья. Сидит она подле канавы и плачет.

Николай ее спросил: об чем ты плачешь, Марья?

А она говорит: Николай, жила я у Михайлы мужика, задолжала ему десять франков за угол (по-нашему — десять четвертаков). А Михайло мне за долг сундук не отдает, мне теперь нечем сундука выкупить и жить негде. И она заплакала еще пуще. Николай говорит — подожди здесь, я снесу свой инструмент да мальчика Матюшку посмотрю, а тогда подумаем, как быть.

Николай пошел домой, отнес свой инструмент, пообедал с сыном, достал десять франков и пошел на дорогу, где Марья сидела. Ему в ум вошло ее к себе взять. Он пришел на дорогу и говорит: пойдем, Марья, к твоему Михайле, отдадим ему 10 франков и возьмем твой сундук. А Марья говорит: кто мне даст 10 франков? А он говорит: пойдем.

Они пошли к мужику Михайле, вошли в дом; Николай и говорит: «Здравствуй, Михайло» — Здравствуй, чего тебе? — А Николай говорит: «За что ты обидел девку?» — А за то, что не твое дело. — А Николай говорит: «Возьми десять франков, а ей отдай сундук».

Марья взяла свой сундук, забрала все имущество и говорит: как я тебе, Николай, отдам деньги? А он говорит: «отдашь», — и позвал ее жить к себе. — «Пойду на работу, а ты за Матюшкой ходить будешь».

Она заплакала и стала за него молиться богу. Марья была девка немолодая, ростом большая и здоровая, как мужик. Лицо у ней было дурное, конопа-

тое (рябое), оттого ее и замуж никто не взял. Она тем жила, что на поденную работу ходила, за ребятами смотрела, когда хозяева на работу уходили. Она за больными ходить хорошо умела. Девка она была смиренная: когда ей за работу ничего не давали, она не спрашивала. Все ребята ее на деревне знали, все любили и нянькой прозвали. Николай взял ее к себе в дом: Марья и стала у него жить, как хозяйка: обед варила, виноград поливала и землю копала. Во Франции землю больше скребкой, чем сохой, работают, оттого что ее мало. Обед всегда Марья собирала к тому времени, когда притти Николаю с работы, а за Матюшкой так ходить стала, что Николай не нарадуется. У них в доме лучше стало.

Вздумалось Марье, чтобы Николай купил корову и козу. Во Франции козье молоко пьют. Она и говорит: Николай, купи корову и козу, нам лучше жить будет. — А Николай и говорит: я куплю, а кто стеречь будет? — Ты, купи, стеречь я сама буду. — Матюшка услышал, да и говорит: я с ребятами буду стеречь; сшей только мне сумочку хлеб класть. Я устерегу. — Они купили. Марья сшила Матюшке сумку, положила ему хлеба и сыру и послала его с ребятами. Во Франции хлеб белый. Едят его с сыром, а сыр из козьего молока делают.

Надел Матюшка сумочку на спину, перекрестил веревочки на груди и погнал корову и козу. И каждому свое дело было. По воскресеньям Марья с Матюшкой в церковь ходила. Уберет его, обмоет и пойдут вместе, как сын с матерью. Во Франции в церковь ходят с книжками. Придут в церковь, сядут на стулья и читают по книжкам, и в церкви все запоют, когда надо. Священник так же, как у нас, перед алтарем обедню служит, только он бритый и в белой ризе. А народ на стульях сидит, и за стулья деньги берут: у кого есть деньги, тот платит по 5 сантимов (по-нашему 5 коп. ассигнациями), а у кого нет, тот стоит.

Марья стула не брала, а стаивала с Матюшкой либо на ногах, либо брала Матюшку на руки и ему, как с горы, все видно было, что в церкви делалось: как священник в алтаре служил и как народ в церковь приходил и вон выходил. И стали они жить лучше прежнего.

Стало Матюшке семь лет. Николай и говорит Марье: — «Марья, надобно Матюшку отдать в училище. — А она ему говорит: «зачем его отдавать в училище, он будет и без твоего учения хорошо работать. Он и так мальчик хороший. Ты грамоте не знаешь, а разве хуже работаешь». А Николай говорит: «не правда твоя, Марья, если бы я знал грамоту, я бы сам записать мог, кто мне что должен, а то я не знаю и долги забываю — другой раз и пропадают. Я и сам жалею».

Матюшка услышал, что тетка с отцом говорила, да и говорит: «кто же без меня козу стеречь станет?»

А отец говорит: «устережем без тебя, только уж учись хорошенько, чтобы мои деньги не пропали». Николай не послушался Марью и отдал своего Матюшку в училище. И Матюшка стал учиться очень хорошо. Учитель хвалил его. А корову и козу Марья стеречь стала. Когда Матюшке время бывало, он за отцом вечером инструмент нашивал, а по праздникам с теткой Марьей в огороде копал, и все говорили, что мальчик хороший. Так они жили очень хорошо».

Это первая глава повести «Матвей», которою начинается 2-я книжка. Все остальное написано точно так же, т. е. очень хорошо.

Но в содержании вещей, рассказанных так хорошо, отразился недостаток определенных убеждений, недостаток сознания о том, что полезно и что нужно народу, что вредно для него. Например, в 1-й книжке после рассказа «Матвей», который по содержанию так себе, помещена суеверная сказка о том, как чорт соблазнял монаха Феодора, принимая на себя вид его друга, монаха Василия; и рассказано это таким тоном, как будто в самом деле вот сейчас же может в мою комнату под видом моего приятеля войти чорт, т. е. настоящий чорт, как есть настоящий. Во 2-й книжке помещен Робинзон, обратившийся в сказку, лишенную всякого смысла. За Робинзоном напечатана

арабская сказка о горе Сезаме и 40 разбойниках, переделанная на русские нравы. В ней действует Дуняшка, Евдоким, Петр Иванович, Пахом Сидорыч и т. д. Зачем сделана эта переделка и зачем вынут смысл из Робинзона, — это, конечно никому не известно, в том числе и самой редакции «Ясной Поляны»: ведь нельзя знать, что и как рассказывать народу. А язык рассказов очень хорош.



НАУЧИЛИСЬ ЛИ? ¹

(1862)

В «С.-Петербургских Академических Ведомостях» напечатана и перепечатана в «Северной Пчеле», а быть может еще и в других газетах, статья под заглавием: «Учиться или не учиться? ²». Она

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. IX, стр. 174—185, «Современник» № 4, 1862.

Данная статья написана в связи с происходившими в то время студенческими волнениями, вызванными введением «Университетских правил». Эти «Правила» требовали усиления «неуклонного» надзора за студентами, запрещали всякие собрания, сходки, публичные лекции, концерты, студенческие библиотеки, и студенческие кассы. «Правила» запрещали также проводить вечера в пользу студентов.

В связи с этими «Правилами» студенты в количестве нескольких сот человек 25 сентября 1861 г. отправились непосредственно к квартире попечителя Петербургского учебного округа генерала Филиппсона. В ответ на эту демонстрацию студентов царское правительство выслало против студентов солдат Преображенского полка и в ту же ночь полицией были произведены аресты 26 человек.

После этого 27 сентября была организована большая студенческая сходка. На этой сходке, помимо студентов, присутствовали офицеры и штатские. Студенты потребовали освобождения арестованных, но не добились этого. Новым ответом царского правительства были новые массовые аресты студентов: 14 октября 1861 г. было арестовано и отправлено в Кронштадт 200 студентов. Вслед за этим студенты стали проводить сбор пожертвований в пользу арестованных. Сбор дал почти три тысячи рублей. Жертвовали и студенты и литераторы.

Новым ответом царского правительства явилось закрытие Петербургского университета. В ноябре 1861 г. он был закрыт (вновь открыт был лишь 18 июня 1863 г.).

² Хорошо ли сделали те, которые напечатали эту статью, мы увидим из того, явятся ли в печати мысли, вызванные ею в нас. Каждый может иметь о всяком предмете свое мнение и поступает хорошо, если предлагает его на обсуждение общества; если статья «Учиться или не учиться?» предлагает на обсуждение общества взгляд, ею выражаемый, лица, поместившие эту статью в наших газетах, поступили хорошо. Но в таком случае пусть же они не отнимают у общества права обсуждать этот взгляд. Если же считают они ненужным для себя или неудобным для кого-нибудь или для чего-нибудь выслушивать и принимать к соображению публичные ответы на свой взгляд, если они хотят, чтобы этому их взгляду общество только повиновалось, не рассуждая об его основательности, — в таком случае, он должен был высказываться в форме приказа, распоряжения, циркуляра, а не в форме рассуждающей статьи, и придавать ему такую форму — было дело нехорошее. Посмотрим же, можно ли кому-нибудь, кроме автора статьи «Учиться или не учиться?» и людей,

обрадовала людей, имеющих привычку всякую вину во всяких неприятных делах приписывать исключительно молодому поколению, да литераторам. Эти люди обрадовались потому, что вздумали увидеть в статье выражение взгляда министерства народного просвещения. Но мы полагаем, что они ошибаются и что статья эта выражает собою только их собственное мнение, и что министерство народного просвещения не имеет никакой солидарности с подобными обскурантами.

Начинается она тем, что «и смешно и грустно, а приходится сделать вопрос: хотим мы учиться или нет?» Кто это «мы»? По грамматическому смыслу ближе всего тут разуметь автора статьи и людей, составляющих одно с ним. Если бы он предлагал свой вопрос в этом смысле, было бы, пожалуй, «и смешно и грустно» для общества, но полезно для этих «мы», что они пришли наконец к сознанию, не нужно ли им хоть немножко поучиться. Смешно и грустно было бы для общества узнать от самих этих «мы», что они еще не знают, полезно ли учиться; но для самих этих «мы» было бы уж очень большим шагом вперед то, что от прежней уверенности в ненужности и вреде учения они перешли к сомнению об этом предмете и начинают подумывать, что может быть и нужно им учиться; это служило бы для общества предвестием тому, что когда-нибудь и убедятся в надобности учиться.

Но автор статьи, очевидно, относит не к себе и к своим единомышленникам, а к русскому обществу свое сомнение о существовании охоты учиться. Он говорит, что повидимому кажется, будто общество хочет учиться. Признаками тому, как будто, служат «сотни новых журналов, десятки воскресных школ». — Сотни новых журналов, да где же это автор насчитал сотни? А нужны были бы действительно сотни. И хочет ли автор знать, почему не основываются сотни новых журналов (вероятно, он хотел сказать: газет), как было бы нужно? Потому, что по нашим цензурным условиям невозможно существовать сколько-нибудь живому периодическому изданию нигде, кроме нескольких больших городов. Каждому богатому торговому городу было бы нужно иметь несколько хотя маленьких газет; в каждой губернии нужно было бы издаваться несколькими местным листкам. Их нет, потому что им нельзя быть. Говорят, что это скоро переменится; — дай бог.

«Десятки воскресных школ». — Вот это не преувеличено, не то что «сотни новых журналов»: воскресные школы в империи, имеющей более 60 милл. населения, действительно считаются только десятками. А их нужны были бы десятки тысяч, и скоро могли бы точно устроиться десятки тысяч, и теперь же существовать по крайней мере много тысяч. Отчего же их только десятки? Оттого, что они подозреваются, стесняются, пеленаются, так что у самых преданных делу преподавания в них людей отбивается охота преподавать.

одобряющих его взгляд, публично рассуждать о предметах, к рассуждению о которых, повидимому, вызывает эта статья. (Примечание Н. Г. Чернышевского.)

Если же это неправда, потрудитесь доказать противное и попросите в доказательство обнародовать некоторые записки и совещания, результатом которых были разные правила и инструкции относительно воскресных школ¹.

Но, по мнению автора статьи, эти признаки желания общества учиться, т. е. небывалые сотни новых журналов и действительные десятки (удивительное число!) воскресных школ — признаки обманчивые: «послушаешь крики на улицах, скажут, что вот там-то случилось то-то, и поневоле повесишь голову и разочаруешься»... Позвольте, г. автор статьи, какие крики слышите вы на улицах? Крики городских и квартальных, — эти крики и мы слышим. Про них ли вы говорите? — «Скажут, что вот там случилось то-то, а здесь вот то-то» — что же такое, например? Там случилось воровство, здесь превышена власть, там сделано притеснение слабому, здесь оказано потворство сильному, — об этом беспрестанно говорят.

От этих криков, слышных всем, и от этих ежедневных разговоров, в самом деле, «поневоле повесишь голову и разочаруешься». Но автор статьи ведет речь не о том. Он толкует о так называемых историях со студентами. Что же, и об этих историях мы умели бы рассказать много любопытного. Например, захватывались все люди, которых заставляла полицейская или другая команда на известном пространстве набережной, служащей единственным путем сообщения между двумя частями города, и все эти люди держались не один месяц в заключении, без разбора даже того, каким образом кто из них находился на опальном пространстве в несчастную минуту, — не проходил ли кто-нибудь из них через это пространство с Васильевского острова в гостиный двор для покупки сукна или сапог; не проходил ли другой с этой стороны города на бывшую тогда выставку картин в академии художеств, — не только без всякого отношения к студенческой истории, но быть может и без понятия о том, что существуют на белом свете люди, называемые студентами. Если угодно, можно будет указать сотни подобных сторон в делах, называемых студенческими историями. Но автор статьи говорит не об этих

¹ Характеристику «воскресных школ» как прогрессивного явления дает даже письмо министра внутренних дел Дурново обер-прокурору Св. Синода Победоносцеву, опубликованное в статье В. И. Ленина: «О чем думают наши министры». В этом письме (1895 г.) Дурново пишет: «Сведения, получаемые в течение последних лет, свидетельствуют, что лица, неблагонадежные в политическом отношении, а также часть учащейся молодежи, известного направления, по примеру 60-х годов стремятся к поступлению в воскресные школы, в качестве преподавателей, лекторов, библиотекарей и т. д. Такое систематическое стремление, не оправдываемое даже изысканием средств для существования, так как обязанности в подобных школах исполняются безвозмездно, доказывает, что вышеозначенное явление представляет собою одно из средств борьбы на легальной (законной) почве с существующим в России государственным порядком и общественным строем противоправительственных элементов».

Приводя это письмо, В. И. Ленин пишет: «Министр смотрит на рабочих как на порох, а на знание и образование как на искру; министр уверен, что если искра попадет в порох, то взрыв направится прежде всего на правительство».

Мы не можем отказать себе в удовольствии заметить, что в этом редком случае мы вполне и безусловно согласны со взглядами его высокопревосходительства». (Ленин, Соч., т. I, стр. 419—420).

многочисленных сторонах, но только об одной той, которая, по его мнению, может быть обращена в порицание студентам. По его словам, «поколение», которое ныне должно кончать свое образование, отказалось от ученья, оно может обойтись и без науки: это поколение косвенным образом содействовало закрытию Петербургского университета и прямо прекращению публичных лекций. Будем говорить о деле даже только в тех слишком узких границах, в которых угодно рассуждать о нем автору статьи.

Первым доказательством тому, что молодое поколение, представляемое студентами здешнего университета, отказалось от ученья, он выставляет события, вследствие которых был закрыт университет. Чем были вызваны эти события? Теми «правилами», которые сделались известны под именем матрикул. Чем были недовольны студенты в этих правилах? Общий дух правил состоял в том, что студентов, людей вообще имеющих тот возраст, в котором, по законам нашей же империи, мужчина может жениться и становиться отцом семейства, возраст, в котором по законам нашей же империи, человек принимается на государственную службу, может быть командиром военного отряда, может быть товарищем председателя гражданской или уголовной палаты, — студентов, людей этого возраста, «правила» хотели поставить в положение маленьких ребят. Удобно ли это вообще? — Пусть рассудит автор статьи. Мы ограничимся только тою стороною дела, о которой угодно рассуждать ему. Если люди признаны недостойными или неспособными находиться в ином положении, чем маленькие ребята, значит эти люди признаны неспособными и науку слушать в таком виде, в каком сообщается она взрослым людям и в каком должна преподаваться в университете; значит, общий дух «правил» необходимо вел к обращению университетов со стороны преподавания в училище малолетних ребят, в низшие классы гимназии, в уездные училища. Значит ли, что взрослый человек отказывается от учения, когда недоволен тем, что его хотят учить, как маленького ребенка? Это пусть знает автор статьи относительно общего духа «правил». Кроме того, были в них два отдельных постановления, в особенности возбуждившие неудовольствие студентов. Эти два постановления были: во-первых, отнятие права у университетского начальства освобождать недостаточных студентов от взноса платы за слушание лекций и воспрещение студенческих сходок. Разъясним автору статьи значение этих постановлений.

Плата за слушание лекций составляет 50 р. в год. Большинство студентов — люди, не имеющие совершенно ничего и живущие самыми скудными и неверными доходами, из-за приобретения которых они бьются бог знает как. Кто из этих бедняков имеет какие-нибудь уроки, тот уже счастливец, не имея верного рубля серебром на чай и сахар, не имея никогда хотя бы 20 р. свободных денег, каким образом могли бы эти люди вносить по полугодиям 25 р., требуемых в начале каждого семестра. Прекращение права университетского начальства освобождать бедных студентов от взноса платы за слушание лекций равнялось отнятию у большинства студентов права слушать лекции. Если они почувствовали неудовольствие на такое распоряжение, значит ли, что они не имели охоты учиться?

Людам, перебивающимся такими малыми и неверными доходами, как большинство студентов, беспрестанно бывают очень важны какие-нибудь 10 или 20 рублей. Через месяц, через два студент как-нибудь перевернется, — получит уроки, достанет несколько листов перевода и будет уделять рубли на уплату долга; через три, четыре месяца доходы опять иссякнут и опять придется занимать. Понятна важность кассы взаимного вспоможения для общества людей, живущих в таком положении. Понятно также, что этою кассою никто не может управлять, кроме товарищей тех людей, которым она должна помогать. Тут нужно до мельчайших точностей знать дела и характер каждого, просящего денег. Ведь обеспечение в уплате нет никакого, кроме личного характера; а видимое положение почти всей массы таково, что кроме близких знакомых никто не может различить, действительно ли нужно пособие требующему его, или требование неосновательно. Ни профессора, никакое начальство не может заметить студентов в управлении их кассой. Также никто, кроме студентов, не в состоянии проверять добросовестность или беспристрастие распорядителей кассы. Значит, при существовании кассы необходимы сходки студентов для выбора депутатов, распорядяющихся кассой, для проверки их отчетов, для обсуждения многочисленных случаев, в которых сами распределители кассы будут чувствовать надобность спрашивать советов. Значит, запрещение студенческих сходок равнялось уничтожению студенческой кассы, столь необходимой.

Понятно ли теперь автору статьи и его единомышленникам, какой смысл имело недовольство студентов воспрещением сходок и непременною обязанностью платы за слушание лекций с каждого студента? Тут дело шло не о каких-нибудь политических замыслах, а просто о куске хлеба и о возможности слушать лекции. Этот хлеб, эта возможность отнимались.

Или это не так? Попробуйте доказать противное; попробуйте напечатать документы, относящиеся к этому периоду дела.

Угодно ли слушать, что было далее? Студенты, которым сходки еще не были воспрещены, собрались, чтобы путем, который они считали законным и который тогда еще не был незаконным (потому что «правила» еще не были приведены в действие, и потому студенты, даже и формально, еще не имели основания считать воспрещенным для них в эти дни то, что не было им воспрещено прежде), — чтобы законным путем просить высшее начальство университета ходатайствовать перед правительством об отменении «правил», искажавших характер университетского преподавания и отнимавших у большинства студентов возможность слушать лекции. Начальство это находилось в здании университета. Но, узнав о предполагавшемся представлении просьбы, оно исчезло. Надобно было отыскивать, где оно. Натуральнее всего было предположить, что надобно искать его на его квартире. Студенты пошли к этой квартире. Они шли совершенно спокойно.

Или это не так? Но ведь это известно всему городу.

Виним ли мы кого-нибудь? Нет, мы еще только пробуем, можно ли и без всяких обвинений против кого-нибудь объяснить автору статьи и его единомышленникам, что напрасно винят они студентов в

нежелании учиться. Мы еще сомневаемся, допущено ли будет говорить хотя в этом тоне. Но если из допущения этих замечаний мы увидим, что можно сделать дальнейшую пробу публичного разбора этих дел, тогда мы прямо попробуем сказать, кого тут следует винить и за что.

Итак, студенты вынуждены были перейти из здания университета в другую часть города, чтобы отыскать свое начальство для представления ему просьбы, на представление которой оставалось за ними законное право и были у них такие уважительные причины, как желание учиться и забота о куске хлеба для возможности учиться. Найденное ими начальство пригласило их возвратиться в здание университета. Они сделали это с радостью, как только получили от начальства обещание, что оно также отправится туда для выслушания их просьбы.

Образ их действий был так мирен и законен, что само это начальство почло себя в праве уверить студентов на совещании с ними в здании университета, что никто из них не будет арестован или преследуем за события того дня. На другой день поутру жители Петербурга и в том числе студенты были встревожены известием, что ночью арестовано значительное число студентов.

Виним ли мы кого-нибудь за эти аресты? Нет, мы еще не пробуем теперь делать этого, как уже и говорили выше.

Но весь город недоумевал при несоответствии факта с уверением, которое публично дано было накануне университетским начальством. Студенты желали, чтобы начальство разъяснило им это недоумение и сообщило им, насколько то удобно по обстоятельствам, в чем обвиняются их арестованные товарищи, чего ждать этим товарищам и всем другим студентам.

Узнать это желал весь город.

Вследствие попытки студентов узнать, не может ли университетское начальство сколько-нибудь разъяснить им это дело и сколько-нибудь успокоить тревогу каждого из них за самого себя — были новые аресты.

Опять повторяем, что мы еще не пробуем винить кого бы то ни было. Посмотрим, откроется ли нам впоследствии возможность к этому. Но если откроется, то, разумеется, мы воспользуемся ею.

Продолжать ли изложение дальнейшего хода осенней студенческой истории, следствием которой было закрытие здешнего университета? Если угодно будет автору статьи и его единомышленникам, мы готовы будем сделать это для пополнения их сведений о ней. Но для нашей цели довольно изложенных фактов. Автор статьи выставляет закрытие здешнего университета следствием или признаком нежелания студентов учиться. Мы доказали, что события, имевшие своим следствием закрытие университета, произошли от недовольства студентов «правилами», отнимавшими у большинства их возможность учиться.

Рассматривать ли вопрос, до какой степени имелась в виду при составлении «правил» эта цель, — отнятие возможности учиться у большинства людей, поступавших в студенты университета? Мы не будем рассматривать этого вопроса теперь; но если автор статьи или

его единомышленники считают нужным доказать, что эта цель несколько не имелась в виду при составлении правил, пусть они напечатают документы, относящиеся к тем совещаниям, из которых произошли «правила».

Но во всяком случае, какую бы цель ни полагали себе лица, занимавшиеся составлением «правил», правила вышли таковы, что необходимым их последствием было бы именно отнятие возможности учиться у большинства студентов и возбуждение недовольства в студентах этим отнятием. Таково было мнение не одних студентов, а также и большинства профессоров здешнего университета и многих других лиц, занимавших или занимающих теперь в министерстве народного просвещения места более высокие.

Если автор статьи и его единомышленники хотят опровергнуть это наше свидетельство, пусть попробуют они напечатать документы, относящиеся к заседаниям совета здешнего университета по вопросу о тогдашних университетских «правилах» и другие документы, связанные с этим вопросом.

Если же они захотят утверждать, что разделяемое нами мнение этих лиц о тогдашних «правилах» неосновательно, то пусть они докажут, что мы ссылаемся на факты, выдуманные нами, когда говорим, что в скором времени после закрытия здешнего университета правительство учредило комиссию для пересмотра этих «правил»: что председателем этой комиссии было назначено лицо, формально осудившее эти «правила» при самом же их обнародовании и отказавшееся приводить их в исполнение в своем университете; что теперь эти «правила» совершенно отвергнуты правительством.

Когда будет доказано, что мы лжем, указывая на эти факты, только тогда будет доказано и то, что ошибочно было впечатление, произведенное этими правилами на студентов здешнего университета, и что причиною закрытия здешнего университета были именно эти «правила», а не нежелание студентов учиться.

Переходим к другому факту, выставляемому у автора статьи вторым доказательством нежелания студентов учиться. Этот факт — прекращение публичных лекций весною нынешнего года. Мы думаем, что автор статьи и его единомышленники не найдут вредящим убедительности своего мнения об этом происшествии то, что мы не делаем попытки к изложению обстоятельства, за несколько дней перед прекращением лекций возбудившего очень сильные толки в целом городе; надеясь на то, мы не будем касаться этого предварительного обстоятельства¹, имевшего влияние на прекращение лекций. Но ка-

¹ ...Рассмотрение которого не необходимо для частного вопроса о степени виновности студентов в прекращении публичных лекций. Для нашей цели достаточно будет начать изложение дела несколькими днями позже этого первоначального случая. Мы слышали, что за два дня до прекращения лекций, объявленного в четверг 8 марта, было (во вторник, 6 марта, вечером) на квартире одного профессора собрание профессоров, читавших лекции; что на этом собрании эти профессора приняли решение прекратить лекции; что, будучи спрошены, свободно ли и по собственному ли убеждению они приняли это решение, они отвечали, что приняли его совершенно свободно по собственному убеждению. Мы желаем знать, может ли быть отрицаема достоверность этого слышанного нами рассказа; и пока не будет нам доказано, что она может быть отрицаема, мы считаем делом излишним доказывать какими-либо другими со-

ким образом произошло самое прекращение их? Объяснять это печатным образом мы не хотим, потому что иначе пришлось бы поименовать множество лиц, не имеющих никакой претензии парадировать перед публикою в качестве интересных для нее деятелей. Уважая их скромность, я не стану здесь излагать подробности, к ним относящиеся. Но у меня все-таки есть средства заставить автора статьи отказаться от обвинения студентов по делу прекращения публичных лекций. Этим средством я уже пользовался с успехом по тому же самому делу. Вот оно. Я предлагаю безыменному автору статьи, чтобы он или пожаловал ко мне (мой адрес он может узнать в конторе «Современника»), или сообщил мне свой адрес и согласился, чтобы я пришел к нему для разъяснения этого дела изустным спором при нескольких свидетелях, выбранных в равном числе от меня и от него. Выслушав наши объяснения, свидетели изложат в форме протокола свое заключение. Если автор статьи не примет этого моего формально заявляемого здесь приглашения, я приобретаю право утверждать, что он самым неприятием его засвидетельствовал невозможность доказать основательность своего мнения.

Мы посвятили несколько страниц разбору нескольких строк, которыми начинается статья «Учиться или не учиться?». Теперь можем идти быстрее.

Автор статьи, «разочаровавшись» в нынешних студентах, спрашивает себя, каковы будут будущие студенты: «будут ли они грозить кафедрам свистками, мочеными яблоками и т. п. уличными орудиями протестующих», т. е. нынешних студентов. Свистки и моченые яблоки употребляются не как «уличные орудия»; уличными орудиями служат: штыки, приклады, палаши; пусть вспомнит автор статьи: студентами ли употреблялись эти уличные орудия против кого-нибудь, или употреблялись они против студентов, и пусть скажет, если может, была ли нужда употреблять их против студентов; и если вздумает говорить, что нужда в этом была, то пусть объяснит, было ли в то время разделяемо такое мнение высшим начальством расположенного в городе отдельного гвардейского корпуса. Итак, отлагаем речь об употреблении уличных орудий во время студенческой истории до той поры, когда автор статьи покажет нам возможность подробнее заняться этим предметом. — Что же касается свистков и моченых яблок, эти орудия протеста употребляются за границею в театральных и концертных залах, а не на улицах; но находился ли хотя один свисток в руках у кого-нибудь из студентов и было ли хотя одно моченое яблоко брошено в кого-нибудь на какой-нибудь лекции или студенческой сходке? Мы не слышали ничего подобного, и будем полагать, что ничего подобного не было, пока автор статьи не докажет противного. Впрочем, он вероятно только не умел выразиться с точностью или увлекся красноречием, а в сущности намерен был

ображениями, что прекращение публичных лекций не должно быть приписываемо студентам. Если же автор статьи или его единомышленники захотят опровергать слышанный нами и сообщенный здесь рассказ о собрании профессоров вечером во вторник 6 марта, то мы предупреждаем, что он может быть опровергаем только свидетельством самих профессоров, бывших на этом собрании, и что это свидетельство будет заслуживать рассмотрения только тогда, когда будет скреплено их подписями. (Примечание Н. Г. Чернышевского.)

сказать только, что 8 марта в зале городской думы было шиканье и свист. Кто свистал и шикал? По одним рассказам большая половина присутствовавших, по другим рассказам меньшинство, но очень многочисленное. Между тем известно, что студенты составляли лишь небольшую часть публики, находившейся в зале. И если бы не хотела свистать и шикать публика, то голоса студентов были бы заглушены ее аплодисментами, если бы и все до одного студента шикали. А притом известно, что многие из них не свистали и не шикали. Следовательно, многочисленность свиставших и шикавших показывает, что шикала и свистала публика. Это положительно утверждают и все слышанные нами рассказы: часть публики аплодировала, другая часть шикала. Если шиканье было тут дурно или неосновательно, то извольте обращать свои укоризны за него на публику, а не на студентов. Пропуская несколько тирад, содержащих в себе вариации на строки, нами разобранные, заметим слова, относящиеся также к прекращению публичных лекций: студенты «стали требовать от профессоров, чтобы они пристали к их протестациям и демонстрациям». Когда это было? Сколько мы знаем, этого никогда не было. «Конечно, последние отказались». Как они могли «отказываться» от того, к чему их никогда не приглашали и чего никогда не предполагали делать сами студенты. «Это вызвало со стороны учащихся ряд таких неприличных выходок» — каких это выходок? Когда они были?, — «что и публичные лекции должны были закрыться». Решение прекратить публичные лекции, как мы сказали, было принято профессорами вечером 6 марта свободно и по их собственному убеждению, как они тогда объявили, и никакие выходки со стороны студентов не предшествовали этому свободно принятому профессорами решению.

Далее автор статьи рассуждает о «свободе» человека «иметь в религии, политике и т. д. такие убеждения, какие почитают лучшими», и порицает наших «либералов» за то, что они стесняют эту свободу во всех других людях. В доказательство тому приведена фраза из одной моей статьи; впрочем, она совершенно напрасно выставляется уликой против либералов, которые всегда отвергали всякую солидарность со мною и порицали мои статьи не меньше, чем автор статьи порицает студентов. А главное — дело в том, что чем же студенты-то виноваты в моих статьях или в неблагонамеренности либералов? разве я советуюсь с студентами, когда пишу свои статьи? или разве наши «либералы» — имя, под которым разумеются люди более или менее немолодые и чиновные и уж ни в каком случае не студенты, — разве они набираются своих мнений от студентов? Впрочем, автор только не умел начать речь так, чтобы понятно было, к чему он ведет ее, — а он ведет ее не к тому, чтобы винить студентов за неблагонамеренность наших «либералов», каких он обижает совершенно напрасно, выставляя их солидарными со мною, с которым не хотят они иметь ничего общего, а к тому, чтобы убедить студентов перестать верить этим «либералам», которых он выставляет похожими на «турецких пашей» и имеющими привычку «грозить побоями» людям других мнений. Но, во-первых, студенты никогда и не верили нашим «либералам», всегда считали

их людьми пустыми, даже и не турецкими пашами, а просто пустозвонами; во-вторых, если статья имеет целью подольститься к студентам и разочаровать их насчет «либералов» (забота совершенно излишняя), то статья не должна была бы так несправедливо винить самих студентов и тем отнимать у них расположение к мыслям, в ней изложенным.

Потом идет речь о каких-то «деспотах» и «инквизиторах», под которыми автор статьи понимает все тех же наших «турецких пашей», т. е. по его мнению «либералов». Они между прочим сравниваются с двумя Наполеонами — тем, который ходил в Москву, и тем, который управляет теперь Францией, и которые «оба были республиканцами». Но это последнее слово уж никак не приложимо к нашим «либералам», которые от республиканских понятий гораздо дальше, чем от понятий, свойственных автору статьи. Вот удивятся они, что успели прослыть республиканцами!

Затем автор «от души жалеет тех молодых людей, которые, еще не искушенные опытом жизни, увлекаются обманчивой и ласковой наружностью лжелибералов», — успокойтесь, почтенный автор: ни лжелибералами, ни просто либералами молодые люди никогда и не увлекались, когда собирались просить свое начальство об отмене «правил», из-за которых произошли события, имевшие своим последствием закрытие университета; а прекращение публичных лекций было следствием решения, принятого, как мы уже говорили, профессорами, читавшими лекции. Затем опять идет речь о «миниатюрных бонопартиках и кромвельчиках», которые были будто бы «коноводами» студентов. Любопытно было бы знать, на каких основаниях автор статьи полагает, что во время, предшествовавшее закрытию здешнего университета, или во время, предшествовавшее прекращению публичных лекций, у студентов были «коноводы» из людей, не принадлежавших к студенческому обществу? Мы положительно говорим, что никаких таких «коноводов» студенты не имели. Если же автор статьи желает опровергнуть это, то пусть попробует напечатать следственные дела, производившиеся по поводу осенней студенческой истории или по другим процессам, в которых падало подозрение на каких-нибудь студентов, — тогда мы увидим, подтверждается или опровергается этими документами мнение автора о каких-то, будто бы существовавших тогда связях между студентами и какими-то «коноводами». Пока не будут обнародованы документальные доказательства подобных отношений, мы будем утверждать, что ни в каких документах ничего подобного отыскать нельзя, а во множестве документов должно находиться множество фактов, положительно уничтожающих всякую возможность хотя сколько-нибудь основательного предположения о существовании этих мнимых связей.

Но вслед за обличением «миниатюрных бонопартиков и кромвельчиков», которые губили студентов, мы читаем успокоительное уверение, что теперь студенты уже отвергли этих прежних своих зловредных коноводов: «высказавшись слишком рано, они (миниатюрные бонопартики и кромвельчики) во-время оттолкнули от себя тех, которые сначала поверили было искренности их стремлений», т. е. оттолкнули от себя студентов. Ну, вот и слава богу. Далее

следует уверение, еще более отрадное: по словам автора, скоро и вовсе провалятся в общественном мнении миниатюрные бонопарттики и кромвельчики. Вот в подлиннике это чрезвычайно утешительное предупреждение:

«До сих пор еще, впрочем, условия цензуры несколько затрудняли общественное разочарование; если же (как носятся слухи) печать будет в скором времени более облегчена, тогда мыльные пузыри или миражи рассеются сами собою, и тогда вряд ли будут увлекаться даже наивнейшие из самых наивных людей. Это будет первой и огромной пользой, которую принесет за собою облегчение печати.

«Когда можно будет говорить свободнее, тогда лже-либералы встретят себе сильный отпор в людях, истинно преданных какой-нибудь мысли; тогда никто не будет стеснен; на один полунамеком, темный, неясный, обманчивый и двусмысленный, ответят десятью ясными и здоровыми словами. Внутренняя пустота, скрывающаяся теперь под наружными формами каких-то убеждений, должна будет уступить полноте убеждений истинных».

Дай бог, дай бог, чтобы поскорее пришло такое хорошее время! Но дальше автор статьи как будто несколько сбивается в словах: «обществу», говорит он, «нужны коноводы»; ну, на что же это похоже, что он желает всему обществу стать в послушание «коноводов», когда сам же так сильно напустился на студентов по одному неосновательному подозрению, что они имели «коноводов». Ай, ай, ай, ведь это уж вовсе нехорошо! Да то ли еще провозглашает автор статьи: мало того, говорит, что обществу нужны «коноводы», — «народу нужны полководцы», — с нами крестная сила, что это такое значит? какие это полководцы нужны народу? Разве народ надобно поднимать против кого-нибудь, вооружать? вести в какие-нибудь битвы? Странно, странно читать такие вещи, напечатанные в «С.-Петербургских Ведомостях», и перепечатанные оттуда в «Северной Пчеле». Ну, договорился благонамеренный автор статьи до того, что оставалось бы ему только тут же закончить статью восклицанием про себя: «язык мой — враг мой!» Но он, нимало не конфузясь, продолжает: «довольно мы слышали всяких возгласов; нам теперь нужны дело и люди дела». Я совершенно разочаровываюсь в благонамеренности автора и кричу: «слово и дело!». Что же это, в самом деле, автор хочет, чтобы у нас образовалось то, что в Италии называется «партия действия»?

Выразив это желание, которое так удивительно видеть напечатанным в петербургских газетах, автор возвращается от забот о ведении народа в какие-то битвы снова к студентам. Ну, думаем, авось-либо поправится, обнаружит прежнюю благонамеренность: не тут-то было. Он говорит, например, что если бы публичные лекции не были прекращены демонстрацией 8 марта в зале городской думы, то «сочувствие общества принадлежало бы студентам вполне, потому что в таком случае все их прежние демонстрации имели бы смысл». — Позвольте, позвольте: а какой смысл имеют эти слова? Дело студентов испорчено прекращением публичных лекций, — без этого случая «прежние их демонстрации имели бы смысл, и сочувствие общества принадлежало бы студентам вполне». — Так; значит, до этого случая оно не было испорчено, и «сочувствие публики вполне принадлежало студентам» и их «прежние демонстрации» казались публике (или

даже и автору статьи?) «имеющими смысл»? Так, так. А ведь решение прекратить публичные лекции было принято профессорами; значит, только профессора испортили дело студентов, а то оно «вполне» пользовалось сочувствием публики, — ну, хорошо; только уж не слишком ли автор выставляет профессоров порицанию публики?

К этому, что ли, хотел привести речь автор статьи, что студенческое дело испорчено только профессорами?

Хорошо, хорошо, слушаем, что будет дальше.

Дальше автор говорит, что столичные университеты безнадежны, погубили себя безвозвратно (или он не то хочет сказать? ведь у него не разберешь, — ведь, может быть, он и профессоров не хотел выставлять людьми, испортившими студенческое дело, и народ не хотел вести на борьбу против каких-то врагов) и что «остается надежда» только «на провинциальные университеты» — что это значит? Предположено уничтожить здешний и Московский университеты? Или это только неумение автора выражаться? Должно быть, только неумение выражаться, потому что вслед за тем статья оканчивается уведомлением о возобновлении лекций в здешнем университете и вопросом: «какие слушатели соберутся» в здешний университет, когда он снова откроется, и будут или не будут они «учиться»? На эти вопросы отвечать очень легко: соберутся в университет все те, не успевшие кончить курса слушатели его, которые будут иметь средства и получают дозволение собраться; а учиться они будут, пока им не помешают учиться.

Но автор статьи, вероятно, только не умел выразить свою настоящую мысль и хотел спросить вовсе не об этом, а о том, будут ли новые демонстрации со стороны студентов при открытии или по открытии университета? И на это можно отвечать очень определенно: студенты решили до последней крайности воздерживаться от всяких демонстраций, и, насколько делание или неделание демонстраций зависит от воли студентов, демонстраций не будет. Но ведь не всеильны же студенты — мало ли что делается против их желания? Вот, например, публичные лекции они устраивали с мыслью держать себя совершенно спокойно и удерживали спокойствие в залах лекций, пока могли; а все-таки произошла демонстрация 8 марта. Студенты накануне решали, что не нужно делать демонстрации; но обстоятельства сложились против их воли так, что она была произведена публикою.

Прошедшие события должны служить уроком для людей, которые думают, что демонстрации вредны. Эти люди должны предотвращать такие обстоятельства, из которых рождаются демонстрации.

О, если бы эти люди приобрели хотя наполовину столько самообладания и благоразумия, сколько имеют студенты — тогда конечно не было бы никаких демонстраций.

Посмотрим, как эти люди будут держать себя при открытии и по открытии университета, и тогда увидим, научились ли они рассудительности. А мало надежды на это, если люди, о которых мы говорим, разделяют взгляд, выразившийся в статье, нами разобранной.



СТАТЬИ, ПРИЛОЖЕННЫЕ К ПЕРЕВОДУ «ИСТОРИИ» ВЕБЕРА.

*Раздел: О различиях между народами по национальному характеру¹
(1885—1889).*

...Народ — группа людей, качество народа — сумма индивидуальных качеств людей, составляющих эту группу; потому качества народа изменяются переменной качеств отдельных людей, и причины перемен одни и те же в обоих случаях. Каким образом, например, народ, говоривший одним языком, начинает говорить другим? Отдельные лица находят надобным выучиваться чужому языку; если та же надобность одинакова для всех взрослых семейств, их дети уже в своем семействе привыкают говорить на языке, который прежде был чужим ему; когда эта перемена произойдет в большинстве семейств, прежний язык будет быстро забываться массой народа, новый станет родным ей. Разница между переменной языка у отдельного человека и у народа состоит только в продолжительности времени, нужного для нее.

Точно то же происходит в деле приобретения или утраты всяких знаний и привычек. От перемены в знаниях и привычках изменяется так называемый характер людей. По каким причинам человек приобретает какие-нибудь знания? Отчасти по склонности всякого мыслящего существа изучать предметы и размышлять о них, отчасти по житейской надобности в тех или других знаниях. Любознательность, склонность к наблюдению и размышлению — природное качество не человека только, но всех существ, имеющих сознание. Едва ли найдется теперь натуралист, который не признавал бы, что все существа, имеющие нервную систему и глаза, — существа мыслящие, что они изучают обстановку своей жизни, заботятся улучшить ее. Потому теперь должно прямо называть не заслуживающим внимания тот предубеждение, по которому ученые в старину приписывали любознательность только некоторым народам, а у других отрицали ее. Никогда не было и не может быть ни одного здорового человека, который не имел бы некоторой любознательности и некоторого желания улучшить свою жизнь.

Итак, влечение к приобретению знаний и склонность к заботе об улучшении своей жизни — врожденные качества человека, подобно деятельности желудка. Но существование деятельности желудка и потребность в пище могут оставаться плохо удовлетворенными по неблагоприятности внешних обстоятельств, а в некоторых случаях аппетит вовсе пропадает. Когда внешние обстоятельства неблагоприятны приобретению знаний и успеху забот об улучшении жизни, умственная деятельность будет идти слабее, чем при благоприятных обстоятельствах. В некоторых случаях она может замирать, как могут замирать другие влечения человеческой природы, без которых деятельность легких, желудка и другие так называемые функции растительной жизни человека продолжают, не ослабевая. От слишком

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. X, ч. 2, стр. 144—157, «Статьи последнего времени» (1885—1889).

продолжительного голода человек умирает, от замирания любознательности или эстетического чувства он не умирает, а только становится отупевшим в этих отношениях. Что может происходить с отдельным человеком, то может происходить и с огромным большинством народа, если оно подвергается тем же давлениям, и с целым народом, если подвергаются им все люди, составляющие его. При благоприятных обстоятельствах врожденная склонность человека к приобретению сведений и к улучшению своей жизни развивается; то же самое несомненно и относительно народа, потому что все перемены в его физическом ли, умственном ли состоянии — суммы перемен, происходящих в состоянии отдельных людей.

...Умственные и нравственные качества менее устойчивы, чем физические, потому должно думать, что и наследственность их менее устойчива. Размер наследственности их еще не определен научными исследованиями с такой точностью, какая нужна для решения вопроса об умственных и нравственных сходствах и различиях между людьми одного физического типа. Мы должны составлять себе понятие об этом лишь по случайным, отрывочным сведениям, какие приобретаем житейскими наблюдениями над сходством или несходством детей с родителями, братьев или сестер между собой.

Чтобы определить, каково в сущности мнение, приобретенное рассудительными людьми по житейским наблюдениям этих сходств и различий, употребим способ решения точно определенных гипотез, употребляемый натуралистами для разъяснения понятий о вопросах, которые трудно решить анализом конкретных фактов.

Предложим себе следующую задачу. В глухом селении одной из земель Западной Европы живут жена и муж, люди одного физического типа, одинаковых характеров. Все мужчины в их селении землевладельцы, а женщины помогают мужчинам в сельских работах. Эти муж и жена ведут такой же образ жизни; они трудолюбивы, честны, добры. У них родился сын. Через год по его рождении они умирают. Ближайший родственник сироты — двоюродный брат его матери, человек женатый, но бездетный. О нем и о его жене нам известно только, что они люди честные, добрые, трудолюбивые и не бедные, что они живут в столице страны другого народа, что они родились и всю жизнь провели там, говорят на языке этой столицы, не знают никакого другого, и видывали нивы разве проездом по железной дороге. Больше ничего не известно нам о них. Мы не знаем, к какому сословию граждан столицы принадлежат они и какой образ жизни ведут; нам сказано только, что они честные. Будучи извещены о смерти своей родственницы и ее мужа и о том, что остается сиротка, они решают взять малютку на воспитание к себе и усыновляют. Прошло 29 лет. Усыновленный сирота стал 30-ти летним мужчиной. Его приемные отец и мать еще живы; они любят его, как родного сына; он также любит их, как родных отца и мать. Подобно им он трудолюбив. Со времени его усыновления в жизни его не было никаких необыкновенных случаев. Больше ничего не известно нам о нем. Спрашивается, каковы, кроме трудолюбия, его привычки и качества и чем он занимается? На некоторые вопросы об этом можно дать ответы, имеющие очень большую степень вероятности.

Так, например, очень вероятно, что этот мужчина стал человеком той национальности, к которой принадлежит масса жителей столицы. Этот ответ подсказан тем сведением, что усыновившее сироту семейство не знало языка его родины, говорило на языке столицы, в которой выросло. Очень вероятно также, что он горожанин, а не земледелец. Это мнение также основано на наших знаниях об усыновивших его родных. Землевладелец ли он? Едва ли; зажиточные горожане в Западной Европе находят профессию землепашца невыгодной для себя и не готовят к ней своих младших. По всей вероятности, он горожанин. Какой городской профессией занимается он — ремесленник он, или школьный учитель, или адвокат, или врач? Никакого сколько-нибудь рассудительного решения этого вопроса мы не можем сделать, потому что не знаем, какой городской профессией занимался приемный отец и каких мыслей об этой профессии держались он и его жена; находили ли они, что их приемному сыну лучше всего будет стать человеком этой же профессии, или предпочитали ей какую-нибудь другую.

Нам теперь легко узнать истинный характер наших мнений о том, влиянию ли происхождения или влиянию жизни мы приписываем преобладающую силу в деле образования нравственных качеств. Мы нашли вероятным, что сирота сделался честным человеком. Он рос в честном семействе; будучи огражден от нищеты благосостоянием и любовью своих приемных отца и матери, он без труда мог приобрести привычку гнушаться воровством и другими видами бесчестных поступков. Чтобы проверить, действительно ли влиянию жизни, а не влиянию происхождения мы приписываем развитие хороших качеств, переменим условия гипотезы, предположим, что люди, усыновившие сироту, жили плутовскими проделками и считали глупостью быть честными относительно посторонних людей. Велика ли уверенность, что сирота, воспитанный ими, вырос честным человеком? Мы видим, что нравственные качества его родителей вовсе не принимаются нами в соображение, потому что он стал сиротой раньше, чем мог научиться от них чему-нибудь дурному или хорошему.

Перейдем к изложению тех понятий о развитии характера отдельных людей, которые соответствуют нынешнему состоянию наших теоретических знаний и выводам из житейских наблюдений. Для упрощения дела мы будем говорить исключительно о западноевропейском отделе арийского семейства. Когда люди передовых наций привыкнут справедливо судить друг о друге, они будут приготовлены справедливее нынешнего судить и о людях других лингвистических или расовых отделов.

Берем двухлетнего ребенка. Опаснейшее время физического развития уже перенесено им. Он остался здоровым, крепким. Устраним всякие предположения о каких-нибудь особенных бедствиях в следующие годы его физического развития и спросим себя, нужны ли какие-нибудь благоприятные условия жизни для того, чтобы он вырос здоровым. Мы знаем, что для этого нужны между прочим удовлетворительная пища и удовлетворительная обстановка домашней жизни. Из сотни здоровых двухлетних детей доживет 80 или 90 здоровыми до 20-летнего возраста, если эти условия существуют для

них. А если их семейства обнищали около того времени, как они достигли двухлетнего возраста, и последующий рост их будет идти в сырых, душных помещениях, пища их будет дурна и недостаточна, то очень многие из них умрут, не достигнув совершеннолетия, а многие из уцелевших окажутся получившими какие-нибудь болезни, порождаемые дурным питанием и сыростью жилищ.

Физические качества двухлетнего ребенка несравненно устойчивее тех нравственных качеств, или, точнее сказать, еще не качеств, а только склонностей к качествам, какие имеет он. У двухлетнего ребенка уж обозначились все те физические особенности, какие будет он иметь в годы совершеннолетия, если останется здоров. Но о даровитости двухлетнего ребенка мы не можем составить себе основательных понятий; и если называем детей этого возраста даровитыми или бездарными, то лишь фантазируем на основании наших симпатий или антипатий. Не только о двухлетних, даже о восьмилетних детях трудно судить, даровитыми или тупыми людьми станут они. А нравственные качества менее устойчивы, чем умственные способности.

Теперь доказано, что дитя чахоточных родителей рождается не имеющим чахотки; обыкновенно бывает только то, что чахоточные родители малокровны, имеют слабо развитую грудь и что эти качества организма наследуют их дети. Но если малокровный и слабогрудый малюток получит укрепляющее воспитание, то у него или уменьшится или вовсе исчезнет расположение к болезням, производящим чахотку. Таким образом, дитя наследует от родителей только расположение сделаться чахоточным, а разовьется или уменьшится, или исчезнет оно, определяется его жизнью. Дети родителей, имеющих крепкое здоровье, рождаются вообще крепкими, но это наследство очень легко отнимается у них неблагоприятными условиями жизни.

Относительно нравственных качеств должно предполагать, что от родителей наследуются те склонности, которые прямо обусловлены так называемым темпераментом (в тех случаях, когда наследуется темперамент). Но и это, вероятно справедливая, мысль требует оговорки для того, чтобы можно было ей оставаться справедливой, если она справедлива. Для простоты разделим все виды темперамента на два типа: сангвинический и флегматический. Предположим, что если отец и мать имеют одинаковый темперамент, то все дети имеют его. Из этого еще не следует ничего о наследовании хороших или дурных нравственных качеств. Темпераментом определяется только степень быстроты движений и, вероятно, перемен душевного настроения. Должно думать, что человек, имеющий быструю походку, расположен к более быстрой смене настроений, чем человек, движения которого медленны. Но этой разницей не определяется то, который из них более трудолюбив, и тем менее определяется степень честности или доброжелательности того или другого; не определяется даже и степень рассудительности. Торопливость или нерешительность — не качества темперамента, а результаты привычек или затруднительных обстоятельств. Суетливыми, опрометчивыми, безрассудными бывают и люди, имеющие тяжелую, медленную походку. Нерешительными бывают и люди с быстрой походкой. Это знает всякий хороший наблюдатель

людей. Но особенного внимания заслуживает то обстоятельство, что быстрота движений и речи, сильная жестикуляция и другие качества, считающиеся признаками природного расположения так называемого сангвинического темперамента, а противоположные качества, считающиеся признаками флегматического темперамента, бывают у целых сословий и у целых народов результатом только обычая. Те люди, которым их старшие родные и знакомые внушают привычку держать себя с достоинством, почти все с очень ранних лет привыкают к плавности движений и речи; наоборот, в тех сословиях, где считается надобной резкость движений и речи, почти все с молодости привыкают к сильной и быстрой жестикуляции, к пронзительному и быстрому тону речи. У тех народов, где общество делится на резко обособленные классы, эти кажущиеся признаки темпераментов оказываются на самом деле только сословными привычками.

Те умственные и нравственные качества, которые не находятся в такой близкой связи с физическим типом, как темперамент, менее устойчивы в индивидуальном человеке, чем темперамент. Из этого ясно, что сила передачи их по наследству менее велика, чем сила передачи темперамента.

Понятие о народном характере очень многосложно; в состав его входят все те различия народа от других народов, которые не входят в состав понятия о физическом типе. Всматриваясь в это собрание множества представлений, можно разложить их на несколько разрядов очень неодинаковых по степени своей устойчивости. К одному разряду относятся те умственные и нравственные качества, которые прямо обуславливаются различиями физических типов; к другому принадлежат различия по языку; далее, особые разряды образуют различия по образу жизни, по обычаям, по степени образованности, по теоретическим убеждениям. Устойчивее всех те различия, которые прямо обусловлены различиями физических типов и называются темпераментами. Но если говорить о европейском отделе арийского семейства, то нельзя найти в нем ни одного большого народа, который состоял бы из людей одинакового темперамента. Притом, хотя физический тип отдельного человека остается неизменным во всю жизнь и обыкновенно передается от родителей детям, потому имеет прочную наследственную устойчивость, но умственные и нравственные качества, составляющие результаты его, видоизменяются обстоятельствами жизни до такой степени, что зависимость их от него сохраняет силу, только когда обстоятельства жизни действуют в том же направлении; а если ход жизни развивает другие качества, то темперамент поддается его влиянию, и та сторона действительного характера человека, которая подводится под название темперамента, оказывается совершенно неодинаковой с качествами, какие можно было бы предполагать в человеке по нашим понятиям об умственных и нравственных результатах физического типа. Каждый из больших европейских народов составляют, как мы говорили, люди разных физических типов, и счета пропорциям этих типов не сделано. Поэтому теперь еще нет основательных понятий о том, какой темперамент принадлежит большинству людей того или другого из этих народов.

Но, быть может, имеет справедливость какое-нибудь из ходячих мнений о решительном преобладании того или другого физического типа у народов сравнительно малочисленных, каковы, например, голландцы, датчане, норвежцы. Предположим, что какая-нибудь характеристика физического типа которого-нибудь из этих народов действительно охватывает собою огромное большинство людей, составляющих его, и будем изучать характеры людей этого народа посредством личного наблюдения или, при невозможности провести много времени в той стране, по чуждым предвзятым мыслям рассказам о частной жизни людей этого народа, о том как работают, разговаривают, веселятся они; мы увидим, что очень значительная часть людей этого народа имеет не те умственные и нравственные качества, какие соответствуют понятиям о темпераменте, производимом особенностью его физического типа. Предположим, например, что по своему физическому типу люди этого народа соответствуют представлению о флегматическом темпераменте; потому господствующими качествами их должны быть медленность движений и речи; в действительности мы увидим, что очень многие из них имеют противоположные качества, считающиеся принадлежностью сангвинического темперамента. Какова пропорция людей того и другого разряда, никто не считал ни в этом, ни в каком другом народе. Но, всматриваясь, мы увидим, что медленность или быстрота движений и речи у людей этого народа находится в тесной связи с обычаями сословий или профессий, к которым принадлежат они, с их понятиями о своей личной, семейной важности или низкости своего общественного, семейного личного положения, с их довольством или недовольством ходом своей жизни, с состоянием их здоровья и вообще с обстоятельствами, имеющими влияние на душевное настроение. Каково бы ни было от природы телосложение человека, но из людей, у которых здоровье расстроено болезнями, угнетающими душу, лишь очень немногие сохраняют живость движений и речи; наоборот при болезнях, действующих раздражающим образом, лишь очень немногие люди могут производить движения и вести разговор спокойно, плавно. Подобно тому действуют всякие другие обстоятельства, угнетающие или раздражающие, печальющие или веселящие человека. В тех местностях, где масса земледельцев живет сносно и не имеет ни больших запасов хлеба от прошлых лет, ни больших денег, земледельческое население при обыкновенных урожаях каждый год переходит два состояния — сангвиническое и флегматическое. Перед жатвой оно начинает быть расположенным к веселью и при всем утомлении от полевых работ держит себя в часы отдыха сангвинически. Это настроение усиливается до той поры, когда новый хлеб обмолочен и поступает в пищу; несколько времени длится веселье, движения быстры, разговоры бойки, шумны. Потом начинаются раздумья о том, достанет ли хлеба до осени; оказывается надобность стать экономнее в пище, веселье уменьшается, и через несколько времени люди становятся унылы. Это длится до той поры года, когда над мыслями об истощении запасов пищи берут верх мысли о близости новой жатвы. Природный темперамент вообще заслоняется влиянием жизни, так что различить его несравненно труднее, чем обыкновенно предполагают; вни-

мательно разбирая факты, мы должны прийти к мнению, что врожденные склонности к быстроте и медленности движения и речи слабы и гибки, что главное дело не в них, а в том влиянии, какое оказывают на народы, племя или сословие народа обстоятельства жизни.

О том, велика ли природная разница между народами по живости и силе умственных способностей, существуют очень неодинаковые мнения. Если речь идет о народах разных рас или лингвистических семейств, решение определяется нашими понятиями о расах и лингвистических семействах. Это вопросы, по которым люди, держащиеся одного мнения, не имеют права оставлять без внимательного разбора противоположные мнения. Но когда речь идет, как теперь у нас, только о передовых народах, о западноевропейском отделе арийского семейства, то следует назвать не применимыми к вопросу никакие теории об умственных различиях между людьми по происхождению их предков. Пусть на южной и северо-восточной окраинах Западной Европы есть примесь неарийской крови, например в Сицилии и южной половине Пиренейского полуострова — примесь арабской и берберской, а на севере Скандинавского полуострова — примесь финской; но даже в Сицилии и в Андалузии примесь неарийской крови невелика: это мы видим по сходству преобладающих там физических типов с типами древних и нынешних греков. Еще меньше примесь финской крови в северных частях населения Норвегии и Швеции. Таким образом, вся масса населения Западной Европы происходит от людей одного отдела арийского семейства и должна быть признана имеющей одинаковые наследственные умственные качества. Разность в них между разными народами Западной Европы — предположение фантастическое, опровергнутое филологическими исследованиями: потому, если в настоящее время находятся какие-нибудь неодинаковости между западными народами в умственном отношении, они получены ими не от природы их племени, а исключительно от исторической жизни, и будут сохранены или не сохранены ими смотря по тому, как будет идти она.

Но когда говорят о различии народов по умственным качествам, то обыкновенно судят не собственно о силе ума, а только о степени образованности народа; только поэтому и возможны те определенные суждения, какие вошли в привычку. Рассмотреть, каковы умственные качества народа сами по себе, помимо того блеска или той тусклости, какая дается им высокой или низкой степенью образованности, дело очень трудное, при нынешнем состоянии науки не могущее приводить ни к каким достоверным заключениям даже в тех случаях, если сравниваются народы желтой расы с народами белой, и служащее лишь предлогом для самохвальства или для клеветы, когда речь идет о сравнении разных народов одного отдела одной лингвистической семьи. Продолжать старые рассуждения о врожденных различиях между народами Западной Европы по умственным качествам — значит не понимать результатов, к которым уже довольно давно пришла лингвистика, доказавшая, что все они — потомки одного и того же народа. Различия по языку имеют громадную важность в практической жизни. Люди, говорящие одним языком, имеют склонность считать себя одним национальным целым;

когда они привыкают составлять одно целое в государственном отношении, у них развивается национальный патриотизм и внушает им более или менее неприязненные чувства к людям, говорящим другими языками. В этом реальном отношении язык составляет едва ли не самую существенную черту различий между народами. Но очень часто придают разнице по языку теоретическое значение, воображают, что будто особенностями грамматики можно определять особенности умственных качеств народа. Это пустая фантазия. Этимологические формы в отдельности от правил синтаксиса не имеют никакой важности; а правила синтаксиса во всех языках удовлетворительно определяют логические отношения между словами, при помощи ли, или без помощи этимологических форм. Существенную разницу между языками составляет только богатство или бедность лексикона, а состав лексикона соответствует знаниям народа, так что свидетельствует лишь о его знаниях, о степени его образованности, о его житейских занятиях и образе жизни и отчасти о его сношениях с другими народами.

По образу жизни есть очень важные различия между людьми; но в Западной Европе все существенные различия этого рода — не национальные, а сословные или профессиональные. Землепашец ведет не такую жизнь, как ремесленник, работающий в комнате. Но в Западной Европе нет ни одного народа, в котором не было бы земледельцев или ремесленников. Образ жизни знатного сословия не тот, какой ведут земледельцы или ремесленники; но опять у всех европейских народов есть знатное сословие; даже и у тех, у которых, как у норвежцев, исчезли или почти исчезли аристократические титулы; дело не в титулах, а в привычке занимать высокое общественное положение.

Привычки, имеющие важное реальное значение, различны у разных сословий или профессий по различию их образа жизни. Есть множество других привычек, имеющих не сословный, а национальный характер. Но это мелочи, составляющие лишь забаву или щегольство, к которым рассудительные люди равнодушны и которые сохраняются лишь потому, что эти люди оставляют их без внимания как нечто индифферентное, пустое. Для археолога эти мелочи могут иметь очень важное значение, как для нумизмата старые монеты, находимые в земле. Но в серьезном ходе народной жизни их значение ничтожно. Каждый из народов Западной Европы имеет особый язык и особый национальный патриотизм. Эти две особенности — единственные особенности, которыми весь он отличается от всех других народов Западной Европы. Но он имеет сословные и профессиональные отделы; каждый из этих отделов во всех отношениях умственной и нравственной жизни, кроме языка и национального чувства, имеет свои особые черты быта; ими он походит на существующие сословные отделы других западных народов; эти сословные или профессиональные особенности так важны, что каждый данный сословный или профессиональный отдел данного западноевропейского народа, помимо своего языка и патриотизма, менее похож умственно и нравственно на другие отделы своего народа, чем на соответствующие отделы других западноевропейских народов.

По образу жизни и по понятиям земледельческий класс всей Западной Европы представляет как будто одно целое; то же должно сказать о ремесленниках, о сословии богатых простолюдинов, о знатном сословии.

Португальский вельможа по образу жизни и по понятиям гораздо более похож на шведского вельможу, чем на земледельца своей нации; португальский земледелец более похож в этих отношениях на шотландского или норвежского земледельца, чем на лиссабонского богатого негоцианта.

...Впрочем, теперь все историки понимают важность сословных ссор и если часто говорят о народе, как об одном целом, в рассказе о делах, по которым разные сословия не были единокорны, эта ошибка их происходит не от незнания, а только от временного забвения или от каких-нибудь других причин. Но понятия о характере сословий еще остаются у большинства образованных людей, потому и у большинства историков, в значительной степени ошибочными. Главных причин этого две: масса публики, потому и большинство ученых не имеют близкого знакомства с действительными обычаями и понятиями классов, по своему общественному положению и образу жизни далеких от них, и притом судят о них под влиянием политических сословных пристрастий. Возьмем для примера господствующее понятие о земледельческом сословии. Вообще предполагается, что нравы земледельцев чище, чем нравы ремесленников. В некоторых случаях это, по всей вероятности, бывает справедливо. Например, если большинство земледельцев живет в довольстве, а большинство ремесленников терпит нищету, то, разумеется, дурные качества, порождаемые бедностью, будут развиваться у ремесленников гораздо сильнее, чем у земледельцев. Ученые вообще живут в больших городах, потому часто видят неудобства жилищ ремесленников и другие материальные бедствия их. Как живут земледельцы, им известно гораздо меньше; и очень велики шансы того, что личные впечатления, случайно приобретаемые ими о быте земледельцев, будут неверны по отношению к большинству этого сословия. Другой источник ошибок — политическое пристрастие. Поселяне считаются консервативным сословием; потому ученые консервативного образа мысли вообще превозносят рассудительность и чистоту нравов сельского сословия, ученые, желающие общественных перемен, думают и говорят о нем под влиянием политической вражды.

Кроме сословных и профессиональных делений у каждого цивилизованного народа имеет очень большую важность деление по степеням образованности. В этом отношении принято делить нацию на три главных класса, которые характеризуются названиями: люди необразованные, люди поверхностного образования и люди основательного образования. Мы можем, как нам угодно, судить о вреде и пользе просвещения, можем хвалить невежество или считать его вредным для людей; но все согласны в том, что огромное большинство людей, не получивших образования и не имевших возможности приобрести его собственными усилиями, очень много отличается — в дурную ли, в хорошую ли сторону, не о том теперь речь, а лишь о том, что очень много отличается, — своими понятиями от огромного

большинства образованных людей. А понятия людей — одна из сил, управляющих жизнью их.

Сделаем выводы из этого обзора действительного положения наших сведений о национальном характере.

Мы имеем очень мало прямых и точных сведений об умственных и нравственных качествах даже тех современных народов, которые наиболее известны нам, и ходячие понятия о характерах их составлены не только по материалам недостаточным, но пристрастно и небрежно. Самый обыкновенный случай небрежности тот, что случайно приобретенные сведения о качествах какой-нибудь малочисленной группы людей ставятся характеристикой целой нации. Заменить небрежные и пристрастные характеристики народов верными — дело очень хлопотливое, и у большинства ученых нет серьезного желания, чтобы оно было исполнено, — потому что обыкновенная цель употребления характеристик народов состоит вовсе не в том, чтобы говорить беспристрастно, а в том, чтобы высказывать такие суждения, какие или кажутся выгодными для нас, или льстят нашему самолюбию. Люди, желающие говорить беспристрастно о других народах, воздерживаются от этого способа суждений, слишком произвольного, довольствуются сведениями, которые приобретаются гораздо легче и представляют более достоверности: они изучают формы быта, крупные события жизни народа и ограничиваются теми суждениями о качествах народов, какие без труда выводятся из этих достоверных и точно определенных фактов. Объем таких суждений гораздо менее широк, чем содержание ходячих характеристик; существенное различие его от них то, что при каждой черте ставится оговорка о том, к какой части народа и к какому времени относится суждение. Так это должно быть по серьезным понятиям о характере многочисленных групп людей.

Мы знаем не качества народов, а только состояния этих качеств в данное время. Состояния умственных и нравственных качеств сильно видоизменяются влиянием обстоятельств. При перемене обстоятельств происходит соответствующая перемена и в состоянии этих качеств.

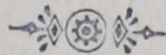
О каждом из нынешних цивилизованных народов мы знаем, что первоначально формы его быта были не те, как теперь. Формы быта имеют влияние на нравственные качества людей. С переменою форм быта эти качества изменяются. Уж по одному тому всякая характеристика цивилизованного народа, приписывающая ему какие-нибудь неизменные нравственные качества, должна быть признаваема ложной. Кроме египтян, обо всех других народах, достигавших цивилизованного состояния, мы имеем положительные сведения, относящиеся к временам очень грубого их невежества. Достаточно припомнить, что даже в Илиаде и Одиссее греки еще не умеют читать и писать. Разбирая предания, сохранившиеся у греков под формами мифов, мы видим черты быта совершенно дикого. Многие ученые находят в этих рассказах даже воспоминание о людоедстве. Так ли это, или нет, были ли людоедами люди, уже говорившие греческим языком, или выводы об этом ошибочны, но достоверно то, что греческому народу были некогда чужды всякие цивилизованные поня-

тия или привычки. Может ли сохраниться одинаковость нравственных качеств между предками-дикарями и потомками, достигшими высокой цивилизации? Сохраниться могут разве физический тип и те черты темперамента, которые прямо обуславливаются ими; но и это может быть справедливым лишь по присоединении к термину «одинаковость» таких оговорок, которыми отнимается у него почти всякое значение. Например, цвет глаз остался прежний, но прежде выражение глаз было тупое, почти бессмысленное, а впоследствии оно сделалось соответствующим высокому умственному развитию; контуры профиля остались те же, но из грубых сделались миловидными; вспыльчивость осталась, но проявляется гораздо реже и формы ее проявления стали не те. Перемены обстоятельств, от которых видоизменялись формы быта, всегда ли одинаково касались всех сословий? Это могло бывать только в редких случаях. Видоизменяясь неодинаково, обычаи разных сословий становились менее сходными, чем были прежде. Народ приобретал знания, от этого изменялись его понятия: от перемены понятий изменялись нравы; этот ход перемен тоже был неодинаковым в разных сословиях, был неодинаковым и в разных частях страны, занятой народом. Таким образом жизнь каждого из нынешних цивилизованных народов представляет ряд перемен в быте и понятиях, и ход этих перемен был неодинаков в разных частях народа. Потому точные характеристики могут относиться только к отдельным группам людей, составляющих народ, и только к отдельным периодам их истории.

Стремление объяснять историю народа особенными неизменными умственными и нравственными качествами его имеет своим последствием забвение о законах человеческой природы. Сосредоточивая свое внимание на действительных или мнимых различиях предметов, мы привыкаем не обращать внимания на качества, общие всем им. Если предметы принадлежат к разрядам очень различным, это забвение может оставаться безвредным для верности наших суждений; например, если мы говорим о растении и о камне, нам не всегда бывает надобно помнить, что оба эти предмета имеют некоторые общие качества; разница между ними велика, и обыкновенно речь идет о таких обстоятельствах, в которых камень выказал бы качества, не одинаковые с растением. В истории это не так. Все те существа, жизнь которых рассказывает она, — организмы одного вида; различия между ними менее значительны, чем одинаковые качества их; те влияния, действием которых производятся перемены в жизни этих существ, обыкновенно таковы, что на каждом из них отражаются приблизительно одинаковыми последствиями. Берем для примера пищу. Она у разных народов и у разных сословий одного народа очень неодинакова. Есть разница и в том, какое количество одинаковой пищи нужно взрослым людям неодинакового образа жизни, для того чтобы чувствовать себя сытыми и оставаться здоровыми. Но каждый человек ослабевает при недостатке пищи, и у каждого настроение души бывает дурным, когда он мучится голодом. Соображения о качествах деятельности желудка, общих всем взрослым здоровым людям, несравненно важнее тех различий, какие могут быть справедливо или фантастически выводимы из соображе-

ний о разнице привычек разных людей к тому или другому сорту пищи. Привычка делает выносимыми для людей такие положения, которые нестерпимы людям непривычным. Но как бы ни была сильна она, общие качества человеческой природы сохраняют свои требования. Человек никогда не может утратить влечение улучшить свою жизнь, и, если у каких-нибудь людей мы не замечаем этого стремления, — мы лишь не умеем разгадать мыслей, скрывааемых ими от нас по каким-нибудь соображениям, чаще всего по мнению, что бесполезно говорить о том, чего нельзя сделать.

Когда человек привык к своему положению, его желание улучшить жизнь обыкновенно лишь немногим возвышается над уровнем его привычного положения. Так, например, землепашец вообще желает лишь того, чтоб его труд или несколько облегчился, или принес бы ему вознаграждение несколько больше прежнего. Это не значит, что при удовлетворении нынешнего своего желания он не будет иметь нового. Он только хочет оставаться благоразумным в своих желаниях и думает, что желать слишком много было бы нерассудительно. Если положение какого-нибудь народа долго было очень бедственным, то привычные его желания имеют очень небольшой размер. Из этого не следует, чтоб он не был способен желать гораздо большего, когда нынешние его желания будут удовлетворены. Если мы будем помнить это, у нас исчезнет фантастическое деление народов на способные и неспособные к достижению высокой цивилизации; оно заменится различием положений, благоприятных развитию стремления к прогрессу, и положений, принуждающих народ не думать о том, чего нельзя, по его мнению, достичь...



ОЧЕРК НАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ ПО НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ¹.

Общий характер элементов, производящих прогресс.

...Во времена господства свирепых педагогических систем говорили, что люди — в данном случае люди еще не взрослых лет, дети — выучиваются чтению, письму, арифметике и так далее только по принуждению, по страху наказаний за леность. Теперь все знают, что это вовсе не так, что каждый здоровый ребенок имеет природную любознательность, и если внешние обстоятельства, досадные для него, не заглушают ее, то учится охотно, находит наслаждение в приобретении знаний.

Люди, действующие в исторических событиях не дети, а люди, ум и воля которых сильнее детских. Если жизнь ребенка шла сколько-нибудь удовлетворительно в материальном отношении и не чрезвычайно дурно в умственном, то, по достижении юношеских лет

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собрание соч., т. X, ч. 2, стр. 171—175 (1885—1889).

он оказывается человеком, понимающим вещи рассудительнее, способным держать себя благоразумнее, чем лет за пять, перед тем. Вообще говоря, десятилетний ребенок знает больше, рассуждает умнее, имеет больше силы характера, чем пятилетний, а пятнадцатилетний подрастающий юноша много превосходит всеми этими качествами десятилетнего ребенка, и если жизнь его в следующие годы пойдет не чрезвычайно дурно, то в 20 лет он станет человеком еще более знающим, умным, рассудительным, имеющим более твердую волю. Менее быстр становится прогресс человека в умственном и нравственном отношениях по достижении полного физического развития; но как физические силы человека продолжают возрастать довольно много лет после совершеннолетия, так, по всей вероятности, продолжают возрастать и умственные его силы и способность быть твердым в исполнении своих намерений. Можно полагать, что возрастание сил прекращается обыкновенно около 30-летнего возраста, а при благоприятном ходе жизни длится несколькими годами больше. Когда оно прекращается, физические, умственные и нравственные силы человека довольно долго держатся приблизительно на высшем достигнутом уровне, и, по всей вероятности, не раньше, чем начинает хилеть организм человека в отношении физической силы, начинается у здорового человека упадок умственных и нравственных сил. Так теперь думают натуралисты, занимающиеся изучением человеческого организма.

С каких лет человек начинает считать себя равным по уму и нравственной силе с людьми, достигшими полного развития? Под влиянием самолюбия эта мысль обыкновенно овладевает человеком раньше того, чем было бы справедливо ему начать думать о себе так. Но громадное большинство людей, которых старшие называют несовершеннолетними, все-таки сохраняет расположение следовать примеру старших, и, например, пятнадцатилетние юноши вообще стараются подражать примеру своих старших родных или знакомых. Таким образом, о большинстве людей, даже уже довольно близких к совершеннолетию, все мы положительно знаем, что их развитие определяется качествами старшего поколения. Они как имели с младенчества, так и по достижении уже высокого физического роста и приобретении довольно значительной физической силы сохраняют влечение сделаться такими, как их старшие; потому нет надобности ни в каком насилии для того, чтобы дети и подрастающие юноши или девушки развивались именно так, как желают старшие: у них самих есть очень сильное стремление к этому; для воспитания их нужно не принуждение, а только доброжелательное содействие тому, чего сами они желают; не мешайте детям становиться умными, честными людьми — таково основное требование нынешней педагогики; насколько умеете, помогайте их развитию, прибавляет она, но знайте, что меньше вреда им будет от недостатка содействия, чем от насилия; если вы не умеете действовать на них иначе, как принуждением, то лучше для них будет оставаться вовсе без вашего содействия, чем получать его в принудительной форме.

Мы напоминаем об основном принципе педагогики потому, что до сих пор остается в большом обыкновении сравнивать иноземные не-

образованные племена и низшие сословия своей нации с детьми и выводить из этого сравнения право образованных наций производить насильственные перемены в быте подвластных им нецивилизованных народов и право господствующих в государстве просвещенных сословий поступать таким же способом с бытом невежественной массы своей нации. Вывод фальшив уж и по одному тому, что сравнение совершеннолетних необразованных людей с детьми — пустая риторическая фигура, уподобляющая одно другому два совершенно различных разряда существ. Самые грубейшие из дикарей — вовсе не дети, а такие же взрослые люди, как и мы; тем меньше одинаковости с детьми у простолюдинов цивилизованных наций. Но примем на минуту, что фальшивое сравнение не фальшиво, а верно. Все-таки оно не дает ни малейшего полномочия каким бы то ни было, хотя бы самым просвещеннейшим и доброжелательнейшим, людям насильственно изменять те стороны быта простолюдинов или хотя бы дикарей, о которых идет речь при оправдании произвольных распоряжений относительно образа их жизни. Пусть они — маленькие дети (вероятно, впрочем, уже не грудные младенцы, потому что сами своими руками берут пищу и своими зубами жуют ее, а не питаются молоком жен своих просвещенных попечителей). Пусть мы — нежнейшие отцы этих — вероятно уже не двухмесячных, а не меньше, как двухлетних — малюток; что ж из этого? Дозволяет ли педагогика отцу стеснять двухлетнего ребенка больше, чем необходимо для сохранения целости рук и ног, лба и глаза малютки? Дозволяет ли она принуждать этого малютку не делать ничего такого, чего не делает отец, и делать все то, что он делает? Отец ест при помощи вилки, должен ли он сечь двухлетнего ребенка, хватающего куски кушанья рукой? «Но малютка обожжет себе пальчики о кусок жаркого». Пусть обожжет, беда не так велика, как сечение. Впрочем любители сравнения дикарей или простолюдинов с детьми вероятно дают предметам своих нежных забот пашущим землю, или пасущим скот, или хотя собирающим ягоды для своего пропитания, никак не меньше десятилетнего возраста. Хорошо; какие же права имеет не то, что посторонний воспитатель, а родной отец над десятилетним ребенком? Имеет ли право хотя бы принуждать его учиться? Педагогика говорит: «Нет; если десятилетний мальчик не любит учиться, причина тому не он, а его воспитатель, заглушающий в нем любознательность дурными приемами преподавания или не пригодным для воспитанника содержанием его. Надобность тут не в принуждении воспитанника, а в том, что воспитателю должно перевоспитать самого себя и переучиться: ему следует сделаться из скучного, бестолкового, сурового педанта добрым и рассудительным преподавателем, отбросить дикие понятия, которыми загроможден здравый смысл, в его голове, приобрести взамен их разумные. Когда эти требования науки будут исполнены воспитателем, мальчик станет охотно учиться всему, что найдет тогда надобным преподавать ему учитель, сделавшийся человеком рассудительным и добрым. Принудительная власть взрослых людей над десятилетним мальчиком ограничивается тем, чтоб удерживать его от нанесения вреда самому себе и другим. Но вред вреду рознь. Когда речь идет о принудительных ме-

рах для предотвращения вреда, то ясно само собой, что не годится предотвращать менее значительный вред нанесением более значительного. Принуждение по самой сущности своей вредно; оно приносит огорчение стесняемому и наказываемому, оно портит его характер, возбуждая в нем досаду на запрещающих и наказывающих, вводя его во враждебные столкновения с ними. Поэтому рассудительные родители, другие старшие родные, воспитатели считают дозволительным для себя употребление насильственных мер против десятилетнего мальчика лишь в немногих, наиболее важных, из тех случаев, в которых поступки его вредны ему по их мнению. Когда вред не очень важен, они действуют на мальчика только советами и доставлением ему удобств отвыкнуть от вредного: они справедливо полагают, что мелочные шалости, от которых не будет большой беды ни самому мальчику, ни другим, не должны быть предметами угроз и наказаний; пусть сама жизнь отвлечет его от этих шалостей, думают они, помогают делу советами, стараются доставить шалуну другие, лучшие, развлечения и ограничиваются этим.

Впрочем, бесспорно, бывают случаи, в которых вред воспрещаемого более велик, чем вред воспрещения. В таких делах принудительные меры оправдываются разумом и предписываются совестью; конечно, с оговоркой, что они не будут более суровы или стеснительны, чем необходимо для пользы мальчиков, подвергаемых им. Предположим, например, что воспитатель получил в свое заведывание толпу мальчиков, имеющих привычку драться между собой камнями и палками. Он обязан воспретить им эти драки, в которых часто получают увечья, иной раз даже бывающие смертельными. — О делах ли подобного рода ведется речь, когда принудительные меры против уподобляемых детям простолюдинов или дикарей оправдываются обязанностью воспитателя запрещать детям вредные для них поступки? Нет, к фактам этого разряда не могут относиться подобные рассуждения. Во-первых, если иметь в виду эти факты, то не о чем вести спор, нечего доказывать: право правительства воспрещать драки не отрицается никем; во-вторых, когда говорится о воспрещении драк, то нельзя говорить в частности о воспрещении их какому-нибудь особому разряду людей: речь должна относиться ко всем людям, дерущимся между собою; какова степень их образованности, все равно: они дерутся между собою, этого достаточно; кто бы ни были они, знатные или незнатные, ученые или невежды, одинаково надобно прекратить их драку. И правительству ли только принадлежит право прекратить ее? — Нет; всякому рассудительному человеку совесть велит прекратить — если он может — всякую драку, какую он видит, и законы всех цивилизованных земель одобряют каждого, исполнившего эту обязанность совести. Какая ж надобность толковать, что и правительство имеет право прекращать драки? Во всех цивилизованных странах существует и одобряется всем населением их закон, не то что дающий правительству право, — нет, возлагающий на него обязанность прекращать драки. В каждой цивилизованной стране все население непрерывно требует от правительства исполнения этого закона. И во всякой цивилизованной земле он один и тот же для всего ее населения; никаких исключи-

тельных льгот или стеснений в деле драк нет ни для какого класса людей, знатного ль, или низкого, просвещенного ль, или невежественного; нет их, и не нужно. Ни в какой цивилизованной стране нет никаких споров ни о чем из этого. К чему ж было бы толковать в частности о простолюдинах и о том, что простолюдины подобны детям, а правительство подобно должно быть школьным учителям этих мнимых школьников, здоровенных мужчин и седых стариков, если бы рассуждающие о сходстве простолюдинов с детьми желали только доказывать, что правительство имеет право прекращать драки простолюдинов? Ясно, что любители уподобления простолюдинов детям имеют в виду не воспрещение драк, а нечто совершенно иное; им хочется, чтобы простолюдины жили по их фантазиям, им хочется переделывать народные обычаи по своему произволу. Предположим, что все не нравящиеся им черты быта простолюдинов действительно дурны, что все правила быта, которыми желают они заменить эти черты, действительно были бы сами по себе хороши. Но они — любители насилия, — хоть и умеют говорить языком цивилизованного общества, остаются в душе людьми варварских времен...



«АКАДЕМИЯ ЛАЗУРНЫХ ГОР»¹

Дензиля Элиота².

Часть первая.

О ТОМ, КАК ВОЗНИКЛА АКАДЕМИЯ ЛАЗУРНЫХ ГОР.

Многим от друга; и немногим от друзей

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ДЛЯ ПРЕДИСЛОВИЯ³.

Вы помните: Академия, это был сад подле Афин; и, вероятно, вы помните, что такое был этот сад в славные времена Афин, и пока были времена людей, мысли которых сформировались в те времена. Впрочем, очень возможно и не помните, что такое был он тогда: это плохо помнят многие известные ученые, авторы переполненных ученостью книг об истории древней Греции или греческой философии. Но вы, вероятно, помните. А во всяком случае, это легко припомнить.

¹ Этот отрывок был приложен к письму М. М. Стасюлевичу вместе с Гимном Деве Неба.

² Дензиль Элиот — псевдоним Н. Г. Чернышевского во время пребывания его в ссылке. Псевдоним избран Чернышевским для того, чтобы скрыть имя истинного автора от царской цензуры.

Напечатано в Полном собрании сочинений Н. Г. Чернышевского, т. X, ч. I, стр. 13—20.

³ В рукописи сделана на полях следующая пометка: «Расстановка знаков препинания — английская, не сходная с русской. То же и о больших буквах».

Славные времена Афин, вы помните, были: от Марафонской битвы до Пелопонесской войны. От начала этой войны до того года, когда Спартанцы, с музыкальным торжеством, при звуках флейт, разрушили стены Афин, прошло больше двадцати пяти лет. Афиняне скоро успели восстановить свою независимость. Но положение дел оставалось тяжелое для них. Так прошло еще лет пятнадцать, — и начала блистать славой Академия: Платон стал преподавать в ней свое учение. Это было больше, чем через сорок лет после того, как миновали славные времена Афин.

В славные времена Афин, и пока были времена людей, образ мыслей которых установился в славные времена Афин, Академия не имела и не должна была иметь блеска. В те времена, нельзя было сказать о ней ничего эффектного. После, мало и вспоминали о ней, тогдашней, неэффектной. И теперь, если бы вы хотели знать о ней много, это было бы желанье несбыточное: ваши источники знания о ней очень скудны. Но, хотя не без прибавки предложений, — впрочем, совершенно простых и, благодаря тому, или близких к истине, или вовсе совпадающих с нею, — вам можно иметь, и, вероятно, вы имеете, достаточно ясное понятие о характере и значении Академии в те времена.

Сад, Академия в те времена и была просто: сад. Большой и хороший, это правда; но обыкновенный тогдашний сад, с многочисленными, хорошими, просторными, открытыми свежему воздуху, светлыми, это правда, но тоже обыкновенными тогдашними, садовыми постройками; с обширными, хорошими, это правда, но тоже обыкновенными тогдашними приспособлениями и построек и самой местности к тому, для чего хорошо годятся сады, чему хорошо быть в саду; и только. Обыкновенный сад, просто, и, только. Хороший, это правда. Но, обыкновенный. Не один такой тогда; и, не более хороший, чем другие такие же. Но, хороший. — Хороших садов нельзя не любить; потому что хорошо, пользоваться ими; приятно. Конечно, если пользоваться ими хорошо, как сообразно с природою садов, как должно по здравому смыслу. — И, афиняне тех времен любили свою Академию, как другие тоже свои такие сады, за то, что она хороший сад. Только. И пользовались ею, как хорошим садом. Только. Пользовались хорошо, как именно, — вы, по всей вероятности, знаете!

В тени аллей и под навесом колоннад, весело готовились там юноши к трудам дел жизни играми, разумными и благотворными, как труд. Приходили тул гулять, отдыхать деды, отцы, возмужавшие братья юношей. Они приходили: для прогулки, для отдыха; но — разумеется: останавливались полюбоваться на игры своих милых младших. Останавливаясь, они хотели быть только зрителями, эти старшие. Но из этих зрителей, солидных людей, старших, бывало, кто помоложе, увлекались, засмотревшись: принимались и сами играть вместе с юношами. Случалось это с иными и старшими из старших. По-тогдашнему, это не было предосудительно, как не предосудительно это и ныне, по мнению огромного большинства умных и добрых людей. — Вероятно, вы расположены думать: — «Да, из тех старших, которые играли вместе с юношами, многие начинали играть только засмотревшись.

Но, без сомнения, были и такие, даже между старшими из старших, которые прямо с тем намерением и приходили в Академию, чтобы играть. И, конечно, они не скрывали того: по-тогдашнему, в том не было стыдно». Ваше предположение совершенно справедливо.

И, играли, не стыдясь, — и вообще, очень успешно, потому что от всей полноты усердия душевного, — вместе с сыновьями отцы, со внуками деды, у кого сохранилась свежесть сил, и была охота.

А другие старшие, постоявши, посмотревши, вспоминали, что пришли не за тем, чтобы стоять и смотреть; отходили в другие аллеи, под другие колоннады, где нет шума и беготни. Любители ходить, прогуливались группами, чтобы разговаривать; для того, чтобы приятнее шло время. А те, кому было довольно и той прогулки, что пришли в сад, располагались отдыхать, тоже группами, тоже, чтобы разговаривать; для того, чтобы приятнее шло время. Гулявшие, нагулявшись, игравшие, наигравшись, присоединялись к отдыхающим. И, все шли, все оживлялись, разговоры в увеличивающихся группах отдыхающих. Разговорами вызывались рассказы; рассказы давали новые материалы для разговоров.

Так отдыхали и приятно шло время отдыха.

— «Приятно шло время отдыха»; и, будто бы, в самом деле только? Вопрос важен. Говоря серьезно: в самом деле только.

Серьезно говоря: в самом деле, только. Вы сами знаете, что так. Напрасно вы и спрашивали. Вы помните: то была Академия славных времен Афин и времен людей, в которых оставался жив дух славных времен Афин.

Неглупые люди были, афиняне тех времен. Но простые люди были они. Саду, следует ли быть садом? По своему нехитрому пониманию вещей, они полагали: саду следует быть садом. И сад, их Академия, была в самом деле сад; место для развлечений и для отдыха; не место ни для чего, мешающего развлечениям и отдыху; потому не место ни для педантства, ни для ученого пустословия, ни для ученого шарлатанства.

Вы знаете это. Ваш вопрос был напрасен.

Правда, во всяком многолюдном собрании бывают люди, которым вовсе незачем тут быть и которые, без особенной потери для приятного общества, могли бы и не делать ему удовольствия своим присутствием в нем. И очень вероятно, что вы предполагаете: быть может, посещал иногда ту Академию какой-нибудь человек своеобразного характера, для которого отдыхом было то, что для других — утомительное занятие. Быть может, вы так добры к нему, что думаете: он не был педантом. Если вы так думаете, вы, по все вероятности, правы: педантов не терпела та Академия; а его, как вы сами предполагаете, она терпела. — Он был человек без претензий, — думаете вы: и нельзя порицать Академию за то, что она терпела его. Но он должен был бы понимать, что такому человеку, как он, незачем проводить часы отдыха в многолюдном собрании. И, если он понимал это, тем больше надобно порицать его за то, что он посещал Академию. Он заслуживал название мастера наводить скуку на людей.

Вероятно, этими вашими соображениями и будете вы оправдывать

ваш вопрос. Ваши соображения справедливы. Но ваш вопрос все-таки напрасен.

Пусть и не подлежит ни малейшему сомнению, что посещал иногда ту Академию какой-нибудь человек, вполне заслуживавший названия мастера скуки. Но что ж из того? — Кому было охота рассуждать с ним во вкусе, приятном ему? Естественно: никто не желал скучать.

Конечно, иной раз мастеру скуки удавалось собрать около себя группу для ученых рассуждений, захватывая в плен неопытных, неосторожных или слишком добрых к нему людей. Но — какая же и была эта группа? — Малочисленная; маловажная, сравнительно с другими, ничего не значащая для них. Да и та, не могла долго удержаться. Кругом, шли живые разговоры, интересные рассказы; пленники мастера скуки завистливо поглядывали на другие группы; кто из них похрабрее, дезертировали; мастер скуки смущался духом; и, пользуясь упадком его мужества, остаток пленных окончательно разбегался.

Что ж это было для Академии? — Смех, когда это замечали, а по большей части, вероятно, и смеха не было, потому что и не замечала того Академия. Ваши чувства относительно мастеров скуки похвальны. Но вы видите, что напрасно вы вспоминали об этом почетном классе людей. Не стоило того.

Совершенно иное дело поговорить о тех группах, в которых были наиболее оживленные разговоры, наиболее занимательные рассказы. Эти группы росли; другие группы к ним примыкали. Ими определялся характер Академии; они одни имели значение в ней. — В них что было целью разговоров и рассказов? Отдых, приятность отдыха. Как в том сомневаться? Иначе не могло быть по самой сущности дела.

Конечно, участвуя в этих разговорах, слушая эти разговоры, можно было, довольно часто довольно многим из бывших тут, а иногда и большинству их, узнать что-нибудь такое, чего не знали они прежде; и, почти всегда, многим, а нередко, может быть, и всем, кроме очень немногих, научиться яснее прежнего понимать вещи, всегда всем известные. — Если у вас есть это предположение, то — против правды не годится спорить; надобно признать: действительно было так.

Не подлежит сомнению; было это, потому что никак не могло не быть этого. Люди научаются, когда идет у них обмен мыслей. Это неизбежно. Это непрременная принадлежность, ежедневный и вечный результат разговоров и рассказов отдыха. Везде и всегда было так. И везде, всегда так будет, пока будут существовать люди. Это закон человеческой природы.

Это было в той Академии. И конечно, это составляло не совершенно ничтожную долю той пользы, какую получали от своей Академии афиняне тех времен. Но не в этом была главная польза от нее; и не было заботы о том, чтобы была от нее эта польза.

Да. Научились. Это было. И это было бесполезно. Но приносило это пользу лишь потому, что не было никакой заботы о том, чтобы это было и приносило пользу. Забота о том, чтобы это было, убивало б это. Забота душит отдых. А гибнет отдых, то, разумеется,

гибнет и всякая польза, какая была бы от него; всякая, то-есть, и эта довольно важная, но не главная польза его. Он существует лишь при отсутствии всякой заботы; всякой, то-есть, и заботы, о какой бы то ни было пользе от него. Забота о пользе нужна для труда, оттого что труд не сам по себе нужен человеку, а только для своих результатов. Отдых нужен человеку сам по себе. Результаты его полезны. Но главная его польза — самое его существование. Цель труда — вне труда; цель отдыха — в нем самом.

«Нужен труд», — неумолкаемо ни на минуту, с утра до ночи раздается оглушительный крик повсюду, повсюду во всех странах людей английского языка. Труд нужен, но нужен ли этот крик? Разве ленивы люди английского языка? Не обида ли им этот крик? Не бессмыслица ли он? Не вредная ли бессмыслица он? Не гораздо ли больше, чем о необходимости трудиться, склонны забывать люди английского языка о том, что чрезмерный труд и неуспешен, и губелен?

Нужен людям труд. Да. Но и отдых нужен людям. Много отдыха нужно человеку, много.

Это помнили афиняне тех времен. И пользовались для отдыха всем, что может хорошо служить для него. И, в числе всего другого, садами: и, в числе других своих садов, Академиею. И, полезен был для них этот отдых, собственно тем, что он был отдых.

Когда время отдыха идет приятно, люди отдыхают больше, отдыхают лучше, нежели было бы без того. Этому служили разговоры и рассказы отдыха афинян тех времен в их садах и как в других садах, в Академии. Собственно тем, и были полезны.

Такова была, — отчасти, знаете вы; отчасти, предполагаете вы; отчасти немножко, и фантазируете вы, быть может: — такова была Академия славных времен Афин и времен людей, в которых был жив дух славных времен Афин.

Блеска не имела она; не должна была иметь его. Без блеска, лучше было ей быть. Без блеска, больше веселости в развлечениях; и чуждается блеска отдых. Без блеска, неэффектная, не была она знаменита. Но достойна любви, и любима она была.

То было очень давно. Обычай цивилизованных наций теперь во многом из того, в чем одинаковы у всех, не сходны с тогдашними греческими. И некоторые из различий, бесспорно, в честь и в добро цивилизованным нациям нашего времени. Об одной из таких, надобно сказать здесь. О какой вы знаете вперед... Но вы согласны: надобно же сказать.

Ныне, у всех цивилизованных наций, в том числе и у людей всех стран английского языка, многолюдные собрания для развлечений и отдыха — собрание не одних только мужчин, а людей в целом составе семейств и семейных кругов родства, дружбы и близкого знакомства.

По мнению вашего собеседника, этого было бы и довольно, о нашей Академии. Но те лица, по желанию которых он беседует с вами, полагают, что он должен познакомить вас с нею несколько больше. Они ошибаются. Но и вы, по всей вероятности, думаете, как они; уступая им и вам, он удовлетворит вашему любопытству, насколько то возможно, по его мнению.

В одной из тех стран, растительность которых роскошна, есть не очень длинный и не очень высокий горный хребет, в котором много очаровательных местностей; в особенности, по южному его склону.

Одна из самых лучших местностей этого склона — одна из самых обширных долин его. В верхних, гористых, частях ее много всяких, так называемых, чудес природы: там лабиринты скал яркого цвета, подобных своими очертаниями, то развалинам гигантских зданий, то колоссальным изваяниям; там пещеры с громадными сталактитовыми залами, амфилады которых едва ли кто когда проходил до конца; там величественные ущелья, обрывы, стремнины, высокие многоводные водопады. И довольно обо всем этом.

Долина богата водой. И озера ее, луга ее, роши ее прекраснее всего, что может мечтаться человеку, не бывшему в странах, подобных той, любимых солнцем. Вся обширная долина — огромный натуральный парк.

В ровной, или почти ровной, лишь слегка холмистой половине парка часть местности приспособлена к удобствам человеческой жизни. Это сад нашей Академии. Сам по себе, он очень велик; и в длину, и в ширину он имеет по несколько миль. Но он лишь довольно маленькая доля парка.

В саду несколько дворцов, несколько других громадных великолепных домов; несколько домов небольших и нероскошных, но все-таки очень хороших; множество легких построек для развлечений и отдыха; павильоны, галереи, открытые колоннады с навесами. Само собой разумеется, что сад украшен бесчисленным множеством статуй и всего тому подобного. И, довольно обо всем этом.

Несколько времени тому назад парк и сад были уступлены, по отношениям родства и дружбы, во владение людям вашего языка. Эти лица пригласили своих родных, друзей и близких знакомых погостить у них в той очаровательной местности того милого края дивной страны любимой солнцем.

Тем началось дело. Скоро оно получило более широкое развитие и более прочный характер, как и было то предполагаемо. И, через несколько времени, во дворцах и домах сада поселилось многочисленное общество людей английского языка; некоторые из них, не долго, — другие на — долго, или на — всегда.

Так возникла наша Академия. И, довольно этого о том, как она возникла.

Разные семейные круги нашего общества постоянно собирались, — то отдельными группами, то многие, или даже все вместе для развлечений и отдыха, — то в своих дворцах или домах; то в боскетах и на полянках сада, в павильонах и под навесами колоннад или под открытым небом. Развлечения были веселы, как знает это ваш собеседник по всеобщим отзывам. И часы отдыха, в разговорах и рассказах без претензий проходили приятно, так он знает по тем отзывам, да и сам видел, когда бывал тут, — это, было нередко, — более или менее невнимательным и постоянно молчаливым слушателем.

Хорошо было в нашем прекрасном саду. Будет ли и продолжаться так?

Сказать: «нет», — не хотел бы ваш собеседник. Сказать: «да», было бы рискованно, думают те лица, по желанию которых он беседует с вами.

Во всяком случае, первый период существования нашей Академии закончился.

И решено издать сборник рассказов, которые были импровизированы (и стенографированы) или читаны в тех собраниях, на которые было приглашаемо все общество нашей Академии.

Те лица, которые решили издать эту книгу, недовольны этою программю книги. Они правы. Само собою понятно, что рассказы, импровизированные или читанные в маленьких интимных кругах, могли иметь такие достоинства, каких странно было бы требовать или ожидать от романов или повестей, чем от необходимости были рассказы в многолюдных собраниях. Понятно само собою и то, что разговоры по поводу какого-нибудь романа, хотя бы и очень занимательного, могут быть гораздо более интересны, чем самый роман.

Ваш собеседник понимает это. И не может не согласиться с мнением лиц, принявших на себя труд составления сборника, предисловие к которому пишет он: программа сборника очень дурна. По ней, не должно быть взято в книгу ни одного слова даже из тех разговоров, которые были в собраниях всего общества нашего сада, не только из разговоров более интимных. Это очень жаль. И не менее жаль, что по программе сборника, безусловно устранены от помещения в ней всякие рассказы, кроме слышанных всем обществом нашей Академии.

Программа узка, темна, она дурна, она очень дурна. Но она — единственная, возможная по мнению лиц, порицающих ее.

Почему она единственная, возможная, это не требует пояснений, полагает ее автор.

Книга, которая будет составлена по этой программе, будет несравненно менее хороша, нежели мог быть сборник, составленный по программе, хоть немножко менее стеснительной. Это не подлежит сомнению. Но все-таки, книга будет хорошая. И надобно удовольствоваться тем.

Впрочем, дурная программа имеет и хорошую сторону, — эта сторона программы та, которая обращена к Беседке Скуки, Bore Bower.

Скрывать было бы напрасно, потому что вы не могли не предугадывать: в саду нашей Академии существовала Беседка Скуки. Но она была безвредна для Академии. Если собиралась иногда в этом маленьком храме жертвоприношений в честь богини Кабинетного Сора группа для ученых рассуждений, то была лишь доброй уступкой со стороны нескольких ученых своеобразному характеру человека, которого любили они за то, что он, познакомившись с ними в Академическом саду, полюбил их.

Программа говорит, что в сборник не войдет ни одной страницы, ни одной строки из достохвальной груды «Трудов почтенного Общества Беседки Скуки», основателем Президентом и Единственным Членом которого был ваш, уважаемый вами, надеется он, — и скучный? — он знает это: скучный — собеседник.

С отъездом его из Академического сада, Беседка Скуки станови-

лась никому в Академии не нужной, и ваш собеседник настоял на том, чтоб она была сломана.

Автор программы
Сборника Рассказов Академии

какой? — он предполагает, что удобнее всего будет называть нашу Академию «Академиею Сада в Парке», Parkgarden Academy; и так,

Автор программы
Сборника Рассказов
Академии Сада в Парке.

То было написано вашим скучным собеседником при отъезде его из Академии Сада в Парке. Это было два дня тому назад. Теперь он прибавит к своему прежнему объяснению с вами несколько подробностей, которых не следовало бы, по его мнению, сообщать вам.

Мы — четыре семейства, отправляемся в кругосветное плавание.

Тот не очень высокий хребет, в одной из долин которого, по южному склону его, находится сад нашей Академии — Лазурные Горы.

Те лица, которые решили издать этот сборник и приняли на себя труд составить его, провожали нас. Пришло время расстаться нам и с ними. Еще две, три минуты и они перейдут с этой яхты на свою, чтобы плыть к берегу и возвратиться на Лазурные Горы.

Они требуют, чтобы я стенографировал; исполняю их желание. (Стенографировано).

Академия Лазурных Гор останется верна своему скромному, добродушному предназначению.

Не сомневайтесь в том. Она останется и без нас такою же чуждой претензий, скромной, доброй, какою была при нас. И будет развиваться. И когда мы навестим ее, — когда-нибудь навестим же мы ее, мы найдем, что она стала лучше, нежели была в наше время. Это верно.

Это было сказано не мною. Но и я думаю теперь точно так же. Сомнение было напрасно.

Наши друзья хотят, чтобы я сообщил вам название яхты, на которой остались мы, и название гавани, в виду которой мы находимся. — Сообщу. —

Мало им и этого. Они требуют, чтобы я сказал вам мое имя. Исполняю их требование.

Эльджернон Голлис

Яхта „Элида“.
В виду Porto Novo.



ЗАПРЕЩЕННЫЕ ЦЕНЗУРОЙ ТЕКСТЫ 1.

Чернышевский давал уничтожающую критику эксплуататорского крепостнического строя на переломе к капитализму под ловко выбранной формой разбора сочинения С. Муравьева «Тюрго, его ученая и административная деятельность, или начало преобразования во Франции XVIII в., М. 1858». Тема предреволюционной Франции давала ряд ярких аналогий с предреформенной крепостной Россией. Все замечания шли под видом передачи положений автора книги или самого Тюрго. Под скромным видом критики школы Сэ (Сэ в транскрипции Чернышевского) шла проповедь социализма и резкое осуждение капитализма — строя, основанного «на владычестве золота»².

... [Какая польза была, если говорили пролетарию: «Ты имеешь право работать», когда он отвечал: «Как же я воспользуюсь этим правом? Я не могу обрабатывать землю для себя, — родившись, я нахожу ее уже занятою. Я не могу заняться ни охотою, ни рыбной ловлею — это привилегия владельца. Я не могу собирать плодов, возвращаемых богом на пути людей, — эти плоды поступили в собственность, как и земля. Я не могу ни срубить дерева, ни добыть железа, которые необходимо для моей работы; по условию, в котором я не участвовал, эти богатства, созданные, как я думаю, природой для всех, разделены и стали имуществом нескольких людей. Я не могу работать иначе, как по условиям, возлагаемым на меня теми, которые владеют средствами для труда. Если, пользуясь так называемой у нас свободой договоров, эти условия чрезмерно суровы; если требуют, чтобы я продал и тело, и душу; если ничто не защищает меня от несчастного моего положения; или если, не имея во мне надобности, люди, дающие работу, оттолкнули меня, — что будет со мной? Найдется ли у меня сила восхищаться тем, что у вас называется уничтожением произвольных стеснений, сделанных людьми, когда я безуспешно борюсь с условиями жизни? Буду ли я свободен, когда подвергнусь я рабству голода? Право работать будет ли казаться мне драгоценно, когда мне придется умирать от беспомощности и отчаяния при всем моем праве?»] (к стр. 288, т. IV).

... [Тот, кто вначале поставил несколько столбиков вокруг участка и бросил в него посев, неужели на этом одном основании мог получить исключительную привилегию на эту землю для своих потомков до конца веков? Нет, отвечал Неккер: «такое преимущество не могло принадлежать этой малой заслуге». Право собственности, по мнению Неккера, было основано на предположении своей полезности для общества; у тех, которые отваживались выставлять основанием своего права только самое это право, он спрашивал: «Скажите, разве ваша купчая крепость записана на небесах? Или вы принесли вашу землю с соседней планеты? Или есть у вас какая-нибудь сила, кроме той, которую дает вам общество?»

Не менее справедливо Неккер определял свободу. Он не удивлял-

¹ «Литературное наследство» № 3, 1932, стр. 75—108. Выдержка из статьи «Запрещенные цензурой тексты Н. Г. Чернышевского», комментарии М. Нечкиной, В. Каплинского.

² Текст купюр, отсутствующий в Полном собрании сочинений, всюду обозначается квадратными скобками.

ся, что в тогдашнюю эпоху для людей, натерпевшихся долгого угнетения, одно слово «свобода» было уже очарованием, и слово «запрещение» отзывалось в их душе, как звук еще несломанной цепи; но от его взгляда не ускользнуло, что среди всеобщей борьбы, при неравенстве оружия, свобода служит только маской угнетения. Неужели во имя свободы можно позволить сильному человеку приобретать выгоды на счет слабого? А по выражению Неккера «сильный человек в обществе — это собственник; слабый человек — человек без собственности».

И чтобы лучше показать, к каким несообразностям может приводить идея права, когда смысл ее не истолковывается сердцем, он прибегал к поразительной гипотезе. Он предполагал, что некоторое число людей нашли себе средства присвоить себе воздух, как другие присвоили себе землю; потом он представлял, что они изобретают трубы и воздушные насосы, посредством которых могут сгустить или разредить воздух в данном месте: неужели этим людям дозволили бы произвольно распоряжаться дыханием человеческого рода?] (к стр. 231, т. IV).

[Неккер восклицал: «Спросите у этого наемного работника, плату которого стараются по возможности понизить, желает ли он дороговизны съестных припасов? Если бы они умели читать, они были бы очень изумлены, узнав, что от их имени требуют дороговизны». Книга кончалась следующими словами: можно сказать, что небольшое число людей, разделив между собой землю, составили законы для обеспечения своих участков против массы людей, вроде того как поставлены загородки в лесах против диких зверей. Установлены законы, ограждающие собственность, правосудие и свободу, но почти еще ничего не сделано для самого многочисленного класса граждан. Какая нам польза от ваших законов о собственности, могут сказать они — мы ничего не имеем; от ваших законов о правосудии? — нам не о чем вести тяжбу; от ваших законов о свободе? — если мы не будем работать завтра, мы умрем] (к стр. 231, т. IV).

Под прикрытием обсуждения чисто «академического» вопроса о разнице политического строя во Франции XVII и XVIII вв. Чернышевский давал развернутую критику самодержавия, для вида прикрытую вставками о «истинно-великих» самодержцах, ловко противопоставленными анализу вреда самодержавного строя в целом. Вскрытие сущности дворцовой камарильи («камариллы») имело заостренно-политический характер: в это время заседал Секретный (затем переименованный в Главный) комитет по крестьянскому делу, работавший под давлением и прямым руководством крупнодворянской придворной знати¹.

... [Но король, бесспорно желавший добра, мог взглянуть на вещи иначе и оттолкнуть камариллу от власти? На каком же основании, по каким причинам? Он воспитан был среди камариллы сообразно с ее правилами и расчетами. Она позаботилась не дать ему хорошего образования, она позаботилась не дозволить ему знакомства ни с кем, кроме своих сочленов. Он не знал государственных дел; он не понимал положения королевства; он приучен был смотреть как на людей опасных или как на людей непрактичных на всех тех, которые не

¹ Данная выдержка, как и последующие, взята там же. См. сноску на стр. 203.

сходились в образе своих понятий с камариллой; если бы он был недоволен советниками своего предшественника, он не знал бы, откуда взять других, кроме как из той же камариллы.

Все это он доказал с самого начала. Вступив на престол, он пожелал иметь человека, на которого мог бы полагаться во всем. Кого избрать таким доверенным лицом, он сам не знал, — так мало занимался он до той поры государственными делами, что ему были даже не известны люди со стороны этих занятий, — он знал, кто хорошо, кто дурно танцует, кто хорошо, кто дурно ездит верхом или стреляет из пистолета, фехтует, кто каков по части волокитства, любезности в обществе, кто знаток в гастрономии, кто знаток в лошадях, — но кто знаток в государственных делах, этого ему не случилось узнать; об этом доходили до него такие же темные слухи, как до нас с вами, читатель, о том, какие живописцы или поэты считаются мастерами своего дела в Китае. Слышали мы что-то об этом — но как и что, этого мы хорошенько не припомним, что же ему делать в таком беспомощном положении? Он обратился за советами к тем же членам камариллы — к кому же иначе? [Других людей он не знал и не видал] (к стр. 237, т. IV).

Вся программа буржуазной революции (в завуалированной форме) излагалась Чернышевским под видом программы Тюрго в следующем, по форме «насмешливом», рассуждении, из которого в силу цензурных соображений ему пришлось выкинуть замечание о конституции:

И если бы вы знали, какие великолепные планы он составил! Это любопытно, — он задумал — извольте-ка послушать:

Он хотел отменить феодальные права; уничтожить привилегии дворянства; пересоздать систему налогов и пошлин; ввести свободу совести; переделать гражданские и уголовные законы; уничтожить большую часть монастырей; ввести свободу тиснения; преобразовать всю систему народного просвещения. [В довершение всего хотел ввести во Франции нечто, очень похожее на конституцию] (к стр. 238).

Следующая группа купюр относится к знаменитой статье Чернышевского «Суеверие и правила логики», написанной в 1859 году, опять-таки в эпоху кануна реформы и напряженной революционной ситуации. Статья эта входила в группу работ Чернышевского, посвященных общинному землевладению. В этой обстановке первая цензорская купюра статьи, посвященная «лености» «простонародья», имела ясный политический смысл: Чернышевский в прикрытой форме подводил читателя к мысли, что факт плохой производительности труда крепостного мужика зависел от социальных условий, от гнета барской эксплуатации, а отнюдь не от какой-то прирожденной «лености».

[Апатия у нас изумительная; она так поразительна, что многие называют нас народом ленивым. Мы не знаем, существуют ли на свете ленивые народы. Психология говорит, что страсть к деятельности врождена человеку, а физиология объясняет и доказывает это, говоря, что наши мускулы имеют физическую потребность работать, подобно тому как желудок имеет потребность переваривать пищу, нервы — потребность испытывать впечатления, глаза — потребность смотреть и т. п. Оставляя в стороне этот общий принцип органической жизни, по которому каждая часть нашего организма требует соответст-

венной своему характеру деятельности, мы заметим только, что в нашем климате лень никак не может находить себе место, если бы и могла принадлежать каким-нибудь другим племенам, живущим под полюсом или под тропиками. Смешно говорить о склонности к лени в человеке, который в пять или шесть месяцев должен заготовить средствами к жизни на целый год] (к стр. 556, т. IV).

... [Как вы хотите, чтобы оказывал энергию в производстве человек, который приучен не оказывать энергию в защите своей личности от притеснений. Привычка не может быть ограничиваема какими-нибудь частными сферами: она охватывает все стороны жизни. Нельзя выдрессировать человека так, чтобы он умел, например, быть энергичным на ниве и безответным в приказной избе тем, чтобы почесывать себе затылок и переминаться с ноги на ногу. Он будет таким же вахлаком и за сохой. Впрочем, об этом предмете можно было бы наговорить слишком много, если бы в самом деле нуждалась в доказательствах мысль, что энергия в русском человеке подавлена обстоятельствами, сделавшими из него какого-то аскета. Возвратимся лучше к той, более отрадной стороне его жизни, которая показывает, что по природе своей он вовсе не предназначен быть апатичным. Когда пробуждается в нем усердие к делу, он обнаруживает чрезвычайно замечательную неутомимость и живость к работе. Но для этого бывает нужно ему увидеть себя самостоятельным, почувствовать себя освобожденным от стеснений и опеки, которыми вообще он бывает подавлен] (к стр. 556, т. IV).

... [Если бы мы писали статью об общинном владении для обыкновенных читателей, нам не было бы нужды останавливаться на разъяснении, что такое должно разуметь под словом азиатство; но мы пишем для отсталых людей, называющих себя учеными, то-есть для людей с понятиями самыми сбивчивыми, потому, нечего делать, объясним, что обыкновенные, неученые люди понимают под словом азиатство. Если бы отсталые ученые могли снисходить до чтения статей, по заглавию своему относящихся к предметам неученым, мы просто указали бы на разбор сочинений г. Островского, помещенный в последних книжках «Современника»: понятие азиатства изложено в них с большою подробностью и обстоятельностью. Но могут ли люди, воображающие, себя учеными, учиться у какого-нибудь неизвестного западным их авторитетам г. — бова? Повторим же здесь кратко его основные мысли, чтобы ознакомить с ними наших отсталых экономистов.

Азиатством называется такой порядок дел, при котором не существует никакой законности, не существует неприкосновенности никаких прав, при котором не ограждены от произвола ни личность, ни труд, ни собственность. В азиатских государствах закон совершенно бессилен. Опираясь на него значит подвергать себя гибели. Там господствует исключительно насилие. Кто сильнее, тот безнаказанно делает над слабейшими все, что только ему угодно, а так как у него нет человеческих понятий, то руководится он в своих действиях только прихотями добрыми или дурными. Это как случится, но во всяком

случае совершенно бестолковыми; эта черта азиатства в разборе сочинений г. Островского очень удачно названа самодурством. Для человека постороннего она составляет самую поразительную особенность азиатского порядка дел. При безграничном владычестве самодурства каждый азиатец в сношениях своих с более сильным человеком руководится исключительно мыслью угождать ему. Угодливость, уступчивость, раболепство — это единственный способ не быть раздавленным от руки сильнейшего. Мы часто обвиняем азиатцев за их раболепство; но что же им делать, когда закон у них, как мы сказали, бессилён? Водворите у них законность, и вы увидите, что они сделаются такими же людьми, как мы, европейцы] (к стр. 559 т. IV).

К той же странице статьи «Суеверие и правила логики» относится огромная цензурная купюра, дающая убийственный анализ истинных причин «народной бедности» и отчетливо формулирующая основную причину этой бедности как систему самодержавного правления. Самодержавный строй, конечно, не назван прямо, а полускрыт за безобидными и довольно туманными с первого взгляда терминами «состояние нашей администрации», «управление» и пр. Со всей силой подчеркивает Чернышевский важную и часто встречающуюся у него мысль: дело не в лицах, не в нравственных качествах того или другого отдельно взятого чиновника, а в системе, во всей политической организации самодержавного строя, взятого в целом: этот строй приводит даже в узком личном смысле «честного» человека к необходимости превращаться во взяточника и притеснителя трудящихся. Отсюда — логический вывод, делавшийся другим читателем: бороться надо со всем строем в целом, а не с отдельными его представителями. Следующая ниже купюра — один из наиболее ярких образцов политических разоблачений Чернышевского, — именно такие подцензурные тексты играли ведущую роль в воспитании «подлинного революционера»... Как видим, в статье Чернышевского «Суеверие и правила логики» сделана не одна купюра, но достаточно было бы одной, приводимой ниже, чтобы сказать: до сих пор мы не знали настоящей статьи Чернышевского, а знали лишь ее остатки, изуродованные царской цензурой.

[Весь наш быт во всем, что есть в нем печального, обуславливается этою основною причиною всех зол.

В самом деле, пересмотрим все недостатки его, для всех найдем одну и ту же главную причину. Начнем с экономической стороны. Все неудовлетворительные явления нашего материального быта подводятся под одно общее выражение: «наш народ беден». Если мы сознались в этом общем факте, кажется, не подлежащем спору, мы не станем удивляться ни одному из частных явлений, входящих в состав его или представляющихся его последствиями. Например, может ли быстро увеличиваться население, у которого бедностью отнята возможность вести жизнь в здоровой обстановке и потреблять хорошую пищу? Могут ли быстро развиваться города у бедного народа? Может ли у него процветать торговля, когда у него нет обильного запаса продуктов для обширной торговли, или промышленность, когда ему не на что покупать произведений промышленности? Могут ли у него быть достаточные оборотные капиталы в земледелии, когда он вообще терпит чрезвычайный недостаток в капиталах. Словом сказать, в чем бы ни увидели мы недостаток, мы уже вперед сказали о нем, когда произнесли общую фразу: «народ беден».

Но может ли выйти из бедности народ, у которого администрация дурна и судебная власть не исполняет своего предназначения? Разве не каждому известно, что народное благосостояние развивается только трудолюбием и бережливостью? А эти качества могут ли существовать при дурной администрации, при плохом суде? Человек может работать с усердием только тогда, когда никто не помешает его труду и не отнимет у него плодов труда. Этой уверенности нет у человека, живущего в стране, где администрация дурна и суд бессилен или несправедлив. Бережливым можешь быть только при уверенности, что бережешь для себя и своей семьи, а не для какого-нибудь хищника. Если этой уверенности нет, человек спешит поскорее растратить — хотя бы на водку — те скудные деньги, которые успеет приобрести. Распространяться здесь об этом вновь едва ли нужно, потому что много раз уже говорил об этом «Современник». Приведем только небольшой отрывок из статьи, которая по нашему мнению довольно верно указывает причину зла.

«Кто говорит: «бедность народа», тот говорит: «дурное управление». Это единственный источник народной бедности. Но что такое дурное управление? Зависит ли оно от лиц? Нет, каждый видел на опыте, что при самых благонамеренных начальниках порядок дел оставался точно таков, каков он был при самых дурных. Мы жили в провинции, губернатором которой был человек честнейший, редкого ума и чрезвычайно хорошо знавший дело¹. Каждый житель того края скажет вам, что при нем делалось то же самое, что и до него. Должности продавались с формального торга. Суда и управы не было; грабительство было повсеместное; оно властвовало в канцелярии губернатора, в губернском правлении, по всем ведомствам и инстанциям. Теперь мы нашли там начальником одного из частных управлений, человека также безукоризненной честности и большого ума². Но, когда, проезжая по провинции, мы спрашивали поселян его управления, меньше ли берут с них взяток, чем прежде при отъявленных взяточниках или глупцах, они отвечали, что берут с них столько же, как и прежде. Мы поручимся, что и в соседней, также поволжской, губернии, где губернатором теперь человек известной честности, дельности и ума, делается то же самое, что делалось прежде; поручимся, что не исправилась администрация и в Р. губернии, где вице-губернатором — один из наших благороднейших писателей, характер которого достоин его прекрасных произведений. Итак, не личные качества людей причиною дурного управления. Или виновны в нем понятия народа, будто не сознающего всей гнусности гнусных дел? О, нет. Послушайте, как говорят о чиновниках люди всех других сословий; помещики, купцы, духовенство, мещане, крестьяне. Все, кроме берущих взятки, рассуждают о дурном управлении с теми чувствами, которых оно заслуживает. Или дурное управление зависит от привычек? Но нет, мы видим, что самые отъявленные взяточники на казенной службе бывают честными людьми как

¹ Мы говорим о г. К., бывшем саратовском губернаторе. (Примечание Н. Г. Чернышевского.)

² Мы говорим о г. М., управляющем удельною конторою. (Примечание Н. Г. Чернышевского.)

помещики и хозяева промышленных заведений. И притом, что значила бы привычка какой-нибудь горсти людей, действия которых осуждаются всем остальным обществом? Эти люди быстро исправились бы или бы уступили место людям другого образа действий, если бы на их местах возможно было действовать другим образом. И послушайте самых дурных чиновников: редкий из них доволен своим служебным поведением. Напротив, почти все скажут вам, что хотели бы действовать иначе, отправлять свои обязанности честно, и если не делают этого, то лишь потому, что это невозможно. Да, они правы: действительно они не могут отправлять своих должностей иначе. Мы не говорим о недостаточности жалования, потому что действуют незаконно и те чиновники, которые получают достаточное жалование; недостаточность жалования служит причиной только мелкого, можно сказать невинного и безвредного, взяточничества маленьких чиновников. Какой-нибудь бедняга писец или помощник столоначальника гражданской палаты берет с вас полтинник за то, что сделает для вас справку — тут нет еще большой беды. Дело не в этом взяточничестве. Нет, вопрос в том, почему дела у нас вообще ведутся незаконно, с получением или без получения взяток, все равно. Если, например, я имею чин коллежского советника (это уже важный чин в провинции), я могу безнаказанно прибить мещанина, и меня оправдают, не взяв с меня никакой взятки. Зато, если обидит меня генерал (каждый генерал в провинции важнее, чем в столице генерал-адъютант или действительный тайный советник), его также оправдают, не взяв с него никакой взятки, и от меня не захотят взять даже огромной взятки, чтобы обвинить его. Только в тех случаях дело решается взяткою, когда обе стороны почти равны по общественному положению. Это случаи довольно редкие. Итак, вовсе не о взятках должна быть речь; речь должна быть о том, что вообще у нас дела ведутся незаконно; то, что беззаконие доставляет доход чиновнику, есть уже только следствие системы, а не причины ее. Истинные причины беззаконности — безответственность и беззащитность чиновников. Чиновник наш подлежит одному только контролю — контролю начальства; ни общество, ни товарищи, ни подчиненные не могут ничего сделать с ним, если только начальство довольно им; зато ни общество, ни товарищи, ни подчиненные не могут спасти его, если начальство им недовольно. Он безответственен перед всем и всеми на свете, кроме начальства; зато перед начальством беззащитен. Лишенный всякой независимости относительно начальства, он может держаться на службе только тем, чтобы угождать ему. Теперь представим себе такой случай. У начальника есть брат, который имеет тяжбу с человеком маленьким. Начальнику нет времени и охоты вникать в запутанные подробности дела, да, если он станет вникать, все дело поневоле представляется ему в свете более благоприятном для его брата, нежели как может представляться постороннему человеку. Дело производится, положим, в уездном суде. Если маленькие чиновники чисты и секретарь уездного суда не произведет его, как считает справедливым пристрастный по родству глаз начальника, они навлекут на себя его неудовольствие. То же, что о брате начальника, надобно сказать о

других его родных и о его друзьях, и о его знакомых, и о знакомых его друзей и родственниках. Что же будет, если во второй, в третий, в десятый раз члены уездного начальства навлекут на себя неудовольствие начальника? Они беззащитны, они вполне зависят от него. Каким же образом могут они занимать свои места, если часто не нарушают закона для того, чтобы их решения совпадали с предубежденным в пользу известной стороны мнением начальника? И как устоят они против искушения нарушить закон? Ведь это совершенно безопасно: лишь бы был доволен начальник, и никакая ответственность не упадет на них. Таким образом, они должны нарушать закон не для того, чтобы брать взятки, а для того, чтобы не подвергнуться несчастию самим. Вот истинный источник незаконного ведения дел. А если уже совестью надо кривить, все равно, будет ли надобно брать взятки или нет, то почему же и не брать взяток? Когда надобно делать одно и то же — кривить душою — с выгодой и без выгоды, то, конечно, будет даже лучше кривить душою с выгодой. И без того не избежишь греха. Таким образом взяточничество является только уже результатом предшествующей ему необходимости нарушать закон по беззащитности исполнителей закона перед сильнейшими и безответственности перед обществом. Чтобы восстановить законность, надобно обратить внимание не собственно на взяточничество, а на эту коренную причину невозможности чиновникам обходиться без нарушения закона. Надобно изменить положение чиновников, дать им возможность не погибать от отказа нарушать закон в угоду сильным людям и, с другой стороны, сделать так, чтобы одно благорасположение начальства не служило для них залогом полной безопасности при нарушении закона. Читатель видит, что для этого должны быть изменены отношения должностной деятельности к общественному мнению. Оно должно получить возможность к тому, чтобы защитить чиновника, исполняющего свой долг, от гибели и подвергнуть ответственности чиновника, нарушающего закон. Для этого одно средство: надобно сделать, чтобы должностная деятельность перестала быть канцелярскою тайною, чтобы все делалось открыто, перед глазами общества, и общество могло высказывать свое мнение о каждом официальном действии каждого должностного лица¹.

Следующая купюра статьи «Суеверие и правила логики» тесно примыкают по своему содержанию к предыдущей. Чернышевский с большой яркостью вскрывает глубочайшую органическую связь самодержавия и крепостного права, указывая на то, что первое — политический сторож последнего.

¹ На корректуре против всей приведенной и перечеркнутой выписки на полях имеются следующие пометки: «На основании последнего распоряжения Министерства на помещение этого места нужны фактические доказательства. Цензор Мацкевич». «Сделать ссылку на это место и потом возвратить мне. Мацкевич». «Эта выписка сделана мною из рукописной статьи под заглавием «О взяточничестве и причинах его», присланной в редакцию «Современника» каким-то господином, подписавшим под нее буквы А. За-в.—Чернышевский». (Примечание М. Н. Чернышевского.) Как видим, Н. Г. Чернышевский умел посмеяться над правительственной властью и при прямом ее запросе об осведомителях «Современника»: приведенный псевдоним, конечно, не оставлял в руках чиновников никаких нитей для разыскания «виновных». (Примечание редакции журнала «Литературное наследство».)

[Мы не знаем, возможно ли, при нынешнем устройстве наших общественных отношений, осуществление условия, которое предлагается выписанным нами отрывком для прекращения незаконности; быть может, подобная реформа предполагает уничтожение отношений слишком сильных, не поддающихся реформам, а исчезающих только вследствие важных исторических событий, выходящих из обыкновенного порядка, которым производятся реформы. Мы не хотим решать этого, мы не хотим рассматривать, какие обстоятельства нужны для исполнения мысли, изложенной автором приведенного нами отрывка. Но можно сказать, что пока не осуществится изменение, необходимость которого он доказывает, все попытки к водворению законности в нашей администрации и судебном деле останутся безуспешны.]

Впрочем, рассмотрение средств, которыми могла устраниться коренная причина бедности нашего народа, дурное управление, не составляет главного предмета нашей статьи. Мы должны показать только, что дурное управление есть общая коренная причина всех тех недостатков, которые задерживают развитие нашего земледелия. Начав с экономической стороны быта, мы сказали, что дурное управление — основная бедность нашего народа, которая, в свою очередь, не дает развиться ни одному из материальных условий, нужных для успехов земледелия] (к стр. 562, 563, т. IV).

[Мы уже сказали, что не намерены писать филиппик против крепостного права; но мы укажем факт, всем известный, если скажем, что трудно было найти поместье, в котором пользование крепостным правом или не превышало бы границ, определенных ему законом, или не употреблялись бы для управления крестьянами средства, запрещенные законом, и не оставались бы в пренебрежении обязанности относительно крестьян, возлагаемые законом на помещика. В одних поместьях требовалась барщина выше трех дней, в других — крестьяне подвергались иным притеснениям, в третьих — оставались без надлежащего пособия во время неурожаев и т. д. Надобно сказать, что эти нарушения законов далеко не всегда происходили от того, чтобы помещик был дурным человеком: нет, источник их лежал не в личных качествах отдельных людей, а в самой натуре крепостного отношения. По своей сущности крепостное право ведет к произволу, и какими бы законами ни определялось оно, оно неминуемо влечет и к нарушению, потому что произвол не может ужиться ни с каким законом. Если бы управление действительно хотело и могло преследовать все бесчисленные нарушения законов, неминуемо вытекавшие из крепостных отношений, в каждом поместье беспрестанно возникали бы процессы против помещика, и, измученный справедливыми преследованиями, он давно сам постарался бы вывести свое поместье из крепостных отношений, которые, прибавим, очень мало доставляли бы ему материальной и денежной выгоды, если бы управление не позволяло далеко превышать законных размеров и средств пользования крепостным правом. Много говорить об этом нет надобности: спросите какого угодно дельного чиновника, он скажет вам, что удовлетворительные формы ведения процессов гражданских и уголовных были

невозможны при крепостном праве; а это значит, иными словами, что существование крепостного права было бы невозможно при хорошем управлении.

Если мы посвятили несколько страниц изложению последствий дурного управления в экономической стороне народного быта, то едва ли понадобится нам больше нескольких строк для обнаружения того, что дурное управление было также главной причиной неудовлетворительного развития нравственных и умственных сил народа. Говоря о бедности, производимой дурным управлением, мы уже видели, что оно производит ее через подавление нравственной энергии в народе. Действительно, может ли быть энергичен человек, привыкший к невозможности отстаивать свои законные права, человек — в котором убито чувство независимости, убита благородная самоуверенность? Соединим теперь упадок нравственных сил с бедностью, и мы поймем, почему дремлют также умственные силы нашего народа. Какая энергия в умственном труде возможна для человека, у которого подавлены и сознание своего гражданского достоинства, и даже энергия в материальном труде, который служит школою подготавливающею человека к энергии в умственном труде?]

[...Против зол... имеется одно лишь средство, — и это средство — сама свобода.

Узник, покидая свою темницу, на первых порах не может выносить дневного света: он не в состоянии различать цвета или распознавать лиц. Но лекарство состоит не в том, чтобы снова отослать его в тюрьму, а в том, чтобы приучить его к солнечным лучам. Блеск истины и свободы может сначала туманить и помрачить нации, полуослепшие в темнице рабства. Но дайте срок, и они скоро будут в состоянии выносить этот блеск. Люди в несколько лет научаются правильно мыслить... Рассеянные элементы истины перестают бороться и начинают сплавляться. И, наконец, из хаоса возникает система справедливости и порядка.

Многие политики нашего времени имеют обыкновение выдавать за аксиому, что ни один народ не должен быть свободным, пока не достигнет умения пользоваться своей свободой. Правило это достойно того глупца в старинной сказке, который решил не ходить в воду, пока не выучится плавать. Если бы людям следовало дожидаться свободы, пока они не сделаются умными и добрыми в рабстве — им бы пришлось вечно пребывать в ожидании»] (к стр. 387, т. VI).

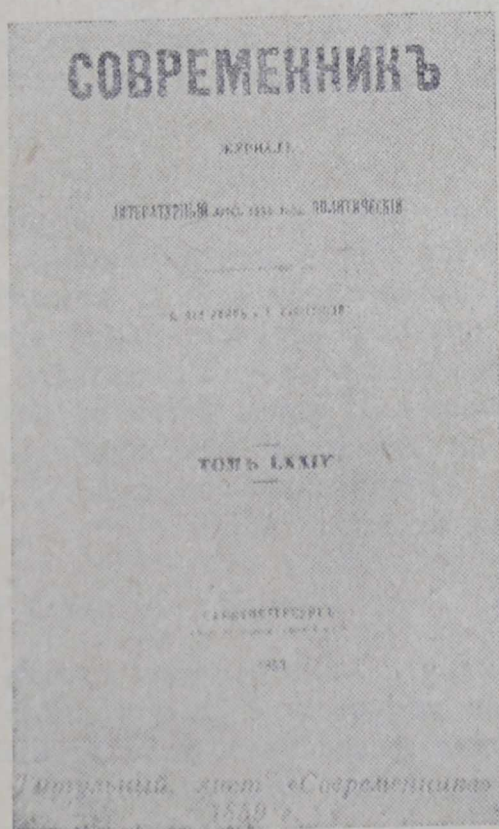
В своем замечательном «Дневнике», получившем заслуженно широкую известность в дни столетнего юбилея со дня рождения Чернышевского (1928), Чернышевский записал особым шифром ряд прямых высказываний о революции, не стесненных учетом цензурных требований. Одно из этих высказываний перекликается с приведенным выше текстом цензурной купюры. В нем тоже идет речь о восстании, о революции и о прямом участии в ней самого Чернышевского. Он говорит о своей невесте: «Готова и искра, которая должна зажечь этот пожар. Сомнение одно — когда это вспыхнет? Может быть лет через десять но я думаю скорее. А если вспыхнет, я приму участие... Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня». Это говорил молодой революционер в 1853 г. Через семь лет в текстах, писанных вне цензурных условий, в прокламации «Барским крестьянам», Чернышевский говорил еще более зрелым языком организатора революции. Но мы видим, что и в текстах, приготовленных для цензуры, он умел в скрытой форме высказывать по существу те же мысли.

«...[Вообще влияние человека, одаренного таким огромным умом и так высоко стоявшего по своей образованности, как Пушкин, было неизмеримо важно для развития читателей, им созданных и очарованных его гениальным талантом. В истории русской образованности Пушкин занимает такое же место, как и в истории русской поэзии. Придут времена, когда его произведения останутся только памятником эпохи, в которую он жил; но когда придет это время, мы еще не знаем, а теперь мы можем читать и перечитывать творения великого поэта и, с признательностью думая о значении их для русской образованности, повторять вслед за ним:

Да здравствуют Музы, да здравствует Разум!

И да будет бессмертна память людей, служивших Музам и Разуму, как служил Пушкин] (IV—23 об. — 292).

[... Но если уже вошло в моду говорить о старине, то нельзя не восстать против мнения, столь часто повторяемого и столь несправедливо отнимающего заслуженную честь у людей, которые должны занимать одно из самых «почетных» мест в ряду деятелей на поле нашего просвещения, людей, которые достойны уважения и по своему уму, и по горячей резкости ко всему, что казалось им благом и истиною, и которых имена доселе забываются или даже хулятся по узким и неверным понятиям о их отношениях к Пушкину, между тем как беспрестанно пишутся хвалебные распространения о людях, которые не имели и тысячной доли их достоинств и значения в нашей литературе] (X—36,36 об. — 311).



Титульный лист журнала „Современник“. 1859 г.

II. ИЗ ПИСЕМ К РОДНЫМ И РАЗНЫМ ЛИЦАМ

ПИСЬМА К РОДНЫМ.

СПБ. 6 июля (суббота) 1846 г.

Карта из Лихтенбергова Атласа получена с почты Алекс. Федоровичем. Получивши ее, я отнес Шмицдорфу 65 коп. сер.; в получении их выдали расписку, хоть я вовсе и не думал о ней. Книжная лавка его из немецких здесь, кажется, первая, но библиотека для чтения не стоит того, чтобы подписываться: одни повести, романы, путешествия и театральные пьесы; серьезных книг очень немного в каталоге, который я нарочно просматривал с большим вниманием: ищешь той, другой серьезной книги европейской славы: нет почти ни одной; нет даже ни Гиббона, ни Шеллинга, ни Гегеля, ни Нибура, ни Ранке, ни Раумера, нет ничего; о существовании их библиотека и не предчувствует. Только решительно и нашел я из истории и философии, что несколько сочинений (а не полное собрание их) Гердера и Автобиографию Стеффенса, отрывки из которой были в «Москвитянице». Но что касается до беллетристики, то она действительно должна быть богата: в ней тысяч 13 томов¹...

13 июля 1846 г.

...Вчера я подал просьбу о принятии в университет. Принял ее какой-то седенький старичок в партикулярном сюртуке, в Присутствии, стоя у окна, заваленного сейчас принятыми им просьбами. В петлице какой-то срденок. Должно быть, ректор. В программе не велено уволенным из духовн. звания прилагать аттестат, а одно свидетельство об увольнении. Я понес и его на всякий случай. Спрашиваю его, не нужно ли аттестата. «Не нужно, но приложить не мешает». Я подал ему. Прочитавши, он сказал, что лучше приложить и его. Я и приложил аттестат свой².

Пятница, 26 июля 1846 г. 7 час. вечера.

...Ныне утром был я в университете, узнать о экзамене покорооче и побольше. Экзамен начнется 2 августа, будет продолжаться до 14 августа. Так поздно и растянут он в первый раз еще. Мне приходится быть в 3-й комиссии. Экзаменующихся разделят на 3 партии,

¹ Н. Г. Чернышевский, «Литературное наследие», 1928, т. II, Письма к родным, стр. 23.

² Там же, стр. 27.

по порядку букв алфавита, с которых начинаются их фамилии. Ныне от А до И в 1-м отделе, от К до П во 2-м, от Р до Я в 3-ем; в числе этих и я. Эти отделы называются комиссиями. И предметы, из которых экзаменуют, тоже делят на 3 отдела; ныне так: 1 отдел: русская словесность и языки; 2: закон божий, логика, история и география; 3: математика и физика. Все три комиссии держат экз. в одно время, каждая из особого отдела наук. Первой комиссии прежде всего держать экз. из наук 1 отдела, 2-й комиссии из 2-го, 3 из 3-го. Потом 1-я держит из 2-го, 2-я из 3-го, 3-я из 1-го. Наконец 1-я держит из 3 отдела, 2 из 1-го, 3-я из 2-го. Дни экзамена назначены 2-го, 7-го и 12-го августа, с 9 до 2 часов; итак, той комиссии, в которой буду я, держать экзамен: 2 августа: из математики и физики, 7-го из словесности и языков, 12 из зак. б., логики, истории и географии.

...С нового учебного года в университете не будет жить никого. Тем, которые были до сих пор на казенном, будут давать рублей сот пять (верно еще не узнали мы сколько) стипендии или вроде этого. Поэтому о житье в унив. со взносом, а не на квартире, нечего и думать. Это сказал Райковский, не верить невозможно. Чья это реформа, министра или Пушкина, я не знаю. По духу, кажется, Уварова. Ему дали графа. Студенты, почти все его удивительно любящие, радовались этому донельзя. Если б, говорит один, мне самому дали генерала, или даже графа же, я, кажется, не был бы рад столько¹.

2 августа 1846 г. 7 час. веч.

Ныне, как Вы и должны знать, начался экзамен нашей комиссии, первый раз физики и математики. Я держал ныне из физики, и, кажется, хорошо: Ленц остался доволен, сказал «очень хорошо», спросил, где я воспитывался. Он человек пожилых лет, но еще не седой, и здоровый и свежий. Завтра, бог даст, буду держать из математики; не знаю, успею ли написать Вам о следствиях: прием до 2 часов, едва ли успею до этого времени кончить. Ныне начался экз. в 9 часов, через минуту пришел попечитель и ректор. Экзаменовали четыре профессора вдруг, на 3 столах. Ленц экзаменовал на среднем, как председатель комиссии. Когда пришли ректор и попечитель, сели за этим же столом, но справа от Ленца, а Ленц остался на первых креслах. Налево, подле его кресел, кресла для экзаменуемого. При попечителе вызывали по порядку алфавитного списка; когда он ушел, вызывать перестали, а каждый подходит сам, раньше или позднее, как угодно, вроде того, как подходят исповедываться. Желаящий держать экз. подходит к столу, поклонится, профессор тоже ему; потом экзаменуемый берет билет, прочитывает его вслух, потом садится в кресла, поставленные налево от экзаменаторских (это на главном столе из физики, а на двух других, где экзаменуют из математики, кресла эти по обе стороны, так что экзаменуются двое или трое вдруг; там это можно, потому что экз. больше письменный), и экзаменуется, потом дожидается, сколько

¹ Г а м ж е, стр. 28—30.

поставят ему (но мне было слишком неучтиво нагибаться к самой бумаге, чтоб рассмотреть, тем более, что сам Ленц близорук, должно быть: очень низко нагибается писать), потом кланяется и уходит. Попечитель сидел часа два, до меня при нем ряд не дошел. Вслед за ним ушел и ректор¹...

6 августа 1846 г. Вторник СПб.

... В субботу, 3 числа, держал я экзамен из математики: пока все хорошо. Из алгебры и тригонометрии даже лучше, чем должно было надеяться мне. Главное, точно, бойкость, но не все можно сделать с одною бойкостью, но очень многое, по крайней мере, от нее зависит. Завтра будет экзамен из словесности и языков; не знаю, успею ли написать завтра об последствиях: экзамен начинается с 9 (ровно) часов и продолжается до трех или четырех. Как кто кончит, уходит. В общем балл из математики и физики должен быть 4 или 4¹/₂; 3 или 5 едва ли — завтра, может быть, узнаю. Просто хоть очки надевай: профессор нарочно при тебе ставит, чтобы видел, тебе ли точно поставил он, не ошибся ли в фамилии, а ты не видишь²...

10 августа суббота 1846 г.

...Экзамен идет хорошо: я кончил из математики, физики, словесности и языков; в общем балл должен быть 4 или 4¹/₂. Только из французского получил я 3, из матем. и лат. 4, из физ., слов. и нем. 5. Теперь остается держать из зак. бож., логики, истории всеобщ. и русской и географии. Экз. из них будет, как Вы знаете, 12 и 13 в понед. и вторник.

...Экзамен был 2 и 3 из физики и математики. 2 я держал из физики, 3 из математики; из арифм., геом., алгебры и тригонометрии берут по билету, из каждой из этих четырех частей математики получают особый балл, потом эти баллы складываются, и составляется из них общий один балл. Из словесности и языков был экз. 7 и 8. 7 я держал из словесности и латинского. Из словесности должно написать на тему. Мне досталось «Письмо из столицы». Потом я отвечал на несколько вопросов из истории русской литературы. Из лат. должно было перевести на латинский. Экзаменовали Фрейтаг и Шлиттер. Собственно экзаменовал Фрейтаг (он издал между прочим первые песни Илиады с лат. и греч. комментариями), но так как он не говорит свободно по-русски, то Шлиттер служит переводчиком, если экзаменующийся не говорит по-немецки. Я сделал здесь 3 глупости: первое, мне бы должно заговорить с Фрейтагом по-латине, а я не догадался, а когда догадался было уже поздно, потому что он уже занялся с другим, второе должно было взять не перевод, а сочинить; но это не в употреблении, потому должно было мне самому сказать, что я могу сочинять, а не дожидаться, что меня спросят об этом; третье (но я это узнал после из

¹ Там же, стр. 31—32.

² Там же, стр. 32.

немецк. экзамена), должно было спросить, нет ли у них здесь Тацита или Горация или другого автора, чтобы мне перевести без приготовления¹...

СПБ. 16 августа 1846 г. пятница.

...В университет я принят, как уже писал Вам. Особенно ничего при этом не было. Форма университетская несколько изменена: вместо черных кантикоз по воротнику темнозеленые, и еще что-то, еще менее важное. Лекции начнутся около 25 авг.²...

23 августа 1846 г.

...Если Вам угодно знать мои баллы на экзамене (сейчас получил Ваше письмо от 12 авг.), то вот они (нужно в общем балле три, в каждом частном из отдельного предмета 2, не менее, из латинского, закона божия и русской истории и словесности 3 непременно):

Физика 5, математика 4, словесность 5, латинский язык 4, немецкий 5, французский 3, логика 5, география 3, закон божий 5, история: всеобщая 5, русская 5.

Нужно для поступления всего 33 балла и не иметь единицы. Всех баллов можно иметь (высшее число) 55.

...В пятницу начались лекции.

В первом курсе филол. отделения и в пятницу, и в субботу их три.

В пятницу 1-ые часы (9—10^{1/2}) латинская словесность. 2-ые (10^{1/2}—12) один из новейших языков (фр., нем., английский или итальянский; я избрал английский). 3-и свободны; 4-ые (от 1^{1/2} до 3) всеобщая история.

(Этой лекции нынче не было: Куторга, профессор истории, еще не приехал, а приедет 24 в субботу).

В субботу первые часы (9—10^{1/2}) латинский язык. Вторые (10^{1/2}—12) всеобщая история (завтра будет первая лекция ее, говорят, очень любопытная и занимательная всегда). Третьи часы опять свободны.

Четвертые (1^{1/2}—3) богословие. На эти лекции (богословские) собирается весь первый курс, изо всех факультетов. Лекций в другие дни я еще не запомнил³...

30 августа 1846 г. утро.

...Вот уже неделя, как начались лекции, а я все еще не могу ни себе, ни другим сказать ничего порядочно, основательно о здешнем университете и профессорах.

Главные профессора филологич. факультета: Грефе, пр. греч. яз.; Фрейтаг, пр. лат. яз.; Фишер, пр. философии; Куторга, пр. всеобщей истории и Устрялов — русской. Грефе и Фрейтаг не читают в

¹ Там же, стр. 33, 34.

² Там же, стр. 35.

³ Там же, стр. 38—39.

первом курсе, а латинский читает преподаватель Шлиттер, греческий — Соколов. Ни о ком еще я ничего не могу сказать.

Я начал учиться по-английски, как уже писал Вам. Купил грамматику, лексикон (на французском и то, и другое) и хрестоматию; все это стоит 2 р. 70 коп. сер.

Грамматика прекрасная (Садлера). О хрестоматии, кажется, нельзя этого сказать.

Позвольте просить Вас, милый папенька, не стараться самим и посоветовать и дяденьке с тетенькою перестать хлопотать о помещении Саши на казенное содержание: нечего думать о том, как его содержать в университете; ведь живут же и учатся такие люди, которые ни копейки не получают ни от кого на свое содержание. Так и живут уже, так и учатся, скажут, может быть. Нет, не кое-как, а прекрасно и живут, и учатся. Притом же положение Саши, когда он придет сюда по окончании курса, будет все гораздо лучше, чем положение какого-нибудь Благосветлова или Лебедевского (чтобы брать примеры из Саратова). У него в Петербурге будет брат. Тем более прошу Вас не отдавать его на казенное содержание, что ведь слишком заметно, что его очень не хотят принять. Легко могут выйти из этого разные дразги.

...Злодей и негодяй не родится злодеем и негодяем, а делается им от недостатка нравственного воспитания и бедности, ужасающей необходимости быть злодеем и негодяем или умереть с голоду и, наконец, дурного общества, в котором с младенчества находится, и что у всякого почти, как бы дурен ни был он, остаются еще известные струны в сердце, дотронувшись до которых, можно пробудить в нем голос совести и чести, возродить его¹...

30 августа 1846 г. вечер.

...У нас 21 лекция в неделю, так что только 3 лекции в неделю остаются свободными; нигде нет так много лекций: у Алекс. Феодоровича, например (в 4 курсе Юр. отделения), 15 лекций в неделю, 9 остается свободных; это очень хорошо, потому что в эти часы очень удобно заниматься в Библиотеке, а это ведь и есть важнее и полезнее всего.

...Иные профессора прекрасные. Но, главное, все любят без памяти свой предмет. Хорошо ли он, нехорош ли, как хочешь суди о профессоре, но с этой стороны они заслуживают полного, беспредельного уважения².

6 сентября 1846 г. (пятница, вечер).

... Только страхом и кровью можно действовать на этих чудовищ, палачей низших классов, говорит браконьер; удивительно говорит. Нет, говорит Мартин, больных лечат не так, что приведут в госпиталь, пред глазами их застрелят больного подобною болезнью и скажут: «Смотрите, вот и вас так застрелят, коли не выздоровите».

¹ Там же, стр. 39—40.

² Там же, стр. 42—43.

И злых должно лечить, размягчая, а не устрашая их сердца и волю, и я сделаю это с графами, отцом и сыном. Потом еще удивительно хороши некоторые места в записках Мартина¹...

20 сентября 1846 г. пятница.

... Книги беру из библиотеки университетской; такая жизнь должна продолжаться не более месяца; дела университетского нет, слава богу; лекций 21 в неделю, но стоят внимания только 5: две всеобщей истории (читает Куторга), две психологии (читает Фишер) (не судите о нем по вступительной его лекции философии в Ж. М. Нар. Просв.², которая мне казалась и кажется нескладною; он, напротив того, отличается строгим логическим выводом) и, наконец, лекция Касторского — славянские наречия. О других лекциях напишу когда-нибудь.

О французском языке Вы пишете. Книжным образом я знаю его столько, что для усовершенствования мне себя в нем не нужно особого времени употреблять: это пойдет само собою вперед от чтения французских книг, которые мне нужно или интересно будет читать для других целей — по части истории и философии; так незаметно и гораздо лучше и скорее. Усовершенствовать произношение? Но теперь мне почти невозможно достигнуть хорошего произношения, разве проживши лет 10 между французами; а иначе, как я ни старайся, все мое произношение будет смешить. Учиться говорить? В сущности, это бесполезно и ненужно. Если будет случай выучиться без потери минуты времени и без всякого труда, живя, вместо того чтобы с русским, с французами, почему же не выучиться? Иначе стоит ли потерять на это хоть бы час времени? Даже в светском отношении уменье говорить по фр. слишком пошло, для того чтобы придать здесь какую-нибудь цену или лоск человеку: здесь множество лакеев русских, природных, говорят по-французски; уменье говорить по-французски нельзя считать здесь и признаком нехорошего воспитания. Я, конечно, не допрашивал всех профессоров наших, например, кто из них говорит по-французски, и не знаю, сколько именно не говорит, но Устрялов, Неволин (из духовных, автор «Энциклопедии Законоведения»), Никитенко, один из самых светских людей здесь и самых уважаемых и ловких в обществе, который читает нам историю литературы — не говорят ни по-французски, ни по-немецки, ни на каком другом языке. (Только Неволин, бывши в Германии, поневоле выучился говорить по-немецки): следовательно об этом нечего не только думать, даже и раз как-нибудь подумать: не стоит того³...

28 сентября, 1846 г.

...Библиотека университетская не слишком, кажется, богата.

...По философии, например, экземпляры сочинений Гегеля не полон: трех или четырех томов из середины нет. Вообще довольно бедная библиотека.

¹ Там же, стр. 46.

² «Журнал Министерства народного просвещения», кн. XLV, 1845.

³ Н. Г. Чернышевский, «Литературное наследие», т. II, Письма к родным, стр. 49.

...Но там читать, вот неудобство: комната для чтения особенная, а не в библиотеке читают. В эту комнату приносят библиотекари только те книги, которые потребованы. Записываешь в книгу, что нужно тебе, и на другой или третий день приносят.

Кроме этого, в ней лежат несколько беспрестанно надобящихся сочинений, например полное собрание законов (экземпляра три), Энциклопедия Эрша и Грубера (очень хорошая, лучшая, кажется, какая есть). Несколько годов Журнала М. Н. Просвещения и еще несколько подобных книг¹...

Дни 9—10	1/2	10 1/2—12	12—	1 1/2 1 1/2—3 ^а
Понедельник	Латинский язык. Преподаватель Шлиттер	Богословие. Законоучитель Райковский	Опытная психология. Ордин. проф. Фишер	Русская литература. Адъюнкт Никитенко
Вторник	Греческий Адъюнкт	язык Соколов	Свободная лекция	Славянские наречия. Адъюнкт Касторский
Среда	Латинский язык. Преподаватель	Римские древности. Шлиттер	Русская литература. Адъюнкт Никитенко	Опытная психология. Ордин. проф. Фишер
Четверг	Греческий Адъюнкт	язык Соколов	Свободная лекция	Богословие. Райковский
Пятница	Латинский язык. Преподаватель Шлиттер	Новые языки	Свободная лекция	Всеобщая (у нас древняя) история. Ордин. проф. Куторга
Суббота	Свободная лекция	Всеобщая (древняя) история. Ордин. проф. Куторга	Свободная лекция	Богословие. Райковский

12 октября 1846 г. СПб... Суббота, 9^{1/2} часов утра.

...Теперь еще трудно видеть расположение профессоров, потому что они, кроме профессоров языков, прямо всходят на кафедру, читают без перерыва и потом уходят, не говоря никому особенно ни слова обыкновенно, если сам не начнешь говорить с ними.

¹ Там же, стр. 51.

² Там же, стр. 57.

Впрочем, Фишер, кажется, смотрит на меня хорошо: именно, смотрит: читает, а когда вывертывается 2—3 минуты, что не нужно записывать, потому что он повторяет вкратце или делает такие объяснения, что в записках довольно намекнуть на них одним словом, и когда станешь смотреть на него, то он заметно довольно, что как будто бы обращается или, как это сказать, не знаю, ко мне, смотрит на меня, как будто думает, что я очень могу понимать и интересуюсь его предметом¹...

25 октября 1846 г.

... Да, вот Плещеев — вышел в поэты и вышел из университета, Белинский не выдержал экзамена в университет московский; впрочем, поступил в вольнослушающие и все-таки не дослушал до степени²...

СПБ 13 декабря 1846 г.

... Александр Феодорович пишет: «О коллегиальном управлении в России в XIX столетии». На степень кандидата нужно непременно написать рассуждение. От обязанности представлять особое рассуждение на степень кандидата освобождаются только те, которые получили за прежнее рассуждение золотую медаль. На медаль назначаются ежегодно по теме для рассуждения по каждому факультету; пишут только желающие. Обыкновенно три, четыре человека по юридическому и камер. факультетам, по другим два, один даже, потому что другие факультеты не так многочисленны. Впрочем, медали могут и не дать никому; но это кажется редко или вовсе не бывает.

Темы для рассуждений на степени избирают сами и подают профессору, по предмету которого написано рассуждение. Ал. Феод. подает П. Д. Калмыкову, который читает между прочим «Государственные законы Российской империи», где излагается и история верховной власти, правительственных мест и сословий.

Слушать лекции других факультетов можно в свободные часы. Но читать самому гораздо полезнее, нежели слушать лекции; тем более, что всех лекций какого-нибудь профессора из другого факультета слушать нельзя, потому что некоторые из них будут приходиться в часы, занятые своими лекциями, а отрывками слушать довольно бесполезно.

Профессора, которых стоит слушать, кроме филологического факультета, Невалин, Ленц, С. Куторга, профессора восточного факультета. Особенно много бывает посторонних слушателей у С. Куторги: всегда не менее 100 человек.

Мне кажется, что лекции должно предпочитать книгам только тогда, когда их читает человек, подобный Невалину, но таких людей не много. Разве Фрейтаг и Грефе только. Но их еще я буду слушать.

¹ Там же, стр. 58.

² Там же, стр. 65.

Лекции прочих профессоров вообще хороши для тех, у кого нет охоты и умения читать.

Мне вообще кажется этот метод читать лекции, которые должны писать слушатели, хуже метода английских университетов, где профессор издает книгу и назначает другие для изучения, а сам читает 20, 30, много 50 часов в год предмет, да и то главным образом литературу, библиографию наук. Это несравненно основательнее¹.

5 апреля 1847 г., СПб.

...Экзамены, впрочем, теперь у нас расположены так:

Мая	6	славянские наречия, экзаминаторСрезневский
"	8	греческий язык	"Соколов
"	14	история (древняя)	"Куторга
"	21	психология	"Фишер
"	24	церковно-славянский	"Касторский
"	29	русско-славянский	"Никитенко
Июня	2	богословие	"Райковский
"	4	римская словесность	"Шлиттер
"	6	римск. древности	"Шлиттер

Но должно быть это еще переменится: большая часть говорят, что мало (3 дня только) на богословие, и потому хотят переменить порядок. Но все равно переменится только порядок экзаменов, а все равно они начнутся и кончатся 6 числа².

ПИСЬМО К И. И. СРЕЗНЕВСКОМУ.

19 июня 1848 г.

... Я исключаю из того словаря, которым теперь занимаюсь, собственные имена и грамматические слова (местоимения), местоименные наречия, предлоги, союзы. Причины этого я объясняю в своих замечаниях, приложенных к началу словаря. Этот словарь, заключающий в себе, таким образом, нарицательные существительные, прилагательные и глаголы, не далек от окончания в том виде, какой придан отрывку его, посылаемому теперь на Ваше рассмотрение. Для окончания его в таком виде понадобится около месяца работы.

Но, с одной стороны, я не хотел бы ограничить этого словаря одною Ипатьевскою летописью, с другою мне хотелось бы, кроме этого филологического словаря, составить исключительно по источникам, но по всем ныне доступным источникам, реальный словарь русской истории и древностей до начала московского периода или, по крайней мере, до конца XIII века.

Составить такой реальный словарь будет совершенно необходимо, если Вы, Измаил Иванович, сочтете основательными представляющиеся мне сомнения относительно того, следует ли грамматические изыскания о русском языке XII и XIII века начинать исследованием языка летописей в грамматическом отношении. Тогда, если выбирать

¹ Там же, стр. 77.

² Там же, стр. 113.

предметом диссертации¹ что-нибудь из русского, мне должно будет избрать предметом своей диссертации не самый язык летописи Ипатьевской, а разъяснение какой-нибудь стороны нашей истории или древностей материалами преимущественно филологическими (напр., нравственной или умственной стороны жизни народной; или иноземных влияний на жизнь русских людей в XII и XIII веках; или вопрос о том, до какой степени можно узнать личности различных редакторов Ипатьевской летописи, летописцев и других писателей, которыми они пользовались и т. п.).

С мыслями о составлении реального словаря я оставил без разъяснения в настоящем отрывке почти все реальные слова (напр. впятиград, бог, брат, ятры, ангел, бес и т. п.) — настоящее место им в реальном словаре по всем памятникам, а не в филологическом словаре по одному памятнику²...

ИЗ ПИСЕМ К РОДНЫМ.

29 августа 1849 г.

... Теперь еще не известно нам, сколько всего остается студентов в университете здешнем; когда узнаю, напишу Вам об этом, милый папенька. В первый курс поступило по одному (кажется, по одному) ученику из каждой гимназии петербургского округа, всего около 12 должно быть человек, и человек пять по экзамену (двоих, например, приказал принять, т. е. допустить к экзамену, наследник, третий — сын Ленца, декана естественного факультета и т. п.). Таким образом первый курс составился из 15—16 человек, и они разбрелись на 6 факультетов по двое и по трое на факультет. На наш факультет поступило двое — это еще ничего, но странно, я думаю, профессорам, привыкшим к сотне или больше слушателей, как Неволин, Калмыков и другие юристы, видеть перед собой троих³.

Посылаю вам, милый папенька, список лекций нашего курса.

Грефе читает у нас (т. е. переводит) ... Софокла.

Штейнман (зять Грефе, молодой человек, которого хвалят) читает греческие древности.

Фрейтаг переводит Тибулла.

Устрялов новую (с Петра и большую половину года, кажется, о Петре) историю.

Никитенкины лекции — педагогические, т. е. посвящаются на чтение наших статей, разговоры об относящихся к литературе вопросах и т. п.

¹ История официального прохождения магистерской диссертации Чернышевского подробно изложена Е. Ляцким в «Голосе минувшего» № 1, 1916; там же напечатаны и материалы из университетского архива.

² Н. Г. Чернышевский, «Литературное наследие», т. II, Письма к родным, стр. 319—320.

³ Распоряжением министерства народного просвещения в апреле 1849 г. было ограничено число своекоштных студентов на философском и юридическом факультетах по всем университетам цифрой трехсот, с тем, чтобы, пока наличное число их не войдет в этот размер, прием в университеты был приостановлен.

Курторга еще не начал лекций. Не знаю, будет ли он продолжать среднюю историю, с начала феодального периода, на котором остановился в прошлом году, или начнет новую.

Плетнев читает историю русской литературы. Срезневский еще не начинал лекций. Будет читать или историю русского языка, или русской литературы в древнейший период¹.

(К письму от 29 авг. 1849 г.).

Расписание лекций 4 курса филологического факультета²:

Дни	Первая лекция (9—10 ^{1/2})	Вторая лекция (10 ^{1/2} —12)	Третья лекция (12—1 ^{1/2})	Четвертая лекция (1 ^{1/2} —3)
Понедельник .	—	Грефе	Фрейтаг	Устрялов
Вторник . . .	Грефе	Штейнман	Никитенко	Курторга
Среда	—	—	Плетнев	Курторга
Четверг . . .	Фрейтаг	—	Грефе	Курторга
Пятница . . .	—	—	Срезневский	Устрялов
Суббота . . .	—	Плетнев	Неволин	

6 сентября 1849 г.

... В университете нашем нового то, что казеннокоштные студенты к 3 сентября должны были все перейти на частные квартиры; им, вместо прежнего содержания от казны, стали выдавать деньги, по 200 р. сер. в год; для тех, у кого есть родственники здесь, это очень хорошо, они даже будут служить маленькою помощью для родственников; но у кого нет родственников здесь, 200 руб. сер. маловато. Их выселили из университета потому, что понадобились занимаемые ими комнаты. Некоторые говорят, что в них хочет устроить себе квартиру попечитель — этого было бы нельзя никак похвалить, да и квартира была бы не слишком удобна — комнаты все проходные, так что ряд их походит больше на коридор с маленькими перехватами, нежели на ряд комнат³...

25 октября 1849 г.

... У нас большие перемены в правительственных лицах. Министр наш, граф Уваров, подал в отставку. Это предвидели уже давно и с неделю тому назад разнеслись решительные слухи, что на-днях он подает в отставку. Наконец, вчера действительно подал.

Все говорят, что на место его будет министром Народного Просвещения граф Протасов. Кажется, это несомненно. Пять дней тому назад говорили, что на место Протасова обер-прокурором в Синоде будет князь Ширинский-Шихматов, который теперь товарищ министра народного просвещения, и тогда говорили за верное, что место

¹ Н. Г. Чернышевский, «Литературное наследие», т. II. Письма к родным, стр. 167.

² Там же, стр. 136.

³ Там же, стр. 137.

его (товарища Мин. Нар. Просв.) займет наш попечитель, Мусин-Пушкин, а попечителем сделают теперешнего помощника попечителя Кочубея. Теперь перестали говорить о Ширинском и, следовательно, о этих дальнейших переменах от его перемещения. Напротив, третьего дня я слышал, что обер-прокурором в Синоде будет Адлерберг, молодой человек, очень близкий через своего отца к государю, который его очень любит, почти домашний человек в императорском семействе. Да русский и чрезвычайно набожный человек, как я слышал. Вчера, наконец, я слышал, что обер-прокурором будет или он, или Ростовцев, или наконец Протасов останется и обер-прокурором попрежнему, сделавшись министром Народного Просвещения¹...

31 октября 1849 г.

...В Казани лекции по часу — у нас по полутора часа, по-старому. У них тоже много лекций².

12 декабря 1849 г.

... Не соглашаться на то, если бы аткарские тетенька и дяденька вздумали отдать Сашеньку на казенное; сделайте милость, не отдавайте. Я в последнее время стал было думать, что это ничего, и в самом деле, если можно сказать, что в каком-нибудь университете можно идти на казенное, то в здешнем университете, и именно по нашему факультету; благодаря, главным образом, кажется, Куторге, профессору истории, у нас по нашему факультету учреждена лет пять или года четыре назад стипендия в пользу одного из казенных студентов, окончивших курс по нашему факультету, каждый год: ему дается 1500 или 1800 рублей ассигн. (по 1000 или 1200 р. в год, не знаю, в продолжение 1½ года) с обязательством держать экзамен на магистра по одной из факультетских кафедр; кажется, чего лучше после этого? Получить ее легко казенному студенту, потому что их всего в каждом курсе 2—3 человека (в нашем 2). А между тем, все профессора, как скоро заговаривают с вами об окончании курса или тому подобном, спрашивают Вас: «ведь Вы, кажется, не казенный?» «Нет». «Ну и слава богу». Значит, есть большая разница. Мне самому говорили это двое, с которыми одними и случилось мне говорить об этом. Верно и все скажут то же³...

3 января 1850 г.

... Плетнев утвержден в звании ректора, в которое теперь назначают государем, а не выбирают советом⁴.

¹ Управление министерством народного просвещения после отставки Уварова перешло с октября 1849 г. к товарищу министра, П. А. Ширинскому-Шихматову, который и оставался министром с 1850 г. до своей смерти (в мае 1853 года).

² Н. Г. Чернышевский, «Литературное наследие», т. II, Письма к родным, стр. 141—142.

³ Там же, стр. 149.

⁴ Там же, стр. 153.

10 января 1850 г.

... Комиссия, преобразовывающая учебные заведения и особенно университеты, хочет сделать так, что кончающие курс в университетах не будут получать никаких преимуществ в чинах, а только 4 года, которые пробыли они в университете, будут зачитаться в службу тем, которые имели право служить, а купцам и мещанам будет даваться почетное гражданство или что-то в этом роде. Это самое верное средство отбить у всех охоту идти в университет. Другие говорят, что необер-офицерские дети и не будут допускаемы в университет, а некоторые говорят, что и обер-офицерские дети не будут допускаемы, а одни только дворяне¹...

14 марта 1850 г.

... Чем ближе подходит время окончания курса, тем больше думаешь о том, какое получишь и скоро ли получишь место². У нас в курсе 12 человек, едва ли когда столько бывало в филологическом факультете. Из них человек 9 или 8 по крайней мере хотят остаться здесь; другие (не знаю даже, едва ли есть хоть один, который хотел бы) немногие согласятся принять место не в Петербурге, если уже так понадобится³...

25 мая 1853 г.

... Дела мои в Петербурге идут пока так, как надобно желать. Просьбу о магистерском экзамене подал я в пятницу, потому что попечитель велел прежнюю просьбу переписать, поставивши, вместо четырехмесячной отсрочки моему отпуску, шестимесячную. Он вообще со мною очень ласков и хотел представить министру, чтобы меня оставили в Петербурге по делам службы, для того чтобы не прекращалось жалованье. Не знаю, согласится ли на это министр (т. е. управляющий министерством). Экзамен велел он держать в сентябре.

... Саша кончает свои экзамены, остался из факультетских предметов только один — педагогика, которую читал Фишер по книге Евсевия «О воспитании детей в духе христианского благочестия». До сих пор у Саши везде полные баллы. Ему, кажется, дадут магистерскую стипендию (1200 р. асс.), которая влечет за собою только одну обязанность — держать магистерский экзамен. Вообще он ведет свои дела хорошо⁴...

10 августа 1853.

... Уроки у меня будут во 2-м Корпусе и в Дворянском Полку. Введенский, который должен приехать около 1 сентября, передаст

¹ Там же, стр. 154.

² С конца июня 1850 г. по май 1853 г. Чернышевский состоял преподавателем Саратовской гимназии и жил в Саратове.

³ Н. Г. Чернышевский, «Литературное наследие», т. II, Письма к родным, стр. 167.

⁴ Там же, стр. 184—185.

еще мне половину своих уроков, так что у меня наберется уроков в корпусах вероятно на 1000 р. сер.; на следующий год можно будет иметь больше, если понадобится¹...

21 сент. 1853.

... Я, кажется, еще не писал Вам, милый папенька, что, рассмотрев обстоятельства ближе и посоветовавшись кое с кем, я увидел, что лучше держать экзамен по словесности, нежели по славянским наречиям. Диссертацию свою пишу об эстетике. Если она пройдет через университет в настоящем своем виде, то будет оригинальна, между прочим, в том отношении, что в ней не будет ни одной цитаты, а всего только одна ссылка. Если же найдут это не довольно ученым, то я прибавлю несколько сот цитат в три дня. По секрету можно сказать, что гг. здешние профессора словесности совершенно не занимались тем предметом, который взял я для своей диссертации, и потому едва ли увидят, какое отношение мои мысли имеют к общеизвестному образу понятий об эстетических вопросах. Им показалось бы даже, что я приверженец тех философов, которых мнения оспариваю, если бы я не сказал об этом ясно. Поэтому я не думаю, чтобы у нас поняли, до какой степени важны те вопросы, которые я разбираю, если меня не принудят прямо объяснить этого. Вообще у нас очень затмилась философия с тех пор, как умерли или замолкли люди, понимавшие философию и следившие за нею²...

14 сентября 1854 г.

... Дело о моем магистерстве, так несносно тянувшееся, опять подвигается: скоро начну печатать свою диссертацию. Из этого не следует однако, чтобы конец был уже близок; хорошо было бы, если бы диспут был назначен через два месяца. Я на это не рассчитываю и сочту себя счастливым даже тогда, когда это несносное дело кончится к Рождеству. Все обращаются с ним, как бы это была формальность, но легче ли оттого мне, что, не думая подвергать дело сомнению, оставляют его лежать от одной недели до другой³!?

19 апреля 1855 г.

Если бы я знал наперед, что это дело будет тянуться около полтора года, конечно я стал бы держать экзамен по какому-нибудь другому предмету, а не по русской словесности; но если бы мне сказали наперед, что он будет тянуться полтора года, я не поверил бы этому. Но что делать, так расположились обстоятельства. В нынешнем, 1854/55, году совершенно не было экзаменующихся на магистра по филологическому факультету — но, на мою беду, в прошедшем было их человек шесть или семь, и все были официально понуждае-

¹ Там же, стр. 193.

² Там же, стр. 199.

³ Там же, стр. 225.

мы своими начальствами (попечителями разных университетских кругов) к скорейшему окончанию дела для возвращения к должностям. Один я был здешний и держал экзамен не по настоянию и не под покровительством министерства — следовательно занятый другими магистрантами факультет всегда отлагал мои экзамены — и для меня три заседания растянулись, вместо двух недель, на пять месяцев. Правда, эти заседания в сложности продолжались три часа, но полчаса отняло почти полгода, и устные экзамены мои кончились, уже не помню, когда именно, но великим постом, и Никитенко отложил рассмотрение моей диссертации до каникул; во время каникул Норов начал поручать ему множество разных дел, — и ему было не до моих тетрадей. Потом он был болен, потом опять занят делами, потом опять болен, и эта история кончилась месяца полтора тому назад. Тут только началось рассмотрение диссертации, пролежавшей в пыли около года. С месяц потом употреблено было на чтение другими членами факультета, и только 11 апреля она была утверждена. Но теперь все случаи проволочек миновались, и делу предстоит конец. Заглавие моей диссертации «Об эстетических отношениях искусства к действительности»; величина ее — около 100 страниц большого формата и мелкого шрифта¹...

16 мая 1855 г.

... Диспут мой был во вторник, 10 мая, как я Вам писал поутру в этот день. Заключился он обыкновенным концом, т. е. поздравлениями, потому что диспут чистая форма. Никитенко возражал мне очень умно, другие, в том числе Плетнев, ректор, очень глупо. Впрочем, и Никитенко повторял только те сомнения, которые приведены и уже опровергнуты в моем сочиненьишке, которое, как ни плохо, все же основано на знакомстве с предметом, почти никому у нас не известным, потому и не может иметь серьезных противников, кроме разве двух-трех лиц, к числу которых не принадлежит ни один из людей, мне известных. Диспут продолжался очень недолго, всего 1½ часа, потому что присутствовал попечитель Мусин-Пушкин, который добрый человек, но не совсем благовоспитан в обращении и потому всегда стесняет своим присутствием.

Я думал, что придется мне говорить что-нибудь дельное в ответ на возражения или, по крайней мере, по поводу их — но они были так далеки от сущности дела, что и ответы мои должны были касаться только пустяков. Одним словом, диспут мог для некоторых показаться оживлен, но в сущности был пуст, как я, впрочем, и предполагал. Не предполагал я только, чтобы он был пуст до такой степени².

¹ Там же, стр. 252.

² К этому письму приложено письмо А. Н. Пыпина, в котором он пишет: «10 мая был Николин диспут. На него собралось довольно много знакомых; оппонентами были назначены Никитенко и Сухомлинов, но Николая очень хорошо от них отделялся. Вообще диспут был очень оживленный, что случается у нас редко. Продолжался он часа полтора». — О диспуте см. А. Н. Пыпин в статье «Несколько воспоминаний» в книге «Н. А. Некрасов», СПб 1905, стр. 21—22. Ср. Н. Шелгунов, Собр. соч., т. II, стр. 685. Ср. в герценев-

Теперь буду готовить мало-помалу, сколько позволяет время, которого у меня очень немного, диссертацию на доктора — о чем, однако, не намерен распускать здесь слухов, пока она не будет [готова]. Надобно бы и приготовить ее к ближайшему позволительному сроку представления, т. е. к следующему маю месяцу¹...

28 июня 1855 г.

... У нас еще очень мало людей, знакомых с нынешним положением наук; все сведения людей, не принадлежащих к числу записных ученых, почерпаются обыкновенно из французских журналов, особенно из *Revue des deux Mondes*; записные ученые знают только книги, вышедшие назад тому двадцать лет; новые дойдут до них разве еще через двадцать лет. Потому никто не понимает, если заговорить так, как говорят истинные немецкие или английские ученые. В некоторых разборах моей книжки (читанных мною, впрочем, очень бегло, потому что они не стоят внимания) это обнаружилось самым забавным образом: самые простые и несомненные мысли кажутся разбирающему странными, каждый приписывает их исключительно мне, тогда как они столько же изобретены мною, как мысль, что поутру всходит, а вечером заходит солнце. Вообще нет ничего забавнее наших ученых и полуученых людей. Их нужно бы переучивать с азбуки. Отчасти я делаю это, насколько то возможно, в разных статьях, и пресмешно видеть, как эти статьи приводят их в недоумение. Но вообще надобно сказать, что они люди, хотя и ограниченные, но добрые и готовы соглашаться с правдою, когда втолкуешь им ее, — что, впрочем, делается не сразу. Так, например, на днях был очень забавный случай, у нас начали было толковать, что нужно, уча детей грамматике, преподавать им ужасные мудрости, известные под именем филологии, общесравнительной и исторической. В нескольких статейках², по поводу грамматик, написанных с этими премудростями, я объяснил, что это нелепо, и вчера Срезневский, один из главнейших представителей филологического направления, сказал мне: «А к чему же наконец приведет филология?» — «Ни к чему», отвечал я — и он сказал: «Да, правда» — конечно, он не навсегда сохранит такой взгляд; старинное пристрастие увлечет его, но все-таки мои объяснения принесли и ему некоторую пользу; а другие читатели убеждаются еще легче. То же самое было с пристрастием к библиографии, которое теперь также упадет, отчасти при моей помощи. У нас можно конечно мало-помалу делать кое-что, чтобы направлять читателей, даже таких, которые считают себя знатоками дела. Это поддерживает и охоту толковать с ними; иначе не стоило бы труда³...

ском. «Колоколе» № 190 (извлечения даны в книге Ч. Ветринского «Н. Г. Чернышевский», стр. 118—120). Воспоминания во многом противоречат между собой.

¹ Н. Г. Чернышевский, «Литературное наследие», т. II, Письма, стр. 256.

² См. рецензию на «Грамматические заметки» В. Классовского («Современник» № 4, 1855, Чернышевский, Полное собр. соч., т. I, стр. 359—364).

³ Н. Г. Чернышевский, «Литературное наследие», Письма, т. II, стр. 260.

[Получено 16 июня 1857 г.]

... Ваша рукопись хрестоматии для сельских школ доныне лежит во II отделении Собств. Канцелярии Его Велич. и, по обыкновенному в наших присутственных местах порядку, залежалась там гораздо дольше, нежели мы предполагали. Но все-таки скоро должна быть возвращена с разрешением печатать. Вашу рукопись «Арифметика для сельских школ» присылайте мне, не сомневаясь в том, что она немедленно будет напечатана. Тут нет законов, — следовательно, нет и задержки: обыкновенная цензура пропустит ее. Я говорил Давыдову (книгопродавцу, у которого в магазине контора *Соврем.*), он с радостью берет печатать ее на означенных Вами условиях. Но мы здесь посмотрим, не можем ли сами, без книгопродавцев, издать ее, что было бы выгоднее для Вас. «Хрестоматия» отправлена во II отделение К. Е. В., потому что это место (издающее свод законов с продолжениями, полное собр. Зак. и т. д.) цензирует все книги, в которых излагаются действующие законы Русской Империи.

Арифметику будет читать только обыкновенный цензор и возвратит, конечно, через неделю, много через две, после того как возьмет.

Я очень рад, что Вам понравилась статья Ламанского об учреждении общества для распространения знаний¹, или, скорее, не статья, имеющая свои недостатки, а мысль статьи, действительно прекрасная. Жаль только, что мысль эта слишком мало находит сочувствия. Я ожидал, что ею не все так заинтересуются, как Вы и я, но все-таки думал, что будет хотя некоторое сочувствие в журналах — кажется, ничего такого не обнаружилось в наших литераторах. Ламанский не совсем чист от славянофильства — нелепость славянофильства можно оценить вполне только, когда говоришь с его последователями свободно, не стесняясь ценсурой. Боже праведный, какие не совместимые с здравым умом мысли соединяются в их головах! Об ином они говорят так, что одна фраза кажется заимствованною из Прудона, а другая, за нею непосредственно следующая, из жития Симеона Столпника, о другом так, что одна мысль — из Белинского, другая — из Булгарина. Это народ странный! Ближе всего их поймешь, когда представишь, что имеешь дело с людьми, одержимыми мономаниею — человек благородный, умный, образованный, обо всем говорит превосходно, — коснись предмета помешательства, начнет пороть дичь, которой сам не понимает, — а Вы понимаете, что он знает только то, в чем соглашается с Вами, а в чем не соглашается, того не понимает и не хочет слушать никаких объяснений или все Ваши объяснения перетолковывает самым диким образом. У Ламанского есть в статье несколько таких замашек. Но Вы приписываете ему взгляд, которым он гнушается, когда думаете, что он не заботится о народе (простом), — а напротив, в этом отно-

¹ Здесь разумеется статья В. И. Ламанского «О распространении знаний в России» — «Современник» № 5, 1857.

шении он может быть дальше нас с Вами. Мы спасение видим в просвещении, а он, кроме того, еще в особенных благодатных дарах нашего простонародья, перед которыми благоговеет. Если выходит у него чепуха, то что ж делать? Славянофил без чепухи жить не может. Он до избытка любит славянские племена — это конечно личное пристрастие, никому не вредное, когда он не менее горячо любит и западное просвещение. Еще месяц подождем, что скажут о его статье журналы. К сожалению, мы еще не способны ценить важных мыслей. Мелочи всегда отвлекают внимание наших литераторов от предметов истинно государственных¹...

13 января 1859 г.

... Вчера узнал я неожиданную новость о деле, про которое забыл думать, но которое, вероятно, интереснее для Вас. Вот уже почти четыре года, как я держал экзамен на магистра. По окончании всех формальностей, решение университетского совета было, как обыкновенно, представлено на утверждение министру народного просвещения. Министром в то время был Норов, который не мог слышать моего имени, — почему? бог его знает, я никогда его в глаза не видел, но были у меня доброприятели, которые потрудились над этим. Отвергнуть представление университета он не решился, потому что это было бы нарушением обычных правил, но положил бумаги под сукно. Университетские очень обиделись и года два приставали ко мне, чтобы я подал в университет вопрос о моем магистерстве, — тогда университет имел бы формальное основание вести дело. Я отвечал, что мне в этом нет надобности, что если они обижены, то могут поступать как угодно, а что я даже рад этому случаю несогласия министра. Действительно, я был рад, потому что, слава богу, имею некоторую репутацию, не нуждающуюся в министерских утверждениях, а это дело придавало ей больше эффекта. Наконец, сменился Норов. Университетские опять приставали ко мне, чтобы я дал им нужную бумагу. Я опять сказал, что не имею в том надобности. Наконец, вчера, не знаю как, получается утверждение министра². Я улыбнулся. Теперь опять возобновятся предложения занять кафедру в университете. Прежде я не мог принимать их, потому что с этим была связана необходимость просить университет об окончании магистерского дела. Теперь посмотрю, какую кафедру будут предлагать и на каких условиях. Тут есть еще формальности, на которые я не соглашусь: докторский экзамен, пробная лекция. Я не мальчик, чтобы держать экзамены и читать пробные лекции. Если найдут возможным отбросить эти формы, которым теперь мне уже неприлично (по моему мнению) подчиняться, я соглашусь, а если нет, не соглашусь, потому что надобности в месте не имею³...

¹ Н. Г. Чернышевский, «Литературное наследие», т. II, Письма к родным, стр. 329—330.

² 29 октября 1858 г. Николай Гаврилович Чернышевский министром народного просвещения утвержден в степени магистра.

³ Н. Г. Чернышевский, «Литературное наследие», т. II, Письма к родным, стр. 281.

[Февраль 1862 г.]

При свидании я перескажу Вам, Андрей Александрович, какие толки идут об участии Головнина в развязке дела Шапова¹, если Вы не услышите об этом раньше от других. Лица, занимающиеся соби-



Арест Н. Г. Чернышевского.

ранием подписей, просят Вас сделать несколько списков с прилагаемой окончательной редакции записки, назначенной для передачи Головнину, и раздать эти списки тем из Ваших знакомых, которые захотят также собирать подписи²...

¹ Известный историк и профессор Казанского университета и Духовной академии А. П. Шапов за речь на панихиде по убитым 7 апреля 1861 г. в селе Бездне Казанской губернии крестьянам был арестован и препровожден в Петербург. Здесь, сидя в тюрьме, он написал письмо на имя Александра II о необходимости преобразования государственного строя и развития просвещения. Через несколько месяцев Шапов, по личному распоряжению императора, был освобожден. Но в конце того же, 1861, года последовал новый указ, которым проф. А. П. Шапов сосылался в монастырь. Литераторы различных лагерей начали агитировать в защиту Шапова, обратились к министру народного просвещения Головнину. Шапов был спасен. Но в 1863 г. он был снова арестован и выслан в Восточную Сибирь, где скончался в 1876 г.

² Н. Г. Чернышевский, «Литературное наследие», т. II, Письма к родным, стр. 399.

... Лица, подписи которых находятся на прилагаемых листах, поручают вам, милостивые государи, отправиться к министру народного просвещения и передать ему известный вам взгляд их на дело г. Шапова. Для точнейшего руководства вам при объяснении с г. министром здесь излагаются главные черты этого взгляда.

Г. Шапов был перемещен с профессорской кафедры на гражданскую службу. Лишение кафедры было очень тяжелым наказанием для человека, думавшего посвятить себя ученой и преимущественно профессорской обязанности. Оно расстраивало всю его жизнь. Но, сравнительно с обыкновенными решениями дел подобного рода, такое решение дела г. Шапова было еще гуманно и потому произвело на общество впечатление, выгодное для правительства.

Теперь это впечатление разрушается решением послать г. Шапова в монастырь. Дело, считавшееся конченным, перевершается; одно Высочайшее распоряжение уничтожается другим. Какое мнение после этого можно иметь о верности правительства самому себе? Одно наказание усугубляется другим; — какое понятие надобно теперь иметь о соблюдении правительством коренного принципа всего уголовного права, говорящего, что один преступник не может подвергаться двум наказаниям. Самый род второго наказания — ссылка в монастырь, — показывает ли, что правительство чувствует различие между второю половиною XIX столетия и средними веками?

Это соображения общие; переходя к особенным обстоятельствам наказываемого лица, надобно сказать, что правительство не приняло во внимание последствий, какие будет иметь для него судьба, которой подвергает оно г. Шапова. Он страдает болезнью, которая, по свидетельству врачей, неминуемо убьет его в назначаемом для него месте ссылки, где он будет лишен возможности лечиться надлежащим образом и соблюдать требуемые лечением гигиенические предосторожности. Выгодно ли будет для правительства, когда общество станет говорить: с Шаповым то, что он должен был умереть?

Эти причины должны, по нашему мнению, заставить г. министра народного просвещения, как министра, употребить все возможные настояния для избавления правительства от столь сильных нареканий.

Есть обстоятельство, обязывающее его, как человека, сильнейшим образом позаботиться о том же самом. Передайте г. министру то, что говорят в обществе об его, конечно непреднамеренном, участии в странной новой развязке дела г. Шапова.

Вы передадите, милостивые государи, г. министру эти мысли с надлежащими подробностями и оставьте у него эту данную Вам инструкцию с надлежащими к ней приложениями¹.

ПИСЬМА К ПРОФ. И. Е. АНДРЕЕВСКОМУ.

М. Г. И. Е. Отзывы большинства читающих лекции профессоров и рассказы депутатов не сходятся между собою. Некоторые пункты разногласия так важны, что не следует оставлять их без разъяснения.

¹ Там же, стр. 400.

...Мне и некоторым моим литературным друзьям кажется, что легчайшим способом к разъяснению дела был бы следующий: профессора, читающие лекции, и депутаты студентов собрались бы у кого-нибудь на квартире, та и другая сторона пригласила бы свидетелей в равном числе с каждой стороны (напр. от 5 до 10). Эти свидетели выслушали бы рассказы и объяснения, как профессоров, так и студенческих депутатов, и вероятно было бы лучше всего, если б по окончании прений (?) признали (?) свое мнение о характере спорных пунктов формальным образом. Те из свидетелей, которые не согласились бы с решением большинства, могли бы вписать в протокол свое отдельное мнение¹.

ПИСЬМО Н. И. КОСТОМАРОВА К Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ².

Посещение Ваше навело на меня грусть... мне стало больно, мне глубоко запали в душу Ваши слова... да, мы были когда-то друзьями³. Три года я боролся сам с собой и, наконец, решился и написал уже формулу, и готовился с нею ехать к вам... Вдруг курьер от Делянова с извещением, что лекции мои прекращены по распоряжению мин. н. просвещения.

Прощайте, Николай Гаврилович. Во многом, что Вы говорили мне сегодня, я слышал голос любви и правды... хотя, все-таки, не знаю, в чем бы Вы могли упрекнуть мое поведение в прошедшей печальной истории с публичными лекциями: я действовал логически и справедливо; мне так кажется; я так уверен... а между тем Ваши слова так встревожили меня... неужели я ошибался? Я не вижу этого. А между тем Ваши слова звучали любовью и правдою⁴...

ПИСЬМО К А. И. ГЕРЦЕНУ⁵.

Милостивый государь. На чужой стороне, в далекой Англии, Вы, по собственным словам Вашим, возвысили голос за русский народ, угнетаемый царскою властью; Вы показали России, что такое свободное слово... и за то, Вы это уже знаете, все что есть живого и честного в России, с радостью, с восторгом встретило начало Вашего предприятия, и все ждали, что Вы станете обличителем цар-

¹ Там же, стр. 401.

² Напечатано у Лемке, стр. 194—196. Без даты, относится к марту 1862 г. Ср. рассказ Н. И. Костомарова в его «Автобиографии» (М. 1922, стр. 303) и письмо Чернышевского к А. Н. Пыпину от 9 августа 1885 г. «Литературное наследие», т. III.

³ В Саратове, до переезда Чернышевского в Петербург.

⁴ Н. Г. Чернышевский, «Литературное наследие», т. II, Письма к родным, стр. 402—403.

⁵ «Колокол» № 64, от 1 марта 1860 г. По утверждению М. Лемке («Политические процессы в России 1860-х годов», М. 1923, стр. 167), А. А. Слепцов, видный член тайного общества «Земля и Воля», категорически свидетельствует в своих воспоминаниях: «Писано Н. Г. Чернышевским и прочитано мне до отправления к Герцену». Показанию А. А. Слепцова противоречит: во-первых, факт поездки Н. Г. Чернышевского в Лондон в июне 1859 г. для объяснения с Герценом, после которого Н. Г. не было надобности объясняться с ним письменно, во-вторых, такая фраза письма: «Я жил во время войны в глухой провинции, жил и таскался среди народа...» — все время Крымской войны Чернышевский жил в Петербурге.

ского гнета, что Вы раскроете перед Россией источник ее вековых бедствий — это несчастное идолопоклонство перед царским ликом, обнаружите всю гнусность верноподданнического раболепия.

... К концу царствования Николая все люди, искренно и глубоко любящие Россию, пришли к убеждению, что только силою можно вырвать у царской власти человеческие права для народа, что только те права прочны, которые завоеваны¹...

ПИСЬМО Н. Г. ПОМЯЛОВСКОГО К Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ².

Н[иколай] Г[аврилович].

На меня и на вас подлая сплетня. В Петербурге, очевидно, не мне, а Вам хотят эти скоты нагадить. Я морду побью тому, кто сплетню выпустил, — непременно побью, если только узнаю. Я Вас уважаю, мало того, я Ваш воспитанник, — я, читая «Современник», установил свое миросозерцание. Теперь же подлецы говорят, будто я бил Вас в клубе. Во всем Питере говорят. Я бить и драться не умею, но скорее руку свою оторву, скорее сдохну, чем к Вам не только собственноручно, но даже на словах отнесусь неуважительно.

Помяловский.



¹ Н. Г. Чернышевский, «Литературное наследие», т. II, Письма к родным, стр. 405.

² Там же, стр. 404. Печатается с копии, написанной рукой Е. Н. Пыпиной. Письмо не датировано. Ввиду упоминания о клубе (повидимому Шахматном), его следует датировать 1862 годом.

Ш. ИЗ ПИСЕМ К РОДНЫМ ИЗ ВИЛЮЙСКОЙ ССЫЛКИ

ПИСЬМА К О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

5 октября 1862 г.

... Наша с тобой жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, и наши имена все еще будут милы людям; и будут вспоминать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами.

Так надобно же нам не уронить себя со стороны бодрости характера перед людьми, которые будут изучать нашу жизнь.

...Я составляю «Энциклопедию знания и жизни», — будет уже экстракт небольшого объема, два-три тома, написанный так, чтобы был понятен не одним ученым, как два предыдущих труда, а всей публике. Потом я ту же книгу переработаю в самом легком, популярном духе, в виде почти романа, с анекдотами, сценами, островами, так чтобы ее читали все, кто не читает ничего, кроме романов. Конечно, все эти книги, назначенные не для одних русских, будут выходить не на русском языке, а на французском, как общем языке образованного мира. Чепуха в голове у людей, потому они и бедны, и жалки, злы и несчастны; надобно разъяснить им, в чем истина и как следует им думать и жить. Со времени Аристотеля не было сделано еще никем того, что я хочу сделать, и буду я добрым учителем людей в течение веков, как был Аристотель¹...

12 января 1871 [16].

...Быть может, кто-нибудь скажет тебе: «он слишком самонадеян» или «он слишком много предсказывает»; не смущайся этим замечанием, и знай: я могу говорить об исторических делах, потому что я много учился и много думал. Чему быть, того не миновать. И тогда мы с тобою увидим, жалеть ли нам о том, что вот столько лет пришлось мне, от нечего делать, все учиться, все думать. Мы увидим: это пригодилось для нашей родины²...

¹ Н. Г. Чернышевский, «Литературное наследие», т. II, стр. 411—412. Письмо это было задержано и приобщено к делу. См. Лемке, Политические процессы в России 1860-х годов, М. 1923, стр. 219—221.

² «Н. Г. Чернышевский в Сибири», Переписка с родными, СПб 1912, вып. I, стр. 24.



Гражданская казнь Н. Г. Чернышевского.

12 января 1871. Александровский завод.

Я получил письмо от Саши, в котором наш с тобою почтенный сын стыдится сообщить мне, что в нынешнем году не выдержал экзамена; пожалуйста, уверь его, мой друг, что я не придаю этой его неудаче никакой важности. Твои отзывы об этом почтенном юноше и уверения Сашеньки — дяди, что он учится хорошо, гораздо интереснее для меня, чем экзаменационные отметки¹.

¹ Там же, стр. 26—27.

4 апреля 1871. Александровский Завод.

...Он (смешной) пишет мне, что желает узнать мое мнение о том, по какому факультету лучше будет пойти ему. Скажи ему и от моего имени, как, вероятно, говоришь от своего, что какой лучше нравится ему самому, тот и самый лучший. Это вопрос о склонности. Он может вперед мучиться сомнением: «а что, если он сам ошибется в своей склонности? Как тогда быть?» — Тогда и перейти на другой факультет, на какой тогда вздумается. «А что, если выйдет так: в 22 или 23 года кончишь курс по одному факультету, а в 30 почувствуешь призвание к другой отрасли знания?» — может продолжать наш с тобою будущий ученый. — На это можешь, мой друг, отвечать ему, что если и в 40 лет будет оставаться охота учиться, можно и в 40 лет начать учиться. Словом, если он стесняется в выборе факультета какими-нибудь пустыми соображениями, советуй ему, друг мой, чтобы свободно следовал своему собственному влечению¹ ...

Виллюйск, 17 мая 1872.

... при такой нищете всего крошечного населения. Жаль смотреть на этих людей. Я присмотрелся к нищете; очень присмотрелся. Но к виду этих людей я не могу быть холоден: их нищета мутит и мою заскорузлую душу. Я перестал ходить в город, чтобы не встречать этих несчастных; избегал тропинок, по которым бродят они на опушке леса.

...Люди добрые, и неглупые; даже, может быть, даровитее европейцев (говорят, что якутские дети учатся в школах лучше русских). Но это жалкие, нищие дикари, каких нет жалче на свете; дикари, подобные готтентотам, хуже негров центральной Африки²...

От 25 марта 1874 г. Виллюйск.

... Радуют меня успехи Саши в математике. Я больше, чем кто другой из ученых, не занимавшихся специально этой отраслью зна-

¹ «Чернышевский в Сибири», СПб 1912, вып. I, стр. 28.

Если мы возьмем весь жизненный путь Н. Г. Чернышевского, то увидим, что время, прожитое в ссылке, также является временем борьбы с царизмом, временем научных работ. «...Виллюйские письма Чернышевского богаты внутренним смыслом, поучительным. Они менее всего — факты, рассуждения или «ученые трактаты». Их фактическое содержание было слишком сужено тесными цензурными рамками, их господствующий тон был далек от прежней бодрости и острой стремительности; искусственно спокойный, но подавленный, он являлся как бы преломленным, проходя сквозь призму административной опеки...» («Чернышевский в Сибири», Переписка с родными, вып. I, СПб 1912, стр. XLIII) К этому мы можем добавить, что письма Чернышевского для нас являются большим богатством, к разработке и использованию которого надо приступить во всей широте советским научно-исследовательским учреждениям.

² «Чернышевский в Сибири», вып. I, СПб 1912, стр. 39—40.

ний, ценю важность ее; потому что мне в моих ученых работах очень часто представлялись вопросы, для быстрого и точного разрешения которых полезны были бы мне высшие части математики. Хорошая эта наука.

Радуюсь успехам Саши и в английском языке. Советую ему и Мише стараться о достижении того, чтобы совершенно легко читать книги по крайней мере на трех важнейших языках ученой деятельности: английском, французском и немецком. Целую обоих моих милых детей¹...

2 января 1875 г.

Занимается он вообще хорошо; математику, сколько я не могу судить, знает недурно. Но, увлекаясь по юности своими разными интересами, он в нынешнем, т. е. прошлом, году гораздо больше, чем математикой, занимается английским языком, которым довольно хорошо овладел. Вследствие этого, пожалуй, не будет держать выходной экзамен и отложит его до следующего года. К домашним его занятиям принадлежит еще гимнастика, по-моему даже в неумеренных дозах. Он каждый день несколько раз играет, как мячом, металлическим шаром в полпуда (буквально: 21 ф. $\frac{1}{4}$) особо заказанным, вследствие чего мускулы рук развиты замечательно (недавно купил для упражнений 2-пудовую гирию и очень ей доволен). Я все его урезониваю заняться делом правильно, — чтоб развитие было равномерное (и чтоб исчезла также и неловкость), — но он и порядочно упрям, и до сих пор не убедился в справедливости моих советов. Миша занимается правильной гимнастикой — в гимнастическом заведении, недалеко от нас, так что это делается удобно²...

ПИСЬМО СЫНУ САШЕ

8 марта 1875 Виллюйск.

Р. S. Если вздумаешь отложить на год университетский экзамен, не смущайся этим: экзамены — формальности, важные для формы, но и только. Знаешь ты, Гегель — он ныне вышел из моды, и, точно, устарел; но по силе ума и громадности знаний никто из нынешних ученых в подметки не годится ему — знаешь ли, что ему написали в аттестате? — «Посредственных способностей человек». И добро бы, он был небрежен в школьных предметах; ошибка была бы не так смешна; но он был аккуратен и прилежен, как бык. Наверное, когда его так аттестовали, в целой Германии было мало стариков таких ученых, как этот юноша; — эти формальности то же, что сапоги: для удобства жизни полезны; от ума и знаний так же далеки: в самом низу, как нельзя дальше³...

¹ «Чернышевский в Сибири», Переписка с родными, вып. I, СПб 1912, стр. 94.

² Там же, стр. 118.

³ Там же, стр. 138.

ПИСЬМО СЫНУ МИХАИЛУ.

От 25 марта 1875 г. Вилюйск.

Милый мой Миша,

Благодарю тебя за твои письма ко мне; извини меня, мой друг, за то, что я редко отвечаю тебе на них. Дело, между прочим, в том, что я совершенно незнаком с нынешними гимназическими порядками, и мои советы по твоим учебным занятиям едва ли могли бы оказываться идущими к надобностям переходить из класса в класс, получать хорошие баллы и проч. Одно я понимаю: ты лю-



Н. Г. Чернышевский в ссылке читает свои произведения.

бишь заниматься историею; это сходно и с моими личными склонностями. Ты уж не ребенок; потому поймешь мои мысли об истории. Напишу важнейшие выводы из моих — очень серьезных — занятий ею.

Источники, по которым пишутся исторические книги, имеют почти все один общий недостаток: незнакомство с законами человеческой природы; это все похоже на разговоры профанов о медицине: кое-что справедливо; но масса суждений — невежественна. Законы человеческой природы: ум и честность, это одно и то же; ум и доброе сердце, это одно и то же. Бойкость речи, бойкость характера не ведут ни к чему полезному для людей, если мотивом слов и поступков бывает не чувство любви к людям.

История вся сплошь набита похвалами фактам, которых не может оправдывать добрый, честный, неглупый человек. Все эти похвалы — невежество, перенесенное авторами исторических трактатов в их книги из невежественных источников; все эти похвалы — вздор, нелепость.

Например. Больше всего говорится в истории о военных делах. Никогда, никакая наступательная война не была полезна нации, которая вела ее. В исторических книгах очень часто — не то; но во всех таких случаях авторы ошибаются. Беру первый факт большого размера в этом роде, хорошо известный нам, — войны греков с персами. Отбивши у персов греческие города в Малой Азии, — греки Европ. Греции не ограничились этим честным делом. Они увлеклись расчетами выгод; завоевать области, которые желали оставаться под властью персов, стало целью войны против персов; это и было истинной причиной гибели Греции: она обессилила себя; сначала Афины пали, потому что персы, доведенные ими до отчаяния, обратили все богатства Азии на наем дисциплинированных армий и хороших флотов против афинян; это и есть то, что называют второй половиной Пелопоннесской войны. Спартанцы были тут наемниками персов. И послужили персам так усердно, что истощили свою кровь на пагубу Афин. Вот в чем и причина гибели Греции. Прежде чем греки успели оправиться от Пелопоннесской войны, Греция была подавлена нашествием иностранцев, — македоняне, были не греки, — вот в чем сущность дела. — Историки любят рассуждать о других причинах падения Греции; эти причины — или мелочи, сравнительно с гибельностью Пелопоннесской войны, или — и это по большей части — фантазии самих историков, опровергаемые внимательным изучением фактов. Например, очень много толкуют о противоположности, врожденном противоборстве дорийского и ионийского племенного элемента. Это чистый вздор. Коринф ничем не отличался от Афин; он был дорийский город; сицилийские города ничем не отличались от Афин; это были дорийские города. Множество ученых и поэтов, художников и всяческих знаменитых людей, которые считаются представителями Афинского племенного (ионийского) элемента, были дорийцы. Сам Геродот, какого другого ионийца и на свете не было, был родом из дорийского города. На чем основано недоразумение историков? — Спарта много отличалась от Афин. Но это было просто различие по степени образованности. Разница между ионийцами и дорийцами вся ограничивается филологическими пустяками, вроде разницы между голландцами и соседними немцами. Но — обстоятельства жизни различны: потому история шла помимо сходства соседних немцев с голландцами, помимо разницы их от каких-нибудь тирольцев. Взгляни тоже на филологическую карту юго-запада Европы: жители Галисии (испанцы) говорят тем же языком, как (французы) лангедокцы. Филология — вещь важная; но — когда сапожник рассуждает о перчатках, он невежда в том, о чем рассуждает. Вся история наполнена подобными рассуждениями. Держись одного: все доброе — полезно, все дурное — вредно. Все, что противоречит этому простому правилу честных и добрых людей — занесено в исторические книги из невежественных источ-

ников учеными, не имевшими основательного знакомства с законами человеческой природы. Будь здоров, мой милый. Целую тебя и жму твою руку. Твой Н. Ч.¹

ПИСЬМО ОЛЬГЕ СОКРАТОВНЕ.

От 17 марта 1876. Виллюйск.

... Саша кончает или кончил курс. Что будет он делать теперь? Найдет ли себе кусок хлеба? Пригодится ли ему для этого его математика? От нее единственный возможный доход — должность преподавателя. Найдется ли она для него? Я написал ему письмо, в котором забавляю его насмешками над моим невежеством в математике; это потому, что он вздумал учить своей милой математике меня, никак не бывши в состоянии разуместь, что эта приятная наука ровно настолько же знакома и интересна его отцу, насколько и его матери. Или он и тебя учит математике? Смешной юноша. Но страстие его к науке — вещь хорошая. Только — будет ли эта наука кормить его? — Дело несколько сомнительное для меня. Или он думает быть инженером (например, по постройке железных дорог), — а не то механиком (например, при каком-нибудь заводе, делающем локомотивы), а не то пристроится к Пулковской обсерватории? — Эти карьеры все дают кусок хлеба. А быть преподавателем — занятие скучное и, в сущности, пустое. Например, и должность университетского профессора — пустое толчение воды. Ты вообрази себе, в самом деле: из году в год твердить все одно и то же, как попугай; и для кого это в самом деле нужно слушать это попугайство. — Все, что преподает профессор, изложено гораздо полнее и лучше в книгах. Но я высказываю это лишь на тот очень вероятный случай, если не будет находиться для Саши преподавательская должность: если будет так, пусть не огорчается и не медлит выбирать себе какую-нибудь другую карьеру из названных ли мною, родственных с математикою, или хоть бы и вовсе посторонних ей. Будет хлеб, то будет и досуг. А будет досуг, то может любитель математики употреблять его и на математику, если не надоела она ему. Для учености доводов можешь напомнить ему, что ни Архимед, ни Декарт не были преподавателями математики по профессии: Архимед был, говоря по-нашему, принц; Декарт — военный, великосветский человек. Это шутка, на случай надобности утешить Сашу, если не представится ему университетская кафедра. Но серьезно, это правда.

Миша скоро кончит курс в гимназии. Что будет дальше делать он? Конечно, поступит в университет? Это, вообще говоря, самое лучшее. А впрочем — и без университета обойтись очень невеликая беда. Не стесняй его в этом вопросе: как ему вздумается, так пусть и будет по-нашему с тобою лучше и умнее всего. Правда, он еще вовсе ребенок. Но все-таки не маленький и не глупый ребенок. — Написал я и ему длинное письмо.

¹ «Чернышевский в Сибири», Переписка с родными, вып. I, СПб 1913, стр. 151—153.

Я пишу о Саше и Мише «кончают» или «кончили» курс — один в университете, другой — в гимназии. Но случилось нашим с тобой деткам иной раз и оплошать на экзаменах. Эти неудачи тяжелы для самолюбия мальчиков или юношей. Но, в сущности, экзамены — пустая формалистика; успех на экзамене ровно ничего не доказывает в пользу успешного на этом вовсе не деловом, не рациональном испытании, неуспех — ровно ничего не свидетельствует в невыгодную сторону об уме или знаниях или дельности потерпевшего неудачу. Это я говорю на случай — очень возможный, что Саша или Миша может иметь надобность в одобрении, утешении после какого-нибудь неудачного экзамена. Но говорю это я не в виде утешения только: таково, действительно, мое искреннее мнение.

Но с удачами ли только, или и с примесью неудач наши с тобою дети успеют же наконец выдержать все, какие нужны им, экзамены и после того будут же как-нибудь прокармливать себя. Потому вопросами, относящимися до Саши и Миши, я нимало не тревожусь¹.

ПИСЬМО СЫНУ САШЕ.

От 17 марта 1876. Виллюйск.

... Тебя я хвалю за то, что ты выбрал предметом своих занятий математику. Теперь, когда ты или кончил, или скоро кончишь курс, и надобно тебе вести свои занятия уж совсем самостоятельно, мне интересно узнать от тебя, в каком именно характере представляются тебе твои будущие труды. Думаешь ли ты быть астрономом? Или будешь применять математику к разработке физики? Или тебя привлекает больше всего математика сама по себе — «чистая математика»? — Мне кажется, что разработка даже и самой математики значительнейшие свои успехи получала от надобностей применять ее формулы к решению конкретных вопросов. Например, изобретение «исчисления бесконечных», или, по-нынешнему, интегрального вычисления, Ньютоном возникло из его надобностей в том для его трудов по астрономии; кажется так? Или я ошибаюсь? — Правда, впрочем, что относительно того же открытия Лейбницем кажется мне, будто бы Лейбниц искал тут не разрешения каким-нибудь конкретным вопросам, а именно абстрактных формул. Но сказать и то: я несколько сомневаюсь, действительно ли Лейбниц сделал открытие дифференциального метода независимо от Ньютона метода флюксий? — Я готов думать, что тут был отчасти плагиат со стороны Лейбница. — А пораньше того, начало другому ве-

¹ «Чернышевский в Сибири», Переписка с родными, вып. II, СПб 1913, стр. 7—8. Письма к родным: к сыновьям — Мише, Саше и к жене — Ольге Сократовне — были письмами «из жизни», хотя Чернышевский был в ссылке. Он учил, как надо жить, как надо бороться.

«...Серьезная забота была у Чернышевского о детях, этих «Саше» и «Мише», которым он так хотел бы передать и все свои знания, и все свои понятия. Он вел с ними научные беседы, в основе которых лежала та морализующая мысль, что знания — ничтожны и бесполезны, если они не служат человечеству, не ведут к его просветлению и благу...» («Чернышевский в Сибири», Переписка с родными, вып. I, СПб, стр. LIV).

ликому открытию, исчислению вероятностей, сделано Паскалем из желания решить чисто житейский вопрос о шансах карточных игр. Но удачны ли эти и другие вспоминающиеся мне примеры, все равно: вообще, дело достоверное, что важнейшим мотивом к разработке чистой математики была разработка теории астрономии, или, выражаясь более отвлеченным образом, разработка теории механики в применении к вопросам о движении небесных тел. Впрочем, я понимаю, что чистая математика неизмеримо выше всех своих применений, даже и астрономических, по своей научной цене и что поэтому она очень привлекательна. И само собою разумеется, каков бы ни был личный твой выбор, для такого невежды в математике, как я, он, в сущности, — нечто неудоборазумеваемое, вроде разницы между разными наречиями китайского языка для не знающих по-китайски. — Так, правда; а все-таки я интересуюсь узнать, в каком именно роде будут, по твоему мнению, твои будущие ученые занятия¹...

ПИСЬМО СЫНУ МИХАИЛУ

17 марта 1876. Виллюйск.

... Ты любишь историю. Русская научная литература по всеобщей истории очень бедна. Надобно тебе привыкнуть читать английские, немецкие и французские книги так же легко, как русские. И нужны равно все эти три языка. Даже немец, если имеет привычку изучать историю (не говорю уж «исключительно», а хоть только) преимущественно по книгам на своем языке, не будет гроша стоить как историк. Дело в том, что почти всякая историческая книга насквозь пропитана субъективным элементом национальности автора. Поэтому постоянно надобно освежать объективную силу разума в себе чтением книг о том же предмете, писанных по другим субъективным чувствам. То-есть: *audiatur et altera pars*²...

ПИСЬМО СЫНУ САШЕ.

15 сентября 1876. Виллюйск.

Милый мой друг Саша,

Поздравляю тебя с окончанием курса. Твоя маменька пишет, что ты сдал экзамен с большим успехом, чуть ли не с блеском. Что ж, это хорошо. А еще лучше того твоя скромность: сам ты ничего об особенной успешности твоих экзаменов не пишешь. Экзамены — формальность, ровно ничего не доказывающая, это я говорил тебе прежде, и повторяю, — хоть теперь это уж и не любезно с моей стороны, — а все-таки повторяю: они — формальность, успех или неуспех в которой не имеет серьезного научного значения. Но воспо-

¹ «Чернышевский в Сибири», Переписка с родными, вып. II, СПб 1913, стр. 12—13.

² Там же, стр. 15.

минание об успехе в деле — пусть и формалистическом только — всегда приятно и для самого получившего успех, и для его родных. Потому, при всей индифферентности моей к свидетельству экзаменационных цифр и фраз, все-таки мне приятно, что они у тебя очень хороши.

Ты пишешь, что осенью думаешь кончить диссертацию на степень кандидата. О содержании ее я не могу судить, разумеется. Помнится мне только, что я читывал, будто «теория чисел» — одна из самых важных частей высшей математики и чуть ли не одна из тех, которые наиболее нуждаются в разработке. — Но диссертации на степени — это опять лишь формальности. Чрезмерно долго работать для исполнения формальности было бы, я полагаю, не расчет; полагаю, и ты так же думаешь. Пусть диссертация будет хороша, — и довольно того. Если у тебя в мыслях есть большие, долгие исследования по предмету твоей диссертации, то из-за них едва ли надобно отсрочивать завершение дела о кандидатстве: диссертация может обойтись и без них, а они могут составить предмет особых мемуаров для помещения в Бюллетенях ли Академии наук, для другого ли какого подобного сборника, для отдельной ли книги. Наука бесконечна; в ней всегда бывает по поговорке: дальше в лес, больше дров; а исполнение житейских формальностей должно быть хорошим, но не должно быть предметом чрезмерной работы.

Относительно выбора житейской карьеры, ты еще ничего не решил, говоришь ты, но думаешь, что согласишься быть или строительным инженером или горным инженером. Обе карьеры хороши. О том, которая предпочтительнее, я не могу судить. Я и никогда не знал хорошенько, а теперь еще меньше знаю, каково специальное состояние разных отраслей инженерства в русской жизни. Сколько помнится по прежним моим, не близким и, вероятно, довольно ошибочным впечатлениям, горное инженерство в русской жизни не имело такого широкого применения, как инженерство строительное, занимающееся дорогами, мостами и всяческою гидротехникою. Мне воображается, например, будто бы я слыхивал, что развитие горного искусства во Фрейбурге представлялось русским горным инженерам как нечто идеальное, не существующее и даже недостижимое русскому горному делу. А в те же годы строилась Петербурго-Московская железная дорога русскими инженерами так хорошо в техническом отношении, как нельзя было бы лучше требовать и от английских инженеров. Тут было, я полагаю, немножко хвастовства; но, вероятно, не очень много: в техническом отношении Петербурго-Московская дорога построена, кажется, действительно очень хорошо. С той поры строительное инженерство в России стало, я полагаю, еще лучше. Улучшилось ли горное, — не знаю. Это — о научном достоинстве того и другого дела. А с житейской стороны, мне воображается, что в строительных инженерах русская промышленность более нуждается, чем в горных, и что поэтому деятельность хорошего, честного инженера по железнодорожному делу обеспечена вернее и шире, чем по горному делу. Но так ли? — Не знаю. А главное, выбор той или другой карьеры — результат личных склонностей и личных знакомств. Какие они у тебя, не знаю и не могу

судить. Уверен только в том, что какой бы выбор ни сделал ты, ты сделаешь его основательно и хорошо. Каким порядком приобретаются формальные права на деятельность инженера — посредством экзаменов только или, кроме экзаменов, требуется диплом о слушании технических курсов в продолжение определенного времени, — я не знаю. Но каковы бы ни были формалистические условия этого, реальные технические знания все-таки важнее всего для хорошей деятельности техника. — Я говорил, что не знаю, до какой степени высоко научное развитие горной техники в России. Но каково бы оно ни было, каменноугольные и железные шахты и штольни не только в Англии, но и во Франции, Бельгии, на Рейне, в Штирии имеют размеры, каких нет, я полагаю, в России. И, вероятно, изучение горного дела в тех странах дает инженеру более серьезную опытность. О строительном инженерстве я тоже полагаю, что при всей высоте техники у нас, не только наши, но и немецкие, французские, даже дивные австро-итальянские альпийские железнодорожные сооружения и даже тоннели сквозь Мон-Сени и Сен-Готар, при всей их колоссальности далеко уступают техническим совершенством английской железнодорожной технике. Я полагаю, даже парижские концы французской сети дорог далеко не должны выдерживать, — и сомневаюсь, могли ли бы выдержать — такое количество таких быстрых поездов, какое выдерживают дороги между Ливерпулем и Манчестером, северно-английскими или уэльскими каменноугольными копями и гаванями тех мест, и, в особенности, лондонские концы английской сети дорог. — Не знаю, окажутся ли у тебя денежные средства на изучение инженерной техники в местах ее наибольшего развития. Но если б это было возможно, это было бы хорошо.

Я все говорю о технической стороне инженерства. Ты, повидимому, наиболее заинтересован научной, математической, стороной его. Разумеется, и мне, совершенному невежде в обоих отношениях, все-таки ясно, что математические формулы и теоретические исследования дают инженеру наибольшую силу даже и в разрешении чисто технических задач. Мне помнятся примеры, — кажется английские и немецкие, — как инженеры, сильные в математике, строили мосты с затратой лишь одной трети материала, более прочные мосты, чем какие проектировались рутинными инженерами, требовавшими на постройку громадные массы камня и железа, лишь в ущерб прочности моста стеснявшие реку и обременявшие полотно постройки. Тем еще больше очаровывали меня способы сооружений не бывалые, находямые при помощи формул, — вроде трубчатых мостов или расширения пролетов между арками через замену рутинной линии арки другою, более близкою к математическому идеалу линии натурального изгиба. — (Так что ли? Линия арки — это перевернутая вверх линия натурального изгиба? — Впрочем, если я, как я сам полагаю, не понимаю, в чем тут дело, ты не трудись объяснять мне: все равно не пойму, что такое линия арки. Да и на что мне понимать это? — Это вовсе не мое дело). — И, мне воображается, будто бы инженерные формулы вообще требуют еще теоретических усовершенствований. Все так, относительно высокой цены теории. Но, мне кажется, ты с достаточною силою чувствуешь ее. И потому я налегаю на важность

наглядного знакомства с техникой практического изучения инженерных фактов.

Впрочем, я все это пишу только для того, чтобы ты видел мое усердие. А я знаю, что ты сам понимаешь отношения теории к технике в инженерстве в тысячу раз яснее, чем я, в теории дошедший до знания четырех правил арифметики, а в практике — до умения отличать известняк от песчаника, но не дошедший до умения различать железо от стали. Серьезно говорю: иногда ошибаюсь, не умею разобрать железо от белого чугуна или стали. Хороший же советник по инженерной части. Смех. Но усердие всегда похвально. Жму твою руку, мой друг. Твой Н. Ч.¹

ПИСЬМО ОЛЬГЕ СОКРАТОВНЕ.

От 25 сентября 1876. Виллюйск.

...Никакие школьные занятия и никакие работы над кандидатскими ли, магистерскими ли, или докторскими диссертациями не дают молодому человеку столько пользы, как путешествия².

ПИСЬМО ОЛЬГЕ СОКРАТОВНЕ.

От 19 октября 1876. Виллюйск.

...Я совершенно здоров, живу очень хорошо и имею в изобилии все, что нужно для комфорта. — Каково-то поживаешь ты, моя милая голубочка? — И, з особенности, каково твое здоровье, и заботишься ли ты о нем так, как надобно?

У меня над всеми мыслями господствует та, что тебе необходимо проводить зимы в теплом климате, — в Южной Италии, в Сицилии, или в Андалузии. — Умоляю тебя, исполни эту мою просьбу.

Возьми с собою Сашу. Путешествие было бы для него полезнее всяких кабинетных занятий математикой. — О том, чтобы ехал с тобою также Миша, я не говорю с такой настойчивостью, как о том, чтобы сопровождал тебя Саша: для Миши, быть может, было бы невыгодно прерывать гимназический курс. Даже и это, не знаю, так ли: путешествия очень полезны для умственного развития юношей; очень возможно, что выгодами поездки с тобою перевешивались бы для Миши те проволочки в окончании курса, которые были бы неизбежны в этом случае. Я расположен думать, что это было бы так: путешествие полезнее, чем гимназия. Но — решительного мнения не могу иметь: дело много зависит от обстоятельств и личных качеств юноши. А вопрос о пользе путешествия для Саши не представляет ничего сомнительного: с формальностями ученья он разделался, получил кандидатский диплом, и ему совершенно удобно провожать тебя.

Кстати о кандидатстве и учености Саши. — Я пишу ему свои мысли об этих его достоинствах. Но, быть может, не бесполезно высказать то же самое менее ученым языком. И, выражаясь языком не ученым, я скажу тебе, для своих бесед с Сашею, что та ученость, которая приобретается посредством школьных занятий, вообще —

¹ «Чернышевский в Сибири», Переписка с родными, вып. II, СПб 1913, стр. 59—62.

² Там же, стр. 67.

не больше как школьные пустяки, большую часть которых надобно выбрасывать из головы, чтоб она не оставалась засорена вздором и чтоб очистилось в ней место для серьезных знаний. Это вообще обо всех факультетах и о студентах всяческих университетов. — О Саше, в частности, и его математике, мне кажется, что математика в Петербургском университете преподается в схоластическом вкусе: так я сужу по характеру математических книг, присланных мне Сашею: они написаны будто бы какими-то допотопными учеными, и наука в них загромождена кучами и целыми горами мелочного вздора, не нужного ровно ни к чему, кроме щегольства профессоров на конкурсах тем, что их ученики нахватались множества познаний (это французские книги; а у французов школьники экзаменуются с пышным парадом и получают чуть ли не те же самые награды, какие давались в средние века героям-рыцарям на турнирах). — Если Саша прислал мне именно такие книги, то ясно: в Петербургском университете они считались наилучшими в свете. А те умные люди, специально занимавшиеся математикою, которых случалось мне знать в моей молодости, презирали эту схоластическую методу забивать головы юношей горами мелочей, не служащих ни к чему. — Саша, по видимому, еще остается чрезмерно увлечен уважением к учености профессоров математического факультета Петербургского университета. Я не сомневаюсь, что между ними есть дельные и достойные почтения ученые. Но все они — люди мелкого ученого сорта. И если Саша хочет серьезно работать над математикой, ему следует бросить под стол лекции и книжонки этих мелких ученых и начать изучать труды тех математиков, которые были действительно умными людьми и работали действительно для науки, а не для увеличения куч ученого хлама пустыми рассуждениями о мелочах. Я в математике — невежда и не знаю, кто из нынешних математиков заслуживает имени серьезного великого ученого, но из людей, о которых я слыхивал в мою молодость, целою головою выше всех новых ученых по математике был Лаплас (новыми я называю всех являвшихся после Ньютона). Труды Ньютона, быть может, уж имеют лишь историческое значение, но Лаплас, я полагаю, остается и до сих пор наилучшим руководителем человека, желающего дельно заниматься математикою. — Важно не то, что какие-нибудь мелочи у Лапласа устарели; важен дух серьезности и дельности, проникающий все его работы, важна ясность и сила мысли его. — Ты перескажешь Саше из этого, что найдешь нужным, и перескажешь словами более снисходительными к его увлечению схоластическими пустословиями мелочных ученых, которых он, по видимому, считает великими в науке людьми.

Но — пусть восхищается Саша какими ему угодно учеными и пусть работает в каком ему угодно вкусе над своею милою наукою: важно лишь то, чтобы удалось ему зарабатывать кусок хлеба себе. А это, я надеюсь, устроится же как-нибудь.

Но, — пока он еще имеет досуг сопровождать тебя в путешествии¹.

¹ «Чернышевский в Сибири». Переписка с родными, вып. II, СПб, 1913, стр. 71—73.

ПИСЬМО ОЛЬГЕ СОКРАТОВНЕ.

От 30 октября 1876. Виллюйск.

...Ты решила, что дети должны располагать собою, как им самим кажется лучше; ты стеснять их не хочешь. — Это и единственное разумное отношение родителей к детям, по моему мнению, точно так же, как по твоему. В том, что таково твое отношение к ним, я всегда знаю вперед, по всякому вопросу обо всяком не безрассудном желании Саши или Миши. А они, повидимому, юноши более или менее рассудительные¹...

ПИСЬМО СЫНУ САШЕ.

10 февраля 1877. Виллюйск.

...Кандидатская диссертация и всякие школьные занятия — это глупости, которыми полезно заниматься, если никакие родственные обязанности не мешают тому, — но это не больше, как глупости, которые надобно бросать, когда того требует обязанность. — То же, скажи и брату, если его сотоварищество в поездке нужно для матери².

ПИСЬМО ОЛЬГЕ СОКРАТОВНЕ.

8 марта 1877. Виллюйск.

...Необходима тебе перемена климата. Необходимо тебе переселиться в такой климат, где нет зимою снега, нет холодного тумана весной и осенью. Умоляю тебя, переселись жить в южную Италию.

Ты любишь родину. Решиться покинуть ее на год, на два — это тяжело тебе. Но как быть, — это необходимо, друг мой.

Возьми с собою детей. Тебе будет легче разлука с родиной, когда дети будут подле тебя. Не смущайся мыслью, что ты отвлечешь этим детей от их занятий. Школьные занятия — пустяки. Если люди действительно выучиваются чему-нибудь, то выучиваются они этому из книг, из домашних разговоров, из простых, неученых разговоров с знакомыми, из опыта жизни. Школьное преподавание — глупое педанство, которое больше притупляет учащихся, чем приносит им пользы. Поэтому ты не должна колебаться взять с собою детей. Поездка с тобою будет для их развития несравненно более хорошим учением, нежели школьные занятия³.

ПИСЬМО СЫНУ САШЕ.

От 8 марта 1877. Виллюйск.

Твоя маменька имеет сильную привязанность к России. Жить не в России, эта мысль всегда была нестерпима ей. Но, — когда здо-

¹ «Чернышевский в Сибири», Переписка с родными, вып. II, СПб 1913, стр. 80.

² Там же, стр. 110.

³ Там же, стр. 112—113.

ровье того требует, то как быть! Надобно на время расстаться с милой родиной, чтобы возвратиться на нее с хорошим здоровьем.

Если поедешь с твоей маменькой ты, ей будет легче жить на чужбине. Если поедет и Миша, тем еще лучше.

Я просил бы тебя бросить все твои школьные занятия, чтобы провожать маменьку твою. Я полагаю, можно сделать это и Мише: глупости, которые называются учением, не стоят того, чтобы отвлекаться ими от семейных обязанностей. Наука не в школах. В школах — чопорное тупоумие невежд. Наука в книгах и в личном самостоятельном труде над приобретением знаний из книг и из жизни, а не из школ, где никогда со времени изобретения книгопечатания не оставалось из науки ничего, кроме плесени, в которую переродилась наука, залежавшаяся в них со времен Абеяра. Во времена Абеяра школы были нужны, потому что не было книг. Тогда в школах было среди глупостей и кое-что умное. Но вот уж четыреста лет школы — это средневековое уродство, продолжающее существовать так же, как уцелели в Англии средневековые костюмы на школьниках или как слова «два», «две» представляют собою остаток существовавшего когда-то в русском языке двойственного числа, как уцелели всяческие другие курьезы во всяких странах. — Я не враг старины. Но когда пустая старинная форма — школа — мешает семейным обязанностям, то не велик убыток бросить ее. Жму твою руку. Н. Ч¹.

ПИСЬМО ОЛЬГЕ СОКРАТОВНЕ.

11 апреля 1877. Виллюйск.

...А для Миши прибавлю несколько слов на этом листе.

Хвалю его за его успехи на поприще драматического искусства. Правду сказать, это гораздо умнее и полезнее, чем все, входящее в состав гимназического курса. Чрезмерно плох нынешний метод гимназического ученья. Мучают бедных юношей этою ни к чему не пригодною латинью, и, по всей вероятности, все другие предметы преподают в таком виде, что каждый выходит такую же бесполезною чепухою, как латинь.

Ну, как быть, — пусть вытерпливает Миша эту скуку. Не далеко уж ему до окончания курса²...

ПИСЬМО К СЫНОВЬЯМ.

11 апреля 1877. Виллюйск.

...Достоинство моей литературной жизни — совсем иное; оно в том, что я сильный мыслитель. — Об учености моей надобно Вам судить тоже с большою свободою и с некоторою дозою сожаления. Я самоучка, — во всем, кроме латинского языка, которому хорошо учил меня отец, бывший очень хорошим латинистом. И, в старину, я писал по-латине, как едва ли кто другой в России: нельзя было

¹ «Чернышевский в Сибири», Переписка с родными, вып. II, СПб 1913, стр. 115—116.

² Там же, стр. 122—123.

различить, какие отрывки написаны мною самим, какие отрывки переписаны мною из Цицерона. Когда я был в первом курсе университета, я дельвал это. Теперь я забыл и латинь. Тридцать уж лет она брошена мною. В тридцать лет, люди забывают и свой родной язык. — Это мимоходом. Я хотел сказать: только латинскому языку, я учился, как учатся юноши или дети: со вниманием ко всем подробностям данной отрасли знания, без разбора, какие из этих подробностей серьезны, какие — пусты. Всему остальному я учился, как человек взрослый, с самостоятельным умом: разбирая, какие факты



Н. Г. Чернышевский отказывается от подачи прошения о помиловании.

заслуживают внимания, какие — не достойны его. Поэтому, во всякой отрасли знаний, которой я занимался, я не хотел втискивать себе в голову многих фактов, которыми щеголяют специалисты: это факты пустые, бессмысленные. Например: сколько наклонений в спряжении французского глагола? — Я и теперь не знаю, и никогда не знал. Или: как различать разные сорта ударений над разными гласными во французской орфографии? — Не знаю. Почему? — Теория спряжения у французских лингвистов глупа, французская орфография — не лучше нашей, хаос педантических бессмыслиц и грубых ошибок. Если б я тратил время на внимание к этому и тому подобному вздору, мне некогда было бы приобретать серьезно нужные знания. И, продолжая пример: если б я тратил время на глупости французской грамматики, я не имел бы досуга вникать в смысл французских научных выражений. Терминология французского языка по тем отраслям знания, которые меня интересовали, известна мне,

как хорошим французским специалистам этой отрасли знания. И, например, историческую книгу на французском языке я понимаю яснее, чем может понимать ее кто-нибудь из французов, кроме специалистов по истории. Но — я не могу написать ни одной строки по-французски. Тем меньше я способен произнести хоть какую-нибудь французскую фразу, так, чтобы француз понял ее, а не вообразил, что мною сказано что-то на каком-то не известном ему языке, — быть может на португальском или на «ладинском» (аппенцельском). Я не имею понятия о французском выговоре. И, когда пробовали говорить со мною французы, я старался (вообще безуспешно) понять смысл их слов, но на оттенки выговора, составляющие особенность французского произношения, я всегда забывал обращать внимание. Однажды какой-то добряк-француз вразумлял меня о разнице интонаций *é* и *è*. Я из любезности смотрел в глаза ему, будто слушаю, но — думал о других вещах и разница *è* от *é* осталась попрежнему не известна мне. — Жалеть ли о том? — Гоняться за всеми зайцами, не поймать ни одного. Но, конечно, было бы лучше, если б они все были пойманы¹...

ПИСЬМО ОЛЬГЕ СОКРАТОВНЕ.

25 апреля 1877. Вилюйск.

...Я очень доволен, что получил он, наконец, свой кандидатский диплом. — В прошлых письмах к нему, я называл пустыми педантами его бывших профессоров. Я думаю, это огорчило его. Но пора ж ему узнать правду о них. С первого приема правда бывает иногда невкусна. Как быть! — Зато после она становится сладка. — Эти школьные великие ученые — профессора — почти все бывают от природы людьми посредственного ума, да и тот у них пропадает от пустоты их школьных занятий. И почти все они — мелкотравчатые ученые, если не вовсе невежды. А это хуже всего, почти все они — чванные педанты. Из-за их педантства Саша потерял полтора года. И теперь, повидимому, еще не успел обдумать, как ему устроить свою карьеру. По крайней мере, он не пишет об этом ничего определенного. Я предполагаю, что его спутывает педантический вздор, который так любят провозглашать школьные ученые: практическая жизнь — это нечто низкое; а высокое — это их деятельность, то есть вековечное школьничанье в компании легковерных юношей, которых они поучают тайнам премудрости. В этом предположении я пишу теперь Саше, что забота о куске хлеба — самое разумное дело и что если он желает быть ученым, то и для науки можно сделать больше позаботившись предварительно обеспечить себе кусок хлеба²...

ПИСЬМО СЫНУ САШЕ.

14 августа 1877.

...В «Отечеств. Записках» я, разумеется, читал стихи Некрасова, говорившие, что он, хилой и страдающий тяжкою болезнью, ждет

¹ «Чернышевский в Сибири», Переписка с родными, вып. II, СПб 1913, стр. 123—125.

² Там же, стр. 143.

смерти. Я видел, что это не прикрасы для поэтичности мыслей, а фактическая истина. Но я желал сохранить надежду и отчасти успел было убедить себя, что он еще поправится: я думал, это просто старческая хилость; она для него еще преждевременна; и, быть может, медикам удастся сладить с нею. Глубоко скорблю, прочитав, что смерть была уж неотвратима и близка, когда ты писал твое второе письмо; если, когда ты получишь мое письмо, Некрасов еще будет продолжать дышать, скажи ему, что я горячо любил его как человека, что я благодарю его за его доброе расположение ко мне, что я цалую его, что я убежден: его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов.

Я рыдаю о нем. Он действительно был человек очень высокого благородства души и человека великого ума. И как поэт он конечно выше всех русских поэтов¹...

ПИСЬМО ОЛЬГЕ СОКРАТОВНЕ.

30 августа 1877. Виллюйск.

Милый мой дружок, Оленька,

...вздумал я, что будет лучше, если я изложу в письме к Тебе мои советы детям. Ты будешь передавать эти мои мысли им, смягчая выражения, чтобы не огорчались наши с Тобою добрые юноши.

...Характер школьного преподавания — сухое тупоумное педанство. Это почти неизбежно так по самой сущности дела. Кому не надоест 10—20 лет толковать, год за год, все одно и то же? — Учитель, профессор всегда занимается своим делом с отвращением; и, для облегчения своей тоски, заменяет науку пустою формалистикою. А вдобавок, обыкновенно и глупеет от глупой скучности своего ремесла.

Это лишь одна из причин пустоты школьного учения. Есть много других причин, содействующих происхождению того же результата. Из этого множества упомяну лишь о двух вещах. Профессия преподавателя — одна из наименее выгодных между карьерами, представляющимися образованному человеку. А известно: масса людей, идущих по невыгодной карьере, составляется из людей, не способных итти хорошими карьерами. Даровитые люди уходят из учительства на службу по другим министерствам или идут в адвокаты, в сельские хозяева, в купцы и в тому подобные профессии, более живые, обещающие или более почетную, или более богатую будущность дельному человеку. Толочь воду с ребяташками в школах остаются по преимуществу люди, не пригодные ни к чему, кроме толченья воды.

Другое обстоятельство находится в связи с этим пренебрежением умных людей к школьной пустой скуке. Дела, важные и занимательные для общества, совершенствуются сообразно развитию наших

¹ «Чернышевский в Сибири», Переписка с родными, вып. II, СПб 1913, стр. 200.

знаний и общественной жизни. Серьезно хлопотать над улучшением школ почти никому из умных людей нет ни охоты, ни досуга. И школы остаются до сих пор почти в таком же положении, в каком были триста лет тому назад, когда устраивал их в протестантской Германии Меланхтон, и, по его примеру, немножко перестроили их его друзья в протестантской Англии, а для соревнования с протестантами перестроили иезуиты школьную часть в католических странах.

По тогдашним обстоятельствам и надобностям те школы были — хороши ли? — не очень; да и для тогдашнего времени они были не очень разумны. Но все-таки, не вовсе бессмысленны. Например: целью этих школ было, главным образом, приготовление священников. И курс преподаваемых наук был более или менее пригоден для формирования священников. У католиков все религиозное основано на знании латинского языка. Иезуиты и учили больше всего латинскому языку. У протестантов священники должны толковать о религии по греческому подлиннику Нового Завета, а не по латинскому переводу его, как у католиков. Поэтому в немецких школах очень много учили и греческому языку (латинский был и для протестантов необходим, потому что все ученые книги писались тогда на нем). Чтобы католические священники были не вовсе безоружны в спорах с протестантами, цитирующими Новый Завет по-гречески, иезуиты должны были ввести в свои школы и греческий язык. По этим двум примерам можно судить и о других предметах преподавания в тогдашних школах. Школьные программы тех школ были не бессмысленны: порядочно годились для тогдашних школьных надобностей.

Теперь те ли надобности? — Но ни у французов, ни у немцев, ни у англичан школы еще не отделались от тех программ. Повсюду гимназии и соответствующие им училища (например «лицей» и «коллегиумы» у французов) остаются имеющими такие программы, которые должны быть названы программами духовных семинарий, а не светских училищ.

Довольно этих трех причин плохого достоинства школьного преподавания. Есть много других причин. Но из того, что уж сказано мною, достаточно ясно: школьное учение очень недостаточно для юношей, желающих быть образованными людьми.

Польза от школ есть. Но она происходит не от того, чему учат в них. — Родители, отдавая детей в школу, освобождают детей от обязанности выработать хлеб. Преждевременная работа изнуряет. Гимназист или студент — ребенок или юноша свободный сравнительно с другими мальчиками или юношами, от которых родители требуют денежного заработка. Это важно. Другая польза: учащиеся мальчики или юноши толкуют между собою о науке, о книгах; друг друга возбуждают к чтению, к размышлению, объясняют друг другу, что кому из них случалось понять. Это тоже очень важная польза.

Но собственно преподавание в школах вообще пустая схоластика, ни к чему не пригодная, кроме того, чтобы утомлялись, засаривались вздором и вследствие того притуплялись умы бедняжек, дрессируемых педантами-учителями, каковы почти все учителя или профессора.

Есть знаменитое имя: «Бэкон Веруламский». Его очень многие воображают отцом новой науки. Он был человек довольно даровитый. Но не особенно. Лишь в одном он был очень лозок: в мощенничестве. И он сумел обокрасть нескольких прежних замечательно умных людей так ловко, что его книги, выкраденные из чужих трудов, кажутся его собственными учеными трудами. Больше всего наворовал он из книг своего однофамильца, жившего гораздо раньше, Роджера Бэкона. Роджер Бэкон был действительно великий ученый и очень умный человек. И очень хорошо судил о школах. Его слова о них часто цитируются. То, что говорил Роджер Бэкон о школьном преподавании тех времен, совершенно прилагается и к школам нашего времени — не к нашим только, но и к немецким, и к французским, и к английским.

Конечно, я говорю о школах для «общего образования», — каковы гимназии и университеты. Специальные школы могут быть и менее непригодны для своих специальных целей, чем эти «общие школы» для целей «общего образования». Надобно лишь сделать ту оговорку, что специальное образование имеет очень мало цены, если не основано на общем. — Саша и Миша сделали хорошо, что предпочли гимназию и университет специальным школам, которые не могут заменять собою общеобразовательных школ.

Но и в гимназиях, в университетах, при всем их превосходстве над специальными школами, преподавание далеко не имеет такого характера, чтобы давать в самом деле порядочное образование... Этот первый мой совет им: пусть они позаботятся выучиться хорошо говорить на трех важнейших языках ученой литературы, — на французском, на немецком и на английском; и пусть привыкают читать книги на всех этих языках.

...Если наши дети хотят быть людьми в самом деле образованными, они должны приобретать образование самостоятельными занятиями. И, необходимейшею подготовкою для возможности приобрести его должны быть усердные занятия французским, немецким и английским языками. Все эти три языка необходимы потому, что каждая национальность имеет свои недостатки, для исправления которых нужно знакомство с национальностями других передовых наций¹...

ПИСЬМО ОЛЬГЕ СОКРАТОВНЕ.

20 октября 1877. Виллюйск.

...Благодарю Мишу за то, что он послушался тебя и остался продолжать курс в гимназии. И прошу его думать только о том, чтобы, кончивши курс в гимназии, поступить в университет²...

¹ «Чернышевский в Сибири», Переписка с родными, вып. II, СПб 1913, стр. 201, 203, 205.

² Там же, стр. 207.

ПИСЬМО СЫНУ МИХАИЛУ.

19 ноября 1877. Вилюйск.

Милый мой друг Миша,

Благодарю тебя за то, что ты послушался твоей Маменьки и остался продолжать гимназический курс. Прошу тебя поступить, по окончании его, в университет.

Много раз я писал тебе и твоему брату, что школы, в том виде как существуют, стали со времени изобретения книгопечатания, уродливым остатком старины, вовсе не соответствующим тому способу учиться, какой дан дешевизной печатных источников знания. Но—это мысль ученого о том, что было бы возможно и удобно, если бы мысли образованного общества приняли направление, сообразное новой дешевизне книг. Общество в 400 лет еще не удосужилось подумать об этом. И дети, юноши остаются в том же положении, какое было до изобретения книгопечатания. Это смешно. Это нелепо. Но это остается так. И, пока факт остается, мы должны принимать его во внимание. Потому-то, каковы бы ни были мои ученые мысли о школах, все-таки я прошу тебя кончить курс в гимназии и поступить после того в университет.

Будь здоров. Жму твою руку. Твой Н. Ч.¹

ПИСЬМО СЫНУ МИХАИЛУ.

30 января 1878. Вилюйск.

Милый мой Миша, — ты пишешь, что любишь всеобщую историю. Привык ли ты читать книги на иностранных языках? — это необходимо для всякого, желающего серьезно заниматься какою бы то ни было отраслью знаний. — И, тем более, всеобщую историю, по которой, за времена нашей эры, важнейшие книги так многотомны, что вообще существуют только в подлиннике; переводы таких масс печатной бумаги стоили бы слишком больших издержек, которые не окупались бы: публика для таких переводов не существует; кто хочет читать такие вещи, почти все уж изучили язык подлинника²...

ПИСЬМО ОЛЬГЕ СОКРАТОВНЕ.

7 февраля 1878 г. Вилюйск.

...Я смеюсь над тупоумием и невежеством ученых невежественных математиков и астрономов, — а Саша может понять это так: я порицаю его милую математику. И, — чего доброго! — вообразит: да-

¹ «Чернышевский в Сибири», Переписка с родными, вып. II, СПб 1913, стр. 213—214.

² Там же, вып. III, стр. 6—7.

вай-ко я брошу ее и поступлю в университет снова, чтоб учиться, чему там вообразит учиться.

Учиться хорошо. Но переучиваться в университете человеку Сашиных лет — это удобно лишь, когда он имеет независимое состояние. А Саше надобно пользоваться тем, чему уж выучился, чтобы зарабатывать себе кусок хлеба.

Или, о Мише. Я с пренебрежением говорю об экзаменах. Говорю я чистую правду. Так. Но — кончить курс в университете, это дело надобное для Миши. А без экзаменов этого не бывает. Какой же смысл моих слов об экзаменах? — Тот, что учиться по-школьному, это еще не ученье, а лишь исполнение необходимой формы; и надобно, кроме того, самому, для самого себя, учиться тому, что нравится; и, главное, надобно развивать в себе любовь к чтению — не тех, большею частью очень глупых, книг, знанием которых важничают перед школьниками их учителя (сами, хуже учеников, школьники, ребяташки), а тех вовсе не премудрых книг, которые пишутся не для школьников учителей и не для детей, а для обыкновенных взрослых людей и которые с удовольствием читаются всеми неглупыми людьми, старыми и молодыми, учеными и неучеными, в юбках ли, в сапогах ли, — все равно: всеми.

Например: у русских, у нас с нашими детьми: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, — каковы бы они ни были (собственно говоря: не орлы; щеглята), — все-таки гораздо важнее и в тысячу раз умнее, чем все школьные книги всех на свете школ, от полюса до полюса, по всему свету¹...

О ПРЕДИСЛОВИИ К ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

...Я сказал, что специальные решения важнейших специальных вопросов этого предисловия даны давно, и издавна были известны людям, державшимся научной системы общих понятий; что почти все, державшиеся этой системы, издавна считали те специальные решения за совершенно достоверные.

Я говорю о решениях, данных:

по отделу астрономической истории — Лапласом;

по отделу геологической истории — Лайеллем;

по вопросу о происхождении человека — Ламарком.

Книга Лайелля «Основания Геологии» была издана лет сорок пять тому назад. Я был тогда еще ребенок.

По другим двум отделам научные решения были даны раньше, в начале нашего века, вы знаете.

Когда именно ознакомился я с этими решениями, я не умею припомнить определительным образом. Но, сколько могу сообразить, — быть может, целым годом, быть может, лишь несколькими, немногими неделями после того, как усвоил себе научную систему общих понятий. Только этим, конечно, и можно объяснить тот факт, который ясен в моих воспоминаниях.

¹ «Чернышевский в Сибири», Переписка с родными, вып. III, СПб 1913, стр. 20.

При чтении выводов Лапласа я с первых же строк видел, что все существенные черты этого специального решения, — не известные еще мне, — покажутся мне, по всей вероятности, совершенно правильными. И это, в самом деле, шло так: я читал вывод за выводом, вполне соглашаясь с каждым, строка за строкою, как бывает при чтении мыслей, давно известных читающему и давно признанных им за правильные. А между тем, все тут было нозо для меня. И, однако ж, ничего похожего на обыкновенные впечатления от новых очень важных, знаний, не производило это на меня. Я только дивился гениальности Лапласа, сумевшего так просто разъяснить такой трудный вопрос.

О Лайелле и Ламарке я буду говорить после, где будут соответствующие места, по порядку отделов. Сходство с тем, что я говорил о моем первом знакомстве с выводами Лапласа, было в том, что ровно никакой перемены в моих понятиях о вещах ни Лайелль, ни Ламарк не произвели: и от них я приобрел то же, лишь новые знания по специальным вопросам. Разница та, что геология и Лайелль, это не математика и Лаплас: я постоянно видел: «вот эта частности сомнительна; а эта, вероятно, ошибочна». И общее впечатление было: «так; но полного разъяснения, еще подожду». — То же и о Ламарке. — Я говорю, конечно, лишь о специальном содержании решений Лайелля и Ламарка. Мироззрение Ламарка не вполне научное. О Лайелле и толковать нечего: он отвергал и Лапласа, и Ламарка в тех первых изданиях своего великого труда.

Мироззрение Лапласа, насколько оно известно мне, вполне научное. И я полагаю, что он — большой чудак в своих житейских рассуждениях, никогда не высказывал как ученый никакой не-научной мысли.

И займемся теперь астрономическим отделом того предисловия, мои милые друзья.

Каковы твои математические знания, мой милый Миша? Вполне ли, или не вполне утратил ты способность понимать, что твой возлюбленный родитель — великий знаток математики? — Надеюсь, вполне.

Полагаю, что не только ты, мой милый Саша, но и твой брат, — вы оба будете равно благодарны мне за разъяснения зам, как могут, например, не только жить, но и вести торговлю народы, не знающие цифр.

Все это знают. Но, как же это? — Понять мудрено. — Знаете и вы. Но не понимаете?

Вы, мои друзья, надейтесь: «Вот, через минуту, пойдем». И надежда ваша не постыдит вас: в самом деле поймете¹.

ПИСЬМО Ю. П. ПЫПИНОЙ.

[25 февраля 1878]

Самое лучшее воспитание — подобное тому, как воспитывался Ваш муж, сестры его, братья его. И я с старшими из них. С двумя

¹ «Чернышевский в Сибири», Переписка с родными, вып. III, СПб 1913, стр. 33—35.

сестрами Вашего мужа я был почти одних лет. Да и он скоро стал пригодным компаньоном для нас трех.

Мы были очень, очень небогаты, наше семейство. В Петербурге самые бедные из людей, виданных Вами, — даже нищие — не знают теперь, что такое был «гривенник» в нашем — не бедном — семействе. Оно было не бедно. Пищи было много. И одежды. Но — денег, никогда не было! Поэтому, ничего, подобного гувернанткам и т. п., не могло нашим старшим и во сне сниться. Не было даже нянек. Прислуги было много. Но она была вся занята хозяйственными делами. Она присматривала за детьми лишь редкими и ничтожными урывками, для отдыха от дел. Об этом не стоит и говорить. — А наши старшие? — Оба отца писали с утра до ночи свои должностные бумаги. Они не имели даже времени побывать в гостях. Наши матери с утра до ночи работали. Выбившись из сил, отдыхали, читая книги. Они желали быть — и были — нашими няньками, но — надобно ж обшить мужей и детей, присмотреть за хозяйством и хлопотать по всяческим заботам безденежных хозяйств.

Итак, урывками мы имели нянек — читающих; и слушали иногда; а больше сами читали. Никто нас не «приохочивал». Но мы любили читать.

А кроме этого, мы жили себе, как нам вздумается. Были постоянные советы нам, чтобы мы не разбили себе лбов. При малейшем приключении такого рода на помощь нам прибегали взрослые люди — или наши старшие, или прислуга. Но больших бед не могло быть. Опасных игрушек у нас не было: ничего железного, ничего острого. Это потому, что и вовсе не было у нас покупных игрушек. На игрушки нам не было денег. Поранить себя нам было нечем. А наши старшие были люди смирные; шума, беспорядка не было даже у прислуги: вся прислуга — крепостные матери Вашего мужа, были люди истинно благородные. Потому и у нас, росших в обществе честном и скромном, формировались скромные, рассудительные нравы в наших играх. Итак, опасности нам от наших забав не было. И росли мы, собственно говоря: как проводят время взрослые люди; то-есть делали все, как нам было угодно¹...

ПИСЬМО А. Н. ПЫПИНУ.

[25 февраля 1878]

... Я несколько лет не мог разобрать, хорошее или дурное у нее расположение ко мне. Это я узнал лишь в те минуты, когда — перед минутою рождения Миши, она думала, что она умирает. Если бы я мог тогда удивляться, то удивился бы. Но, было не до того: жизнь ее была, действительно, в очень большой опасности. И я был равнодушен к тому, любила ли она меня, или нет. — Разумеется, жили мы, как муж с женою. Было ж у нас двое детей, и рождался ж третий сын, — или третья дочь, еще не было известно, мальчик или девочка родится, если родится. Жили мы, как все жи-

¹ «Чернышевский в Сибири», Переписка с родными, вып. III, СПб 1913, стр. 48—49.

вут. Но ведь это вздор же, ничего не значащий для сердца. — Я женился, мой милый, с совершенною уверенностью, что вообще никакая жена не стала бы любить меня; а моя невеста — меньше всякой другой девушки может любить меня, — человека, кому ж из мужчин или женщин не скучного совершенною неспособностью принимать участие в каких бы то ни было развлечениях? У меня никогда не было ни одного приятеля, ни в юности, ни после. Добролюбова я любил, как сына¹...

ЛИСЬМО К А. Н. И М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ.

[Около 1 марта 1878] Виллюйск.

...Продолжаем наши беседы о всеобщей истории. — Мы просматривали астрономический отдел предисловия к ней. — Я анализировал Ньютонову Гипотезу, то-есть мысль Ньютона, что движение небесных тел по закону природы, открытому им и называемому нами Ньютоновой формулой, производится силою всеобщего взаимного притяжения вещества. Анализ дал мне: это нимало не «гипотеза»; это просто-напросто безусловно верное знание; оно имеет характер математической истины; потому никто из людей, находящихся в здравом рассудке и знакомых с предметом, не может не признавать этой истины за совершенно бесспорную, не подлежащую ни малейшему сомнению. А между тем, большинство астрономов-математиков, то-есть всех вообще сколько-нибудь авторитетных математиков, изволят говорить: «прав ли тут Ньютон, еще не известно». И я поставил вопрос: но каково ж, однако, когда так, состояние научной истины в головах этих господ? В добром ли здоровье господа большинство авторитетных специалистов по математике?

Господа математики, желающие прославлять себя глубокомыслием, изобретают разные сорта «пространств, имеющих два измерения»; рассуждают о том, какую организацию должны иметь «разумные существа двух измерений, могущие удобно жить в тех пространствах»; сочиняют «новые системы геометрии», сообразованные со свойствами тех «пространств двух измерений» и особенностями органов чувств тех «разумных существ двух измерений»; изобретают для «нашего» — лишь для нашего, лишь одного из многих возможных пространств, — для «нашего» пространства, «кажущегося» нам — лишь «кажущегося нам», — пространством трех измерений, «четвертое измерение», быть может существующее в нем и незамечаемое нами потому, что мы, в этом отношении, «слепорожденные». Недурно.

И масса знаменитых математиков не советует тем господам изобретателям образумиться, устыдиться — нет: она одобряет, принимает в «науку» эти дурацкие бессмыслицы, эти идиотски-нелепые глупости. Недурно. Очень недурно.

Больные бедняжки, с головами до помрачения здравого рассудка избитыми Кантом; правда, чванные педанты, по мотивам тщеславия своею цеховою премудростью изменники научной истине, своей спе-

¹ «Чернышевский в Сибири», Переписка с родными, вып. III, СПб 1913, стр. 52—53.

циальной, родной, математической истине, своей же цеховой, патентованной и привилегированной истине; по их цеховому патенту, преимущественной, даже единственной истине; пошлые изменники истине, правда; но большие бедняжки, достойные сожаления еще больше, нежели негодования¹...

ПИСЬМО СЫНОВЬЯМ.

1 марта 1878. Виллюйск.

...Милые мои друзья, вы — мои дети. И, разумеется: вы склонны думать хорошее обо мне в навозможно большем размере и навозможно лучшем виде.

Я — ученый. Я один из тех ученых, которых называют «мыслителями». Я один из тех мыслителей, которые неуклонно держатся научной точки зрения. Они, в самом строгом смысле слова, «люди науки».

Таков я с моей ранней молодости. И моя обязанность — рассматривать все, о чем думаю, с научной точки зрения, давно, очень давно вошла в привычку мне так, что я уж не могу думать ни о чем иначе, как с научной точки зрения. Это и о моих личных чувствах, и о личных чувствах других ко мне²...

ПИСЬМО ОЛЬГЕ СОКРАТОВНЕ.

8 марта 1878. Виллюйск.

...Вот снова необходимо тебе, по обязанности матери, стать величайшим ученым в свете. На этот раз дело уж вовсе не требует ни малейшего усилия воли. Предмет, о котором идет речь в прилагаемых листках моих ученых рассуждений с детьми, вопрос о том, имеет ли, например, комната, — какая-нибудь, всякая, все равно; например, хоть твоя комната, где ты сидишь, читая это письмо, — имеет ли она, кроме длины и ширины, тоже и какую-нибудь высоту; или «комнатую» следует называть тот слой краски, которым выкрашен пол комнат; и даже не сам этот слой — а лишь глянец, которым отсвечивает поверхность слоя этого, когда свет из окна падает на крашенный пол. Господа мудрецы, преподающие математику в высших школах, до такой степени замудрствовались, что уж не могут разобрать разницу между словом «комната» и словами «крашенный пол» или «паркет». Я называю эту их премудрость — ослиным тупоумием. Проэкзаменуй, моя милая Радость, наших детей, правильно ли они поймут этот смысл моего письма, прилагаемого к этой моей просьбе тебе. Растволкуй юношам, что их отец не знает и не хочет знать и никогда не хотел знать ничего из математики, кроме арифметики. Но что он уважает математику и защищает честь этой науки против ученых ослов, вообразивших себя великими мате-

¹ Н. Г. Чернышевский, «Литературное наследие», т. II, стр. 478.

² «Чернышевский в Сибири», Переписка с родными, вып. III, СПб 1913, стр. 73.

матиками, заткнувшими за пояс людей истинно великого ума, благодетелей человечества, работавших над совершенствованием благотворной для человечества науки, математики, — людей, каковы, между жившими не очень давно, — лет сто тому назад, Эйлер и Лагранж, и, пораньше этих двух, еще более великий умом Лейбниц, и позже них равный силой гения самому Лейбницу Лаплас, и, одновременно с Лейбницем, еще несравненно более великий, истинно дивный, феноменальный гений Ньютон. Те мудрецы с ослиными головами выделывают ослиные курбеты на могилах этих наших благодетелей и предшественников этих людей — Кеплера, Галилея, Коперника, Эвклида и Гиппарха, и Архимеда, и Пифагора, основателей нашего математического знания, более ранних благодетелей наших. И ослиные курбеты тщеславных дураков компрометируют честь науки, за представителей которой они выдают себя.

Я защищаю Архимеда и Эвклида, Ньютона и Лапласа, и защищаю честь математики от нахальных курбетов и нелепого ржания и рева ослов¹...

ПИСЬМО К А. Н. И М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ.

[8 марта 1878]

...Мои милые друзья, всякая отдельная группа людей имеет свою особенную амбицию. Мы поговорим об этом очень важном, разумеется, неразумном, потому вредном — элементе человеческой жизни, когда, по порядку предметов, дойдет очередь до анализа влечений человека. Здесь довольно сказать, по научному мировоззрению я держусь непоколебимо такой мысли: всякая иллюзия оказывает дурное действие на ход человеческих дел; и, тем более, вредны такие иллюзии, которые, как превознесение своей группы во вред другим людям, имеют источником своим не какую-нибудь невинную ошибку, а побуждение дурное.

Ограничиваясь этим кратким замечанием о вредности всяких иллюзий, и особенно сильной вредности дурных иллюзий, взглянем повнимательнее лишь на один тот разряд дурных иллюзий, к которому относится дело, охватывающее собой историю Ньютоновой Гипотезы в наше время, столь изобильное удивительными подвигами большинства натуралистов, воскипевшего непомерно горячим усердием совершать великие открытия и прославлять тем себя.

Во всяком ремесле, или профессиональном занятии, большинство мастеров своего технического дела, невежды во всем, кроме того узенького дела, которым занимаются они по профессии. Так, например, большинство сапожников — невежды во всем, кроме сапожничества. А гордиться чем-нибудь — необходимость для невежд. Человек с широкими понятиями и чувствами находит достаточным для себя разумное чувство гордости тем, что он человек. Но невежда сапожник очень мало интересуется тем, что он человек. Он умеет шить сапоги, — вот, по размеру его понятий и чувств, единственный понятный и нравящийся ему предмет гордости для него. И,

¹ Н. Г. Чернышевский, «Литературное наследие», т. II, стр. 483—484.

давши ему хоть на полчаса простор самохвалствовать перед нами, мы услышим его поучающим нас, и, в лице нашем, — весь род человеческий, что сапожничество — самое важное на свете дело, а сапожники — первокласснейшие из всех благодетелей рода человеческого.

То же скажет нам о своем ремесле невежда портной; то же — невежда парикмахер; то же — невежда каменщик; то же — невежда столяр; то же — всякий другой ремесленник-невежда.

Но ремесленники этих и подобных им профессий, все вообще, подобно сапожникам, портным и т. д., очень редко могут находить терпеливых и почтительных, доверчивых и благодарных слушателей своему самохвалству. Чтоб услышать их дикие фантазии о том, что они первейшие благодетели наши, надобно нарочно устроить такой разговор без присутствия посторонних. Иначе нам не удастся услышать ничего истинно замечательного: по первому же слову слабого, еще колеблющегося приступа к своей назидательной речи, самохвал будет прерван всеобщим хохотом и забит сарказмом неосторожно допущенной нами к присутствию при опыте посторонней публики.

Не такова доля тех профессиональных людей, которые занимаются по ремеслу специальностями более почетными, чем сапожничество, парикмахерство и столярство. Публика слушает этих почетных людей с почтением. И самохвалство их непрерывно поучает и услаждает на все лады их профессиональной интонации хвастовства преклоняющийся до земли, в признательности к этим своим благодетелям, род человеческий.

Почетных профессий очень много сортов. Например, архитектура, живопись, скульптура и т. д.; музыка, пение, танцы и т. д.; юриспруденция и т. д.; история и т. д.

Вы знаете, что знаменитый танцор Вестрис не на шутку считал себя благодетелем целой Франции и всего цивилизованного мира. Он был простодушный болтун. Только тем он и выдался по тщеславной болтовне из ряду обыкновенных специалистов. Сущность мыслей у всех невежд, по всем специальностям, одинакова с наивною болтовнею Вестриса.

Милые друзья мои, Вы будете помнить: я равно говорю о всех самохвалах своими специальностями. Музыканты не обижены мною сравнительно с юристами; танцовщицы не обижены сравнительно с проповедниками морали; я сказал, что они поют о себе один и тот же гимн хвалы, лишь с подстановкою одной специальной терминологии вместо другой.

И если я буду говорить теперь о невеждах натуралистах и, в особенности, о невеждах астрономах-математиках, то обиды им перед другими почетными специалистами-невеждами тут нет. Я нисколько не нахожу, что их невежество более предосудительно для них, чем невежество живописцев или юристов, певиц и танцовщиц или проповедников для этих специалистов и специалисток. И самохвалство их не более нелепо, не более дурно и вредно. Я лишь должен говорить именно о них потому, что собственно они, а не танцовщицы или музыканты, занимаются наставлениями роду человеческому, о том, что такое Ньютонова Гипотеза. Если бы человечество спра-

шивало решения по этому делу у юристов или у танцовщиц, а не у натуралистов и, в частности, у астрономов-математиков, то я оставил бы на этих листках натуралистов вообще и, в частности, астрономов-математиков непо потревоженными, даже вовсе неупомянутыми, а порицал бы за невежество юристов и танцовщиц.

Но человечество не догадывается, что и от юристов и от танцовщиц оно услышало бы о Ньютоновой Гипотезе решение не менее ученое и не менее основательное, чем слышит от господ астрономов-математиков с компаниею: «Ньютонова Гипотеза, это — гипотеза»; — что может быть проще такого решения? И какая певица или танцовщица, или хоть прачка затруднилась бы дать его?

И я порицал бы за него даже прачку или поселянку-жницу, как порицаю астрономов-математиков: вопрос о Ньютоновой Гипотезе так общепонятен, что не суметь понять его было бы предосудительно и для поселянки-жницы, если бы, давши ей часа два выслушать и обдумать факты, потребовали от нее правильного решения.

Но господа натуралисты и, в частности, господа астрономы-математики уверили доверчивую массу образованных людей, что в «вопросе», — вопросе! о Ньютоновой Гипотезе есть нечто неудобопостижимое ни для кого, кроме специалистов по естествознанию, в особенности по математике, — в этом «вопросе», для решения которого не нужно ничего из математики, кроме таблицы умножения; в котором не трудно добраться до решения даже и вовсе безграмотному человеку, не знающему цифр, считающему лишь при помощи слов, обозначающих числа на обыкновенном разговорном языке, заменяющему умножения сложением и производящему сложение перебиранием пальцев. Эти господа специалисты отняли решение дела у массы образованных людей, объявили себя единственными судьями «вопроса» о Ньютоновой гипотезе, — вопроса — такого же вопроса, как «вопрос» о том, действительно ли дважды два составляют четыре. Им угодно было поставить дело так, и благоугодная им постановка дела в зависимости исключительно от них принудила меня говорить о них.

Не моя воля на то. Их воля.

Милые мои дети, вашему отцу тяжело и больно говорить о большинстве натуралистов и, в данном деле, по преимуществу о большинстве математиков так, как говорит он.

Но, — как быть. Эти господа вынуждают его к тому. Всему должна быть граница. Должна она быть и невежеству специалистов. И у всякого рассудительного человека есть граница уступчивости и снисходительности. И, наперекор желанию вашего отца, он принужден поставить вопрос: до какой степени понятны большинству господ великих математиков нашего времени простейшие, фундаментальнейшие из специальных научных истин по их специальной науке, математике?

Милые мои дети, мне тяжела эта необходимость. Я ценю заслуги тех ученых, о которых ставлю такой унижительный вопрос. Мне больно что я должен поставить его. Но я должен.

И материалом для ответа на него я имею статью Гельмгольца

«О происхождении и значении геометрических аксиом». Я знаю ее, разумеется, лишь по русскому переводу. Он помещен в журнале «Знание» за 1876 год, № 8, — я буду цитировать перевод буквально.

Первые строки статьи:

«Задачею настоящей статьи является обсуждение философского значения новейших изысканий в области геометрических аксиом и обсуждение возможности создания аналитическим путем новых систем геометрии с иными аксиомами, чем у Эвклида».

Это говорит г. Гельмгольц, один из величайших — это я знаю — натуралистов и — читал я, охотно верю, сам по этой его статье отчасти вижу — один из самых лучших математиков нашего времени.

Все в этой статье я совершенно ясно понимаю.

И я говорю: он, — он, автор — он не понимает, о чем он говорит в ней и что говорит в ней. Он перепутывает математические термины и в путанице их запутывает свои мысли так, что у него в голове сформировалась совершенно бессмысленная чепуха, которую он и излагает в этой статье.

Я буду поправлять его ошибки в употреблении терминов, и техническая часть его статьи получит, при этих поправках, правильный смысл. Без них в ней сплошная бессмыслица.

Заметим одно словечко в тех первых строках статьи. Гельмгольц хочет обсудить философское значение предмета статьи — «философское». — А в «философии» он ничего не смыслит. В этом-то и причина впадения его в бессмыслицу.

Он вычитал где-то что-то такое, чего не понял. Мы увидим, где и что он вычитал. Но это увидим мы. Сам он этого не знает. Углубляясь в те непонятные для него мысли, он вообразил, будто бы «возможно создать аналитическим путем новые системы геометрии», различные от геометрии «Эвклида».

Это — дикая фантазия невежды, не понимающего, что он думает и о чем он думает.

Дело, в сущности, так просто, что вполне понятно во всех своих технических подробностях даже мне, при всей скудости моих математических знаний. Оно состоит вот в чем:

У каждой геометрической кривой есть свои особенности. Эллипс имеет не те качества, как гипербола, или циклоида, или синусоида. Кому это не известно? — Я очень плохо знаю эллипс; гиперболу — и того меньше; но я понимаю: это разные линии. А когда они различны, то и уравнение эллипса — понятно мне — различно от уравнения гиперболы. Я не знаю ни той, ни другой из этих формул. Но они различны, это понятно мне. Синусоиду я почти вовсе не знаю; но знаю: у нее есть свое особое уравнение. Что такое циклоида, я тоже почти вовсе не знаю. Но знаю — и у нее есть свое особое уравнение.

Итак? — Не все, что применимо к эллипсу, применяется к тем трем линиям. То же и о каждой из них. То же и о всякой другой геометрической линии.

Теперь, угодно ли нам будет употреблять такие выражения: «геометрия эллипса», вместо «глава конических сечений, рас-

«сматривающая свойства эллипса»; — «геометрия гиперболы», вместо «другая глава конических сечений, рассматривающая свойства гиперболы», — и так далее? — можем говорить так, если хотим; но тогда мы должны говорить: «геометрия равносторонних прямолинейных треугольников на плоскости»; — «геометрия равнобедренных и т. д. треугольников» и т. д. — И в конце концов у нас будет столько «геометрий», сколько разных формул в «геометрии» по обыкновенному выражению.

Но, «создавая» эти тысячи, пожалуй миллионы «геометрий», мы что такое «создаем»? — Новые словосочетания только. Мы должны помнить это. Дело у нас лишь в словах.

А Гельмгольц, на этом, — на этом, — сбился бедняга.

Он и какие-то, не помню в эту минуту, но после найдем какие именно, — он и какие-то другие «новейшие» мастера рисовать формулы успели нарисовать какие-то уравнения каких-то линий, о которых воображается им, что эти их «открытия» очень важны. Так ли? Открытия ли это? — Я полагаю: это мелочи, которых не вписали в свои трактаты и статьи Эйлер, или Лагранж, собственно лишь потому, что пожалели — бумаги и времени, писать такие пустые, и очевидные даже для меня решения пустяков. Вы лучше меня можете рассудить, так ли, — но так ли, не так ли, мои милые друзья, — для сущности дела все равно. Пусть эти «открытия» Гельмгольца с компанией действительно «открытия», и притом даже «великие»; — какой же убыток от этих «открытий» аксиом Эвклида? — Никакого, разумеется.

Всякая высшая геометрическая фигурочка — лишь особенная комбинация тех же самых элементарных комбинаций, о которых говорит «Эвклид». Например: будем растягивать круг, — получим эллипс; разрежем эллипс на половины большой полуоси, будем разгибать половину эллипса, — получим сначала параболу, после — гиперболу.

Я выражаюсь, вероятно, неправильно. Но вы понимаете, что я хочу сказать: все формулы криволинейной геометрии — лишь видоизменения и комбинации элементарных решений «Эвклида». — Пусть геометрия совершенствуется; это прекрасно; но — ровно ничего, не согласного с «Эвклидом», в ней не только теперь нет, но и никогда не будет.

Так, никакое развитие математики вообще не внесет в математику вообще ровно ничего, не согласного с правилами сложения и вычитания, и — спустимся еще ниже по лестнице знаний — ничего, не согласного даже с арифметикою дикарей, умеющих считать только до трех.

Неужели Гельмгольц не знает этого? — Сбился, зафилософствовавшись; вот и весь его грех; только.

Так, он лишь сбился. Но, — каково же он сбился-то, это курьез.

Нашел он с компанией какие-то — по-моему, пустяки, — по его мнению, великие открытия. Пусть великие открытия. Нашел их, и — вообразил: найдены «новые системы геометрии», не согласные с «Эвклидом». Вот до чего доводит «обсуждение философского значения» и когда пустится философствовать человек, ни уха, ни рыла не смыслящий в философии.

И надобно отдать справедливость этим «новым системам геометрии»; в них такие новости, что читать приятно. — Приведу примеры.

Страница 4, строка 9. — «Вообразим себе мыслящие существа только двух измерений. Эти существа «живут на поверхности», и вне этой поверхности «нет пространства» для них. Они сами «существа двух измерений», и «пространство» у них имеет лишь «два измерения».

Что это за глупая нескладица? — Этак позволительно болтать лишь маленькому ребенку, едва начавшему учиться элементарной геометрии и сбившемуся, по нетвердому знанию первого урока, в ответе на вопрос учителя: «Что такое геометрическое тело?» Маленькая перепутал слово «поверхность» со словом «тело» и говорит по «новой системе геометрии» Гельмгольца. Но сам Гельмгольц говорит по «системе геометрии» этого малыша — от избытка «философских изысканий».

Дальше, на той же странице, Гельмгольц пресерьезно рассуждает о «пространстве четырех измерений»: — да, четырех измерений. Это что такое.

Дело просто:

Напишем букву a ; припишем с правого бока, вверху, маленькую цифру 4; будет что? Будет a^4 . А это что — это: количество или величина a в четвертой степени. Переложим на геометрический язык. Степень на языке геометрии называется «измерение». Что же будет это a^4 ? — Будет «пространство четырех измерений». А если вместо 4 напишем, например, 999, то будет скольких измерений пространство? — Будет «пространство девятисот девяносто девяти измерений». А если вместо 999 написать $\frac{1}{10}$, то будет? — «Пространство одной десятой доли одного измерения». — А ведь оно, точно: очень, очень недурны «новые системы геометрии».

Но Гельмгольцу воображается, что сочинившаяся у него в голове белиберда о «пространстве двух измерений» и о «пространстве четырех измерений» — нечто, имеющее важный смысл. И он рассуждает о «возможности» таких «пространств» совершенно серьезно. Например, — на той же, 4-й, странице:

«Так как никакое чувственное впечатление от такого неслыханного события, как появление четвертого измерения, нам не ведомо, так же как не ведомо и впечатление от образования нашего третьего измерения гипотетическим существом двух измерений, то представление четвертого измерения для нас столь же недоступно, как недоступно для слепорожденного представление о цветах».

Итак, несуществование четвертого измерения для нас — лишь следствие особенного устройства наших чувств. — Это не факт, что пространство имеет три измерения, — это лишь так хочется нам. Это не природа вещей — иметь три измерения, — это лишь иллюзии, производимая плохим устройством наших чувств. Мы в этом отношении лишь «слепорожденные».

Милые мои друзья, — возможно ли человеку, находящемуся в здравом рассудке, иметь такую нелепую белиберду в голове? — Пока он не философствует, невозможно. Но если он, не будучи под-

готовлен к пониманию и оценке философии Канта, пустится философствовать во вкусе — он полагает — Канта, то всякая бессмыслица может образоваться в его голове от возникновения в этой его беденькой голове комбинации слов, смысл которых не ясен ему. И, не понимая, о чем и что думает он, может он вообразить всякую такую бессмыслицу глубокомысленною премудростью.

Вообразим, что какая-нибудь русская деревенская женщина, не знающая по-французски, хочет щегольнуть в качестве великосветской дамы, прекрасно говорящей по-французски. Она ловит на лету кое-какие французские фразы: вслушаться в чуждую ей интонацию она не умеет; да и те звуки, которые удалось расслышать ей, она не умеет порядочно выговорить, а конструкция фраз вовсе непонятна ей. И что выйдет из ее великосветского французского разговора? — Она окажется дурую, говорящею нечто, совершенно идиотское. Но она, быть может, очень умна; лишь один порок в ее уме: глупое желание щегольнуть своею великосветскостью. Только. Но до чего может довести ее эта ее слабость? — Границ глупостям и бедам, которым она может подвергнуться через эту свою фанаберию, нет никаких; но, обыкновенно, дело не доходит до того, чтобы такие дуры теряли рассудок в медицинском смысле слова, хоть и до этого доходят многие из них. Обыкновенно бедствия таких дур ограничиваются тем, что они попадают в руки плутов и плутовок, бывают обобранны и, обобранные, осмеянные, оплеванные, возвращаются в свою деревенскую глушь.

Мы увидим, что с Гельмгольцем и подобными ему товарищами по естествознанию, любящими щегольнуть в качестве философов, происходит тоже лишь маленькое, сравнительно говоря, — лишь маленькое бедствие: они не утрачивают рассудка; они лишь попадают в руки недобросовестных людей. Только.

Возвращаемся к статье этой мужского пола мужички, очень умной деревенской бабы в своей деревне, но, — к сожалению — бабы, пустившейся в столицу дивить столичных жителей своею великосветскостью. Математика? — Что математика. — Кому она интересна, кроме математиков? — Это глухая деревня, до которой никому нет дела, кроме ее жителей. Философия, — вот это совсем иное. О философах идет говор по всему образованному обществу целого света. Это столичные люди, вельможи в столице. И что будет, что, если та баба появится на бале столичных вельмож? Она прославит себя на весь свет своим умом и великосветскими своими знаниями и талантами.

И вот, мы видели. Эта почтенная, не спору: напротив, сам говорю: — глубоко уважаемая мною за свою хорошую деревенскую деятельность — баба мужского пола, г. Гельмгольц, — предприняла экскурсию в столицу, и мы уже созерцали с восхищением первые подвиги ее на бале в вельможеском салоне Канта. Баба щегольнула в качестве «Гипотетического существа двух измерений» и очень занимательно изобличала людей: они не знают пространства четырех измерений лишь потому, что у них недостает физиологического органа для восприятия впечатлений от четвертого измерения.

Почтенная персона приобрела апломб, торжествуя успешность

этих своих подвигов. Дальше она очень грациозно объясняет нам, что «разумные существа двух измерений могут жить в разных, совершенно разнохарактерных, «пространствах», имеющих по два измерения».

Друзья мои, — ведь это буквально так в статье этой деревенской бабы, господина Гельмгольца. Это на 5-й странице его статьи.

Из разных пространств двух измерений, — первое «пространство» есть «бесконечная плоскость» (страница 5, строка 8). В этом «пространстве» существуют, как и в нашем, «параллельные линии». Кто открыл, что «плоскости — то-есть наша мысль о границе геометрической части пространства, о границе геометрического тела есть само уж «пространство» — из статьи Гельмгольца не видно. Кто этот родоначальник «новых систем геометрии»? — Я не знаю. Я предположил, в нашей прошлой беседе, что это Гаус. Верна ли моя догадка? — не знаю, разумеется. Но я желал бы, для чести математики, чтобы оказалось: я не ошибся в моей догадке. Потому что иначе — позор распространяется на всех, на всех великих математиков, живших после Лагранжа и Лапласа. Все эти эпигоны, все окажутся виновниками позора, если не виновен в нем лишь один из них, величайший из них, Гаус. Я поговорю о неизбежности этой «рогатой дилеммы»: если не один Гаус, то все авторитетные математики, жившие после Лапласа и живущие теперь: Я делал мою догадку о Гаусе лишь для того, чтобы сохранить для себя возможность не винить хоть других. А Гаус уж во всяком случае виноват. То — буду винить лишь его — рассудил я, в прошлой нашей беседе. Вдумываясь в дело, я стал видеть после того: едва ли возможно оправдать и других его сотоварищей. Но мы поговорим об этом. А пока возвращаемся к просмотру белиберды Гельмгольца.

Итак, первый сорт «пространства двух измерений» — бесконечная плоскость. — Кто сочинил это нелепое сочетание слов, не знаю. — Хочу думать: Гаус. — Так ли? — Для сущности дела все равно.

Второй сорт — «сферическая поверхность». В этом «пространстве» нет «параллельных линий». — И много у него других оригинальностей, не согласных с «геометрией Эвклида». Все эти оригинальности, впрочем, известны мне: я еще не забыл теорем «Эвклида» о поверхности шара. Они вовсе не те, какие относятся у «Эвклида» к фигурам на плоскости. Начать хоть с того, что, например, треугольник на плоскости вовсе не «сферическая поверхность». Это, и все тому подобное, не только изложено у «Эвклида», но и памятно до сих пор мне, хоть я забыл почти всего «Эвклида».

Есть еще «яйцеобразная поверхность». И это я знаю. Теорем о ней не знаю. Но все то, что толкует о ней Гельмгольц, вот уж лет сорок знаю, — лет с десяти знаю, с той поры, когда учился «Эвклиду». У «Эвклида» об этой поверхности не говорится. Но все те различия ее от сферической поверхности, о которых толкует Гельмгольц, известны всякому, знающему теоремы «Эвклида» о поверхности шара. — Точно так же с десятилетнего возраста известно мне и все остальное, о чем толкует техническая, собственно — геометрическая, часть статьи Гельмгольца. Вся эта новооткрытая премудрость известна со времени «Эвклида» всем, хоть немного учившимся

«Эвклиду». Новость лишь то, что «новейшие» мудрецы, г. Гельмгольц с компаниею, избитые кулаками Канта, воображают, в расстройстве мыслей от головной боли, эти «поверхности», эти границы геометрических тел «пространствами». Новость такого же рода, как то, что можно, например, возводить «пару сапогов» в квадрат или куб, или извлекать из «пары сапогов» квадратный корень.

«Новейшие» создатели новых «систем» математики, разумеется, не затруднятся задачею возвести «пару сапогов», например, в квадрат. Стоит им написать формулу:

$$П^2 А^2$$

и они тотчас сообразят: «пусть A будет «сапог»; пара сапогов будет $2a$; и возводят $2a$ в квадрат, они получают

$$4a^2$$

и прочтут это так: «пара сапогов, возведенная в квадрат, равняется четырем сапогам в квадрате». Но что же это такое четыре сапога в квадрате?— Для нас, говорящих по-русски, очевидно, что это такое: четыре сапога в квадрате, — это «сапоги всмятку». — Так легко разрешается по «новой системе математики» задача совершенно несовместная с человеческим смыслом, по ошибочному мнению людей, держащихся старой, общеизвестной, «системы математики».

Вот другая задача, которую так же легко разрешит Гельмгольц с компаниею: «Дано сборище из 64 педантов, одуревших от избытка тщеславия; требуется извлечь квадратный корень». — Ответ будет: «8 квадратных корней таких педантов». — Так. А кубический корень? — Ответ: «4 кубических корня таких педантов».

Возвращаемся к статье бедняги, сбившегося с толку на щегольстве своим знакомством с философией Канта.

Яйцеобразное пространство двух измерений не удобно для жизни разумных существ двух измерений: передвигаясь по нем, они растягивались бы и сжимались бы неравномерно, вроде того, как мнется передвигаемый по скорлупе яйца кусочек пленки того яйца. Это правильно, я знаю. И точно: какой уж тут был бы «разум» у «существ двух измерений», когда их головы были бы постоянно размяты растягиванием и сжиманием. Но... но... но... если предположить, что эти «разумные существа двух измерений», — устрицы двух измерений? — Тогда они сидят, приросши к месту, и неудобства им нет; да и голов-то у них нет. Какое же затруднение для них яйцеобразность их пространства? — Ах да, впрочем. Устрицы не имеют рук: писать книг не могут поэтому. А для Гельмгольца вся сущность «разумной жизни» — писание книг и статей о математике. Понятно: о «яйцеобразном пространстве двух измерений» не стоит и толковать: разумным существам двух измерений не стоит жить в нем.

Но «сферическое пространство двух измерений» — очень хороший сорт пространства.

Третий прекрасный сорт — «псевдосферическое пространство двух измерений». Его вид? — Поверхность кольца, сделанного из проволоки, согнутой и спаянной концами. Изобретатель этого простран-

стза — известный, по словам Гельмгольца, — известный. Чем же именно? глупостью? Итальянский математик Бельтрами. — Я надеюсь, эта его глупость была у него, — как, я надеюсь того же и о Гельмгольце, лишь мимолетным расстройством мыслей, и известен он не этою своею глупостью, а какими-нибудь дельными работами. — В этом отношении, впрочем, очень прискорбна эта хоть и мимолетная, глупость. Образумившись, Бельтрами должен был бы отступить от нее. А он этого, повидимому, не сделал. Итак: он еще не вполне исцелился. И она продолжает давить, как свинцовая дурацкая шапка, его голову. Да, впасть в глупость легко невежде, одолеваемому тщеславием. Исцелиться трудно. Потому-то и непростительна коренная глупость тщеславных невежд: глупость оставаться невеждами, когда им хочется философской славы. Поучились бы; — авось, и тщеславие исчезло бы вместе с невежеством. А то, лишь стыдят себя и позорят свою специальность своими дикими фантазиями.

«Псевдосферическую поверхность», по словам Гельмгольца, имеют и некоторые другие фигуры, кроме фигуры проволоки, согнутой в кольцо. Он перечисляет эти разные формы псевдосферической поверхности.

Все они — формы очень элементарные. Были ль даны каждой из них особые формулы до Бельтрами? — Не знаю. Но даже для меня ясно: все эти формулы — очень легкие видоизменения формул линий второй степени. Например: поверхность кольца из круглой проволоки имеет своими формулами очень легкие видоизменения формул цилиндрической поверхности прямого цилиндра; то-есть, формулы поверхности того кольца очень легко и просто выводятся из формул круга: и, я полагаю: если у Бельтрами в той его глупости есть какие-нибудь формулы, не находящиеся в трактатах или статьях Эйлера и Лагранжа, то лишь потому не напечатали этих формул Эйлер и Лагранж, что находили их не заслуживающими печати, очевидными для всякого порядочного математика короллариями других формул.

Но так ли, или нет, — для сущности дела все равно. Пусть Бельтрами в той своей глупости дал какие-нибудь новые формулы, не совсем маловажные. Все-таки неизмеримо глуп общий характер обеих его работ, на которые ссылается Гельмгольц. Это видно по самым заглавиям их. — «Опыт истолкования не-Эвклидовой геометрии» и «Основная теория пространств постоянной кривизны». — Я рад был бы свалить всю вину глупости на Гельмгольца, предположивши, что он вложил сам дикую фантазию свою в работы Бельтрами, имеющие лишь дельную, разумную цель найти формулы для тех поверхностей: кольцеобразной, двуседловидной и бокалообразной. Важны ли, не важны ли эти формулы, новы ли они или не новы в науке, — было бы все равно: цель работ — дельная; и если автор доискивался решений, уж данных другими, лишь не известных ему, — это могло бы оказаться лишь случайным его незнанием, и я рад признавать все такие случаи извинительными. Но, — нет — Бельтрами сочинял «не-Эвклидову геометрию», — он сам; не Гельмгольц вложил в его работы эту невежественную фантазию; он сам хвалится; он изобрел новую геометрию. И не Гельмгольц внес

в его работы нелепое перепутывание понятий «линия» и «поверхность» с понятием «пространство»; нет, он сам говорит о «кривых пространствах»; — о, урод.

Гельмгольц нашел, впрочем, что Бельтрами имел предшественника. Этот предтеча сочинителя «кривых пространств» — бывший профессор в Казани, некто Лобачевский. Еще в 1829 г., говорит Гельмгольц, «была составлена Лобачевским система геометрии», которая «исключала аксиому параллельных линий; — и тогда еще было вполне доказано, что эта система столь же состоятельна, как и Эвклидова». И система Лобачевского «вполне согласуется» с новою геометрией Бельтрами.

Дурак ли от природы Бельтрами, я, разумеется, не знаю. Но, каков был ум его предтечи, мне известно. Лобачевского знала вся Казань. Вся Казань единодушно говорила, что он круглый дурак. О нем даже писались стихотворения. Одно из них я до сих пор помню. Это смех и срам серьезно говорить о вздоре, написанном круглым дураком.

Что такое «геометрия без аксиомы параллельных линий»? — Ребятишки забавляются тем, что прыгают на одной ноге. Быстро двигаться вперед этим способом они, разумеется, не могут; и передвинуться далеко, — например версты на две, не могут. Но, при усердии, все-таки не очень медленно передвигаются на расстояния, не вовсе ничтожные: иной, прыгая, не отстает от человека, идущего тихо; и провожает его целую четверть версты. Это очень трудный подвиг. И достойный всякой похвалы. Но лишь когда это — шалость ребенка. А если взрослый человек не для шалости, а серьезно, по своим серьезным делам, пустится путешествовать, прыгая на одной ноге, это будет путешествие — не вполне безуспешное — нет. Только — совершенно дурацкое.

Можно ли писать по-русски без глаголов? — Можно. Для шутки пишут так. И это бывает, иной раз, довольно забавною шалостью. Но, — вы знаете стихотворение:

Шелест, робкое дыханье,
Трели соловья, —

только и помнится мне из целой пьесы. Она вся составлена, как эти два стиха, без глаголов. Автор ее — некто Фет, бывший в свое время известным поэтом. И есть у него пьесы очень миленькие. Только все они такого содержания, что их могла бы написать лошадь, если б выучилась писать стихи, — везде речь идет лишь о впечатлениях и желаниях, существующих и у лошадей, как у человека. Я знавал Фета. Он — положительно идиот: идиот, каких мало на свете, но с поэтическим талантом. И ту пьесу без глаголов он написал как вещь серьезную. Пока помнили Фета, все знали эту дивную пьесу, и когда кто начинал декламировать ее, все, хоть и знали ее наизусть сами, принимались хохотать до боли в боках; так умна она, что эффект ее вечно оставался, будто новость, поразителен.

Вы знаете, необходимейшая из согласных на французском, итальянском или испанском языках, буква l — она входит в состав

члена» — того местоимения, без которого мудрено сказать десять слов кряду. И что ж? — во времена щегольства побеждением лингвистических законов были писаны, во множестве, на этих языках стихотворные вещицы без буквы I. На испанском языке есть даже целая эпическая поэма, целая огромная книжища, без буквы I. Имя глупца, автора ее, уж забыл. Можете, если хотите, справиться в каком-нибудь трактате об испанской поэзии «времен упадка вкуса» в XVII столетии.

Мало ли каких фокусов-покусов может выделять желающий выделять фокус-покусы? Для шутки в часы отдыха это, пожалуй, не глупая забава. Но кто фокусничает не для забавы, а серьезно усердствует сочинять ребусы, шарады, каламбуры, воображая «пересоздать» науку этими дурачествами, тот занимается дурацким трудом и если не родился, — как родился бедняжка Лобачевский, — то добровольно становится глупцом.

...Душенька, ни математику, ни вообще натуралисту, непозволительно «смотреть» ни на что «вместе с Кантом». Кант отрицает все естествознание, отрицает и реальность чистой математики. Душенька, Кант плюет на все, чем ты занимаешься, и на тебя. Не компаньон тебе Кант. И уж был ты прихлопнут им, прежде чем вспомнил о нем. Это он збил в твою деревянную голову то, с чего ты начал свою песнь победы, — он вбил в твою голову это отрицание самобытной научной истины в аксиомах геометрии. И тебе ли, простофиле, толковать о «трансцендентально данных формах интуиции», — это идеи, не постижимые с твоей деревенской точки зрения. Эти «формы» придуманы Кантом для того, чтобы отстоять свободу воли, бессмертие души, существование бога, промысл божий о благе людей на земле и о вечном блаженстве их в будущей жизни, — чтобы отстоять эти дорогие сердцу его убеждения от — кого? — собственно от Дидро и его друзей; вот о чем думал Кант. И для этого он изломал все, на чем опирался Дидро со своими друзьями. Дидро опирался на естествознание, на математику, — у Канта не дрогнула рука разбить вдребезги все естествознание, разбить впрах все формулы математики; — не дрогнула у него рука на это, хоть сам он был натуралист, получше тебя, милашка, и математик получше твоего Гауса.

...Моя точка зрения на это? — Точка зрения Лаланда и Лапласа, — точка зрения Людвига Фейербаха. — И, хотите — не только знать, что думаю я, — но и то, что чувствую я? — то прочтите — не «Фауста» Гёте, — нет, это писано с точки зрения чрезмерно устарелой, — но «Коринфскую невесту» Гёте¹...

ПИСЬМО ОЛЬГЕ СОКРАТОВНЕ.

22 марта 1878 года.

...Содержанием этого будущего письма к тебе, будет моя просьба, чтобы ты приучала себя не стесняться тем, что ты «не ученая», как всегда толковала ты о себе; — не стеснялась бы этим, а учила

¹ Н. Г. Чернышевский, «Литературное наследие», т. II, стр. 485—500.

бы детей, учила б их; — не той чепухе, разумеется, которая называется ученостью, а пониманию жизни, пониманию того, что понятно всем, ученым ли, не ученым ли, — хоть и читать не умеющим, — неглупым людям, поприсмотревшимся к жизни, и непонятно, без дружеского истолкования от старших, юношам или молоденьким девушкам.

Говорят: «девушка, сделал ошибку по незнанию жизни, теряет честное имя». Для меня это кажется мыслью очень глупую. Но эта девушка, — теряет ли, или нет «честное имя», — портит свою жизнь. Вот это серьезная сторона той ошибки, о которой судят по той глупой мысли.

Юноша не теряет «честного имени», наделав и в тысячу раз худших ошибок, — целыми десятками наделав их. Но — вред он делает себе.

Я не о том говорю, что юноши должны вести монашескую жизнь. Я не одобряю и того даже, что девушки, под страхом быть вытолкнутыми из общества, принуждены вести такую жизнь. То, что после становится делом серьезных чувств, у молодежи не может не быть ребяческой забавою.

Но те лица, вместе с которыми играет юноша, как ребенок, в серьезные, еще не ведомые ему, чувства, — эти лица — хорошая компания лишь когда они — честные люди.

И, например, честные девушки, — кто? — те, которые правдивы, которые не плутовки в денежных делах, не расстраивают свое здоровье добровольными дурными поступками, вроде пьянства, — те, которые похожи на честных мужчин.

Честь, — одна и та же у женщин и мужчин, девушек, замужних женщин, стариков и старух: «не обманывай», «не воруй», «не пьянствуй», — только из таких правил, относящихся ко всем людям, без различения пола, слагается кодекс «чести» в правдивом смысле слова.

Но этого кодекса должны держаться люди, — мужчины ли, женщины ли, юноши ли, девушки ли, — составляющие компанию юноши: только если так, эта компания не вредна ему¹...

ПИСЬМО ОЛЬГЕ СОКРАТОВНЕ.

Для наших детей.

Они уж юноши. Уважают ли они женщин? — Надеюсь. Но и мораль об этом не бесполезна никому из юношей.

Вот что сделай ты, если я действительно отправлю к тебе те листки, на которых перевел рассказ Брета Гарта «Миггельз»: пусть один из детей прочтет при тебе этот мой перевод, а другой пусть слушает; и, после, ты поговори с ними о том, кто Миггельз и кто из «проезжих» самый умный человек; это — «Билль с Юбы». Он один истинно благородный человек из всех своих товарищей и умнее всех по пониманию, что за люди обыкновенные честные мужчины. Он простяк; и, быть может, думал о своих товарищах не-

¹ «Чернышевский в Сибири», Переписка с родными, вып. III, СПб 1913, стр. 93.

справедливо; быть может, все его товарищи были совершенно честны, — хоть в те часы, которые провели в том домике, но вообще Билль с Юбы прав; мужчины — это скоты.

Но и «леди проезжие» хороши. Они даже лучше мужчин, госпожи «нравственные» женщины. Что́ это за сволочь, «обе леди проезжие». — Нестерпимая сволочь.

Судья — он, под конец, все-таки восстановил честь мужчин и он мил за это.

Довольно здесь о том крошечном, прелестном рассказе Брета Гарта.

Принимаюсь за рассказ моей бабушки о счастье, которое предстояло ее отцу и матери и ей, и ее сестрам.

Моя бабушка Пелагея Ивановна была неумолимою порицательницею, — мало сказать: «порицательницею», — она была казнительницею «безнравственности». Но я буквально помню этот ее рассказ. И читай, моя милая Голубочка. Быть может увидишь, что простые люди, — какую была моя бабушка, говорили пустяки лишь в виде отвлеченных рассуждений, смысла которых сами не умели понимать; а о фактах умели если не всегда, то хоть и иной раз, судить не глупо.

Ты помнишь, моя Голубочка:

Моя прабабушка — Марфа Перфильевна, и ее муж, — сельский священник, Иван, — не помню хорошенько, как его звали по отчеству, но, чтобы назвать как-нибудь, по необходимости для рассказа, называю: — Иван Егорович, — ты помнишь, они, люди еще вовсе молодые, переселились из одного «прихода» в другой; Иван Егорыч приделал к телеге парус; Мавруша спасла себя, мужа и свою дочку Поленьку от «разбойников», которые «пукали» по уткам. Таким образом, путешествие совершилось быстро и благополучно.

Откуда и куда они переселились? — Не умею представить себе. Помню лишь, была тут «Сосновка» или «Осиновка» — прежний ли, новый ли «приход», или какая деревня по дороге из прежнего прихода в новый. — «Сосновок» или «Осиновок» везде много. И это имя, — имя, какое из двух. — Не умею сказать; но, какое бы ни было из этих двух, — ровно нисколько не определяет местности. Думаю, эта местность была или северо-западная часть Саратовской губернии, или соседняя часть Тамбовской; но все равно: это была какая-то местность какой-то, — Пензенской, что ли, или какой другой — обширной «Эпархии», в состав которой входило множество уездов, распределившихся после между несколькими «Эпархиями»; отдельной Саратовской «Эпархии» не было не только тогда, но и долго после: это и «губерния» уж только очень новая, и «Эпархия» еще более, быть может, новая, чем «губерния». Я еще помню первого архиерея Саратовского.

Это я говорю для того, чтобы ясно было: странствования духовенства того края из «прихода» в «приход», не простиравшиеся вообще дальше границ одной и той же, — «нашей», «своей» эпархии, совершались, однако же, по площади огромного размера. И где именно происходило переселение с парусом, — искать можно на пространстве верст четырех сот во все стороны от Саратова, от Пензы и от

Тамбова; но, вероятно, на юг от Пензы, на восток или юго-восток от Тамбова, на запад от среднего, Саратовского, низовья Волги.

Этот неизвестный край, где был «новый приход» прадеда моего по матери моей матери, был во время молодости прадеда вовсе глухой, покрытый дремучими лесами и, меж леса, будто оазисами больших открытых местностей, пустынный ли, — почти пустынный край, но кое-где по этой лесной и отчасти луговой пустыне были разбросаны деревни и большие села. Были ли почтовые дороги? — были, но их было так мало, что в иных местах поперечники треугольников и четырехугольников между этими «столбовыми» дорогами имели по нескольку сот верст. Кроме почтовых дорог, были «обозные», или товарные, дороги к Тамбову, Пензе (и Москве), к Хвалынску, Воронежу, Саратову, — быть может еще двум, трем пристаням на Волге.

Гостиниц не было нигде, кроме разве очень плохеньких в Пензе, быть может, и в Тамбове. В Саратове наверное не было, — не только тогда, — в восьмидесятых и девяностых годах прошлого века, но и много времени после. Станции на «почтовых» дорогах были омерзительные: развалившиеся логовища без стульев, даже без столов, кроме скверного, вонючего от всякой гнили и гадости, сбитого из тесанных топором толстых сосновых досок стола для жранья и ньянства.

На «обозных» дорогах были «постоялые двory», — иной раз построенные из хорошего леса, крепкие, без сквозного ветра — непременно и непрерывного путешественника по берлогам «станции», — но до нестерпимости грязные, душные; не то что собственно вонючие, каковы были «станции», — нет, по-мужицкому опрятные, но по-мужицкому, то-есть опрятные с грязью на вершок толщины повсюду, и с чистым, по-мужицкому, воздухом, то-есть тяжелым для дыхания лишь от дыма, от земляной грязи, от онуч, от полушубков и конской сбруи, а не всякой подлой скверности, не от свинства, как «станции»; дома хорошие, чистые — по-мужицкому, то-есть для опрятных людей все-таки нестерпимые.

Поэтому для проезжих, привыкших жить опрятно, единственным сносным пристанищем, кроме немногих по дороге и не всем доступных дворянских и богатых купеческих домов, были дома духовенства, — некоторых (немногих) дьячков, дьяконов, но — все это слишком бедно, тесно, потому, собственно говоря, только — дома священников.

Еще в мое детство проезжие по глухим местам ездили как из станции в станцию, — из одного священнического дома в другой. — Подъезжают, слуга или ямщик идет: «батюшка» или «матушка», проезжие просят позволить им отдохнуть у вас. — Милости просим. — И входят проезжие.

— ...Хоть я и разглядел все, матушка, и деток ваших прекрасно разглядел, но только я вас прошу: покажите мне, сделайте милость, их кровати, и где у вас их белье, и все это: как они у вас спят и как вы их держите.

Ну, как ей быть, — повела его, показывать ему, где спят у нее дети, и кровати их, — наши-то, — и все, что до нас касается.

Разглядел он все внимательно, — ну, и весь домик-то обошел с

нею, все комнаты, — ну, да много ли их. — Одна-то, где они сидели, да две, может быть, клетушки, вот и все комнаты; — обошел он все, разглядывал наши кровати и бельишко-то наше, детское, больше всего, — и говорит:

— Ну, довольно я видел, благодарю вас, матушка, что водили вы меня везде, все показали; теперь пойдете в ту комнату опять; сядем поговорим, о чем я хочу с вами поговорить.

Пришли в ту комнату, — в залец-то, что ли, как бы сказать, — сели, и он начинает говорить, что же; — говорит:

— Матушка, я здесь не по случаю, и не проездом, как вы, конечно, подумали, что это обыкновенный случай, по проезду. Я ехал нарочно к вам, матушка. Дорога моя не здесь. Она за много переездов в стороне от этого села. Еду я издалека и еду далеко. И не здесь мне прямая дорога. Только имел я по дороге случаи спрашивать, кто как заботится о своих детях, из молодых женщин. И, выходило так, что говорили мне о вас, матушка. Я не показывал виду, что такое надобно мне и чего я допрашиваюсь, и никто ничего не заметил, как я еду и чего ищу. Но вышло: услышал я, чего допрашивался. Узнал я, есть такая хорошая мать, — и поехал к вам, матушка, удостовериться своими глазами, так ли. А никто этого не знает, что вот приезжал к вам тот человек, который вот я; и кто я, вы сама того не слышали, и не услышите, матушка. Такое это дело, матушка, по которому я у вас.

«Говорили мне, что вы хорошая мать и умная; что вы хорошо воспитываете ваших детей: в чистоте и с самой большой всякой заботливостью о них. И вижу я: это так.

«То вот моя просьба к вам: примите младенца на воспитание к себе. От груди он снят. Но младенец он, меньше года.

И стал он говорить ей, что надеется, она будет заботиться о младенце этом, как о своем; и стал говорить, что он богат и что сила у него большая. И, что когда подрастет младенец, и ей уже нечего будет оставаться тут, где никто не может догадаться о младенце, чей он сын, — тогда, где она и батюшка захотят, какое место захотят, там то самое место и будет дано батюшке: это в их воле, он их своими советами, какой выбор им лучше, стеснять не будет. А если они согласны будут в этом с ним, то должность батюшке будет дана в Петербурге, при дворце. Это будет хорошо им взять, главным образом для пользы их дочерей.

— Что же скажете на мою просьбу, матушка? — Спрашивает наконец.

... Только, конечно, матушка — хоть и себя не помнит, от удивления и от радости, — отвечает, как следует по-семейному;

— Тут надобно мне посоветоваться с мужем.

Он говорит: — конечно, так.

...не напрасно шла о ней далеко слава, что она умная мать и хорошая. Точно это, и теперь еще на редкость, чтобы мать умела воспитывать детей в такой чистоте, как росли мы. А тогда это и вовсе было это у наших русских женщин неслыханный ум¹.

¹ Н. Г. Чернышевский, «Литературное наследие», т. II, стр. 512, 518, 520.

31 марта 1878. Виллюйск.

... Дело лишь в том, что она — простолюдинка, с обыкновенными манерами простолюдинки: ни войти, ни стать, ни сесть на бале она не умеет; и говорит она — по-мужицки. Только в этом и непригодность ее стать светскою женщиною. — Но она умна и от природы грациозна. — Да, — и если захочет, сумеет приобрести изящные светские манеры. — Да, если захочет. Но это усвоится не очень легко и скоро. — Правда. Но если у нее достанет терпенья долго трудиться над усвоением этого, то она может стать прекрасною светскою дамою. — Еще бы нет. — Актрисы, певицы, танцовщицы, — из какого класса людей большинство их? — Из класса людей с неуклюжими манерами. И многие из этих мужицких или мещанских девиц — ничего себе, являюся в великосветском обществе прекрасными светскими женщинами. А когда [выходят] за знатных людей, — то — кто ж из людей с каплею смысла в голове не оказывает этим хозяйкам аристократических домов, этим графиням и герцогиням такого ж уважения, как и другим изящным, милым, достойным уважения графиням и герцогиням.

И толковать о том, справедливо ли это, не стоит.

Это справедливо. Это прекрасно, — только это очень редкие счастливые случаи. Из тысяч красавиц простолюдинок одной удастся войти в светское общество.

Девушке простолюдинке нужно особенное счастье для возможности войти в него. И нужно ей много трудиться над своим перевоспитанием, чтобы мочь войти в него с честью, не стать смешною в нем, когда счастливый случай откроет ей доступ в него.

И опять иной вопрос: можно ли искать себе друга для постоянной жизни вместе в слоях общества, далеких от нашего круга, в который мы введем это лицо.

Это вопрос не о том, сколько любовников было у Миггельз. Девическая невинность тут ни причем. И вопрос тут не то, что о «невесте» и «жене»; вопрос это равно и о невесте для мужчины, и о женихе для женщины, это вопрос о «лице того или другого пола, все равно», — о «неравном браке». Кто берет друга на всю жизнь, не равного себе по привычкам, редко имеет удачу; аристократка, вышедшая за человека не своего круга, становится обыкновенно несчастна; и это ее горе — серьезное, почтенное горе. В романах, над такими несчастьями смеются господа авторы, героиня порицается за мелочность, если сожалеет, что «унизилась» неравным браком. Порицать чужое горе легко; только глупо. Она лишилась многого важного, прекрасного, потеряв почетное положение в обществе через неровный брак. Ее горе достойно уважения.

А простолюдинка, попавши через брак в светский круг, обыкновенно делает стыд мужу своею неуклюжестью, и сама несчастна, если не дрянная, бессовестная женщина.

Удачных неравных браков — много; но они — лишь ничтожный процент из всего числа неравных браков.

Дело не о «непорочности» тела ли, или сердца. Дело лишь о

«сословии», о манерах, о неуклюжестве или изяществе манер, о привычных мыслях, о привычных особенностях желаний и житейских соображений. Это и о мужчине и о женщине, одинаково. Мужичкий парень — такая же неуклюжесть, как сельская девушка; и будет стыдом для жены, если жена не мужичка. Таков обыкновенный шанс. Исключения — редкость. На редкие случаи рассчитывать не годится. Довольно пока. Целую тебя, моя милая Радость.

Твой Н. Ч.

— Так вот эти и тому подобные простые житейские истины, — понятны ли нашим с тобою детям, мой милый дружок? — Толкуй с ними об этих простых вещах, более важных и умных, чем школьная премудрость¹.

6 апреля 1878. Виллюйск.

Милый мой дружок Оленька,

Отдай прилагаемую к этой записке ученость Саше и Мише. Ученость вышла так велика, что не влезла в один конверт, расплзлась на два конверта.

О, какие простые, всем — даже и не умеющим читать — неглупым людям известные вещи то, о чем я толкую детям.

Хочу думать: все это известно им и без меня.

Но — подавляются умы учащегося в школах юношества школами. И — вероятно, не все, что я пишу, уж было и без меня понятно нашим детям.

Я пишу им азбуку, только азбуку; а длинна выходит эта азбука. И очень скучна.

Но, быть может, не будет бесполезна им²...

ПИСЬМО К А. Н. И М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ.

6 апреля 1878. Виллюйск.

Милые мои друзья, Саша и Миша,

Будем продолжать наши беседы о всеобщей истории.

Для ясности хода моих мыслей в этой беседе полезно будет нам припомнить содержание прежних.

Предисловие к истории человечества составляют:

Астрономическая история нашей планеты.

Геологическая история земного шара.

История развития того генеалогического ряда живых существ, к которому принадлежат люди.

Это научная истина, известная с давнего времени.

Большинство натуралистов благоволило признать ее за истину лишь недавно.

¹ Там же, стр. 533—534.

² Там же, стр. 545.

И я сказал: большинство натуралистов до недавнего времени интересовалось научною истиною меньше, нежели следовало. Мало знакомо с нею и теперь. Мне придется много спорить против них из-за этого.

Чтобы ясно было, какие именно понятия признаю я истинными, я сделал характеристику научного мировоззрения по отношению к предметам естествознания.

Существенные черты этой характеристики таковы:

То, что существует, — вещество.

Наши знания о качествах вещества, это — знание о веществе как веществе, существующем неизменно. Какое-нибудь качество, это: — само же вещество, существующее неизменно, рассматриваемое с одной определенной точки зрения.

Сила, это: — качество, рассматриваемое со стороны своего действия.

Итак: сила, это: — само же вещество.

Законы природы, это: — способы действия сил. Итак, законы природы, это: — само же вещество.

Я сказал: никто из натуралистов, сколько-нибудь уважающих себя и сколько-нибудь уважаемых другими натуралистами, не решится сказать, что он не находит этих понятий истинными; всякий скажет, что это его собственные понятия.

И я прибавил: да, все они скажут: «Это так»; но очень многие — почти все — скажут, сами не понимая, что прочли, что у них знакомство с этими понятиями очень плохо и образ мыслей очень во многом не соответствует этим понятиям.

Сделав эти общие заметки об отношениях большинства натуралистов к научной истине, я перешел к обзору содержания астрономического отдела предисловия к истории человечества.

История нашей солнечной системы и, в частности, нашей планеты, разъяснена Лапласом. Этот его труд — ряд очень простых, совершенно бесспорных, с научной точки зрения, выводов из ньютоновой формулы, которая всеми астрономами принимается за истину, не подлежащую ни малейшему сомнению, и из нескольких общеизвестных фактов, достоверность которых никем из астрономов не отрицается.

Как это теперь, совершенно так это было и в то время, когда Лаплас обнародовал свою работу; оставалось так и во все последующее время: никто из астрономов не подвергал, и не считал возможным подвергать ни малейшему сомнению ни ньютонову формулу, ни какой из общеизвестных фактов, на которые опираются выводы Лапласа.

Дело так просто и достоверность выводов Лапласа так ясна, что с самого обнародования их признавали их за несомненную истину все те, знакомые с ними, люди, которые имели серьезную любовь к истине и обладали знанием, что о делах, понятных всякому образованному человеку, всякий образованный человек может и должен судить сам.

Таких людей было очень много.

Но большинство образованного общества издавна приучено боль-

шинством астрономов полагать, что никто, кроме астрономов, не может иметь самостоятельного мнения ни о чем в астрономии.

Наиболее умные люди между астрономами всегда старались разъяснить обществу, что это не так. Для того чтобы находить правильные решения астрономических вопросов, — говорили они обществу, — действительно необходимо иметь специальные знания. Но когда решение найдено, то может оказаться, что оно основывается на общепонятных выводах из общеизвестных фактов. И выводы Лапласа об истории солнечной системы таковы.

Но большинство образованного общества подчиняло себя авторитету большинства астрономов. А большинство астрономов изволило находить, что «Гипотеза Лапласа», — как назывался тот ряд выводов, — «лишь гипотеза».

Так это говорилось лет шестьдесят или больше.

И вот, наконец, был открыт способ видеть химический состав тел через наблюдение их спектров. Он был применен к спектрам небесных тел.

И всякий, специалист ли, нет ли, увидит: в составе планет и спутников планет нашей системы, в составе нашего солнца, других солнц, туманных пятен находятся некоторые из так называемых «химически простых тел», известных нам по нашей планете.

И большинство астрономов признало: Лаплас прав.

А между тем, факты, открытые спектральным анализом относительно состава небесных тел, само по себе вовсе не свидетельствуют о том, прав или не прав Лаплас.

Из них видно только: химический состав небесных тел более или менее подобен составу нашей планеты. Это мысль несравненно более давняя, чем «Лапласова Гипотеза», и, сравнительно с нею, очень неопределятельная.

Но масса образованного общества, заинтересовавшись результатами наблюдений над спектрами небесных тел, вдумалась в спор меньшинства и большинства астрономов о Гипотезе Лапласа, решила взять решение спора под власть своего здравого смысла, решила: меньшинство астрономов говорило правду: Лапласова Гипотеза — гипотеза лишь по имени, а на самом деле она — бесспорно достоверный ряд совершенно правильных выводов из несомненных фактов.

И большинство астрономов покорилося решению массы образованного общества.

Такова-то история так называемой «Лапласовой Гипотезы».

...Длинные были мои разъяснения, мои милые друзья. Но, при всей своей длинноте, не слишком ли кратки они? — Не знаю. — Масса книг, — я говорю о книгах ученых, — читаемых вами, почти сплошь напичканы вздором. Умных ученых книг не очень много и у передовых наций. Тем меньший процент составляют они в нашей русской сокровищнице наук.

... Я пишу почти лишь по памяти; о предметах, никогда не бывших интересными лично для меня. Мои знания о них, — обо всем в естествознании, — всегда были скудны; и почти все из того, что знал когда-то о них, я забыл. Чем пополнять мне пробелы этих чрезвычайно скудных моих знаний? — Словарем Брокгауза. Разве это кни-

га для ученых? Много ли в ней могу найти я из того, что нужно мне для этих моих бесед с вами, друзья мои? — и невозможно ж мне не говорить иной раз лишь по соображению.

Память обманчива. Соображения — это лишь догадки.

И каждое мое слово, о котором не знаете вы твердо и ясно, что оно верно, требует проверки с вашей стороны. Но никакие мои ошибки не относятся, не могут относиться к сущности дела.

... По своему специальному содержанию, естествознание очень мало мне известно и еще гораздо меньше того занимательно.

Я уважаю его больше, чем кто-нибудь из натуралистов, считающихся ныне лучшими его представителями. Но у каждого из ученых должно ж быть «самоограничение» в выборе предметов для своих ученых трудов. И я всегда считал себя не имеющим право тратить время на занятия естествознанием; я и без того не успел узнать десятой доли фактов и соображений, которые нравственно обязан был изучить по избранным мною предметам моих ученых занятий.

Потому, конечно, мы быстро пройдем все предисловие к истории человечества, если — если я не возобновлю моих вступительных рассуждений и не возвращусь к защищению естествознания от глупостей философствующей компании натуралистов¹...

18 июля 1878. Вилюйск.

Милый мой дружок Миша,

Хвалю тебя за то, что ты хочешь окончить курс в гимназии.

Не знаю до какой степени омерзительна тебе гимназия. А по моему, школьное учение вообще, и гимназическое в частности — вещь омерзительная.

Омерзительны гимназии. И университеты тоже. Не то что русские в особенности, а всякие, от Пекинского до Акапульского, если в Акапулько есть университет.

Но — все-таки, это самые лучшие курсы учения, гимназия и университет².

25 июля 1878. Вилюйск.

Милый мой дружок Саша,

Трудно тебе устраивать твою карьеру. Как быть!

Повидимому, ты стал уж солидным молодым человеком. Радуюсь этому, друг мой.

Ты говоришь, что чувствуешь: надобно тебе приобрести гораздо больше сведений, чем имеешь ты. Это надобно всегда, каждому из нас, молодых ли, немолодых ли, старых ли. О молодых, еще не

¹ Н. Г. Чернышевский, «Литературное наследие», т. II, стр. 545—566.

² «Чернышевский в Сибири», Переписка с родными, вып. III, СПб 1913, стр. 113.

забывших своего школьного времени, можно прибавить то, что чем скорее забудут они думать о том, хороши ли, плохи ли школы, в которых учились они, тем лучше.

Школьные годы — трата времени; необходимая, но пустая трата. Знаем мы лишь то, что узнаем помимо школ, из жизни, из дружеских разговоров, из порядочных книг, в числе которых школьных книг нет.

Досуг ли тебе учиться? Или все твое время поглощается заботами о добывании себе куска хлеба? — Не знаю. Если и поглощается все, не жалею много о том. Лишь бы не был труд велик до чрезмерной утомительности. Учиться никогда не поздно. Обеспечишь себе пропитание, успеешь учиться, сколько душе угодно.

А если есть досуг у тебя и теперь, то разумеется, я не против цеховых учебных предметов, насколько надобно заниматься ими для лучшего добывания куска хлеба; настолько, насколько это надобно, это хорошо.

Но наука — не в цеховых отраслях знаний. В них — сапожное мастерство, парикмахерское мастерство, мастерство по словоговорению с какой-нибудь профессорской кафедры, балетмейстерское мастерство и так дальше. Все эти профессии достойны уважения. Но с наукою у всех у них одинаково много общего.

Читать плохие романы — едва ли не полезнее в научном отношении, чем трудиться над цеховыми учениями. А порядочные романы неизмеримо выше в научном отношении, чем цеховые квартанты...¹

ПИСЬМО К СЫНУ МИХАИЛУ

22 ноября 1879. Виллюйск.

Милый мой друг Миша,
Радуюсь тому, что ты перешел в старший класс гимназии. Хвалю тебя за то, что по окончании курса в ней ты хочешь поступить в университет. Прошу Тебя, исполни эту Твою мысль. Она самая лучшая из всех программ заботливости молодого человека о своей будущности. — И будь здоров.

Жму твою руку. Целую тебя.

Твой Н. Ч².

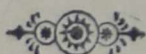
2 июля 1882. Виллюйск.

... Об истории литературы я думаю, что это предмет очень важный. Если бы мне привелось обрабатывать ее, я находил бы полезным сильнее, чем обыкновенно делают ее историки, показывать зависимость литературной деятельности в каждую данную эпоху жизни данной нации от крупных фактов собственно так называемой «исторической жизни» той нации в то время. А относительно влия-

¹ «Чернышевский в Сибири», Переписка с родными, вып. III, СПб 1913, стр. 118.

² «Чернышевский в Сибири», Переписка с родными, вып. III, СПб 1913, стр. 131.

ния литературы, тоже заботился бы показывать точнее, нежели обыкновенно делают историки литературы, что из литературных произведений жизнь воспринимала только то, к чему и без литературы влеклась ходом событий, и все, что воспринимала, перетолковывала сообразно этому своему влечению; это делалось жизнью всегда во вкусе афоризма о Гомере: «Гомер дает каждому то, что берущий захочет взять из него». Потому, хоть и правда, что влияние литературы — один из главных элементов, ведущих историческую жизнь вперед ли, назад ли, — бывало, что и назад, — но это влияние, кроме того, что оно — влияние, действующее медленно, поддается очень сильной метаморфозе от крупных фактов общего исторического хода жизни. — Впрочем, вероятно, есть ученые, рассуждающие обо всем этом правильно¹.



¹ «Чернышевский в Сибири», Переписка с родными, вып. III, СПб 1913, стр. 191—192. Вчитываясь в письма (нет возможности переиздать эти письма в полном виде — не в купюрах) — мы находим в них тот жизненный эликсир, который поддерживал творческие силы Чернышевского. Это — народ. Это — его борьба. Это сознание правоты и непобедимости в конечном итоге дела народа.

И потому еще больше работал Чернышевский, еще выше поднимался его революционный могучий зов.

А когда приходила полярная ночь, когда... «Зимние вечера так долги, так унылы, так однообразны. Сидят, сидят люди, клеят гильзы, починиваются... Наконец все переработано, все перечитано. А интеллигентская привычка поздно ложиться остается, несмотря ни на что, несмотря на то, что приходится вставать довольно рано...» В такие вечера Чернышевский начинал рассказывать или то, что он собирался написать, или просто импровизировал. «Ровно шла его речь, без перерывов развивалась интрига, часто довольно сложная, появлялась сеть лиц, часто тонко задуманных, излагался психологический анализ, иногда довольно сложный. И все это без обдумывания, без приготовления, прямо с первого абзуга, посредством какого-то необыкновенного вдохновения. Это были какие-то вдохновенные импровизации, которые слушались так, как читается роман, над которым автор немало посидел и поработал» («Чернышевский в Сибири», Переписка с родными, вып. I, СПб 1912, стр. XXXI). «Чернышевский был удивительный рассказчик, — читаем в этих воспоминаниях. — В этой сфере он проявлял особенный талант: все рассказы его вставляли перед вами картинками и образами, а это — ясный признак того, что художник вызвал ваше воображение во всей его силе и лица его рассказа стали для вас как бы виденными вами, вполне реальными» («Чернышевский в Сибири», Переписка с родными, вып. I, СПб 1912, стр. XXXII).

IV. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДНЕВНИКА

1848 — 1853 г¹.

Из «Дневника» выбрана часть высказываний Н. Г. Чернышевского, относящаяся к вопросам пребывания Н. Г. в университете, к его взглядам на образование и на организацию учения.

Четверг, VII, 22. — ...Казанский предложил ему учить детей своих, которые в семинарии, на вакации; хотя немного, говорит Вас. Петр., все лучше, чем ничего.

... Утром читал Тома Джонса в «Современнике» — чрезвычайно хорошо, должен перечитать еще, как и Домби.

Понед. VII, 26. — ...Мелькнула мысль и утвердилась, что может быть времени на словарь будет нужно слишком много, так сколько бы ни нужно было, может 1½—2 года буду делать и верно не утомлюсь, вообще, может быть, только к окончанию курса эта работа будет готова — делать сколько бы времени ни понадобилось, но делать хорошо и аккуратно, это необходимо. Так, может быть, только к окончанию курса явлюсь я с нею, но в более обширном виде, чем думал — весь Нестор, Лаврентьевская летопись, может быть, и все другие древние и замечательные по языку...

VII, 27, вторник. — ... «Басня Крылова о разбойнике и писателе, которую приводит он (она и раньше являлась мне неприложимой к делу, влияние всегда благотельно у великих писателей, говорю я) неприложима, хотя вы ее приводите; мне досадно чрезвычайно видеть, что мы смеем судить о них, мы, которые ничто перед ними». — «Это Западная Европа и, говорит он, они глупцы, потому что делают ошибки». — «Да, мы не падаем, потому что не ходим, хотя, напр., в области богословия Канту в аду места не будет, а мы православные, и поэтому бог должен спасти нас, как должен был давать победу евреям, потому что у них был кивот завета. Что мы сделали?» Он говорит: «в области науки — ничего, потому что вообще еще должны раньше воспитать народ в нравственности». — «Хорошо мы воспитывали его в продолжение 900 лет? Это уж показывает, что мы ничего не сделали, совершенно не жили, что мы не младенцы, а зародыши, и мы сравниваем себя с ними и прилагаем себя к ним и переносим их понятия и события на себя!» Разговор был довольно живой, хотя умеренный, у меня задрожала левая часть верхней губы, когда я сказал, что, чтобы увидеть, что его суждение

¹ Н. Г. Чернышевский, «Литературное наследие», т. I, стр. 210.

справедливо, стоит только взять его вообще и приложить к Спасителю — он будет фигляр тоже, и других высших побуждений тоже у него не было — конечно, я выразил это осторожно — а Пилат и Кайафа, были правители, следовательно по-вашему, люди хорошие и достойные уважения. «Вы, я говорю, однако не подумайте из этого что (я) рационалист — где, куда — это все неприменимо к нам»...

VII, 28, среда. — ... Решился перечитывать, развернув словарь на одном листе, и, подчеркивая в книге, выписываю цитаты слов, которые на этих двух страницах; кажется, это будет скорее, чем по порядку вносить все слова — слишком много времени идет на перевертку листов; среди дня был расстроен, отчасти мелочью, напр. тем, что брали карандаш для записывания выигрышей в пикет, когда он был нужен мне для подчеркивания, отчасти мнения, которое вчера слышал от Ив. Гр. — «писатели — фигляры, великий писатель — великий фигляр» — это больно, как богохульство, осквернение того, что есть возвышенного в жизни и деятельности человека.

... Дочитал „Débats“ до 15 июля, особенного ничего не заметил, только все более утверждаюсь в правилах социалистов...

29, четверг. — Сделал цитаты для пол листа (1 и последняя страницы), этим занимался главным образом до 6 час.; в промежутки читал несколько Героя нашего времени — 1-ю часть, Тамань, всю; более, чем раньше понравилась, но новая чрезвычайно лучше; блеснула мысль о зависти к Печорину, который видел и испытал любовь столько раз, что теперь даже довольно привык к этому, чувство неудовольствия, что не был еще в делах жизни и борьбе ее, поэтому дитя. Утром ходил в аптеку за крепкой водкой для вывода чернил, ее не дали, а дали щавелевой соли, которую должно разводить в воде и которая прекрасно вывела пятна из Героя нашего времени.

... прочитал половину Бэлы. Показалось, что там есть в речах, которые приписываются Азамату и Казбичу, риторика, которая решительно не должна и которая не идет к Максиму Максимовичу, который их пересказывает, однако, лучше должно знать горцев. Это пышное высказывание чувств мне кажется приторным и неверностью описания Бэлы (кажется) и мысли Казбича не совершенно чисты от этого. Но все мне понравилось более, чем раньше; другое дело Мери! Это удивительно! Теперь буду списывать снова Мери. Не знаю, много ли спишу...

VII, 30, пятница. — ... В тот раз, когда я читал Ревизора, я спросил у Вас. Петр.: «Правда ли, что я гадко читаю?». Он говорит «Нет, напротив — хорошо». Я этому почти верю, потому что думаю, что начал читать с некоторым чувством, а не совершенно по-дьячковски, как читал я, говорит Михайлов. Утвердился точно в мысли, как в самом деле важны повести и рассказы для занятия и суждения людей. Ив. Гр. и Любинька решительно для меня были бы непонятны без Гоголя в своих взаимных отношениях.

... Вчера Жюль Жанен в фельетоне „Débats“ заставил улыбнуться насмешкам над Прудоном; хотя я не люблю и не хочу никогда сме-

яться над нововведениями, но не мог не улыбнуться, читая слова, приписываемые ему „Débats“, будто бы сказанные им в бюро: христианство s'use¹, собственность s'usera²; может быть, ее станет на 200—300 лет и пока я ее принимаю, хотя это дурное учреждение; в сущности, я верю, что будет время, когда будут жить по Луи Блану: chacun produit selon ses facultés et reçoit selon ses besoins³— это необходимо должно быть, когда производство увеличится и собственности не будет в строгом смысле, потому что у каждого всегда будет все, чего ему захочется, и потому предварительно захватывать и хранить будет не для чего. Ламартин — молодец, по его речи в бюро иностранных дел, которую он напечатал, не зная, что устав этого бюро воспрещает публичность. Кормнен заставляет от души похвалить себя своими ловкими сарказмами над Национальным Собранием в защиту того, чтобы президента выбирал народ — он, говорит, дает вам право отбирать у себя деньги — конечно, для употребления в пользу общую, — из этого еще не следует, чтобы он отдавал вам все свои права...

... 30 июля, суббота. — ... (После некоторого времени, просиженного так, без особых мыслей, несколько секунд) — я действительно глуп, напр., как сделал так, что до сих пор они не понимают, что всем у одной свечи, как теперь сидим мы, сидеть нельзя, что вообще, находясь в одной комнате, мы друг друга развлекаем, а что мне, конечно, этого вовсе не хотелось бы. Да, сейчас вздумал — не высказать ли это косвенным образом при разговорах о привычках и проч.? Особенно с Ал. Фед. и сделать так, чтобы он, который это все хорошо знает, высказал это про меня. Это глупо и смешно прибегать к этим гамлетовским околичностям, но это всегда было в моем подлом характере, и верно я так сделаю. Теперь пишу совершенно в бесчувственном состоянии, хотя по действиям таким можно бы думать, что я расчувствовался. Нет, это так. Вот что значит теперь много дела — переписать Мери и Нестора...

Августа 1. — ... О своей будущности думаю мало, как-то беспечен. Составляю словарь и не подумываю, что место и возможность жить получу через Академию за это, и ничего через Срезневского и ничего через Никитенку, с которым сближаюсь на педагогических лекциях. Занимает мысль о том, что нужно достать свидетельство, чтобы не платить денег⁴, и тяготит, что вот прошла ваканция более чем в половину, а я еще ничего не сделал по этому делу. Теперь о науках и умственном мире. Но это, когда останусь один, чтобы было связнее.

2 августа, понедельник. — ...Блеснула мысль: «без религии нет существа», говорит Платон и мы за ним — да ведь у него самого не было положительной религии, поэтому он под этим словом, веро-

¹ Изводится.

² Изведется.

³ Каждый производит в меру своих способностей и получает в меру своих нужд.

⁴ В университет.

ятно, подразумевал совокупность нравственных убеждений совести, естественной религии, а не положительной. История — вера в прогресс. Политика — уважение к Западу и убеждение, что мы никак не идем в сравнение с ними, они мужи, мы дети; наша история развивалась из других основ, у нас борьбы классов еще не было, или только начинается; и их политические понятия не приложимы к нашему царству. Кажется, я принадлежу к крайней партии, ультра; Луи Блан, особенно после Леру, увлекает меня, противников их я считаю людьми ниже их во сто раз по понятиям, устаревшими, если не по летам, то по взглядам, с которыми невозможно почти и спорить. В этом убеждают „Débats“, которые только голословно высказывают свои убеждения, не будучи в состоянии развить и доказать их; они даже не способны и к жару, а только к жалкой иронии, которая может, в глупую минуту вырвать улыбку, но ничего более. Литература. — Гоголь и Лермонтов кажутся недостижимыми великими, за которых я готов отдать жизнь и честь. Защитники старого, напр., Библиотека для Чтения и Иллюстрация пошлы и смешны до крайности, тупы до невозможности, тупы непостижимо. Чрезвычайное уважение к людям, как Краевский, который более сделал для России, чем сотня Уваровых и ему подобных, красующихся в летописях отечественного просвещения...

3, вторник. — ...много говорил, и говорил от души, о Лермонтове, о Пушкине, которого он считает легким; говорит: «раньше я считал Лермонтова дитятею перед Пушкиным, а теперь нет». Он сильно говорил о том, как бы можно поднять у нас революцию и не шутя думает об этом: «элементы, говорит, есть — ведь поднимаются целыми селами и потом не выдают друг друга, так что приходится наказывать по жребию; только единства нет, да еще разориться могут, а создать ничего не в состоянии, потому что ничего еще нет». Мысль о восстании для предводительства у него уже давно [...] ¹ говорю я, «доказательство, но доказательство и того, что скоро бросили надежду». «Нет, говорит он, они забывают линейные войска, более, чем они многочисленны. Странно, говорит, вкусное не всегда нравится, не то, что должно бы». Я объяснил и оправдывал примером собственного развития — человек на другой ступени развития так странен и непонятен для нас, что мы не поймем его, если не вспомним себя на этой ступени развития, да и себя почти не помним.

...права судить себя я не признаю и не предполагаю ни за кем...

5, четверг, 12 ч. утра. — ... Дивился глубокому взгляду Гоголя на Чичикова, как он видит поэтическое или гусарское движение его души (встреча с губернаторскою дочкой на дороге и бале и другие размышления), но это характер самый трудный, и я не совсем хорошо постиг его, однако чувствую, что, когда подумаю и почитаю еще, может быть пойму. Велик, истинно велик! ни одного слова лишнего, одно удивительно! вся жизнь русская, во всех ее реальных сферах, исчерпывается им, как, говорят (хотя я это принимаю на

¹ Слово неразборчиво.

веру), Гомером греческая, и верно; это поэтому эпос. Но понимаю еще не так хорошо, как Шинель и проч., это глубже и мудренее, главное мудренее, менее должно догадываться и постигать. Сейчас мелькнула мысль, хорошо объясняющая скуку Печорина и вообще скуку людей на высшей ступени по натуре и развитию, — это следствие того, что многое перестает нас занимать, что занимало раньше.

... Третьего дня, когда он принес «Отеч. Записки», и раньше у меня утвердилась мысль, которая была и раньше, — не показывать им, что читаю книги, взятые ими, а не мною, или если читать их, то разве, когда они лягут спать, чтобы не видели — несколько по-детски, но так и быть — чтобы после на меня ничего не могли свалить или не могли быть в неудовольствии, когда книги будут запачканы...

«...Мертвые Души — великая книга, выше всего, что написано по-русски».

... Давал прочитать два циркуляра, писанные начальником их отделения Струковым, который показывал довольно глупо, как говорит Михайлов, — действительно эти циркуляры (о поощрении садоводства через раздачу земель под сады сельским учителям и через поощрение духовенства ко введению у себя улучшенного земледелия) хорошо написаны, с толком и знанием дела...

7, ... 9³/₄. — Вас. Петр. говорит еще о Воскресенском, профессоре химии, — «пошлый, грубый человек, жаль, что вышел из университета и негде будет его встретить, а хотелось бы чаще слушать его и припоминать ему его подлость; когда я вошел первый раз в его аудиторию, он смутился замечательно и смешался, я не сводил с него глаз»...

9, 8¹/₄ утра — Вчера вечером читал в «Отеч. Записках», в 3 или 2 № за этот год отзыв о Луи Блане в книге автора Ораса и Компаньона (кажется, Жорж Занд): великий писатель Луи Блан и великий человек! Хочу непременно купить его, как только смогу. Иван Гр. не стал ужинать, я тоже. Вчера докончил И, довольно неисправно, судя по тому, что недостало 30—40. Сосчитал строки и подписал их по углам во всем Несторе и написал до конца 72 страницы — Игумене — Княжащю.

12 ч. вечера. — Утро сидел за Нестором, только не все время делал дело настоящее, а от 1 до 2 час. составлял дроби взаимного отношения между числом строк от конца каждой страницы до начала и до конца той части Нестора, которой я теперь занимаюсь. Голова довольно разгорячилась в арифметическом смысле, и я, как говорит Амос Федорович, своим умом дошел при этом до непрерывных дробей, так что только после заметил, что этот придуманный мною ряд...¹ есть только непрерывная дробь, делая быстро и в уме. Думал, сколько могу вспомнить, довольно живо; чувствовал нетерпение увидеть Василия Петр.; он пришел в 4, просидел до 5, ушел и обещался

¹ Слово неразборчиво.

быть снова, возвращаясь, когда я сказал, что пойду с ним, когда он пойдет покупать утюг. Говорил более о литературе; все-таки он сказал: «мне было неприятно вчера встретиться с Ив. Вас. и Раевым, особенно когда Ив. Вас. стал в сторону и показал на меня, на нее и на Раева, как будто говоря: вот видите сами, что моя правда — она не хороша». Не должно предполагать по этим словам, что в сущности он сам считает ее, как и я, красавицей, хотя и не говорит это, т.-е. не то, что считает, а почти считает, и не то что красавицей, а выходящею далеко из круга женщин ни то, ни се, хорошеньких только потому, что молоды. Если так — хорошо. Домби окончание ему не нравится — трескучесть, говорит. Том Джонс в августовской книжке тоже, говорит, много слабее. Когда он ушел, мне бог знает с чего пришла охота делать не дело, а в сущности для него, потому что он курит из трубки — стал чистить чубук и провозился с ним с час; после сел снова писать, дописал прежний полулист до 162-й стр. середины; он пришел, и мы напились чаю, пошли за утюгом; когда шли около Министерства внутренних дел, я сказал ему свое вчерашнее наблюдение над лицом Над. Ег. в то время, как на нем выказалось нежное чувство; он не стал противоречить, может быть потому, что мы подошли, пока я говорил все, к железному ряду, но скорее потому, что заметил сам то же, что я. А раньше, когда мы шли к Чернышеву мосту и были уже недалеко, он сказал снова то же, что говорил и в первый раз, когда был в 4 часа ныне: «ныне утром разразилась на меня она упреками и слезами, что я мало бываю дома, да когда и бываю, то все читаю или пишу, а с нею ничего». Я сказал, что этого должно было ждать, говорил в этом тоне. «Я, говорит, немало говорю с ней». — «Для вас не мало, потому что у вас каждая минута на счету, потому что, когда вы говорите, для этого нужна воля с вашей стороны, а не самому хочется говорить и не самому заговаривается»¹. Когда пошли с рынка через мостик на Крюковом канале, мимо больницы, он стал говорить, что заботится, что долго нет писем из дому — один зять написал, другой написал и писали, что наши пишут ответ, а между тем ничего нет. Это или я что-нибудь написал, что им не понравилось, и они не хотят отвечать, или кто-нибудь умер. Тотчас перешел к тому, что он, однако, всегда был только горестью для родителей, как говорил ему и отец. Я говорил против этого — не знаю. Хорошо ли я это сказал, или нет, но прискорбно видеть как он этим мучается, — «что вы приносили им менее² радости, чем горя, это доказывается тем, что они вас любят». — «Да ведь он говорит, противное, сам отец». — «Да это обыкновенная фраза, сама собою выливающаяся в минуты грусти или дурного расположения, да и вы сами разве не видите, что причины, по которым они были на вас в неудовольствии или огорчались, были безосновательны? Это похоже на то, как бабушка горевала, что папенька не хотел выходить из семинарии, чтобы занять дедушкино дьяконовское место». — «Да ведь они не могут рассудить того, что и неудовольствия, и огорчения неосновательны». — «Могут». В это

¹ Описка, вместо заговаривать.

² Вероятно, описка, вместо — более.

время мы подходили к квартире. Он заговорил, чтобы я зашел, я не зашел. — «Я,—говорил он мне ныне,—сам жалею, что она скучает и грустит с своими, она тоже что-то не бывает у них. Я сказал ныне — побывай у них, Надя,—она не пошла». — «А вот вы и не знаете, что это такое и отчего она в неудовольствии с ними». «Я жалею ее, но равнодушен к ней, говорит он, как раньше». Оттуда зашел переодеться, пошел к Ол. Як., у него был Ал. Фед., мы пошли оттуда вместе. Он заговорил о вчерашней встрече: «Я поколебался вчера в своей уверенности в вас — это первый случай, когда я заметил, что и вы кривите душой, а раньше я был убежден в противном». Он говорил это таким тоном, что в нем было видно в самом деле некоторое сожаление о том, что он разочаровался относительно меня; действительно, это, верно, произвело на него действие вроде того, как измена друга или разочарование в поэтическом воззрении на жизнь; разница только в объеме впечатления, а не роде его. Я покривил душой как следует и отвечал веселым, но правдивым тоном: «вообще я не оправдываюсь, часто случается кривить душой, где бы и не следовало, кривлю, но только здесь не виноват — я в самом деле шел к Славинскому, Лободовский встретил меня около нашей квартиры и утащил к себе, какое бы вам доказательство? да вот — я был без шинели, значит я был у себя дома» — это, кажется, убедило его. Совесть мне не было при этом обмане, напротив, я желал, чтобы он удался вполне, потому что хоть это дело и ничтожно, но все лучше для меня и него (Ал. Фед.), если он останется в убеждении, что я не кривлю перед ним душой. После, пришедши домой, стал писать письмо Корелкину в таком тоне, как некогда в Саратове писал письма — так ни о чем, только пустая болтовня, решительно безразличные письма, только, может быть, остро — смешно и умно, или глупо и более ничего, как угодно; напр., после того как написал о начале лекций и, во-первых, о Михайлове — во-вторых, писать уже не о ком, поэтому от лиц перейдем к вещам лучше и как о вещах писать тоже нечего, кроме того, что сюртуки у меня износились окончательно, то напишу вам об этом и перейду к событиям. Итак:

«Сюртуки у меня износились окончательно. Теперь перейдем к событиям. Из того, что делается в Петербурге, я не знаю ничего, как есть, раньше знал во всяком случае, что делается в невероятном количестве набрюшники и перцовка, но теперь холера прошла, ни набрюшников, ни перцовки более не делают, что делают вместо них — я не знаю; в провинциях делается весьма многое, напр., в лесных местах весьма хорошо делаются оглобли и лопаты, а в безлесных — кизяки (если вы не знаете...), но эти вещи или недостойны просвещенного внимания, или если достойны, то я не могу без некоторого оскорбления вам и несправедливости предполагать, что они ускользнули от вашей любознательности, а так таковое предположение необходимо для того, чтобы я решился писать вам о них, а этого предположения теперь сам сделать я и не вправе, и не решусь, то и не могу писать вам об этих делающихся в наших провинциях вещах. Теперь долг рассказчика повелевает мне приступить к рассказу о совершающемся за границей, ограничиваясь пределами

того, что я не знаю, совершается ли на Западе покупка хороших карандашей по гривеннику серебром или соответствующей ценностью своею гривеннику монете, или совершается она у них дешевле, или, не дай бог, потому что зачем же желать дороговизны?, она сокращает потребление, а следовательно и производство дороже: нет, я надеюсь, что дешевле, но, увы, я только надеюсь, но знать наверное я не знаю; это для меня так прискорбно, что я принужден стереть выкатившуюся от избытка чувств слезу и обойтись посредством платка. Слезу стер и посредством платка обошелся. Теперь — продолжаю — во-вторых, я не знаю, совершаются ли на Западе купчие крепости так, как у нас в местах присутственных второй инстанции или, может быть, и первой. Много другого я не знаю из совершающегося на Западе, но эти два пункта — самые важные и сомнение относительно их весьма тяжело для души моей, а средств разрешить так занимающие меня вопросы эти никаких, никаких!!! О, как много не знает еще человек вообще, и я в особенности, из того, что знать ему было бы необходимо для его спокойствия и для его блага... Грустно жить на свете после этого. Единственная моя отрада в таком грустном житье на встреченном¹ свете, что я надеюсь увидиться с вами к началу сентября... Ах, да! Вообразите себе свинью. Вообразили? В таком случае можете меня и не вообразать, потому что я весьма похож на нее — забыл написать вам свой адрес (это не из письма уже, для того, чтобы зашли ко мне, когда приедете)...». Это буквальная выписка. Ив. Гр. не ужинал, я тоже, только спросил хлеба. Свидание с В. П. и слова его об отношениях к Над. Егоровне не произвели грустного впечатления, как обыкновенно это бывало, потому что теперь подают надежду. Свидание с Ал. Фед. благоприятствовало моим мелким планам относительно предположений об обмане их, и я этим довольно доволен. Когда шел, расставшись с В. П., думал о них, был весел, пел, как это почти всегда бывает, но не в таком веселом духе, как теперь, и вздумал, поя песню Маргариты из Фауста — *Meine Ruh ist hin*,² которую я довольно часто пою, что хорошо бы, если бы она знала ее, и мысли — отчего хорошо, если бы она знала по-немецки, а главное хорошо, что он стал бы ее учить и время шло бы у них в этом; скажу, чтобы он учил ее. ³/₄ первого, ложусь.

11 августа, ³/₄ десятого. — Заходил В. П. по условию, чтобы я проводил его; проводил. Дорогою ничего особенного, только он говорил, как и вчера, что «пишу, да что толку, когда сам вижу, что дрянно? и охоты нет, и усидчивости, а когда бы знал, что́ будет хорошо или полезно, деятельность нашлась бы». Я говорю — «покажите что-нибудь». Он говорит: «писать бы что-нибудь из истории, по актам, разумеется, а не по Карамзину». — «Да, — я говорю, — для этого нужно много средств и приготовления». — «Главное — средств, — сказал он, — нет». Еще когда давеча в первый раз было сказал, что он собирался и в солдаты и пробовал, да нет, везде нуж-

¹ Вероятно, описка.

² Мой покой исчез.

ны деньги. «Эх, говорит, палками бы меня по пяткам за то, что женился — ушел бы в Варшаву». Это он сказал и ныне. Да еще, когда ходил в университет, оттуда ворочаясь, встретил Воронова. Он меня проводил и сказал, что половину экзаменов выдержал, другие остались, и, может быть, он додержит да еще сам не знает, успеет ли. Да еще В. П. говорил, когда был в первый раз, что писал к Адамовичу, чтобы узнать, где теперь Антоновский — «через него, говорит, скорее всего могу узнать, что делается у нас, — если нужно, даже съездит; это 200 верст от Курска». Так сильно занимают его родные! — Докончил прежний полулист до обеда; после обеда дописал до 104-й страницы следующий Мз — Н а с и. — Спина уставала, грудь нет. Читал я эти дни весьма мало, только во время еды и когда что-нибудь помешает писать, читал Революцию во Франции Гизо — превосходно. Великий человек! я много о нем и о его судьбе думаю.

17, вторник. — Вчера читал «Отеч. Записки» вечером, прочитал, между прочим, начало в июньской книжке Дютроше; запала в душу мысль, которая там есть — «чем более у кого абсолютных истин в известн — траи¹ ведения, тем ниже он стоит в нем. Простому человеку покажется смешным вопрос, отчего падает тело на землю: как же ему не падать? Так всегда бывает и было и этого по его довольно; смешно и то — отчего корни у растений вниз всегда направлены, стебель вверх». — Писал письмо ныне утром, в котором говорил худо о сочинении Терещенки и о словаре Р. Академии, в ответ на папенькино письмо. Пошел отнести письма, чтобы побывать в университете...

...В университете слышал, что Срезневский режет на экзаменах из русского, это мне показалось неприятно...

20 августа ...больше читал Гизо и Мертвые Души, больше Гизо; дочитал IV томик и начал V, теперь дочитал до 83-й стран.; занимала, между прочим, мысль его (начало лекции о Филиппе Прекрасном) — деспотизм и тогда, когда употребляется для бескорыстных, без-п-х² видов, как употребляли его Карл Великий и Петр Великий, есть орудие дурное, прививающее зло к добру, которое производит. — В 3 часа, тотчас после обеда, пошел в университет взять письмо, узнать о дипломе Гремва, может быть увидеть Срезневского — экзамен, когда я пришел, уже кончился...

21 августа, 2 часа дня — Дурно напившись чаю, пошел в университет; когда подходил, билось и сжималось сердце, как бы что-то предчувствовал...

27 августа — До 5^{1/2} час. писал и ни о чем не думал; после пошел в университет; там Савельич говорит о Срезневском слишком нехорошо — на него слишком жалуются, как на экзаминатора, и когда я шел оттуда, мне кажется, что мое теперешнее расположение к нему сильно поколебалось, и я вздумал, что решительно правы те, которые

¹ Неразборчиво.

² Неразборчиво.

были недовольны моим поведением относительно его, и что я не должен никаким образом подавать на медаль...

29 августа. — Утром ходил к Залеману, отнес «Современник». А когда просыпался, был весьма обеспокоен своим положением — свидетельства не достал и денег нет...

...Воротился к Ал. Ф., стал говорить с Лилиенфельдом. Дело началось с того, что Ал. Фед. сказал: «вот он вам расскажет, что было с Луи Бланом». Я сел, заговорили об университете, о политике, я защищал социалистов, Францию и ее вечные волнения, Прудона, он говорил против.

31 августа, 11 час. вечера — ...читал газеты: Луи Блан в Лондоне, во Франции все более и более реакция, так что мне было неприятно; неприятно и то, что немцы так своекорыстны и глупо самолюбивы.

1 сент., 11 час. вечера. — В 10^{1/2} пошел за бумагой и в университет, в 5 хотел быть у хозяина, после к В. П., завтра подать прошение. Бумаги купил, у молебна не молился и не думал молиться, а говорил, а если не говорил, то так себе ничего. Стоял там вместе с Лыткиным и Славинским. Лыткин, как обыкновенно, даже, может быть, радушнее; за молебном узнал сына Славинского, который идет по филологическому отделению и из 3-й гимназии. Проходя в церковь, на площадке, через нее у окна увидел Касторского и поклонился ему; после молебна он подошел, подал руку и сказал несколько слов. Это меня обрадовало — значит он думает обо мне хорошо, как я и предполагал. Когда читали список и до меня дошли, сердце несколько дрогнуло, как бы я не совсем был уверен, что не оставлен. Наши переведены все, и Пшеленский и Соколов, а в 1 курсе оставлен Грефе. Что все переведены, это меня порадовало. Когда услышал, что Благосветлов исключается, так как не был два года и не явился на экзамен.

...В университете был, чтобы узнать расписание, а не для того, чтобы быть на молебне...

2 сентября. — В университете был — лекций много, скверно; у Грефе на второй был, читает совершенно, как Фрейтаг, меня уморила эта детскость их, господ классических филологов. — Грефе совершенный ребенок по понятиям своим, и мне совестно было смотреть на человека, которому 75 лет. На Софокла не остался и уговорил других не оставаться, некоторые не послушались; я не буду бывать, как и на педагогических лекциях у него. У Никитенки буду бывать. Куторга читал о характере главных европейских народов — основные мысли из Гизо, но распространение свое и много, кажется, не так; мне показалось, что это Корелкин, только в другом виде. Начатие лекций не произвело никакого впечатления, как будто они и не прекращались. Говорил я, как обыкновенно, кричал, но разговор ни о чем не вязался между лекциями. В третью лекцию, когда был у Грефе Софокл, читал у Эрша¹.

¹ Энциклопедический словарь Эрша и Грубера.

3 сентября. — Снова не подал прошения и вижу, как худо сделал, что не подал раньше — теперь некогда. В университете объявление на 25 р. — не знаю что и мне ли — никакого впечатления. У Фрейтага два раза срезался — во-первых, пересчитывая цезарей, смешался, перемешал Калигулу и Клавдия и сказал *in Florentia*. Когда я стал говорить, он сказал¹...

4 сентября, 5 час. — Проснулся в 6 часов. Стал тотчас читать лекции Срезневского, не успел все-таки. Фрейтаг показался ужасным педантом. Куторга говорил все старое; на третью лекцию пошел в почтамт; после читал в библиотеке немного, пересматривал каталог французский, чтобы посмотреть сочинения.

7 сентября. — Утром читал, как и остальной день, «*Débats*». В университете шумел много, особенно с Корелкиным, которому читал сильные речи. У Никитенки на педагогической лекции был один наш курс — я получил надежду выйти через него — он сказал: «кто же, господа, имеет готовую мысль, чтобы писать?». — Я хотел сказать, что буду писать разбор княжны Мери...

9 сент. — Теперь пишу у Грефе на лекции. Буду писать об отношениях своих к людям. Самое главное место в сердечном отношении занимают Лободовские. В отношении к нему мое мнение остается попрежнему: я все так же его уважаю, так что не ставлю никого наравне с ним из тех, кого знаю, не исключая даже и самого себя. Но, к сожалению, должен я сказать, что в последнюю неделю, или даже две, мы не были с ним так близки и так коротки вместе, как бывали раньше, и нового о нем долго не узнаю ничего. О ней мнение мое снова прежнее — ореол красоты и телесной и душевной, я сам не знаю хорошенько, окружает ее в моих глазах или нет. Одно я могу сказать верно, что когда я жду, что увижусь с нею, мое сердце находится в волнении, подобном тому, как, напр., я должен бы увидаться с Лермонтовым или Гоголем. Большая часть этого волнения, кажется, происходит оттого, что я трепещу за то, не открою ли я в ней что-нибудь разочаровывающее; после много происходит и от самолюбия, которое всегда говорит нам, когда мы должны увидаться и говорить с людьми, мнением которых мы дорожим: как-то ты покажешься ему? Как-то он будет судить о тебе? Не опошлишься ли ты в его глазах? А, наконец, бог знает, нет ли чего-нибудь и вроде той привязанности, которую, бог знает, как назвать — любовь или дружба, или просто высокое уважение — последнее имя, кажется, будет лучше всего. Признаюсь, я мало думаю теперь об их положении, вообще, как будто не знаю его хорошо — это, конечно, оттого, что теперь у меня нет определенных планов и средств помочь ему, но так и от, бог знает, какого-то забвения, к которому я всегда способен. Относительно его я думаю, что как Ал. Воронин скажет мне, что у них возобновляются уроки, я скажу ему: а вот что — если бы можно было бы, я бы хотел лучше, чтобы вместо меня пригласили одного человека, который, смею вас уверить,

¹ Милейший Чернышевский, меня часто раздражает твой невнятный голос.

в миллион раз лучше меня. Не знаю хорошенько, много ли меня огорчит, если Воронин не согласится, но, конечно, будет для меня весьма приятно, если он согласится. Относительно Терсинских я потерял почти всю враждебность против них и не готов схватываться, и меня не занимают различные планы и расположения битвы с ними. О том, что я должен им, я мало думаю, потому что думаю, что они считают полученными как бы от меня деньги, которые получили из дому, однако сколько всего получено, я хорошенько не знаю. О нем мнение как бы сродное с мнением моим о Куторге: бог знает, пошлый отчасти, отчасти нет, человек; главным образом пошлость высказывается в манерности; человек очень неглупый, что касается под глаза падающих житейских истин, т.-е. не только своекорыстен, но и вообще, напр., отчего так раньше уважал архиереев — как-то стал сам говорить, — оттого, что в самом деле за 50 лет, он говорит, был один умный человек в епархии, все остальные были провинциалы, между тем как семинаристы были самым просвещенным классом. — Отношения с другими не изменились нисколько; новых людей узнал только Лилиенфельда, которого видел только раз.

...Я решился не писать Срезневскому на медаль — как будто ровно ничего не бывало — не пишу и не могу писать, да и только. После лекции объявляю слова Срезневского — если кто хочет составлять лекции, может брать материалы у него, и скажу: кто будет брать? и воспользуюсь этим, чтобы объяснить гг. товарищам, что я знаю их мнение обо мне и Корелкине и решился прекратить сношения с Срезневским, потому что они думают серьезно, что это подло, но, что, по-моему, они решительно ошибаются. Вот таким образом я осуществляю мысль, которая давно была у меня — пользоваться лекциями Грефе и Фрейтага для этого дневника, и во всяком случае нынешний раз дело было так удобно, как нельзя лучше. Мысль постоянно была за две недели до начала лекций. Так как остается 7 минут до конца, то кончаю — Грефе начинает переводить.

10¹/₂. — Пришел из университета, стал обедать; после обеда лег, потому что спина несколько устала, как и прежние дни, и читал «Débats» до 1 августа. В 5¹/₂ пришел Ал. Фед. и просидел до 9¹/₂. Мне было не досадно, что он отнимает время, хотя особенной занимательности не было; мы говорили о людях, их сердце и проч. в этом духе; после писал несколько Срезневского и дописал до религии (т. е. написал страницу) балтийских славян — вот сколько дней проходит без дела. В. П. не был, хотя обещался быть; завтра, если не будет в университете, схожу к нему. Студентам не сказал про отношение к Срезневскому, потому что не помнилось хорошо и не пришлось видеть Фурсова — он назначен учителем истории в Псков — свинья попечитель не согласился позволить остаться ему здесь у Зубова...

11 сентября, 11 час. вечера. — Если когда, то ныне ничего не делал в университете, ничего хорошего, только много хохотал и смеялся. Перед лекцией Срезневского сказал, стоя у кафедры с Галлером, Залеманом, Корелкиным, что Срезневский сказал, что если кто хочет составлять записки, может брать у него материалы. Зале-

ман сказал тотчас и довольно резко, что этого не должно делать, потому что это он хочет узнать, кто составляет. Я совершенно согласен, что не должно...

16 сентября. — ...В университете у Грефе не мог писать, потому что не было чернил...

18 числа сентября, ...Я начинаю думать, что республика есть настоящее, единственное достойное человека взрослого правление, потому что, конечно, это последняя форма государства.

...не в один век пересоздать общественные отношения и общественные понятия и привычки, и ввести равенство на земле, и ввести рай на земле. Мне кажется, что я стал по убеждениям в конечной цели человечества решительно партизаном социалистов и коммунистов и крайних республиканцев...

21 сентября. — ...потерял два гривенника, и у меня денег не оставалось...

23 сентября, ... у меня нет денег, а между тем одежда начинает изнашиваться, а главное — грозит ненастье, а у меня одни сапоги, и к тем нет калош, и мне как-то не то, что страшно, а немного неприятно думать о том, что скоро понадобится все это, а я не думаю, чтобы мне скоро сделать все это, тем более, что мне хотелось бы все, что можно, передавать Вас. Петр., и теперь я несколько понимаю, что должны чувствовать бедные при приближении зимы...

24 сентября. — Утром принесли мне повестку из квартала; полетел туда — пришла из канцелярии бумага, и мне там сказали, чтобы я написал, кто мой отец, они удостоверят сами без всяких подписей в несостоятельности.

...Как удивительно мелочен, какой педант, т.-е. глупый человек Фрейтаг — переводим 10 главу Светония, и он велит слово Бибула переводить на прямую речь, как делает всегда — и как ему не скучно. — Я хотел приступить к подготовке лекций Куторги и говорил об этом про себя Воронину и так, мимоходом, Лыткину; вчера выбирали новых кандидатов, и я не знал об этом ничего, и меня не выбрали; я хотел это для того, чтобы через Куторгу со временем получить что-нибудь, но это теперь мне не вышло, и я мало об этом думаю, потому что думаю (хотя думаю, что это не удастся во время сделать, как обыкновенно все, что предполагаю), что во время, когда еще буду в университете, смогу написать и напечатать в каком-нибудь журнале историческую статью, которою бы обратил на себя внимание, и поэтому ничего не потеряю, что не буду идти обыкновенною детскою дорогою, как Ведров и Захаров. Однако, кроме этого, я думаю еще и о том, что, может быть, будет случай сблизиться с Куторгою, вроде того, как замечание о Прудоне или что-нибудь такое; кроме того, думаю о Никитенке.

...Пошел в холодной шинели к Ворониным, к Алексею — он не просит садиться, думая, что я на одну минуту. Я постоял несколько времени и, как сам никак не хотел первый заговорить, то сказал «прощайте» — он сказал: «что, вы идете к ним? а я это и не

знал». — Ныне был первый урок, только еще теперь три в неделю Константину, но я мало о том думаю, что мало; во-первых, потому что думаю, что прибавится, во-вторых, потому что и мало забочусь об этом...

28 сентября. — ...он говорит, что Мертвые Души выше Ревизора и драматических сцен, так что видно, как Гоголь растет с каждым годом, и я был убежден в этом и думаю, что точно это можно заметить; вчера он сказал, что вот он читал повести Гоголя (где Шинель и проч., тот том), и говорит — «вот, ведь, так же хорошо, как Мертвые Души, никакой разницы нет, а между тем ведь до Мертвых Душ не ставили еще Гоголя так высоко». Он сказал это, и я убедился и увидел, что в самом деле между повестями и Мертвыми Душами нет разницы — признаюсь, что я раньше так часто думал, но когда он сказал — гений, то и я подумал — гениальное...

9 октября. — Говорили о том, что должно сказать Фрейтагу, чтобы он перестал употреблять этот строгий глупый тон и обращаться так, как до сих пор: напр., вчера сказал Залеману грозным гувернерским голосом — *non est confabulandum!*¹. Конечно, отчасти это говорилось не в уверенности, что что-нибудь выйдет из этого, но все-таки. Потом сами студенты отчасти виноваты в том, что так с ними обращаются; тут было несколько человек, они согласились, чтобы сказать...

12 число, 11 час. — Пошел на вторую лекцию, но Грефе читал первую, и вторая была свободна; я этому был весьма рад, и просидел в библиотеке; прочитал в 1841 «*Revue des deux Mondes*» которые теперь в библиотеке читаю, статью Carné, который говорит вместе о новых сочинениях Ламне, Прудона и Луи Блана. Еще не кончил, но меня поразила сила мысли этих господ, и, признаюсь, я решительно предан им и уважаю их...

16 октября. — Когда шел в университет, догнал меня Лерхе и пошли вместе; говорили о Фрейтаге, с которым был удар, и Прейсе. В университете досмотрел *Supplément II* и каталог политической экономии, а в третью лекцию кончили Salvandy весьма бегло — он против Июльского движения, защищает Бурбонов и аристократов, и у него более рассуждения, чем ясно означены факты, так что я из него многого не могу узнать.

30 октября. — ...Третью лекцию также читал в библиотеке. Перед четвертой, с Корелкиным, когда остался в аудитории, как это обыкновенно теперь бывает (я не выхожу в коридор, потому что мне смерть не хочется встречаться ни с кем, ни с Ал. Иван., ни с кем из суб-инспекторов, так, по какой-то сильнейшей моей антипатии видеть тех, кто имеет право сказать что-нибудь мне) в аудитории никого обыкновенно не остается на несколько секунд, — так я с Корелкиным стали выжимать губку, которая была уже сухо выжата —

¹ Не болтать! (в смысле — нельзя, не время разговаривать в аудитории).

он не мог выжать воды обеими руками, я два раза, раньше и после его пробы, выжимал одною.

...Несколько дней у меня явилась мысль, отчего я слишком много говорю в аудитории с Корелкиным, и это мешает моему сближению с другими студентами, и я как-то стал от него отстраняться, т.-е. первый не стал заговаривать с ним, да и пошлым мне он стал казаться, хотя хорош тем, что я всегда господствую над ним своими мнениями и имею свободу говорить...

2 ноября. — ...Прочитал 10-ю статью о Пушкине Белинского (Борис Годунов), которую взял вчера у Ив. Вас. — в самом деле снова хорошо писано, и мне кажется, что взгляд во многом весьма отличается верностью и большими сведениями в истории человека вообще — во всем, может быть, верно, разве только замечание «Борис не гений, а талант, а на его месте мог удержаться только гений» несколько преувеличено или, как это, переходит в декларацию мысли...

8 ноября. — ...Когда шел в университет, туда через мостки, мостки начали опускаться в воду, и у меня явилось не беспокойство, нисколько, а так, обыкновенные мои забегающие вперед мысли...

17 ноября. — У Ворониных получил за 12 уроков 17 р. 15 к.

22 ноября. — У Срезневского был попечитель, и Срезневский, говоря о наших, безыменно, но очевидно наших, древностях в новых рукописях и проповедях сказал, — вот, напр., слово христороубца, которое списал для меня. г. Чернышевский, там то-то и то-то. После лекции попечитель сказал с ним несколько слов, вероятно спросил: «Так Чернышевский делал кое-что для вас?» — Срезневский отвечал: — «Весьма много», а может быть и просто «много» — во всяком случае я расслышал хорошо одно последнее это слово, подошедши в эту самую минуту к той скамье на левой стороне (я сажусь всегда направо на вторую, чтобы попечитель не был у меня в глазах и я у него, потому что кресло его слева от кафедры, конечно, ближе к входу). Однако я думал, что я продолжаю быть у него на дурном счету и что он скорее чем кто другой обратится ко мне с замечаниями о пуговицах, волосах и т. п. (В промежутке этого ужина). — Попечитель сказал мне, подвинувшись ко мне на шаг: «Я должен передать вам, г. Чернышевский, что г. Срезневский весьма доволен вами». — Я не слишком заметно, и, кажется, с заметною неохотою поклонился несколько и сказал, что весьма благодарен — что мне не хотелось говорить. — Итак, теперь я у него на хорошем замечании, хотя, конечно, гораздо после Корелкина и Лыткина. Вот еще доказательство того, что вообще мы ошибаемся, если думаем, что нами так же занимаются другие, как мы другими: я думал, что попечитель помнит и хранит на меня неудовольствие, имеет ко мне антипатию, как я к нему — разумеется, нет. И теперь, кажется, у меня будут гораздо реже приходить мысли о том, как я ему дам пощечину и проч.; которые весьма часто бродили в моей голове; все это вздор — благоволение и неблаговоление других к нам должно предполагать всегда

в других индифферентизм, который всегда готов на то и на другое. Мне было неприятно, особенно в ту самую минуту, что попечитель это говорит мне: во-первых ставит меня в ложное и неприятное положение к себе, во-вторых — снова перед студентами резкое напоминание о моих отношениях к Срезневскому. Когда выходил, получил письмо от своих и еще от Алексея Тимофеевича. С час просидел у Вольфа, нового ничего. Дорогою шел с Славинским, который рассыпал комплименты, как преемнику Дон-Жуана — довольно, по моему мнению, мило и умно. Едва ли это слово попечителя не произведет само по себе в моем расположении к нему перемены и не заставит смотреть как на бестолкового добряка решительно — это я и раньше думал, но раньше выставлялся элемент грубости, теперь, может быть, выставляется элемент доброты...

29 ноября. — Положил, что ныне буду у Излера, и был после обеда, как думал. Утром после Ворониных не пошел в библиотеку, а в XI аудитории сел на самую заднюю скамью посредине, для того чтобы, если войдет кто из знакомых, успеть спрятать книгу, и начал переводить из «Фаланги» о характерах. Сходя по лестнице, выслушал несколько слов от Никитенки, что мне было приятно, хотя слова эти состояли в том: «Как у вас сегодня лекции, так вы еще не успокаиваетесь, а я вот уже успокаиваюсь» и только, но все-таки приятно, что стал говорить...

30 ноября. — Проснулся в 7, в 9 кончил перевод и в 10 пошел в университет, написавши письмо. Был снег, не протоптанный еще, и резкий ветер, было скверно. Перейдя Исакиевский мост, встретил Ханыкова, которому сказал, что перевел, и сказал, что лучше, если он будет у Никитенки. Я хотел, как он войдет, сказать, чтобы позволил после себя прочитать одну вещь, потому что я знал, что он хотел принести ныне темы и говорить о них, но думал, что успею сказать это, и тогда он сократит свою речь. Был Вас. Петр. на лекции, может быть для того, чтобы послушать об эгоизме Гёте, которую он говорил, чтобы я прочитал ему, а я не прочитал, а может быть потому, что нужно поговорить с Залеманом об Элькане, и потому что был уже в этих краях. Место уже назначено почти человеку, ничего не стоящему, дожидались кандидатов, две недели не было. Встретил у входа в VI аудиторию Ханыкова, стоящего с Фурсовым, который согласился справиться о деле; потолковали кое о чем, о Михайлове и проч., который приедет в феврале. Никитенко говорил все время о темах; я положил листки на стол перед собою и показывал, может быть довольно заметно, нетерпеливый вид; вошел он в аудиторию весьма быстро, так что мы стояли у дверей и увидели его только, когда он подошел, и я, идя впереди его, только обогнул стол от стены и обернулся, как он уже начал говорить. Я думал, что если и не удалось сказать, то, может быть, она заметит, что у меня бумага и кончит скорее, но надежды разрушились, когда я увидел, что остается только у меня полчаса и еще три темы разбирать из семи. Дело проиграно. Я смотрел с недовольным видом на Ханыкова, сожалея, и после сказал ему об этом несколько слов. Сначала решительно

слушал Никитенку, после — менее, потому что думал о том, что не удалось сделать по душе Ханыкову...

6 декабря. — ...читал Фурье и, когда встали Терсинские, спрятал его в ящик и читать буду Гизо и Мишле. Сходил к обеду, пришел к самому началу, ходил не по внутреннему побуждению, а более по внешнему приличию...

10 декабря. — ...Когда шел в университет, вдруг вздумал, что до нового взноса денег в университет только 3 недели, а не 2 месяца, и перемены в положении в это время не может быть. Никитенке хочу писать — 1) о влиянии образования чувства из...¹ на человека с точки зрения единства сил в человеке, абсолютного единства: развитие его необходимо, потому что должно развивать всего человека, односторонность пагубна и невозможна, так что если человек не весь развит, он и не развит, и с этой же точки зрения буду говорить о произведениях вообще — они должны служить не одному этому чувству — это было бы дело пустое, а вместе всегда разрешать [вопросы] истинного и доброго (истина и добро решительно одно и то же², два выражения одного и того же, которые никогда не разрываются и не могут быть одно без другого) и всегда должно быть содержание их взято из жизни, живых потребностей времени, того, что волнует или должно волновать общество, поэтому политическая литература — высший род литературы и писатель раньше всего должен быть человек с мнением о настоящем и прошедшем. И напишу это ко вторнику, чтобы отвязаться от Никитенки с его незанимательными задачами и чтобы другой кто не отнял одной порядочной. Чувствую превосходство Вас. Петр. в пронизательности передо мною — он с первого раза, видя человека, говорит то, что я скажу о нем, когда коротко его узнаю, т.-е. вот человек пошлый или порядочный (последнее редко).

Должно ли сказать, что я думаю довольно часто, хоть на один миг, об этих записках и жалею отчасти, что пишу их так, что другой не может прочитать. Если умру, не перечитавши хорошенько и не переписавши на общепитаемый язык, то ведь это пропадет для биографов, которых я жду, потому что, в сущности, думаю, что буду замечательный человек.

Сейчас по случаю того, что ведь гладиаторы бились по странному мнению, о котором напоминал Фрейтаг (*deos manes placari victimis humanis*³), во время Цезаря не многие очень верили в это из образованных людей, не многие верили в языческие учения, а между тем, вот что делали — даже человеческие жертвы и миллионы для предрассудка, над которым, конечно, смеялись, но в который верил народ, хотя не решительно верил, жертвовали — то же положение христианства в Западной Европе, можно сказать, и как тогда падаю-

¹ Неразборчиво — изящного?

² Ср. письмо из Сибири от 17/III 1876 года: «Добро и разумность — это два термина в сущности разнозначащие...»

³ Тени умерших требуют умилоствления богов человеческими жертвами.

щее язычество побудило¹, но чрезвычайно энергичное в верованиях убедило, что не погибнет язычество партией, так и теперь видим такую партию на Западе — александрийцы, которые сливают учение Павла и Юпитера, равно Buchez и Roux, которые соединяют якобинцев и католицизм, и пришло в мысль, — что если мы должны ждать новой религии, которая ввергнет меч среди отца и сына, среди мужа и жены, как христианство, и если я приму ее; но это — желание повторения, а повторение редко, и скорее вместо христианства, если оно должно пасть, не явится уже такая религия, которая объявляла бы себя святым откровением, а по системе Гегеля — вечно развивающеюся идеею.

...Пришло в голову вчера, когда думал о влиянии смерти Р. Блюма, предложение Chabot²: «убейте меня и покажите мой труп реакционерам, чтобы народ восстал против них», и проч. Когда хорошенько вздумал об этом и приложил все это к себе, то увидел, что в сущности я нисколько не подорожу жизнью для торжества своих убеждений, для торжества свободы, равенства, братства и довольства, уничтожения нищеты и порока, если только буду убежден, что мои убеждения справедливы и восторжествуют, и если уверен буду, что восторжествуют они, даже не пожалею, что не увижу дня торжества и царства их, и сладко будет умереть, а не горько, если только в этом буду убежден.

13 января. — ...эта история имеет для меня достоинство и интерес как доказательство того, что должно воспитывать детей не так, как теперь, а объяснять им все, все опасности и напр. говорить об онанизме, мужеложстве, и о разврате, и о венерической болезни, о пьянстве, и о картах и проч. и проч., и все это самому показывать им в истинном свете, показывать средства избегать этих вещей, пагубность некоторых из них, настоящую роль в жизни, какую должны занимать другие из них, напр. соединение с женщинами, любовь, карты, вино, потому что смешно требовать от своего воспитанника — сына или кого другого, — чтобы он воздерживался от этих вещей, от которых воздерживается разве один из тысячи, и смешно надеяться удержать его от этого, одним словом, что это доказательство всей пагубности настоящего образа воспитания: должно говорить детям все, должно быть товарищами во всей их жизни, должно быть с ними на такой же ноге, как товарищ их по летам, чтобы не было у них ничего от нас тайного и чтобы не было и причин ничего скрывать от нас. Так вот, собственно, эта повесть приобретает свое значение только оттого, что она истинна, а если должно будет писать так повесть, должно будет очерчивать характеры, из которых многие не очерчены в самом рассказе...

25 января. Вторник. — ...Я сказал о том, что напрасно он (Ханыков. — Н. Р.) думает, что трудно выучиться по-немецки, предлагал свою методу — беглое чтение, по возможности без лексикона (мой конек) и проч. и проч.

¹ Неразборчиво, как и вообще вся фраза.

² Неразборчиво.

17 февраля. — ...Напишу, что теперь я думаю о своей «необходимости отрицательной стороны воспитания». Сначала о манере. В первой половине до рассказа, во-первых, повторения и усиления риторические на манер Куторги портят; это произошло сколько от того, что я довольно легко разгорячаюсь, как навоз, и начинаю испускать дым, если не огонь, столько и от того, что не отделяваю, а мысль в то время как она не обдумана заранее, дополняется в то самое время, когда пишу, и выходит мысль, как будто наш свод законов с десятью дополнениями, из которых каждое — повторение прежнего, и прибавляются новые клочки. Итак, это должно переделать бы, но я спешил. Потом какая-то патетичность, которая происходит от этого самого. Потом мне не нравится теперь, что я слишком горячо высказывал, что никто не думает и не пишет об отрицательной стороне воспитания; у нас это так, но почему я знаю, что в других литературах и у ученых других народов? И не будет ли это в таком же роде, как Никитенко, который всегда говорит, что, напр., о Державине и Пушкине почти ничего у нас не сказали, они не оценены, и говорит в виде общих мест то, что давно с умом, резкостью и последовательностью высказано Белинским; так и я. А что касается до второй, то самый главный недостаток мой, кажется, то, что я придал любви Петра Ивановича к Жозефине более продолжительности и интенсивности, чем следует, да и его сделал образованнее, чем он в самом деле. И вообще рассказ получает в моих устах какой-то мелодраматический оттенок, который должен вредить впечатлению на тех, которые одарены вкусом. И потом мне кажется, что все это вообще, обе части, и первая половина и самый рассказ, растянуто, так что снова приобретает какую-то аффектацию и выходит что-то снова вроде Куторги. Теперь я решительно не знаю, пошлю ли в «Современник»; скорее что пошлю, но решительно не знаю. Много это будет зависеть от Вас. Петр. Что он скажет об этом сочинении, я не знаю. Я думаю, что может показаться ему, что дело идет из-за пустяков, из-за мысли, которая вошла бог знает каким манером в голову и в чем истина и примененная¹, давно уже прилагается всеми порядочными людьми, а в чем не прилагается, в том доведено мною до нелепости, как всякий дурак, который проколачивает голову, молясь богу...

25 февраля. — В университете, когда дожидался у XI аудитории, Славинский сказал, что у Иванова в кондитерской все журналы французские, между прочим и «National» это мне было любопытно, и я захотел быть как можно скорее и в самом деле был в тот же день. Когда шел от Устрялова, остановил Срезневский, который стоял у окна с Корелкиным и сказал, что он считает нас с ним решительно равными (это мне было приятно, что сравнивает, несмотря на то, что он получил медаль за сочинение для Срезневского) и что Мейендорф, студент 2-го курса, который хочет воспитываться в Берлине, хочет приготовляться к его экзамену и на-днях спросил у него, с кем ему приготовляться, что он равно смотрит на нас обоих и что уж как мы там сами знаем, пусть устраиваем между собою это дело. Это меня порадовало...

¹ Неразборчиво.

28 февраля. — ...решил читать Никитенке на лекции свою статью о воспитании, пропуская только лирические места в введении о распространении убеждений, о слабости моих сил и проч., потому что в чтении перед пятью человеками они неуместны. Но Никитенко принес свою программу и сам толковал о словесности и ее преподавании по большей части то, что было говорено в первой лекции первого курса.

9 марта. — У Ворониных получил за 10 уроков 17 р. 60 сер... потому что раньше получил 15, следовательно 70 к. лишних — хорошо.

11 июля 1848 г. ...Должно написать что-нибудь о своих мнениях и отношениях.

1. Религия. Ничего не знаю; по привычке, т. е. по срастившимся с жизнью понятиям, верую в бога и в важных случаях молюсь ему, но по убеждению ли это — бог знает. Одним словом, я даже не могу сказать, убежден ли я или в существовании личности бога, или скорее, принимаю его, как пантеисты или Гегель или, лучше, Фейербах. В бессмертие личности снова трудно сказать, верю ли — скорее нет, а скорее, как Гегель, верю в слияние моего я с абсолютною сущностью, из которой оно вышло, сознание тождества моего я и ее останется более или менее ясно, смотря по достоинству моего я.

2. Политика. а) Теория — красных республиканцев и социалистов: более приверженец попрежнему (более по преданию¹ и привычке, но нет — кажется, и по сочувствию) Луи Блана; если бы мне теперь власть в руки, тотчас провозгласил бы освобождение крестьян, распустил более половины войска, если не сейчас, то весьма скоро, ограничил бы как можно более власть административную и вообще правительственную, особенно мелких лиц (т.-е. провинциальных и уездных), как можно более просвещения, учения, школ. Едва ли бы не постарался дать политические права женщинам. б) Практика — друг венгров, желаю поражения там русских и для этого готов был бы самим собою пожертвовать.

3. Наука — занимаюсь Нестором; более ничего не делаю; машину свою хочу пробовать в искаженном хотя, т.-е. в упрощенном самом виде.

4. Литература. Теперь ничего нет в голове; поклоняюсь Лермонтову, Гоголю, Жоржу Занду более всего.



¹ Неразборчиво.

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

(Биографическая справка).

Двенадцатого июля 1828 года в городе Саратове в семье протоиерея родился Николай Гаврилович Чернышевский, великий русский писатель.

В 1840—1844 годы Н. Г. Чернышевский уже знакомится со статьями Белинского, стихами Лермонтова, Пушкина, сочинениями Диккенса, Тредьяковского и т. д.

В эти годы Чернышевский изучает греческий, арабский, персидский, татарский, немецкий, древнееврейский, английский языки.

Образование Н. Г. Чернышевский получил в духовной семинарии, а затем в Петербургском университете на историко-филологическом факультете.

Находясь в университете, Чернышевский не удовлетворяется «наукой», преподносимой студентам с кафедры университета; он занимается самообразованием, пылкий его ум ищет разрешения многих вопросов, которые ставила перед ним жизнь.

Он изучает произведения французских материалистов XVIII века, он изучает также произведения Гегеля, Прудона, Луи Блана, Адама Смита, Рикардо, Сен-Симона, Гизо и т. д.

Особое, решающее влияние на убеждения Чернышевского оказала философия Фейербаха — самая революционная философия домарковского периода. Чернышевского занимали вопросы о путях перехода России от феодализма к капитализму, о социалистическом обществе, о создании жизни без нужды.

Уверенность в себе, в своих силах открывала ему путь в жизнь, ставила Чернышевского в положение передовых прогрессивных людей, в вождя революционной демократии 60-х годов. Молодым человеком (21 года) он пишет в своем дневнике:

«Мысли: машина; переворот... через несколько лет я журналист и предводитель или одно из главных лиц крайней левой стороны, нечто вроде Луи Блана... надежды вообще: уничтожение пролетариата и вообще всякой материальной нужды — все будут жить, во всяком случае, как теперь живут люди, получающие в год 15—20 000 р. дохода...» (Н. Г. Чернышевский, Литературное наследие, т. I, стр. 441—442).

В этих записях, свободных от цензуры, видна целеустремленность молодого борца, в будущем — великого предшественника русской социал-демократии. Крестьянские восстания в России, буржуазные революции на Западе направляли деятельность Чернышевского, воспитывали в нем вождя для борьбы с дворянско-помещичьим строем.

Таким образом, классовая борьба в России и за границей, влияние философов-материалистов, и в первую очередь и в основном — Людвига Фейербаха, определили позиции Н. Г. Чернышевского.

Чернышевский видел прогрессивный характер дальнейшего исторического развития России. В 1857 году он писал: «В наше время главная движущая сила жизни, промышленное направление, все-таки гораздо разумнее, нежели тенденции многих прошлых эпох... из него выходит и некоторое содействие просвещению, потому что для промышленности нужна наука и умственная развитость: из него выходит и некоторая забота о законности и правосудии, потому что промышленности нужна безопасность; из него выходит и некоторая забота о просторе для личности, потому что для промышленности нужно беспрепятственное

обращение капиталов и людей... Когда развивается промышленность, прогресс обеспечен. С этой точки, мы преимущественно и радуемся усилению промышленного движения у нас» (Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. III, стр. 561—562).

Чернышевский стал выше, «перерос» взгляды народников, не понимавших прогрессивного характера развития капитализма.

Убеждения Чернышевского принимают ярко выраженный революционно-демократический характер. Он становится безоговорочным противником монархии. Он растет как боец, идеолог и руководитель революционной демократии, как идеолог крестьянской революции.

В своем дневнике он пишет:

«18 число сентября, ...Я начинаю думать, что республика есть настоящее, единственное достойное человека взрослого правление, потому что, конечно, это последняя форма государства.

...не в один век пересоздать общественные отношения и общественные понятия и привычки, и ввести равенство на земле, и ввести рай на земле. Мне кажется, что я стал по убеждениям в конечной цели человечества решительно партизаном социалистов и коммунистов и крайних республиканцев...»

* * *

Будучи студентом, Чернышевский находился в плохом материальном положении. Неоднократно он записывает в дневник: «Сюртуки у меня износились окончательно». «Весьма обеспокоен своим положением... денег нет». «21 сентября... потерял два гривенника, и у меня денег не оставалось...» А когда ревел снежный ураган, он «пошел в холодной шинели» и снова — проклятье социально-экономическому строю дворян и помещиков: «у меня нет денег, а между тем одежда начинает изнашиваться, а главное — грозит ненастье, а у меня одни салюги, и к тем нет калош, и мне как-то не то, что страшно, а немного неприятно думать о том, что скоро понадобится все это...». Картина материальной нужды лишь дополняет общий фон положения, в условиях которого формировался великий революционный демократ, великий просветитель 60-х годов.

Его слова были его делами, он говорил: «...в сущности я несколько не подорожу жизнью для торжества своих убеждений, для торжества свободы, равенства, братства и довольства, уничтожения нищеты и порока, если только буду убежден, что мои убеждения справедливы и восторжествуют, и если уверен буду, что восторжествуют они, даже не пожалею, что не увижу дня торжества и царства их, и сладко будет умереть, а не горько, если только в этом буду убежден».

В своем дневнике он давал и программу своих политических взглядов, намечал пути, по которым должно пойти развитие человечества.

«Если бы мне теперь власть в руки, — писал он, — тотчас провозгласил бы освобождение крестьян, распустил более половины войска, если не сейчас, то весьма скоро, ограничил бы как можно более власть административную и вообще правительственную, особенно мелких лиц (т.-е. провинциальных и уездных), как можно более просвещения, учения, школ... постарался дать политические права женщинам».

Говоря о жизни народа, он критиковал тот социально-экономический строй, который окружал его.

Критикуя этот строй, он находил слова простые, но могучие, понятные всякому угнетенному человеку.

* * *

По окончании университета, весной 1850 года, Чернышевский едет в Саратов, где в январе 1851 года получает место преподавателя словесности. На этой работе он пробыл до 1853 года.

В 1853 году Чернышевский женится на Ольге Сократовне Васильевой, ставшей его верным другом. Вступая в брак, он предупреждает Ольгу Сократовну, что в России «скоро будет бунт» и он «будет непременно участвовать в нем...» Его «...не испугают ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня...», и он будет бороться на стороне народа, не страшась ни тюрьмы, ни каторги, ни смерти.

В том же, 1853, году Чернышевский переезжает в Петербург, живя первое время случайными заработками и читкой корректуры.

Чернышевский мечтает о работе ученого, профессора. — С осени того же года он начинает сдавать магистерские экзамены и вскоре заканчивает их и подает диссертацию «Эстетические отношения искусства к действительности». Чернышевский блестяще защищает диссертацию, но звания магистра, однако, сразу не получает.

В своей диссертации Чернышевский развивает революционные основы своих взглядов, разбивая идеалистические установки и ставя в основу всего материалистическую философию Людвиг Фейербаха, которую он, однако, в основном преодолел и пошел дальше.

Чернышевский начинает активно сотрудничать в передовом органе того времени, в журнале «Современник».

Диссертация и затем «Очерки Гоголевского периода...» — выдвинули Чернышевского как идеолога и руководителя революционной демократии, как идеолога крестьянской революции.

Чернышевский ведет в журнале «Современник» большую работу; для характеристики этого приведем документ, составленный Некрасовым для Чернышевского. В этом документе определены условия, по которым Чернышевский должен был:

«1) Писать статьи для отдела критики и библиографии и заведывать этим отделом.

2) Составлять статьи для отдела.

3) Составлять иностранные известия.

4) Читать вторые корректуры всего журнала.

5) Принимать участие в заготовлении материалов и редакции журнала.

6) Писать заметки о журналах».

Материальные условия были таковы, что по редакции журнала «Современник» Чернышевский получал 3000 рублей в год и по листно — 40 рублей с печатного листа. Н. Г. Чернышевский как редактор журнала «Современник» организует и идейно направляет это издание.

Он привлекает к работе в «Современнике» крупные литературные силы — Тургенева, Достоевского, Помяловского, Н. Успенского и др.

Для характеристики революционной деятельности журнала «Современник» следует привести данные, характеризующие, сколько печатных листов «Современника» снимала цензура по «политической неблагонадежности» их; — так, во втором номере «Современника» за 1854 год вымарано цензурой $5\frac{1}{8}$ листа из семи номеров; за 1856 год вымарано цензурой $11\frac{5}{8}$ листа журнала.

за 1857 год цензурой вымарано 12 листов

за 1859 " " " $40\frac{3}{8}$

за 1860 " " " $50\frac{7}{8}$

В 1861 году Чернышевский написал прокламацию «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон».

В этой прокламации Н. Г. Чернышевский дает указания: учиться военному делу, привлекать на сторону народа солдат, готовить оружие, готовиться народу ко всеобщему восстанию против помещиков и дворян.

В своей замечательной статье «Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция», Ленин писал:

«И если века рабства настолько забили и притупили крестьянские массы, что они были неспособны во время реформы ни на что, кроме раздробленных, единичных восстаний, скорее даже «бунтов», не освещенных никаким политическим сознанием, то были и тогда уже в России революционеры, стоявшие на стороне крестьянства и понимавшие всю узость, все убожество пресловутой «крестьянской реформы», весь ее крепостнический характер. Во главе этих, крайне немногочисленных тогда, революционеров стоял Н. Г. Чернышевский» (Ленин, Соч., т. XV, изд. III, стр. 143).

В 1861 году 20 ноября Чернышевский выступает на похоронах своего друга и ученика — Н. А. Добролюбова. Речь его пронизана революционным содержанием, призывом к борьбе.

В результате этого всем губернаторам рассылается секретный циркуляр с предложением не выдавать Чернышевскому заграничного паспорта.

Вся революционная деятельность Чернышевского, его смелая борьба не давали покоя царскому строю.

Тайная полиция фабрикует, с помощью лжесвидетелей и провокации, дело против Чернышевского.

В это время в Петербурге возникали пожары, и, пользуясь ими как предлогом к «изоляции» Чернышевского от общества, 7 июля 1862 года его арестовали.

Осудили Чернышевского на семь лет каторжных работ в рудниках и на вечное поселение в Сибири «за злоумышление к ниспровержению существующего порядка, за принятие мер к возмущению и за сочинение возмутительного воззвания «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», несмотря на то, что секретари Сената большинством голосов решили, что записка, приписываемая Чернышевскому, — подложна.

Маркс и Энгельс были в курсе всех событий, происходивших с Чернышевским. Так, в письме Маркса к Энгельсу от 5 июля 1870 года Маркс пишет: «Чернышевский, как я узнал от Л[опатина], был присужден в 1864 г. к восьми годам каторжных работ в сибирских рудниках... Первый суд был достаточно честен, чтобы заявить, что против него нет абсолютно ничего и что мнимые заговорщические конспиративные письма представляют собою очевидные подлоги (что и было в самом деле). Но Сенат, по императорскому приказу, отменил этот приговор и послал в Сибирь этого... человека» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXIV, стр. 349).

Но и после ареста Чернышевский не падает духом. Не имея возможности заниматься научно-публицистической работой, он встает на путь создания образов в художественной литературе.

Сидя в Петропавловской крепости, он пишет роман «Что делать»; находясь в ссылке, пишет роман «Пролог».

В 1863 году роман Чернышевского «Что делать» был напечатан в журнале «Современник», и сила воздействия этого романа была настолько большая, что царизм вплоть до революции 1905 года запрещал издавать это произведение.

Чернышевский создал типы новых людей, с новым мировоззрением, с новой моралью. Герои этого произведения — живые люди, и действиям этих людей подражали. Чернышевский видел людей такими, как Вера Павловна, Лопухов и Кирсанов, которые «грудью, без связи, без знакомств пролагали себе дорогу».

«Каждый из них — человек отважный, не колеблющийся, не отступающий, умеющий взяться за дело, и если возьмется, то уж крепко хватаящийся за него, так что оно не выскользнет из рук» («Что делать»).

О неиссякаемой творческой энергии Чернышевского можно судить еще и по тому, что с 21 февраля по 21 марта 1864 года Чернышевский написал 29 мелких рассказов:

1. «Приключение друга». 2. «Духовная сила». 3. «Возлюбленный». 4. «Сходство мыслей». 5. «Из Багават Гиты». 6. «На правом боку». 7. «Покража». 8. «Сцена вторая». 9. «Сватовство герцога Сен-Симона». 10. «Герцог Альба». 11. «Сцена третья». 12. «Письмо». 13. «Это не сказка». 14. «Наталья Петровна Свирская». 15. «Без названия». 16. «Сцена». 17. «Ужасно!!!». 18. «Чингисхан». 19. «Видели ль вы?». 20. «Невеста». 21. «Хохол». 22. «Из дорожных воспоминаний» и др. В крепости же написаны: «Наша улица» и «Корнилов дом», впоследствии переименованный в рассказ «Жгут», и др.

Сила воздействия произведений Чернышевского огромна. Тов. Димитров говорит:

«Я вспоминаю, что в литературе оказало на меня особо сильное впечатление в дни моей юности.

Что повлияло на характер мой как борца. Должен сказать прямо: это была книга Чернышевского «Что делать». Выдержка, которую я приобретал в дни своего участия в рабочем движении в Болгарии, выдержка, уверенность и стойкость до конца во время Лейпцигского суда — все это несомненно имеет связь с художественным произведением Чернышевского, прочитанным мною в дни юности».

Сам Чернышевский в письмах к жене из Петропавловской крепости указывал, что при создании романа он исходил из желания дать народу «энциклопедию знания жизни в самом легком и популярном духе».

Зато реакционный лагерь призывал:

«...расправиться с этими пропагандистами, как долг повелевает. Ведь есть же у нас смиренные дома, исправительные заведения, есть отдаленные и глухие обители... А если этим их не проймешь, то есть дорога и подалее.

Ведь душегубцам и зажигателям находят же место вдали от благоустроенных обществ, а эти господа во сто раз хуже их»¹. Так расправлялись реакционеры с великими людьми!

Так кричала реакция, так вопили помещики-дворяне, чувствуя под собой колеблющуюся почву.

Чернышевского реакционеры изображали как человека сухого, черствого аскета, властного, желчного.

В действительности это был боец-гражданин — белокурый, с голубыми, добрыми и умными глазами, человек большой силы, ясной мысли, живого чувства.

Чернышевский любил жизнь, народ, и именно поэтому он стал борцом за лучшее в жизни — за счастливое будущее народа.

Скромный, застенчивый, увлекательный собеседник, твердый, непоколебимый в своих революционных убеждениях — таков Чернышевский.

* * *

20 мая 1864 года в 10 часов вечера Чернышевский был отправлен в далекую ссылку, сначала — на Александровский завод, затем — в Вилуйск.

Вилуйская тюрьма находилась на берегу реки Вилуя. Берег реки ежегодно подмывался. Вскоре после отбытия Чернышевским срока ссылки и отъезда его в Европейскую Россию тюрьма была смыта. Тюрьма представляла из себя квадратную площадь (сажен по 10 с каждой стороны), обнесенную деревянными палями. Это была обычная сибирская тюрьма. Единственные ворота были обращены к реке. Посетивший тюрьму весной 1883 года прокурор якутского Окружного суда в своих воспоминаниях дает следующее описание камеры Чернышевского: «Комната Н. Г. была квадратная, приблизительно 8—9 аршин по стороне, высотой аршина четыре. В комнате было только два окна. По стенам комнаты, за исключением двери, двух окон и печки (на правой стене от входа) были устроены из простых плах широкие полки, каждая — из двух плах, заполненные в два ряда преимущественно новыми, недержанными или очень бережно сохраняемыми книгами. Посредине комнаты на крестовинах были положены плохо выструганные, непригнанные две плахи, изображавшие из себя стол. Стол этот прежде всего обращал на себя внимание своей высотой — более 1¹/₂ аршина — тогда как высота обыкновенного стола по столярному ремеслу определяется в 1 аршин 2 вершка...

На столе был пузырек, небольшой, с подозрительно бурными чернилами, и ручка со стальным пером. Стульев в комнате я не заметил, почему и прихожу к заключению, что Н. Г. писал стоя, наклоня голову к самому столу, так как по близорукости своей Н. Г. читал и писал, держа бумагу почти вплоть к очкам. Это мнение мое поддерживала и высота стола. Других столов в комнате не было» (журнал «Красный Север» № 2, 1921, Якутск).

Чернышевский много читал и писал. С каждой почтой получались газеты и журналы («Мысль», «Порядок», «Сибирская Газета», «Вестник Европы», «Отечественные Записки»).

10 августа 1870 года окончился срок тюремного заключения, но, боясь выпустить Чернышевского, предполагая, что Чернышевский будет центром объединения всех прогрессивно настроенных людей, Комитет министров 25/IX 1870 г. «пришел к убеждению о необходимости продолжить... заключение Чернышевского в тюрьме... немедленно приступить к изысканию... мер к обращению сего преступника, согласно закону, в разряд ссыльно-поселенцев в такой местности и при таких условиях, которые бы устранили всякое опасение насчет его побега и... сделали бы невозможным новые со стороны молодежи увлечения к его освобождению».

В это время друзья дела освобождения готовят все возможное, чтобы вырвать Чернышевского из тюремного плена.

Поздней осенью 1870 года Лопатин (а позднее — и Мышкин) специально

¹ Журнал «Домашняя Беседа».

выезжает из Лондона в Россию с целью освободить Чернышевского из ссылки, но 1 февраля 1871 года Лопатина арестовывают в Иркутске, а через некоторое время арестовывают и Мышкина.

В это время, 29 ноября 1873 года, Энгельс в письме к Марксу пишет, что «Чернышевский находился совсем близко оттуда, т. е. за 700—800 английских миль, у Нерчинска, но был немедленно отправлен в Средне-Вилуйск, севернее Якутска, на 65° широты, где общество его, кроме туземных тунгусов, составляют только сторожащие его унтер-офицер и два солдата».

В 1874 году Чернышевский отказался от предложенного ему помилования на условиях подачи прошения о помиловании на высочайшее имя и отречения от своих убеждений.

Чернышевский заявил: «Благодарю, но видите ли, в чем я должен просить помилования?.. Мне кажется, что я сослан только потому, что моя голова и голова шефа жандармов Шувалова устроены на разный манер, а разве об этом можно просить помилования?»

* * *

Чернышевский не дорожил своей жизнью в борьбе за лучшее будущее народа. Двадцать лет каторги и ссылки, вся жизнь, прошедшая в материальных лишениях, не сломили великого мыслителя, не сломили жажды борьбы за счастье народа, за его братство, за его равенство, за его довольство.

Таков Николай Гаврилович Чернышевский.

Полным сил молодым человеком был арестован Чернышевский. Изможденным стариком получил он свободу — относительную свободу, ибо ему разрешено было жить лишь в Астрахани и только в 1889 году ему позволили переехать на жительство в его родной город, Саратов.

29 октября (17 ст./ст.) 1889 года умер от кровоизлияния в мозг великий русский демократ, величайший предшественник русских социал-демократов, Николай Гаврилович Чернышевский.



Памятник Н. Г. Чернышевскому в Саратове.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО¹.

1. «Переписка с родными» — 1846—1850 гг., — охватывающая университетские годы Чернышевского.

В переписке Чернышевского мы находим ценные сведения, характеризующие систему просвещения — особенно положение университетов, — программы занятий, методы преподавания, содержание лекций профессоров и т. д. периода 50-х годов XIX века. В этих материалах мы найдем и описание учебной и бытовой жизни Н. Г. Чернышевского в тот период.

Н. Г. Чернышевский, «Литературное наследие», т. II.

2. «Дневник Н. Г. Чернышевского — 1848—1853 гг.».

В ярких иллюстрациях, свободных от царской цензуры, Чернышевский дает огромный материал (отрывки, зачастую без связи, в «мыслях для себя»), характеризующий просвещение 50-х годов XIX века, о путях развития просвещения в России, об условиях, необходимых для действительного развития дела народного образования.

Н. Г. Чернышевский, «Литературное наследие», т. I.

3. «О том, какие книги должно давать читать детям».

Н. Г. Чернышевский резко критикует всю систему запрещения чтения детям литературы по выбору самих детей; он защищает метод свободного выбора книг для чтения детьми.

Н. Г. Чернышевский, «Литературное наследие», т. I, стр. 695—699.

4. «Учебник русской словесности А. Охотина, часть I, Теория, Для средних учебных заведений».

В этой рецензии Чернышевский дает указания, каким должен быть учебник, критикует «заумные», «сухие», невежественные учебники.

Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. I, стр. 218—220.

5. «Магазин земледелия и путешествия», географический сборник, издаваемый Николаем Фроловым, т. III, Москва 1851.

В своей рецензии Чернышевский высказывает свои пожелания о составлении учебника без «скучных страниц», уделяя главное внимание основным, ведущим описаниям, не давая на одной линии — явления мелкие, не существенные, «без штампа описания, каждому явлению свои определения» и т. д. без «дешевой учености», а также высказывает некоторые мысли о литературе.

¹ При составлении данного библиографического указателя частично использованы: работы Никольского — «Педагогические высказывания Н. Г. Чернышевского», Аблова — «Библиографические указания к произведениям Чернышевского», Студенцова — «Педагогические заветы Н. Г. Чернышевского», Беркова — «Н. Г. Чернышевский, биографический очерк» и др.

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. I, стр. 222—230.

6. «Новые повести». Рассказы для детей. Москва 1854. Рецензия 1855 г.

Давая рецензию на «неинтересную» книгу, Чернышевский в шуточной форме указывает на состояние литературы для детей в свое время, а также некоторые свои соображения по этим вопросам.

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. I, стр. 337—343.

7. «Первое чтение и первые уроки для маленьких детей...» Сочинение А. Ишимовой, Часть I, СПб 1855.

Чернышевский, одобрительно отзывающийся о педагогических работах Ишимовой, говорит в своей рецензии о содержании книги «Первое чтение и первые уроки для маленьких детей».

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. II, стр. 322—323.

8. «Грамматические заметки В. Классовского, СПб 1855 (рецензия 1855 г.).

Рецензия Чернышевского трактует о том, каким методом построена грамматика, о ее системе в применении к учебнику, о вредности этой системы. Чернышевский высказывает свои пожелания по поводу методики и системы построения грамматики.

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. I, стр. 359—364.

9. «О древнерусских училищах. Рассуждение Н. Лавровского» (рецензия 1854 г.).

В своей рецензии Чернышевский раскрывает всю несостоятельность утверждений Н. Лавровского, развивая и доказывая правильность своих взглядов.

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. I, стр. 398—399.

10. «Высший курс русской грамматики, составленный Владимиром Стоюниным», СПб 1854.

В данной статье Чернышевский выступает против такого построения учебников по грамматике, которые написаны в духе сравнительной филологии, а также выступает против неприемлемости данного метода в преподавании грамматики.

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. I, стр. 404.

11. «Учебные руководства для военно-учебных заведений. Руководство начальной геометрии. Сочинение Остроградского». СПб 1855 (рецензия 1855 г.).

Чернышевский с неизменным для него качеством — умением отыскивать положительные черты в методах преподавания — видит в Остроградском «гениального аналитика». Составленное Остроградским Руководство по начальной геометрии произвело реформу в преподавании геометрии тем, что Остроградский заменил способ доказательства посредством черчения фигур — аналитическим способом.

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. I, стр. 431—432.

12. «Венгерская грамматика с русским текстом и в сравнении с чувашским и черемисским языками, составленная титулярным советником Андреем Дешко» (рецензия 1855 г.).

Статья раскрывает неправильность установки Андрея Дешко, который «вкладывает венгерский язык в рамки старинных латинских грамматик, которые совершенно не подходят к втому своеобразному языку».

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. I, стр. 439—440.

13. «Цыганенок. Повесть для детей П. М. Шпилевского».

Рецензия на книгу, в содержании которой «лежит мысль добрая и справедливая; некоторые страницы рассказа показывают умение говорить с детьми»; затем Чернышевский вскрывает недостатки книги: сантиментальность, неправдоподобие многих подробностей и т. д. В этой рецензии Чернышевский высказывает свои пожелания — как писать для детей.

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. I, стр. 471—472.

14. «Руководство к всеобщей истории, Сочинение Ф. Лоренца». Часть III, отделение 2 (рецензия 1855 г.).

Разбирая учебник «Руководство к всеобщей истории», Чернышевский отмечает преимущества данного учебника с педагогической точки зрения.

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. I, стр. 475—476.

15. «Лейтенант и Поручик, быль времен Петра Великого. Сочинение Конст. Масальского, две части», СПб 1855.

В рецензии выдвигается ряд требований, как писать книги для детей: «увлекательно», «не мудро», «грамотно», «правдиво», «без психологических тонкостей».

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. II, стр. 281—286.

16. «Александр Сергеевич Пушкин, его жизнь и сочинения».

В предисловии к биографии великого русского писателя Чернышевский чрезвычайно просто, ясно говорит о том, «кто имеет право быть названным образованным человеком», а также каково «общее значение литературы в деле образования».

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. X, ч. II, стр. 198—226.

17. «Сочинения Т. Н. Грановского, т. I», Москва 1856 (рецензия 1856 г.).

В своей рецензии Чернышевский дает характеристику Т. Н. Грановского, отмечая, почему общественные условия, в которых жил Грановский, не могли сделать из него полноценного ученого, а сделали больше педагога. Одновременно Чернышевский дает характеристику Грановского как педагога. Здесь он развивает свой взгляд на педагогическую деятельность.

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. II, стр. 400—420.

18. «Общий курс истории средних веков. Сочинение М. Стасюлевича», СПб 1856 (рецензия 1856 г.).

В данной рецензии Чернышевский также отмечает, каким должен быть учебник (с точки зрения методической и системы подачи учебного материала). Чернышевский отмечает достоинство учебника Стасюлевича, в котором автор сумел выделить важные события, не скрывая их за «длинными перечнями ничтожных походов и стычек», не слишком обременяя «свое руководство излишними именами и цифрами».

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. II, стр. 437.

19. «Заметки о журналах». «Июнь 1856» — «О воспитании» Бема. Мысли по поводу статьи «О воспитании» Даля.

Рецензируя педагогические статьи, помещенные в «Морском Сборнике», Чернышевский высказывает чрезвычайно ценные мысли о воспита-

нии детей, об учителе, который «сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника».

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. II, стр. 465—469.

20. «Заметки о журналах» (1856). Обзор статей о воспитании в «Морском Сборнике».

Чернышевский развивает свои взгляды на воспитание, на цели воспитания, он говорит: «Воспитание главной своею целью должно иметь приготовление дитяти и потом юноши к тому, чтобы в жизни был он человеком развитым, благородным и честным».

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. II, стр. 519—531.

21. «Вопросы жизни» Пирогова» (1856).

В своей статье Чернышевский дает положительную оценку, солидаризируется с общими взглядами Пирогова, на значение общего образования, являющегося основой специального образования.

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. II, стр. 526—531.

22. «Русская грамматика В. Класовского», СПб 1856 (рецензия).

В данной рецензии Чернышевский требовательно подходит к системе, методике и языку учебника. «Не щеголять перед детьми ученостью» и др.

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. II, стр. 558.

23. «Детство и Отрочество». Сочинение графа Л. Н. Толстого. Военные рассказы графа Л. Н. Толстого». СПб 1856 (рецензия 1856).

В своей рецензии Чернышевский, оценивая «большой талант», «правдивость» произведений Толстого, говорит что «только самостоятельной деятельностью развивается талант». Чернышевский развивает свои мысли о нравственности, о среде, воспитывающей нравственность, о художественности произведений и т. д. Говоря о развешивании картин «Детства», Чернышевский специально останавливается на этом: «Изображая «детство», надобно изображать именно детство, а не что-либо другое».

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. II, стр. 638—647.

24. «Лессинг, его время, его жизнь и деятельность» (1856—1857).

Богатство фактов экономического, политического, характера по вопросам просвещения, характеристики Германии, собрано в этой статье-биографии знаменитого немецкого «просветителя» Лессинга. Рассказывая о жизни Лессинга, Чернышевский положительно оценивает его деятельность. В статье имеется большое количество материала по вопросам просвещения, народного образования, системы образования и т. д.

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. III, стр. 585—590.

25. «Заметки о журналах», май 1857 (1857 г.).

В своей рецензии Чернышевский по существу отказывается от утверждения, что «прогресс, это — наука»; в данной рецензии он говорит: «Не книгами, не журналами, не газетами пробуждается дух нации, — он пробуждается событиями».

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. III, стр. 253—269. «Современник» № 1, 1857 г.

26. «Сочинения и письма Н. В. Гоголя». Издание П. А. Кулиша, шесть томов. СПб 1857 (1857).

В своем предисловии Чернышевский говорит о влиянии развития, воспитания на умственную возмужалость, на «систему убеждений».

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. III, стр. 337—373.

27. «Статья «Земледельческой Газеты» о народном образовании, о телесных наказаниях и о семейных нравах простолюдинов». 1857 г.

В своей рецензии Чернышевский завуалированно (по цензурным соображениям) говорит о прямой зависимости вопросов просвещения от социально-экономических условий, от того, что «брамины и кшатрии никак не допустят серьезных забот о просвещении парий... чтобы дать возможность париям смягчить свои нравы образованием, прежде всего должно изменить положение парий в индийском обществе». Улучшение общественного и материального положения — вот необходимейшее предварительное средство для возможности распространяться просвещению и улучшаться нравам».

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. III, стр. 533—554.

28. «Русский человек на „rendez-vous“». Размышления по прочтении повести Тургенева «Ася» (1858).

В данной статье Чернышевский раскрывает механику воспитания в тех общественных условиях, в которых он жил, доказывая неизбежность расхождения, двойственности натуры в капиталистических условиях, ибо «без приобретения привычки к самобытному участию в гражданских делах, без приобретения чувства гражданина, ребенок... вырастая... не становится...» человеком общности.

«Лучше не развиваться человеку, нежели развиваться без влияния мысли об общественных делах, без влияния чувств, пробуждаемых участием в них.

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. I, стр. 87—102.

29. «Борьба партий во Франции при Людовике XVIII Карле X» (1858 г.).

Чернышевский, критикуя либерализм, говорит в своей статье, что свобода остается на бумаге, если у человека нет материальных и политических средств пользоваться ею: «ни мне, ни вам... не запрещено обедать на золотом сервизе, к сожалению, ни у вас, ни у меня нет и, вероятно, никогда не будет средств для удовлетворения этой изящной идеи; потому я откровенно говорю, что нимало не дорожу своим правом иметь золотой сервиз и готов продать это право за один рубль серебром или даже дешевле».

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. IV, стр. 154—219.

30. «Обзор состояния Западной Европы» (1859 г.).

В данной статье, приводя соображения Брайта, Чернышевский положительно относится к высказанному Брайтом мнению: «Развитие промышленности и просвещения — необходимое условие прогресса».

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. V, стр. 484—526.

31. «Экономическая деятельность и законодательство» (1859 г.).

Чернышевский, развивая справедливые мысли о просвещении, наряду с этим, как «просветитель», говорит, что «с развитием просвещения и здравого взгляда на жизнь будут постепенно ослабевать до нуля разные слабости и пороки, рожденные искажением нашей натуры». Здесь Чернышевский не затрагивает главного вопроса движения общества — развития производительных сил.

Далее Чернышевский высказывает свои мысли о будущности физического и умственного труда.

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. IV, стр. 422—463.

32. «Суеверие и правила логики» (1859 г.).

В данной статье Чернышевский говорит о невежестве, о взяточничестве, о грубости и так далее людей своего времени, порождаемых обстановкой, «среди которой живут эти люди».

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. IV, стр. 549—564.

33. «Прочность Австрийского порядка» (1859 г.).

В своей статье Чернышевский дает обзор статьи Чорнига по вопросам просвещения в Австрии второй половины XIX в., «свободе преподавания», «учреждениям при университетах, об институтах для образования преподавателей», о «росте выпуска книг» и т. д.

Чернышевский говорит: «Какой отрадный отчет!, а между тем дело просвещения еще самая отсталая часть государственной австрийской жизни». В действительности же «положение дел... становилось год от году хуже».

Напечатано. Н. Г. Чернышевский. Полное собр. соч., т. V, стр. 447—483.

34. «Капитал и труд. Начала политической экономии, сочинение Ивана Горлова». т. I, СПб 1859 (рецензия 1860 г.).

В данной рецензии Чернышевский публикует ряд педагогических высказываний, понимая, что «свобода и просвещение, это — кислород и водород блага человека».

Условием существования каждого блага служит свобода. «Давайте свободу, давайте просвещение».

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. VI, стр. 1—50.

35. «Июльская монархия» (1860 г.).

В своей статье Чернышевский поднимает вопросы просвещения. Он говорит: «Политическая власть, материальное благосостояние, и образованность, — все эти три вещи соединены неразрывно».

«Кто не пользуется политической властью, тот не может спастись от угнетения, т.-е. нищеты, т.-е. и от невежества».

Напечатано Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. VI, стр. 53—150.

36. «Собрание чудес». Повести, заимствованные из мифологии. Сочинение американского писателя Натаниэля Готорна. СПб 1860 (рецензия 1860 г.).

В своей рецензии Чернышевский говорит о том, как надо руководить детским чтением, как надо показывать детям жизненную правду, которую они видят и слышат. Здесь он широко раскрывает истинные причины «запрета», «скрытия» от детей правды жизни.

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. VI, стр. 274—285.

37. «Нынешние английские виги. Маколей. Полное собрание сочинений, т. I. Критические и исторические опыты, изд. Н. Тиблена». СПб 1860 (1860 г.).

В своей рецензии Чернышевский высказывает ряд педагогических мыслей. Для того, чтобы знать: «Одной силы памяти тут еще мало: надобно поддерживать ее частым занятием». В этой же работе Н. Г. развивает свои взгляды об «умении различать важные знания от неважных, нужные от ненужных».

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. VI, стр. 373—390.

38. «Основания политической экономии. Замечания на главу VIII».

Чернышевский развивает свои мысли по национальному вопросу; он говорит, что все дело в условиях, которые окружают человека: дайте условия, «воспитайте... и он будет исполнять это дело лучше других». Затем Чернышевский специально развивает вопрос о вредном влиянии «разделения труда на экономический быт и на самый организм рабочегословия при нынешнем порядке дел».

В той же статье есть мысли о профессии педагога, составляющей не самонаслаждение, «а жертву занимающегося ею».

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. VII, стр. 180—190.

39. «Новые периодические издания. «Основа» № 1, 1861 (рецензия 1861 г.).

Рецензия Чернышевского раскрывает его убеждение в необходимости просвещения нерусских народов, преподавания им на родном языке теперь же. В результате осуществления этой мысли найдутся талантливые люди, «люди самые даровитые», и книги они напишут «очень хорошие».

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. VIII, стр. 48—60.

40. «О причинах падения Рима» [подражание Монтескье], 1861.

В этой статье Чернышевский выступает как ярчайший просветитель 60-х годов. Здесь он говорит о прогрессе, основывающемся не на развитии производительных сил, а на том, что «Прогресс основывается на умственном развитии, коренная сторона его прямо и состоит в успехах и развитии знаний».

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. VIII, стр. 156—177.

41. «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова» (1862 г.).

В данных материалах показана учебно-бытовая обстановка семинарского обучения, дана характеристика всей системы воспитания и обучения того периода.

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. IX, стр. 1—41.

42. «Французские законы по делам книгопечатания» (1862 г.).

В своей рецензии Чернышевский высказывает свои соображения о понятиях степени образованности человека, о его поведении и об условиях, создающих определенное поведение человека.

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. IX, стр. 128 (первый полутом).

43. «Ясная Поляна». Школа. Журнал педагогический, издаваемый гр. Л. Н. Толстым. Москва 1862. «Ясная Поляна», книжки для детей. Книжки I и II (1862 г.)

В своей рецензии Чернышевский дает оценку «свободных» форм воспитания и обучения в школе Л. Н. Толстого.

Одновременно с положительной оценкой методов и системы воспитания в Яснополянской школе Чернышевский говорит: «Досадно слушать, когда люди, основавшие школу, говорят, что не знают, чему учить и как учить народ, и не знают даже, нужно ли его учить».

Чернышевский отмечает неправильные установки в теоретических статьях, которые полны противоречий, критикует отсутствие ясных взглядов на образование; он заявляет яснополянцам: «Прежде чем поучать Россию... постарайтесь приобрести более определенный и связный взгляд на

дело народного образования... Сущность дела состоит в том, что за издание педагогического журнала принялись люди, считающие себя очень умными, склонные считать всех остальных людей, например и Руссо, и Песталоцци, — глупцами; люди, имеющие некоторую личную опытность, но не имеющие ни определенных общих убеждений, ни научного образования».

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. IX, стр. 114—127.

44. «*Научились ли?*» (1862 г.).

В этой статье Чернышевский дает ответ на статью «Учиться или не учиться?» (эта статья была напечатана в «С.-Петербургских Академических Ведомостях»). Чернышевский резко выступает в защиту просвещения, в защиту молодого поколения — наиболее прогрессивно настроенного, участвующего в студенческом движении, выступающего с смелыми мыслями.

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. IX, стр. 174—185.

45. «*Статьи, приложенные к переводу Истории Вебера*». Раздел: «*О различиях между народами по национальному характеру*» (1885—1889).

В своей статье, касаясь вопросов просвещения, Чернышевский высказывает свои соображения о понятии «родной язык», о роли воспитания на изменение характера, о влечении «к приобретению знаний» — врожденном «качестве человека»; здесь же Чернышевский развивает свои взгляды на «родной язык» и, приводя примеры, широко ставит вопрос об условиях, об обстоятельствах жизни: «Если в настоящее время находятся какие-нибудь неодинаковости между западными народами в умственном отношении, они получены ими не от природы их племени, а исключительно от исторической жизни». «Португальский вельможа по образу жизни и по понятиям гораздо более похож на шведского вельможу, чем на земледельца своей нации; португальский земледелец более похож в этих отношениях на шотландского или норвежского земледельца, чем на лиссабонского богатого негоцианта».

Одновременно Чернышевский говорит о привычках, «имеющих не словный, а национальный характер».

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. X, ч. 2, стр. 132—157.

В работе — «Очерке научных понятий по некоторым вопросам всеобщей истории, к разделу «Общий характер элементов, производящих прогресс» — Чернышевский развивает свои педагогические взгляды о ребенке, о его природной любознательности, «об основном принципе педагогики». Чернышевский выступает здесь и против наказания детей, говорит о вредности принуждения. Воспитатель должен «перевоспитать самого себя и переучиться; ему следует сделаться из скучного, бестолкового, сурового педанта добрым и рассудительным преподавателем». (Там же, стр. 168—186.)

46. *Запрещенные цензурой тексты*.

Купюры из различных статей за разное время, вычеркнутые из статей цензурой, характеризуют с еще большей яркостью революционные взгляды Чернышевского, от которых «веет духом классовой борьбы».

Напечатано. «Литературное наследие» № 3, 1932, стр. 75—108. Статья «Запрещенные тексты Н. Г. Чернышевского, комментарии М. Нечкиной и В. Каплинского».

47. *Учебник русской словесности А. Охотина*, ч. II, СПб 1849, ч. II, Кронштадт 1854 (рецензия 1855 г.).

В своей рецензии Чернышевский высказывает ценные пожелания о системе и методах составления учебника русской словесности.

Он пишет: «Как учитель должен знать свое дело, так и записки его должны быть согласованы с современным состоянием науки и с целью

воспитания юношества». «Изучение каждой науки учащимися должно содействовать их воспитанию».

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. I, стр. 218—220.

48. Речь Пирогова на акте Ришельевского лицея. Статья «Земледельческой Газеты о народном образовании и пр. (1857 г.).

Данная статья раскрывает взаимозависимость вопросов просвещения с улучшением общественного и материального положения.

Статья дает широкую и всестороннюю характеристику вопросов просвещения того периода.

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. III, стр. 533—554.

49. Просвещение, его значение и роль. Литература и ее связь с просвещением (1857—1860).

Чернышевский высказывает тут чрезвычайно ценные мысли: «Не книгами, не журналами пробуждается дух нации — он пробуждается событиями». Тем самым он «изживает» свои установки о том, что «прогресс, это — знание». В той же статье он развивает мысль: «Улучшение общественного и материального положения.. предварительное средство для возможности распространяться просвещению» и делает справедливые выводы: «Политическая власть, материальное благосостояние и образованность — все эти три вещи соединены неразрывно».

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. III, стр. 256, 258, Там же, т. IV, стр. 557. Там же, т. VI, стр. 81.

50. «Основа» 1861 г. (рецензия 1861 г.).

В данной рецензии Чернышевский развивает свои взгляды по вопросам просвещения национальностей, в частности украинцев; он пишет: «Преподавание малорусскому народу на малорусском языке, развитие популярной малорусской литературы — вот, по нашему мнению, та цель, к которой всего полезнее стремиться малороссам на первое время».

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. VIII, стр. 48—60.

51. «Основания политической экономии Д. С. Милля».

Давая комментарии к переводу книги Милля, Чернышевский развивает свои мысли по вопросам педагогики, просвещения, значения воспитания. В своих комментариях Чернышевский подробно останавливается на большом воспитательном значении труда, на роли труда в организации и развитии человека.

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. VII, стр. 1—664.

52. «Основания политической экономии Д. С. Милля. Глава «Ценность».

В примечаниях к указанной главе Чернышевский приводит свои соображения о профессии педагога в тех условиях, в которых жил и работал Чернышевский.

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. VII, стр. 416—452.

53. Академия лазурных гор — Дензиль Элиот.

В данной статье Дензиль Элиот (псевдоним Н. Г. Чернышевского) нарисовал картины воспитания юношества в Афинской академии времен Сократа.

Академия — свободная академия, где учеба, отдых, игры — все является достоянием людей.

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. X, ч. 1, стр. 13—20.

54. «Народная бестолковость» (1861 г.).

Статья резко критикует проповедь «самобытности» России. Чернышевский выступает за необходимость свободного политического и культурного развития народов всех наций.

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. VHI, стр. 320—338.

55. «Русская Беседа» и ее направление» (1856 г.).

В своей рецензии Чернышевский разбирает вопрос об отношении народности к науке (в связи с критикой точки зрения славянофилов).

Чернышевский говорит: «Главным основанием различия в ученом воззрении бывает степень общего образования, на которой стоит автор, а не народность его, к которой он принадлежит, не язык, на котором он говорит». Одновременно он доказывает: «Влияние французской народности на французскую науку, немецкой—на немецкую очень незначительно, если народность не смешивать с учеными и другими убеждениями и не ограничивать влияние народности качествами изложения».

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. II, стр. 421—431.

56. «Русская Беседа» и славянофильство». «Заметки о журналах» (1857 г.).

В своей рецензии Чернышевский вскрывает со всей правдивостью все отрицательные моменты цивилизации эпохи капитализма, особенно положение науки в условиях подчиненности ее интересам капиталистов.

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. III, стр. 148—158.

57. «О значении практики в системе современного юридического образования Д. Мейера», Казань 1855 (рецензия 1855).

Чернышевский ставит вопрос (поддерживая взгляды Мейера) о необходимости «соединения в университетском преподавании теоретических лекций с практическими упражнениями в производстве и решении дел».

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. I, стр. 469—470.

58. «Сочинения Пушкина. Издание П. В. Анненкова» СПб 1855.

Чернышевский говорит о воспитании А. С. Пушкина, раскрывая вопрос «народности» в воспитании, обстановке и условиях воспитания; Чернышевский развивает и углубляет свои взгляды на эти вопросы.

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. I, стр. 245—330.

59. «Погодин, Киреевский, Шевырев, 1856 г.». «Очерки Гоголевского периода русской литературы».

Чернышевский дает разбор взглядов Киреевского и Шевырева, устанавливая необходимые по его мнению мысли на вопросы о характере просвещения в Европе, о необходимости справедливо и исторически правдиво описывать просвещение в России.

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. II, стр. 64—116.

60. «О распространении знаний в России» Ламанского. «Заметки о журналах» (1857 г.).

Разбирая предложение, выдвинутое в статье Ламанского, об организации «Общества распространения знаний», Чернышевский высказывает конкретные пожелания по этому вопросу.

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. III, стр. 311—331.

61. «История цивилизации в Европе...», сочинение Гизо (рецензия 1860 г.).

В своей рецензии Чернышевский устанавливает взаимозависимость развития просвещения, культуры и общественных и материальных условий. Критикуя Гизо, Чернышевский пишет: «У Гизо... каждый значительный исторический факт непременно оказывается содействовавшим прогрессу. Мавры завоевали Испанию — это полезно для прогресса, мавры, успевшие цивилизоваться в Испании, изгоняются из нее людьми менее просвещенными, это опять полезно для цивилизации...»

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. VI, стр. 346—350.

62. «Пропилеи». Сборник статей по классической древности, изд. П. Леонтьевым (рецензия 1855 г.).

Останавливаясь на большом общеобразовательном значении изучения древнего мира, Чернышевский говорит о том, что, сравнивая текущие вопросы с развитием истории человека, легче можно понять ход новой истории.

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. I, стр. 365—395.

63. «О поэзии». Сочинение Аристотеля. Перевел... Б. Ордынский. 1854 г. (рецензия 1854 г.).

Чернышевский говорит о своих взглядах на большое просветительное значение поэзии, на взаимоотношение искусства и образования, на проникновение науки в массы.

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. I, стр. 26—47.

64. «История... Московского университета, написанная профессором... С. Шевыревым» (1855 г.).

В своей статье Чернышевский рассказывает о том, как, по его мнению, надо писать историю университетов, как подходить к условиям, обстановке университета, давая им оценку.

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. I, стр. 343—353.

65. «Эстетические отношения искусства к действительности».

Говоря о целях и назначении искусства, Чернышевский большую роль отводит педагогическому значению искусства.

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. X, ч. 2, стр. 84—164.

66. «Александр Сергеевич Пушкин, его жизнь и сочинения» (рецензия 1855 г.).

В данной рецензии говорится о том, как надо писать для детей, чтобы книга была простой, понятной, жизненно правдивой. На примере биографии Пушкина — им же самим написанной, Чернышевский показывает, как можно просто объяснять довольно сложные понятия.

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. II, стр. 648—651.

67. «Об учебном введении для девиц. Из современного обозрения» (1857 г.).

По поводу организации Курсов для девиц Чернышевский пишет, что он ждет «много хорошего от мысли, руководившей учреждением Курсов,

слушательницы которых не будут отвлекаемы от жизни в своем семейном кругу»

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. III, стр. 582—584.

68. «Письмо к О. С. Чернышевской (1862 г., из Петропавловской крепости).

Чернышевский подробно сообщает о своих широких планах и литературных работах. Он пишет о себе: «Чепуха в голове у людей, потому они бедны и жалки, злы и несчастны; надобно разъяснить им, в чем истина и как следует им думать и жить. Со времени Аристотеля не было сделано еще никем того, что я хочу сделать, и буду я добрым учителем людей в течение веков, как был Аристотель».

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, «Литературное наследие», т. II, стр. 411—413.

69. «Общий характер элементов, производящих прогресс».

Здесь Чернышевский развивает свои взгляды на недопустимость принуждения в деле воспитания и обучения народов нерусской национальности.

Чернышевский подчеркивает недопустимость наказания детей, как приема воспитания.

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. X, ч. 2, стр. 168—186.

70. В Письмах к родным, Ольге Сократовне Чернышевской, своим детям —

Чернышевский развивает вопросы воспитания детей (см. «Чернышевский в Сибири». Переписка с родными, вып. I, II и III, СПб, 1913 и «Литературное наследие», т. I и II). В этих документах мы можем встретить высказывания о воспитании детей, об отношении к экзаменам, о значении изучения наук, особенно истории, о выборе профессий, о причинах плохого школьного преподавания, об ученом педанстве, значении самообразования, о том, как надо воспитывать детей, о значении общего образования, о детской литературе и т. д.

71. «Что делать». Из рассказов о новых людях.

В романе «Что делать» показаны люди с новой моралью, с новым отношением к человеку, с новым подходом к образованию. В четвертом сне Веры Павловны нарисована картина коммунистического общества — в представлении Чернышевского.

Об огромном воспитательном значении романа «Что делать» очень ярко сказал т. Димитров:

«Я вспоминаю, что в литературе оказало на меня особо сильное впечатление в дни моей юности?

Что повлияло на характер мой, как борца?

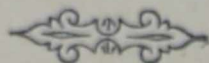
Должен сказать прямо: это была книга Чернышевского «Что делать». Выдержка, которую я приобретал в дни своего участия в рабочем движении в Болгарии, выдержка, уверенность и стойкость до конца во время Лейпцигского суда — все это несомненно имеет связь с художественным произведением Чернышевского, прочитанным мною в дни юности».

Роман «Что делать» напечатан в Полном собр. соч., т. IX, стр. 1—317.

72. «Из автобиографии Н. Г. Чернышевского».

Находясь в Петропавловской крепости, Чернышевский написал автобиографию, в которой рассказал о способах обучения солдат. Наряду с этим в ней дана характеристика семинарии. Даны ценные указания о чтении (на примере самого Чернышевского).

Напечатано. Н. Г. Чернышевский, «Литературное наследие», т. I, стр. 3—125.



УКАЗАТЕЛЬ ВАЖНЕЙШИХ ИМЕН, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ
В ВЫСКАЗЫВАНИЯХ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО ¹.

- Абеляр Пьер* (1079—1142) — французский философ, богослов и поэт. 250.
- Адлерберг Владимир Федорович* (1790—1884) — с 1841 г. главноуправляющий почт. 224.
- Альбер Александр* (1815—1895) — рабочий; после Февральской революции 1848 года был членом Временного правительства и вице-председателем Люксембургской комиссии: после выступления 15 мая 1848 г. был арестован, предан суду и приговорен к 20 годам тюрьмы; амнистирован в 1859 г. 288—300.
- Амадис Гальский* — герой старейшего из так называемых романов об Амадисе. Написан в конце XIII или начале XIV века. 53.
- Анфантен Бартеlemi Проспер* (1796—1864) — глава сенсимонистов. 300—302.
- Алексей Иванович* — инспектор студентов Петербургского университета. 198—202.
- Араго Доминик Франсуа* (1786—1853) — французский физик, астроном и политический деятель. 54.
- Аристотель* (384—322 до н. э.) — один из величайших ученых и мыслителей древности. Сын врача, род. в греческой колонии Стагире (Фракия), был учеником Платона. Основал в Афинах философскую школу (Ликей). В Средние века он пользовался авторитетом. — На русский язык переведены «Этика», «Аналитика», «Метафизика», «Поэтика», «Политика» и др. 69, 237.
- Арсеньев Константин Иванович* (род. в 1789 г., ум. в 1865 г.) — преподаватель Петербургского Педагогического института, статистик, географ и историк; с 1836 г. — академик. 35.
- Архимед* (287—212 до н. э.), — гениальный математик древнего мира. 242, 262.
- Борисов Владимир Андреевич* (род. в 1808 г.) — лингвист-филолог. 53.
- Брук Карл-Людвиг* (1798—1860) — австрийский государственный деятель, бывший министр торговли. 130.
- Бруссэ* (1772—1838) — основатель медицинской системы, названной его именем. 49.
- Буало Никола* (1636—1711) — французский поэт. 89—93.
- Булгарин Фаддей Венедиктович* (1789—1859) — журналист и беллетрист. Издатель газеты «Северная Пчела» (с 1825 г.), журналов «Северный Архив», «Сын Отечества» (вместе с Гречем). При Николае I стал агентом Третьего отделения, писал доносы на литераторов (Пушкина и др.) В критических статьях сводил личные счеты с авторами. 35, 230.
- Буслаев Федор Иванович* (1818—1897) — лингвист-филолог, академик, проф. Московского университета. 53, 58.
- Бэкон Франсис*, лорд Веруламский (1561—1626) — английский философ-эмпирик. 255.
- Бэкон Роджер* (1214—1294) — средневековый английский философ и естествоиспытатель. 255.
- Белинский Виссарион Григорьевич* (1811—1848) — знаменитый критик. Оценка его значения в истории русской литературы впервые была дана Чернышевским в «Очерках Гоголевского периода русской литературы». 221, 230, 299, 303.

¹ При составлении указателя имен были использованы именные указатели, помещенные в выпусках «Чернышевский в Сибири», «Литературное наследие», а также Большая, Малая и Литературные Энциклопедии, Энциклопедический словарь Брокгауз и Эфрон и др.

- Бем — 74, 75.
- Белов Евгений Александрович — учитель саратовской гимназии, 215, 218.
- Благодетель Григорий Евлампиевич (1824—1880) — студент, товарищ Чернышевского по семинарии; впоследствии — видный журналист, редактор журналов «Русское Слово» и «Дело». 157, 159, 218, 294.
- Беранже Пьер (1780—1857) — знаменитый французский поэт-сатирик. 199—207
- Блан Луи (1811—1882) — историк, публицист и политический деятель. 287, 288, 289, 294, 298, 304.
- Бланки Жером Адольф (1798—1854) — французский экономист, старший брат знаменитого революционера. 156—157.
- Блум Роберт — член Франкфуртского национального собрания, демократ; был расстрелян в Вене 9 ноября 1849 г. после взятия Вены войсками Виндишгреца. 302.
- Бутурлин Дмитрий Петрович (1790—1849) — председатель «Комитета для высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений. 298—299.
- Барант Гильом Проспер (1782—1866) — французский историк и государственный деятель (см. дневник и письма).
- Барбес Арман (1809—1870) — был вместе с Огюстом Бланки одним из деятельнейших организаторов и участников тайных революционных обществ (см. дневник и письма).
- Бассерман Фридрих (1811—1855) — умеренный либерал, член Предпарламента и Франкфуртского национального собрания. 79—82.
- Беккер Карл-Фридрих (1777—1806) — немецкий историк. 94—98.
- Беккер — немецкий филолог. 53.
- Беккер Рейнгольд (1788—1856) — финский лингвист, был профессором истории университета и в то же время переводчиком в сенате. Гегельянец. С 1820 по 1831 год Беккер состоял редактором «Финской газеты», написал финскую грамматику на шведском языке, собирал старинные финские песни. 215—220.
- Бронте Шарлотта — английская писательница (см. дневник и письма).
- Бокаччио Джованни (1313—1375) — итальянский писатель эпохи раннего Возрождения, представитель гуманизма. 38, 39.
- Вельтман Александр Фомич (1800—1870) — романист, поэт, археолог. Известен как прозаик. 64.
- Вергилий (70—19 до н. в.) — крупный римский поэт. 30, 69.
- Воскресенский Гавриил Степанович — преподаватель саратовской семинарии по словесности, библейской истории и латинскому языку. 64, 65, 289.
- Владимир Мономах (1053—1125) — великий князь Киевский. Известно его «Поучение» своим детям. 34.
- Востоков Александр Христофорович (1781—1864) — знаменитый филолог. В 1820 г. появился труд Востокова, который дал ему европейскую известность, — «Рассуждение о славянском языке, служащее введением к грамматике сего языка». Здесь Востоков указал хронологическое место памятников церковно-славянского языка, определил его различие с древнерусским языком, указал значение носовых и глухих гласных. За этот труд был избран членом Академии наук как в России, так и в других странах. 58.
- Василий Петрович (см. Лободовский В. П.). 285, 289, 292, 293, 294, 296, 300, 301, 303.
- Василий Степанович (см. Колеров В. С.). 279, 283, 297.
- Васильева Ольга Сократовна (1833—1918) — невеста, а потом жена Н. Г. Чернышевского (см. Чернышевская О. С.).
- Васильев Сократ Евгеньевич — саратовский врач, отец Ольги Сократовны, ставшей женой Чернышевского (см. дневник и письма).
- Введенский Иринарх Иванович (1813—1855) — педагог и журналист. 226.
- Воронин — студент, однокурсник Чернышевского; в его семье Чернышевский имел уроки. 293, 295, 296, 297.
- Вороновы — саратовская семья, близкая к Чернышевским и Пыпиным. 293, 297, 299, 300, 304.
- Верньо Викторен (1759—1793) — один из вождей жирондистов; погиб на гильотине. 219—230.
- Ганеман (род. в 1755 г.) — основатель гомеопатии. 49.

Гаус Карл-Фридрих (1777—1855) — знаменитый немецкий математик — особенно известен в области изучения теории чисел — и астроном. Ему принадлежат работы по теории земного магнетизма, 49, 269, 273.

Гегель Георг-Фридрих-Вильгельм (1773—1831) — великий немецкий философ, завершивший развитие классического идеализма, 53, 69, 214, 219, 239, 302, 304.

Геродот — первый знаменитый греческий историк, живший около 500 г. до н. э., 214, 241.

Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — великий русский писатель, 31, 64, 65, 66, 88, 95, 106, 120, 130, 141, 257, 288, 289, 295, 298, 304.

Гомер — полупоэтический греческий поэт, 50, 69, 283, 284, 289.

Гораций Флакк Квинт (65—08 до н. э.) — один из виднейших римских поэтов, 30, 217.

Горлов Иван Яковлевич (1814—1890) — профессор политэкономии и статистики, 130.

Горяинов Павел Федорович (1796—1865) — профессор Санкт-Петербургской Медико-Хирургической академии. Сначала был адъюнкт-профессором ботаники, рецептуры и фармации, затем занял кафедру зоологии и минералогии, а с 1838 г. перешел на кафедру фармакологии, 35.

Готье Теофил (1811—1872) — французский поэт, романист и критик, 30.

Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855) — профессор всеобщей истории Московского университета, 68, 69, 70, 73.

Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829) — знаменитый писатель, автор комедии «Горе от ума» (написана в 1824 г.; поставлена на сцене в 1831 г.; напечатана с пропусками в 1838 г., полностью — лишь в 1860-х гг.). Другие его произведения малоизвестны, 56.

Грефе Федор Богданович (1780—1851) — профессор греческой словесности, 217, 221, 223, 224, 294, 295, 296, 297, 298.

Греч Николай Иванович (1787—1867) — реакционный журналист, соратник Булгарина по «Северной Пчеле» и «Сыну Отечества», 219—240.

Гельвеций Клод — знаменитый французский материалист. Его книга «О Духе» вышла в 1758 г., 303—310.

Гергей — один из военачальников венгерской революционной армии, 218—235.

Гиббон Эдуард (1737—1794) — знаменитый английский историк, 214—225.

Гизо Франсуа Пьер Гильом (1787—1874) — виднейший представитель политической системы, господствовавшей во Франции при Луи-Филиппе (1830—1848), 73, 151, 293, 294.

Гримм Яков (1785—1863) и *Гримм Вильгельм* (1786—1869) — немецкие филологи, авторы капитальных трудов по истории и грамматике немецкого языка и собиратели немецких народных сказаний, 41.

Гумбольдт Вильгельм (1767—1835) — знаменитый немецкий филолог, один из основателей сравнительного языкознания, 49, 53.

Гумбольдт Александр (1769—1859) — путешественник и ученый с глубокими энциклопедическими знаниями, автор капитального труда «Космос, или физическое описание мира» (1847—1851), 214, 220.

Гюго Виктор (1802—1885) — знаменитый французский поэт и романист, 54, 79, 206, 301.

Галер — студент, однокурсник Чернышевского, 296.

Герцен Александр Иванович (1812—1870) — знаменитый публицист; прогив Герцена направлена статья Чернышевского «О причинах падения Рима» («Современник», 1861, № 5; Чернышевский, Полное собр. соч., т. VIII, стр. 156—177), 234.

Галилей (1564—1642) — знаменитый физик и астроном, 262.

Гиппарх (II в. до н. э.) — греческий астроном и математик, 262.

Гельмгольц (1821—1894) — знаменитый физик, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272.

Головнин Александр Васильевич (1821—1886) — министр народного просвещения в 1861—1865 гг., 232.

Давыдов Иван Иванович (1794—1863) — педагог и писатель. Наиболее известная его работа — «Опыт общесравнительной грамматики русского языка», 58.

Даль Владимир Иванович (1801—1872) — писатель, этнограф, языковед. Им составлен «Толковый словарь живого великорусского языка», 75, 157.

- Декарт Рене* (1596—1650) — французский философ и математик. 242.
- Диккенс Чарльз* (1812—1870) — знаменитый английский писатель. Диккенс живописует яркие типы городской бедноты, детей тружеников, рисует картины нищеты и преступлений, порождаемых капиталистическим строем, в ряде романов: «Оливер Твист», «Крошка Доррит» и др. 31, 65, 95.
- Добролюбов Николай Александрович* (1836—1861) — знаменитый критик. Критика его была глубоко научной и реальной. Писатели — дворяне, современники Добролюбова, очень не любили его, — Маркс высоко ценил Добролюбова; когда умер Добролюбов, Чернышевский глубоко скорбел о потере своего молодого друга. Он писал: «Я тоже полезный человек, но лучше бы я умер, чем он... Лучшего защитника потерял в нем русский народ». 151—154, 260.
- Дебу* — член кружка Петрашевского (см. дневник и письма).
- Достоевский Федор Михайлович* (1821—1881) — в годы студенчества Чернышевского только начинал свою литературную деятельность, прерванную на многие годы арестом и ссылкой на каторгу по делу Петрашевского. 301—305.
- Дюма Александр* (1803—1870) — французский романист (см. дневник и письма).
- Дюфор* (1798—1881) — в 1848 г. член Учредительного собрания и Комиссии по выработке конституции (см. дневник и письма).
- Евсевий (Орлинский)* (1808—1883) — епископ, ректор Петербургской духовной академии (см. дневник и письма).
- Егор Гаврилович* — станционный смотритель, тесть В. П. Лободовского (см. дневник и письма).
- Жорж-Занд* (псевдоним Авроры Дюпен-Дюдеван) (1804—1876) — знаменитая французская писательница. 31, 65, 66, 281, 289, 304.
- Жуковский Василий Андреевич* (1783—1852) — поэт. 56, 135.
- Залеман* — студент, однокурсник Чернышевского. 294, 296, 298, 300.
- Иванов Ардалион Васильевич* — преподаватель русского языка в Горном корпусе и в Училище правоведения. Ему принадлежит «Русская грамматика» (СПб. 1834 г.), выдержавшая около 20 изданий. 87, 303.
- Иван Васильевич* — см. Писарев И. В. 117, 290, 299.
- Иван Григорьевич* — см. Терсинский И. Г. 286.
- Иван Фотиевич* — см. Чернышевский И. Ф. (см. дневник и письма).
- Иван Яковлевич* — см. Горлов И. Я. (см. дневник и письма).
- Искандер* — см. Герцен А. И. 234.
- Иван Калита* (1304—1341), великий князь Московский (с 1328 г.). 54.
- Кантемир Антиох Дмитриевич* (1708—1744) — первый русский сатирик. 35.
- Карл X* (1757—1836) — младший брат Людовика XVI. При Людовике XVIII он был вождем крайних роялистов; наследовав ему, реакционной политикой вызвал Июльскую революцию, во время которой был свергнут. 108, 293.
- Катков Михаил Никифорович* (1818—1887) — публицист, защитник дворянско-монархической реакции, один из активнейших врагов революционного движения. В студенческие годы был близок с Белинским, Герценом и Бакуниным; с 1863 г. стал ярким защитником самодержавия. После 1 марта имел руководящее влияние на черносотенную политику Александра III. 58.
- Кайданов Иван Кузьмич* (ум. в 1843 г.) — автор бесталанных монархических учебников по истории. 35.
- Кант Иммануил* (1724—1804) — знаменитый немецкий философ, основоположник классического немецкого идеализма. 38, 260, 268, 269, 270, 273, 285.
- Карамзин Николай Михайлович* (1765—1826) — знаменитый историк и писатель. 64, 115.
- Касторский Михаил Иванович* (1809—1866) — профессор всеобщей истории. 219, 220, 222, 294.
- Классовский Владимир Игнатьевич* (1815—1877) — педагог и писатель, был учителем русского и латинского языков. 48, 53, 87.
- Катерина Матвеевна* — см. Патриксеева К. М. (см. дневники и письма).
- Кипарисов* — саратовский семинарист (см. дневник и письма).
- Кирилл Михайлович* — см. Колумбов К. М. (см. дневник и письма).
- Костырь Николай Трофимович* (1818—1853) — филолог-лингвист. 53.
- Коши Огюстен Луи* (1789—1857) — известный французский математик. Проложил множество новых путей в науке; написал свыше 700 работ. 49.
- Кобылин Николай Михайлович* — председатель Саратовской казенной палаты (см. дневник).

- Кожевников Матвей Львович* — саратовский губернатор. 208.
- Колеров Василий Степанович* — синодский чиновник, родом из Саратова. 296.
- Колумбов Кирилл Михайлович* — прокурор Московской губернской гражданской палаты. 294.
- Корелкин Николай Павлович* — студент, однокурсник Чернышевского. 291, 294, 295, 296, 298, 299.
- Костомаров Николай Иванович* (1817—1885) — историк, автор ряда крупных работ по русской истории, профессор Киевского, потом Петербургского университетов. 221, 234.
- Кузен Виктор* (1792—1867) — французский философ. 53.
- Кулиш Пантелеймон Александрович* (1819—1897) — украинский писатель, поэт, драматург, критик, историк, этнограф, публицист и переводчик. Кулиш сыграл большую роль в литературной жизни Украины в 60-х годах. 299.
- Куторга Михаил Семенович* (1809—1886) — профессор всеобщей истории, видный ученый, к которому Чернышевский относился с большим уважением. 217, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 295, 296, 297, 303.
- Куторга Степан Семенович* — зоолог, брат историка. 217, 219, 296.
- Кавеньяк Эжен* (1802—1857) — французский генерал, республиканец (см. дневник).
- Коррель Арман* (1800—1836) — публицист и политический деятель, видный участник революции 1830 года (см. дневник).
- Консидеран Виктор* (1805—1893) — последователь Фурье (см. дневник).
- Корн* — генеральный прокурор, возбудивший судебное преследование против Луи Блана, Коссидьера и Альбера (см. дневник и письма).
- Коссидьер* — левый республиканец; после Февральской революции 1848 года был префектом полиции Парижа. 287—289.
- Купер Фенимор* (1789—1851) — известный американский писатель, автор «Следопыта» и многих других этнографических романов. 59, 75—90.
- Коперник Николай* (1473—1543) — гениальный астроном. 262.
- Крылов Иван Андреевич* (1768—1844) — баснописец и драматург. Кроме басен Крылов написал несколько комедий («Модная лавка», «Урок дочкам» и др.). 63.
- Краевский Андрей Александрович* (1810—1899) — издатель журнала «Отечественные Записки». 232, 288.
- Котляревская Любовь Николаевна* — см. Терсинская Л. Н. 258
- Куторга* — студент, однокурсник Чернышевского. 219, 265.
- Лаланд Жозеф* (1732—1807) — французский астроном, директор Парижской обсерватории. 49, 273.
- Лаплас Пьер Симон* (1749—1827) — крупный французский математик, астроном и физик. Лаплас, создатель гипотезы о возникновении планетных систем из туманностей. 248, 257, 258, 262, 269, 273, 280, 281.
- Левецкий Михаил* — саратовский семинарист из разночинцев, товарищ Чернышевского по семинарии. 153.
- Лейбниц Готфрид-Вильгельм* (1646—1716) — немецкий философ-идеалист, математик, крупнейший ученый своего времени. Лейбниц независимо от Ньютона открыл основы дифференциального и интегрального исчисления. 262, 243.
- Лермонтов Михаил Юрьевич* (1814—1841) — гениальный русский поэт. 88, 89, 141, 257, 286, 288, 295, 304.
- Лессинг Готтольд-Эфраим* (1729—1781) — крупнейший немецкий просветитель, идеолог растущей буржуазии, зовущий свой класс к борьбе со старыми феодальными отношениями. 97, 101, 103, 104.
- Либих Юстус* (1803—1873) — знаменитый немецкий химик, один из создателей современной химии, творец агрономической химии. 296.
- Лоренц Фридрих Карлович* (род. в 1803 г.) — историк. Был в Санкт-Петербурге профессором Главного Педагогического института по кафедре всеобщей истории. 62, 63, 74.
- Людовик XIV* (1643—1715) — французский король, самый яркий представитель абсолютизма (ему принадлежит изречение — «Государство — это я»). 284—303.
- Людовик XV* (1715—1774) — французский король; при нем началось разложение французского абсолютизма (см. дневник и письма).
- Людовик XVIII* — 108.
- Лободовский Василий Петрович* — не окончивший курса студент, несколько

кими годами старше Чернышевского, имевший на него сильное влияние самостоятельностью и резкостью своих суждений и получавший от него материальную поддержку. 291, 295.

Любинька — см. Терсинская Л. Н. 258, 286.

Лыткин — студент, однокурсник Чернышевского. 294, 299.

Ламартин Альфонс (1790—1864) — французский поэт, историк и политический деятель; умеренный республиканец. 287.

Ламенне (1782—1854) — аббат-публицист, нападавший на монархию, церковь и существующий социальный строй и черпавший свои идеалы в первобытном христианстве. 298.

Ленц Эмилий Христианович (1804—1864) — профессор физики; ему Чернышевский подавал свой проект машины вечного движения. 215, 221, 223.

Лагранж (1736—1813) — знаменитый математик. 262, 266, 269, 271.

Лютер Мартин (1483—1546) — наиболее крупный церковный реформатор в Германии. 103, 104.

Лавровский Николай Алексеевич (род. в 1827 г.) — доктор русской словесности. 53, 54, 55.

Лобачевский Николай Иванович (1793—1856) — знаменитый математик, профессор Казанского университета и помощник попечителя Казанского учебного округа. 218, 272, 273.

Леру Пьер (1797—1871) — французский социалист мистического направления, бичевавший плутократию. 288.

Ламарк Жан Батист (1744—1829) — знаменитый французский натуралист. Гениальный предшественник Дарвина и создатель оригинальной теории эволюционного процесса. 257, 258.

Марлинский (1797—1837) — псевдоним Александра Александровича Бестужева, писателя-декабриста. После подавления восстания декабристов был заключен в Петропавловскую крепость, а затем сослан в Сибирь. В 1829 г. переведен рядовым на Кавказ, где был убит в бою с черкесами. 64.

Масальский К. П. (1802—1861) — посредственный романист, умевший, однако, заинтересовать читателя занятной интригой. Даже Белинский, строго относившийся к произведениям Масальского, отмечал в положительном смысле форму изложения его сочинений. 63, 64, 65, 66, 67, 68.

Меланхтон Филипп (1497—1560) — немецкий «гуманист», один из виднейших участников реформации, ближайший сотрудник Лютера; занимал реакционную позицию в отношении к Крестьянской войне 1525 г. Составитель многочисленных учебников, выдающийся лектор, автор первого школьного устава времен Реформации. Меланхтон сыграл крупную роль в истории германской средней школы. 103, 254.

Миклошич Франц (1813—1891) — филолог-лингвист, славист, родом словенец, профессор Венского университета. Автор капитальных трудов по изучению славянских языков. 53.

Милль Джон Стюарт (1806—1873) — английский экономист, эпигон классической школы, философ-позитивист, автор «Оснований политической экономии». Русский перевод «Оснований...» Милля был сделан Н. Г. Чернышевским, который снабдил их своими толкованиями и замечаниями. 39—48, 205—215.

Маколей Томас Бабингтон (1800—1859) — английский историк, выразитель интересов промышленной буржуазии и партии вигов. 144.

Молоствов — попечитель Казанского учебного округа. 208.

Мордовцев Даниил Лукич (1830—1904) — известный писатель и историк, одно время жил в Саратове; приятель Н. И. Костомарова, которого вывел в своей повести «Профессор Ратмиров», где фигурируют также Чернышевский и его невеста О. С. Васильева (см. дневник и письма).

Мусин-Пушкин — попечитель Петербургского учебного округа. 225, 228.

Мальтус, Томас Роберт (1766—1834) — английский экономист. 304—308.

Милютин Владимир Алексеевич (1826—1855) — адъюнкт-профессор Петербургского университета, автор статей: «Пролетарии и пауперизм» и др. (см. дневник и письма).

Михайлов Михаил Ларионович (1829—1867) — товарищ Чернышевского по университету. Скончался в ссылке. 286, 289, 291.

Мирный — помещик, в доме которого В. П. Лободовский имел урок (см. дневник и письма).

Мишле (или Михелет) Карл Людвиг (1801—1893) — берлинский профессор.

Наливкин Федор Никитич (ум. в 1868 г.) — московский адвокат, автор детских книг и мемуаров, а также «Юридической библиотеки» («Опыт руководства к познанию законов», М. 1840—1844) и «Руководства к сочинению писем и деловых бумаг». М. 1856—1858. 35.

Ньютон Исаак (1643—1727) — великий английский математик и физик. 248, 260, 262 (см. дневник и письма).

Надежда Егоровна — жена Лободовского В. П. (см. дневник и письма).

Надеждин — студент-медик, саратовец (см. дневник и письма).

Нат — финляндец, которого Чернышевский готовил к экзамену. 214.

Неволин Константин Алексеевич (1806—1855) — профессор правоведения, видный ученый. 219, 220, 221, 223, 224.

Найлисов — студент, однокурсник Чернышевского. 284.

Никитенко Александр Васильевич (1805—1877) — профессор русской словесности. 219, 220, 222, 223, 224, 228, 287, 294, 295, 297, 300, 301, 303, 304.

Николай Дмитриевич — см. Пыпин Николай Дмитриевич.

Николай Иванович — см. Костомаров Н. И.

Николай Михайлович — см. Кобылин Н. М.

Некрасов Н. А. (1821—1877) великий русский поэт «певец народного горя» (см. дневник и письма).

Нестор (1056—1114) — летописец, монах Киево-Печорского монастыря. 304.

Норов Авраам Сергеевич (1795—1869) — в 1850 г. был назначен товарищем министра народного просвещения, в 1854 г. — министром. На его книгу Чернышевский написал рецензию, напечатанную в 1855 г. в «Отечественных Записках», 228, 231.

Одоевский — в данном случае речь идет о князе Владимире Федоровиче (1803—1869), а не о поэте-декабристе Александре Ивановиче.

В. Ф. Одоевский — известный в свое время писатель, пропагандист идеалистической системы Шеллинга. 64.

Охотин А. — педагог, современник Чернышевского, автор весьма слабых учебников по языку и литературе. 34, 35.

Олимп Яковлевич — см. Рождественский О. Я. (см. дневник и письма).

Ольга Яковлевна — свояченица В. П. Лободовского (см. дневник и письма).

Ольга Сократовна — см. Васильева О. С. (см. Чернышевская О. С., стр. 332 настоящей книги).

Павский Герасим Петрович (1784—1863) — выдающийся филолог-гебраист. Наиболее крупная его работа — «Филологические наблюдения над составом русского языка», доставившая ему Демидовскую премию от Академии наук. Груд был встречен положительным отзывом Белинского. 58.

Паскаль Блез (1623—1662) — французский математик, физик и философ. 244.

Песталоцци Иоганн-Генрих (1746—1827) — знаменитый педагог-теоретик и практик, являющийся, по своей идеологии, мелкобуржуазным демократом, интеллигентом-народником. В своих работах Песталоцци высказал ряд весьма ценных положений о гармоническом развитии ребенка. 165.

Петр I (1672—1725) — последний московский царь и первый всероссийский император. 57, 58, 65, 69, 70, 95, 116, 293.

Пирогов Николай Иванович (1810—1881) — известный профессор-хирург, педагог, деятель в области народного образования. 81, 83, 86.

Плещеев Алексей Николаевич (1825—1893) — поэт.

Погодин Михаил Петрович (1800—1875) — русский историк, публицист, сын крепостного; профессор Московского университета. Философия историка Погодина частично изложена им в произведении «Исторические афоризмы» — грубой попытке приложить философию Шеллинга к русской истории (см. дневник и письма).

Потт Август-Фридрих (1802—1827) — филолог-лингвист. 53.

Палимпсестов Иван Устинович — преподаватель саратовской семинарии (см. дневник и письма).

Палимпсестов Федор Устинович — учитель саратовской гимназии (см. дневник и письма).

- Патрикеева Екатерина Матвеевна — подруга О. С. Васильевой (см. дневник и письма).
- Пелагея Васильевна — теща В. П. Лободовского (см. дневник и письма).
- Пелопидов — студент-медик, саратовец (см. дневник и письма).
- Перевлесский Петр Миронович (ум. в 1866 г.) — автор ряда руководств по грамматике русского языка, 53.
- Петр Федорович — см. Раев П. Ф. (см. дневник и письма).
- Писарев Иван Васильевич — петербургский чиновник, знакомый Чернышевского по Саратову (см. дневник и письма).
- Пластов — студент-медик, товарищ Чернышевского по семинарии (см. дневник).
- Плетнев — Петр Александрович (1799—1862) — профессор, ректор Петербургского университета с 1840 по 1861 г. 223, 224, 225, 228.
- Протасов Николай Александрович (1799—1855) — обер-прокурор Синода в 1816 г. Несколько раз временно управлял министерством народного просвещения. 224, 225.
- Павлов Николай Филиппович (1805—1864) — писатель, 64.
- Промптов — товарищ Чернышевского по семинарии (см. дневник).
- Прудон Пьер Жозеф (1800—1864) — публицист и политический деятель. 230, 286, 294, 297, 298.
- Приап — по греческой мифологии бог садов и полей. Впоследствии — бог сладострастия и чувственных наслаждений, 29.
- Присниц (1790—1851) — основатель современной гидротерапии, 49.
- Протагор (вторая половина V века до н. э.) — знаменитый софист. Пользовался популярностью среди греческого юношества, которое училось у него умению «мыслить и говорить». Протагор решительно высказывался против возможности какого-либо знания о богах. За «безбожие» Протагор был изгнан из Афин, 204—208.
- Пурсон (род. в 1781 г.) — известный французский физик и математик, 49.
- Пифагор (VI в. до н. э.) — знаменитый математик и философ, 262.
- Пыпин Николай Дмитриевич — отец А. Н. Пыпина (см. дневник и письма).
- Пыпина Александра Егоровна, по первому браку Котляревская, — тетка Чернышевского с материнской стороны, мать «Любиньки», жены И. Г. Терсинского, 258.
- Пыпин Сережа — брат А. Н. Пыпина, саратовский гимназист, 193—195, 258.
- Поль-де-Кок (1794—1871) — французский мелкобуржуазный писатель, 137.
- Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — величайший русский поэт, 35, 56, 58, 64, 68, 88, 95, 120, 141, 213, 215, 257, 288, 289, 303.
- Пыпин Александр Николаевич (1833—1904) — двоюродный брат Чернышевского. Видный ученый, автор «Истории русской литературы». В течение долгих лет ссылки Чернышевского содержал его семью, 225, 226, 228, 237, 258.
- Пшеленский — студент, однокурсник Чернышевского, 294.
- Раев Александр Федорович — дальний родственник Чернышевского, 290.
- Раев Петр Федорович — брат А. Ф. Раева (см. дневник).
- Раев Федор Иванович — отец А. Ф. Раева (см. дневник).
- Райковский Андрей Иванович — профессор богословия, протоиерей, 215, 220, 222.
- Репинский Кузьма Григорьевич — товарищ Гавриила Ивановича Чернышевского по пензенской семинарии, 214.
- Репинский — студент, сын К. Г. Репинского, 214.
- Рождественский Олимп Яковлевич — петербургский чиновник из саратовцев (см. дневник).
- Распайль Франсуа (1794—1878) — натуралист и политический деятель, революционный демократ с социалистическими симпатиями (см. дневник и письма).
- Роллен Шарль (1661—1741) — известный французский историк и педагог (см. дневник и письма).
- Ростовцев Яков Иванович (1803—1860) — управляющий военно-учебными заведениями, видный деятель Крестьянской реформы, 224, 225.
- Руссо Жан-Жак (1712—1778) — французский писатель и мыслитель (см. дневник и письма).

- Саблуков Гордей Семенович* (1804—1880) — преподаватель саратовской семинарии, потом Казанской Духовной академии (см. дневник и письма).
- Самбский Николай Самойлович* — свояк В. П. Лободовского. 291—295.
- Скотт Вальтер* (1771—1831) — крупный английский писатель. 195.
- Скюдери Мадлена* (1607—1701) — французская писательница. 144.
- Стоу Гарриет Бичер* (1811—1896) — известная американская писательница. В своей книге «Хижина дяди Тома» (1851—1852), Стоу дала яркую картину тяжелого положения негров. Рабство негров разоблачается ею с позиций буржуазного филантропизма. 144.
- Стоюнин Владимир Яковлевич* (1826—1888) — известный в свое время педагог. 55, 56, 58.
- Соколов* — студент, однокурсник Чернышевского. 230, 294.
- Соколов Михаил Павлович* — знакомый И. Г. Терсинского. 219, 222.
- Ступины* — помещичья семья Саратовской губернии. Дочери Ступиных были приятельницами Л. Н. Котляревской-Терсинской. 258, 296, 301.
- Смарагдов Сергей Николаевич* (ум. в 1871 г.) — преподаватель истории и географии в разных петербургских учебных заведениях. Составил «Руководство к познанию древней истории для средних учебных заведений» и др. 35.
- Срезневский Измаил Иванович* (1812—1880) — профессор университета, видный славист. Чернышевский очень усердно занимался у Срезневского и по его предложению составил «Словарь к Ипатьевской летописи» (см. Полное собр. соч., т. X, стр. 21—83). Впоследствии Чернышевский иронизировал над собой за беспцельную трату времени на подобные занятия. См. письмо к сыновьям от 21 апреля 1877 года. 58, 222, 224, 229, 287, 293, 295, 296, 299, 303.
- Стасюлевиц Михаил Матвеевич* (1826—1911) — историк-публицист. До 1861 г. — профессор всеобщей истории в Петербургском университете. 73, 74, 151.
- Степанов Александр Петрович* (1781—1837) — писатель. 137.
- Сальванди* (1795—1856) — историк и политический деятель. 218.
- Сент-Олер* (1778—1854) — французский историк (см. дневник и письма).
- Сисмонди Симонд* (1773—1842) — экономист и историк (см. дневник и письма).
- Сенковский Осип Иванович* (1800—1858) — журналист (см. дневник и письма).
- Соколов Иван Яковлевич* — адъюнкт по кафедре греческой словесности. 218, 220, 222.
- Толстой Лев Николаевич* (1828—1910) — один из величайших писателей русской и мировой литературы. 87, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 154, 155, 156, 157, 160.
- Тредьяковский Василий Кириллович* (1703—1769) — поэт и переводчик. 35.
- Тургенев Иван Сергеевич* (1818—1883) — один из крупнейших русских писателей. 65, 67, 88, 108.
- Терещенко Александр Васильевич* (1806—1865) — этнограф и археолог. 217, 293.
- Терсинский Иван Григорьевич* — синодский чиновник, муж двоюродной сестры Чернышевского, Л. Н. Котляревской. На его имя Чернышевский посылал все свои письма родным из сибирской ссылки. 258, 296, 301.
- Терсинская Любовь Николаевна* (урожденная Котляревская) — двоюродная сестра Чернышевского, умерла вскоре после выхода замуж. 258, 286, 296, 301.
- Тушев* — студент, однокурсник Чернышевского. 218, 220.
- Тушар-Лафосс* (1780—1847) — автор «Les observations niques de l'œil de Bœuf» представляющих якобы мемуары придворной дамы, вдовствующей графини Б. (см. дневник и письма).
- Тьер Альфонс* (1797—1877) — палач Парижской Коммуны; его многотомная «История Консульства и Империи» начала выходить в 1844 г. (см. дневник и письма).
- Уваров Сергей Семенович* (1786—1855) — министр народного просвещения. Поборник «православия, самодержавия и народности». 215, 224, 288.
- Устрялов Николай Герасимович* — профессор русской истории, автор «Русской истории» 161, 217, 219, 220, 223, 224, 303.
- Фатер Фридрих* (ум. в 50-х годах XIX столетия), филолог-лингвист. 53.

Фарадей Михаил (1791—1868) — гениальный английский физик. Сын кузнеца, получил только начальное школьное образование, но неустанно работая над саморазвитием, стал величайшим ученым. Фарадеевы силовые линии — магнитные и электрические силовые линии. Фарадеево темное пространство — несветящееся пространство в разрядной трубке при прохождении электрического тока. 54.

Фейербах Людвиг (1804—1872) — немецкий философ-материалист, ученик Гегеля, примкнувший к левогегельянцам. 273, 304.

Фудрас (1810—1872) — французский писатель. 144.

Фурье Шарль (1772—1837) — великий утопист. 301.

Федор Иванович — см. Раев Ф. И. (см. дневник и письма).

Фишер Адам Андреевич (1799—1861) — профессор философии. 217, 219, 220, 222, 226.

Форелев — знакомый семьи Васильевых, женившийся на П. И. Рычковой. двоюродной сестре Ольги Сократовны (см. дневник).

Фрейтаг Федор Карлович (1800—1859) — профессор римской словесности. 216, 217, 221, 223, 224, 294, 295, 296, 297, 298.

Херасков Михаил Матвеевич (1733—1807) — писатель. 34.

Ханыков Александр Владимирович (1823—1853) — дворянин, вольнослушатель Петербургского университета, член кружка Петрашевского. 300, 301.

Чернышевская Ольга Сократовна (1833—1918) — ур. Васильева — жена Н. Г. Чернышевского, дочь саратовского врача. 237, 241, 247, 249, 250, 252, 253, 256, 273, 278, 279, 301.

Чистяков Михаил Борисович (1809—1865) — педагог-писатель. Учился в Московском университете вместе с Белинским и Герценом. 34.

Чорниг — австрийский статистик и этнограф. 128, 129, 130.

Чернышевский Александр Николаевич (1854—1915) — сын Н. Г. Чернышевского, математик. 237, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 252, 255, 256, 257, 279, 282.

Чернышевский Михаил Николаевич (1858—1924) — сын Н. Г. Чернышевского, железнодорожный служащий, библиограф и издатель; с 1918 г. — организатор Дома-музея Н. Г. Чернышевского в Саратове. 239, 240, 242, 243, 244, 247, 249, 250, 255, 256, 257, 279, 282, 283.

Шевырев Степан Петрович (1806—1864) — историк литературы, критик и поэт. Был профессором русской словесности Московского университета (см. дневник и письма).

Шекспир Вильям — великий английский поэт и драматург конца XVI — начала XVII века. 141, 142.

Шиллер Фридрих (1759—1805) — один из крупнейших немецких поэтов и драматургов. 135, 136, 140.

Шпилевский Павел Михайлович (1827—1861) — писатель. 61.

Шлиттер Эдуард Егорович (1800—1848) — адъюнкт по кафедре римской словесности. 216, 218, 222.

Шатобриан Франсуа (1768—1848) — писатель и политический деятель, поборник христианства и монархии. 248—254.

Шлоссер Фридрих-Христоф (1776—1861) — знаменитый немецкий историк. 73.

Штраус Давид-Фридрих (1808—1874) — левый гегельянец, крупный ученый; его «Жизнь Иисуса» вышла в 1835 г. 238.

Штейнман Иван Богданович (1820) — адъюнкт-профессор греческой словесности Петербургского университета. 214, 223, 224.

Ширинский-Шихматов Платон Александрович (1790—1853) — товарищ министра, потом министр народного просвещения. 224.

Шафранов Петр Александрович (ум. в 1859 г.) историк. 53.

Щедрин — 116.

Эйлер (1707—1783) — знаменитый математик. 145, 262, 265, 271.

Эвклид (IV век до н. э.) — знаменитый геометр. 262, 265, 266, 269.

Ярослав I Владимирович (Ярослав Мудрый) (978—1054) — великий князь Киевский (с 1019 г.). 54.



ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ, УПОМИНАЕМЫЕ В ВЫСКАЗЫВАНИЯХ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО.

«Современник» — общественно-политический журнал, издававшийся в середине прошлого столетия. Руководили журналом Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов с группой лучших литературных сил того времени. Журнал являлся трибуной революционной пропаганды. При журнале выходило (с 1859 по 1865 г.) сатирическое приложение под названием «Свисток».

«Москвитянин» — двухнедельный журнал, издавался М. П. Погодиным (с 1841 по 1856 год) в Москве. В журнале работали К. С. и И. С. Аксаковы, Аполлон Григорьев, И. В. Киреевский, А. Н. Островский, Т. И. Филиппов, А. С. Хомяков, С. П. Шевырев и др.

«Московский Вестник» — двухнедельный журнал, издавался М. П. Погодиным с 1827 по 1830 год.

«Атеней» — ежемесячный литературно-критический журнал.

«Русская Беседа» — ежемесячный журнал, орган славянофилов, издавался в Москве в 1856—1860 гг. под редакцией Т. Филиппова и А. Кошелева.

«Русское Слово» — ежемесячный журнал, издавался в Петербурге в 1859—1866 гг.

«Московские Ведомости» — реакционная газета, основана в 1756 г. С 1855 по 1860 год и с 1863 по 1887 год ее редактировал Катков — крайний консерватор. С 1905 года газета является официальным органом монархистов.

«Русский Вестник» — журнал; основан Катковым в 1856 году в Москве. Вначале — умеренно-либерального тона, позже — реакционно-монархического направления. В нем печатались некоторые произведения И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого и др.

«Московский Вестник» — газета консервативного направления, издавалась в 1859—1861 гг.

«Отечественные Записки» — ежемесячный литературно-публицистический журнал, издавался А. Краевским в Петербурге с 1839 года.

Ближайшим сотрудником Краевского до 1847 г. был В. Г. Белинский. В 1850—1860 гг. — журнал умеренных либералов, враждебно настроенный по отношению к «Современнику», в 1868 г. — легальный орган революционного народничества. Издавался под редакцией Некрасова и Салтыкова-Щедрина. В 1884 г. был запрещен правительством.

«Всякая всячина» — первый в России сатирический журнал (1769). Сатира направлялась, главным образом, против отрицательных бытовых явлений: взяточничества, невежества, галломании, а также против жестокостей и злоупотреблений крепостного права.

«Живописец» (1772—1773) — радикальный еженедельный сатирический журнал, издававшийся в Петербурге и редактировавшийся Н. И. Новиковым. В журнале сотрудничал Радищев.

«Журнал для воспитания» — руководство для родителей и преподавателей. С 1860 г. выходил под названием «Воспитание».

«Журнал для детей» — еженедельный иллюстрированный журнал (1851—1866 гг.).

«Звездочка» — журнал для детей, посвященный аристократическим воспитанницам институтов. Издавался Александрой Ишимовой в Петербурге с 1841 года.

«Земледельческая Газета» — издание министерства земледелия и государственных имуществ. Выходила с 1834 г. в Петербурге.

«*Лучи*» — журнал для девиц. Издавался в Петербурге Александрой Ишимовой с 1850 года.

«*Молва*» — московская еженедельная газета славянофильского направления. Издавалась в 1857 г. С. Шпилевским.

«*Морской Сборник*» — ежемесячный журнал морского министерства. Основан в 1848 г.

«*Отечественные Записки*» — петербургский литературный журнал (1839—1884). Выходил ежемесячно. Редакторами-издателями были: с 1839 по 1868 г. — Краевский, с 1868 — Салтыков-Щедрин, Елисеев и Некрасов, а после смерти Некрасова — Михайловский.

«*Русский Дневник*» — петербургская ежедневная офицерская газета (1859). Редактор — Т. И. Мельников-Печерский.

«*Русский Педагогический Вестник*» — петербургский ежемесячный журнал (1857—1861). Журнал проводил идеи Пирогова. В 1861 г. в виде приложения к журналу давалась и библиотека для детского чтения.

«*Санкт-Петербургские Ведомости*» (1702—1917). Старейшая газета — официальный орган правительства. С 1728 г. — орган Академии наук, с 1875 г. — орган министерства народного просвещения.

«*Северная Пчела*» — консервативная «политическая и литературная» газета официального характера. Основана в 1825 г. Ф. Булгариным и Н. Гречем. Газета была связана с III Отделением.

«*Собеседник Любителей Российского Слова*» — петербургский ежемесячный журнал, содержащий разные сочинения в стихах и прозе (1783—1784 гг.). Непосредственно руководили журналом Екатерина II и Е. Р. Дашкова, официальный редактор — Козодашев.

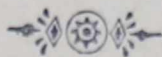
«*Сын Отечества*» — умеренно-либеральный журнал (1856—1861 гг.); издатель А. В. Старчевский, выходил еженедельно.

«*Трутень*» — сатирический журнал (1769—1770 гг.), издавался и редактировался Н. И. Новиковым. Сатира «Трутня» направлялась против бытовых уродств; статьи, направленные против крепостного права, вызвали естественное недовольство крепостников, что и послужило основанием к скорому закрытию журнала.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ
О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО.

- Медынский Е. И.*, История русской педагогики, изд. 2-е, доп. и испр., М. 1938.
Н. Г. Чернышевский, стр. 225—238.
- Медынский Е. И.*, Педагогические идеи Н. Г. Чернышевского. (К 100-летию со дня рождения.) „Народное Просвещение“ № 11, 1928, стр. 15—19.
- Чернов С.*, Николай Гаврилович Чернышевский — учитель саратовской гимназии. „Сборник Саратовского Нижне-Волжского областного научного Общества краеведения“, 1926, стр. 170—196.
- Беркова К. Н.*, Н. Г. Чернышевский, биографический очерк, изд. „Московский Рабочий“, М. 1925, 280 стр.
- Воронов В.*, Саратовская гимназия. „Русская Старина“ № 8, 1909, стр. 331—356.
- В-в В.*, Н. Г. Чернышевский как педагог, „Русские Ведомости“ № 294/26, 1909.
- Комаров И.*, Практика и теория воспитания у Н. Г. Чернышевского. „Школа и Жизнь“ № 10, 1928, стр. 6—10.
- Ляцкий Е.*, Н. Г. Чернышевский — учитель. „Современник“ № 6, 1912, стр. 343—368.
- Никольский В. Д.*, Педагогические высказывания Н. Г. Чернышевского. Учпедгиз, М.—Л. 1932, 128 стр.
- Студенцов А.*, Педагогические заветы Н. Г. Чернышевского. „Вестник воспитания“ № 9, 1912.
- Стеклов Ю. М.*, Н. Г. Чернышевский. Госиздат, М.—Л. 1928.
- Студенцов А.*, Чернышевский о самообразовании. К столетию со дня рождения (1828—1928), Пенза, 1928, 18 стр.
- Михайловский Н. К.*, О Чернышевском и его семинарском образовании (см. Н. К. Михайловский, Соч., изд. „Русское Богатство“, СПб, 1897, т. VI, стр. 860—866).
- Бродская Н.*, Н. Г. Чернышевский и читатели 60-х годов. „Вестник воспитания“ № 9, 1914, стр. 155—179.
- Эвальд А. В.*, Воспоминания, „Исторический Вестник“ № 12, 1895, т. 62, стр. 723—734.
- Ц-кая Е.*, Что мешает женщине быть самостоятельной, „Библиотека для чтения“ № 3, 1863, стр. 1—19.



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

- Английский университет** — 222.
Английский язык — 239.
Астрономия — 243, 256, 260.
Афинская академия — 195—202.
- Безнравственность (характеристика)** — 30, 32, 132, 134—135.
Библиотека — 214, 219, 220, 298.
Библиотека для чтения — 288.
Богословие — 103.
Быт семинаристов — 152—154.
Быт студентов — 152—154, 214—215, 224, 225.
- Возраст при учении** — 238.
Волнения студенческие — 168—177.
Воскресные школы — 164—165, 170.
Воскресные школы — преподавание в них — 165.
Воспитание — 302.
Воспитанник — 75—76, 82, 99, 136, 192, 193—194.
Воспитатель-учитель — 49, 75—76, 78—80, 82, 86, 134, 192, 193—194.
Воспитание детей — 134—136, 138—141, 143, 277, 302.
Воспитание детей домашнее — 55, 75, 259, 277—278.
Воспитание детей — задачи воспитателя — 74—79, 82, 106—108, 144—145, 149, 192—195.
Воспитание. Взгляды Бема и Даля на воспитание — 75—80.
Воспитание. Взгляды Пирогова на воспитание — 82—86.
Воспитание детей — задачи учителя — 49, 75—76, 81—82, 134, 192—195.
Воспитание искусственное — 146.
Воспитание. Критика воспитания — 75—76, 79—80, 81—84, 108, 132, 143—146, 149, 191—194.
Воспитание научное — 149.
Воспитание нравственности — 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143—144, 149, 182, 190, 218.
Воспитание общее — 86.
Воспитание реально-специальное — 86.
- Воспитание в семинарии** — 152, 153, 154.
Воспитание самостоятельности и изобретательности детей — 78, 79, 138—139.
Воспитание светское — 128.
Воспитание специальное — 144, 145, 146.
Воспитание таланта — 92, 106.
Воспитание физически больных — 183.
Воспитание характера — 194.
Воспитание цели — 259, 302.
Всеобщее избирательное право — 132.
Выбор специальности — 237, 238, 246.
Выбор факультета — 237, 238.
Высшее образование в России — 120, 125, 126.
Высшие школы — 261—262.
- География** — 36, 40, 41.
Геометрия — 48, 265, 266, 273.
Гимназия — 99, 240, 241, 247, 248, 250, 251, 254, 255, 282, 283, 284.
Гимнастическое заведение — 239.
Гимнастика — 239.
Грамматика — 48, 53, 55, 56, 58, 60, 87, 147.
Греческий язык — 99, 254.
- Диплом** — 246, 247, 248, 252, 293, 294.
Диссертация — 223, 227, 228, 229.
Диссертация на степень кандидата — 244, 245, 247, 249, 252.
Диссертация докторская — 247.
Диспут (лекционный) — 152, 227, 228.
Дети и общественные отношения — 95.
Детская книга.
Какие книги давать читать детям — 29, 33, 41, 46—48, 132, 133, 143, 144.
Критика запрещения чтения книг детьми — 29—33, 133.
Роль книги в воспитании — 29, 33, 35, 41—42, 61, 132, 143, 144.
Руководство детским чтением —

- 29, 30, 31, 32, 41, 61, 132, 143, 144.
 Фантазия для детских книг — 132, 133, 134.
- Деятель просвещения — 70, 71, 75, 76.
- Докторский экзамен — 231.
- Домашнее воспитание — 258, 259, 260, 277, 278.
- Домашнее занятие — 103, 104, 239.
- Древнерусские училища — 54.
- Еврейский язык — 100.
- Естествознание — 273.
- Женщина и ее положение — 29, 30, 32, 33, 39.
- Женщина и общественные отношения — 273, 274, 277, 278.
- Задания школы Л. Н. Толстого — 155.
- Законоведение — 97, 98.
- Занятия в библиотеке — 218, 219.
- Запрещение публичных лекций — 174, 175, 176, 177, 178, 179.
- Издание.
- Издание газет за границей — 120, 121, 129, 130.
- Издание газет в России — 120.
- Издание журналов за границей — 129, 130.
- Издание литературы — 129, 130.
- Издание учебников за границей — 129, 130.
- Изобретатели — 219.
- Инженер (звание) — 245, 246.
- История — 50, 57, 69, 71, 72, 97, 98, 100, 113, 151, 180, 239, 240, 241, 244, 252, 257, 258, 279, 280, 288, 292.
- История литературы — 29, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 48, 49, 57, 98, 106, 283, 284.
- История просвещения — 158.
- Итальянский язык — 99.
- Кандидатская степень — 221.
- Кафедра — 102.
- Классовые понятия и обычаи — 188, 190, 191, 193.
- Книги для „простонародного“ чтения — 165.
- Книга (критика) — 281, 282.
- „Коллегиумы“ — 254.
- Коммерческие училища — 162, 163.
- Коммунист — 297.
- Критика воспитания — 302, 303.
- Критика учебника — 34, 35, 36, 41, 48, 55, 56, 58, 60, 74, 87, 218, 267.
- Критика педагогических взглядов Л. Н. Толстого — 154—168.
- Курсы — 76, 77.
- Курсы теологии — 103.
- Латинский язык — 99, 250, 251, 254.
- Латинская стилистика — 101.
- Либерализм и просвещение — 108, 109.
- Лекции педагогические — 287.
- Лекции пробные — 231.
- Лекции — 100, 101, 102, 103, 104, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 245, 287, 291, 294, 296.
- Лекции — расписание — 100, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 294.
- Литература и история литературы — 29, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 48, 49, 57, 98, 105—106.
- Литература художественная — 285, 288, 289, 290.
- Лицеи — 254.
- Логика — 112.
- Магистерская стипендия — 226.
- Магистерский экзамен — 226, 227, 228.
- Математика — 48, 59, 60, 99, 100, 101, 147, 151, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 256, 258, 260, 261, 262, 266, 270.
- Материально-бытовое положение студентов — 214, 215, 224, 225, 226.
- Материально-бытовые условия воспитания — 182, 183.
- Материальное положение школьника и обучение — 254, 255, 259.
- Материальное положение и просвещение — 131, 132, 137, 138, 148, 152, 153, 154, 158, 159, 172, 173, 188, 192, 203, 204, 205, 206, 207, 213, 242, 243, 291, 292, 293, 294, 297, 299.
- Медицина — 48.
- Метод обучения в Яснополянской школе — 161, 162.
- Мейсенская школа — расписание уроков — 100.
- Механика прикладная — 151.
- Министерство народного просвещения — 168, 169, 173, 174.
- Московский университет — 72, 179.
- Музыка — 99.
- Наглядность обучения технике — 246, 247.
- Надзиратели в школе — 99, 100.
- Направление читательских интересов — 229.
- Народный язык — 57.
- Народный характер (понятие) — 183, 184.
- Народные школы — 155.
- Народное образование — 157, 158, 159, 160.

- Наука — 48, 49, 97, 98, 104, 105, 106,
 127, 128, 130, 131, 149, 245, 248,
 249, 250, 283, 285, 286.
 Наука о человеке — 37, 38, 48.
 Наука и школа — 250.
 Наука и ее задачи — 69, 71, 72.
 Национальный патриотизм — 187, 188.
 Национальный быт — 187, 188, 189,
 190, 191, 193.
 Немецкий язык — 238, 239.
 Новые языки — 101.
 Нравственное воспитание — 134, 135,
 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143,
 218.
 Нравственность (характер) — 274, 275.
 Образование — высшее в России —
 120, 121, 125.
 Образование народное — 157, 158,
 159, 160.
 Образование и поведение человека —
 154.
 Образование техническое — 129.
 Образованность народа — 189, 190,
 191, 193.
 Общинное владение землей — 124,
 128.
 Орфография русская — 251, 252.
 Орфография французская — 251, 252.
 Отдых — 198, 199.
 Отношение родителей к детям — 248,
 249.
 Оценка знаний — 152.
 Оценка поэтов, писателей, филосо-
 фов в связи с ролью их произведе-
 ний и деятельности в воспитании
 и образовании.
 Аристотель — 69, 237.
 Архимед — 242, 262.
 Белинский — 221, 230, 299, 303.
 Бокаччио — 39.
 Бэкон Веруламский — 255.
 Бэкон Роджер — 255.
 Вальтер-Скотт — 31.
 Вебер — 180.
 Вергилий — 30, 69.
 Гегель — 53, 69, 239, 302, 304.
 Галилей — 262.
 Гёте — 132.
 Гоголь — 31, 88, 106, 120, 141,
 257, 288, 289, 295, 298, 304.
 Гомер — 50, 69, 283, 284.
 Гораций — 30.
 Грибоедов — 56.
 Декарт — 242.
 Державин — 303.
 Дидро — 273.
 Диккенс — 31.
 Добролюбов — 151—154.
 Жорж-Занд — 31, 281, 304.
 Жуковский — 56, 135.
 Кант — 260, 268, 270, 273, 285.
 Лаплас — 248, 257, 258, 262,
 269, 273, 280.
 Ламарк — 257, 258.
 Лермонтов — 88, 89, 141, 257,
 286, 288, 295, 304.
 Лейбниц — 262.
 Лессинг — 97—104.
 Луи-Блан — 287, 288, 289, 294.
 Ньютон — 248, 260, 262.
 Петр I — 69.
 Платон — 69, 287.
 Пифагор — 262.
 Поль-де-Кок — 31, 137.
 Прудон — 230, 286, 294.
 Пушкин — 35, 56, 58, 88, 120,
 141, 213, 257, 288, 299, 303.
 Рафаэль — 142.
 Толстой Л. Н. — 87—97.
 Тредьяковский — 35.
 Тургенев — 88, 120.
 Фет — 272.
 Фейербах — 273, 304.
 Шекспир — 141, 142.
 Шиллер — 135, 136, 140.
 Эвклид — 262.
 Память — 88, 89, 144, 145, 284.
 Пансионат — 78, 79, 99, 100.
 Патриотизм — 120.
 Педагогика — 193, 194.
 Педагогика задачи — 193, 194.
 Педагогические лекции — 287.
 Пересоздание общественных отноше-
 ний — 297.
 Первоначальные школы — 129, 130.
 Петербургский университет — 168,
 169, 171, 179, 248, 249.
 Плата за слушание лекций — 171, 172.
 Поверья и борьба с ними — 83, 84,
 112, 128.
 Подготовка к лекции (критика) —
 102, 103.
 Положение детей-подростков — 107.
 Положение учителей — 129.
 Популярные книги (составление) —
 237.
 Правописание — 39, 56.
 Правила университетские — 168, 169,
 171, 172, 173, 174, 175, 176.
 Предрассудки и просвещение — 301,
 302.
 Преподавание — 50, 56, 58, 75, 76,
 100, 101, 102, 129.
 Преподавание бухгалтерии — 162.
 Преподавание грамматики — 229.
 Преподавание на родном языке — 129.
 Преподавание в народной школе —
 160, 161.
 Преподавание истории — 161.
 Преподаватель — 242.
 Преобразование системы народного
 просвещения (по Тюрго) — 205.

- Привычки и борьба с ними — 70, 76, 97, 98, 287.
 Привычки национальные — 187, 190, 191.
 Привычки сословные и классовые — 187, 188, 189, 190, 191.
 Прикладная механика — 99, 100.
 Причины приобретения знаний — 180, 181.
 Пробные лекции — 231.
 Программы — 76, 77.
 Программы школьные — 254.
 Программы духовных семинарий — 254.
 Программы светских училищ — 254.
 Прогресс человека — 191, 192.
 Просвещение — 106, 107.
 Просвещение и религия — 287, 288, 293, 294.
 Просвещение и знахарство — 112.
 Просвещение и уничтожение пороков — 110.
 Просвещение и либерализм — 108, 109.
 Просвещение в России — 120, 121, 157, 158, 159, 160.
 Просвещение и крепостное право — 119, 120, 121, 122, 125, 126, 127.
 Просвещение и материальное положение — 131, 132, 137, 138, 148, 152, 153, 158, 159, 172, 173, 188, 191, 192, 203, 204, 205, 206, 207 — 213, 238, 291, 292, 293, 294, 297, 299.
 Просвещение народа — 120, 121, 122, 125, 130, 131, 132, 144, 145, 172, 173.
 Просвещение национальностей и социально-экономические условия — 144, 145, 146, 150, 283, 284.
 Просвещение и политическая власть — 131, 132, 144, 145, 146, 304.
 Просвещение и прогресс — 151.
 " и народ — 160.
 " и свобода — 130, 131, 132, 144, 145, 146, 212.
 Просвещение и труд — 110, 212.
 Путешествия (польза для обучения) — 247, 248.
 Профессии — 263, 264, 265.
 Профессиональные занятия — 262, 263.
 Профессор — 242.
 Профессор (характеристика) — 248, 252, 253, 254.
 Пуританизм — 93.
 Разбор сочинений учеников — 100.
 Развитие языка и знание народа — 187, 188, 190.
 Разделение труда и умственное развитие — 147, 148.
 Различия языка — 186, 187, 188.
 Расписание лекций — 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 294.
 Революция — 288, 289.
 Ректор, порядок его назначения — 225.
 Религия — 302.
 " и просвещение — 287, 288, 293, 294.
 Религия и школа — 97, 98, 99, 100, 103, 253, 254.
 Религия и церковь — 79, 80, 97, 98.
 Республика — 297.
 Рисование — 99.
 Родной язык — 56, 57, 100, 144, 145, 146, 180, 181, 182, 250, 251.
 Русская орфография — 250, 251.
 Русский язык — 39, 50, 51.
 Самообразование — 250, 251, 255.
 Самостоятельные занятия — 103, 104.
 Свобода — 302.
 " и просвещение — 203, 204.
 Семинарии — 152, 153, 154.
 Система общего образования — 50, 52, 53.
 Социалисты — 286, 297.
 Словарь — 60, 285, 286, 289, 290, 293.
 " русских слов — 222, 223.
 Сочинения учеников — 100.
 Специализация ранняя (вред) — 82, 83, 84, 85, 86.
 Специальность (выбор) — 245, 246.
 Специальные знания — 280, 281.
 " науки — 264, 265.
 Специальности — 52, 57.
 Специальное образование — 255.
 Специальность и специальная подготовка — 144, 145, 146.
 Степень кандидата — 221.
 Стилистика латинская — 101.
 Стипендия магистерская — 226.
 Студенты, материально-бытовое положение — 215, 216, 224, 225.
 Студенческие волнения — 168, 169, 170—179.
 Студенческие кассы взаимопомощи — 172.
 Студенческие „сходки“ — 172, 175, 176.
 Суеверия и борьба с ними — 83, 84, 112, 128.
 Танцы — 99.
 Техническое образование — 129.
 Техник (звание) — 245, 246.
 Технология — 151.
 Требования к учебнику — 34, 35, 36, 41, 48, 55, 56, 58, 60, 73, 74, 87, 239.
 Труд — 119, 120, 151, 198, 199.
 Уездные училища — 171.
 Университет — 97, 98, 129, 162, 214, 225, 226, 227, 242, 243, 250, 251, 255, 256, 257, 282, 283, 284, 292, 293.
 Университет английский — 222.
 " лейпцигский — 102.
 " московский — 72, 179.

- Университет немецкий — 103.
 " Петербургский — 168, 169, 171, 179, 248.
 Университет. Порядок принятия — 214, 223, 224, 225, 226.
 Университет-правила — 168, 171, 172, 173, 174, 175.
 Университет-совет — 231.
 " форма одежды — 217.
 " экзамен — 214, 215, 216.
 Урок — 100.
 " расписание — 100.
 Уроки на дому — 297, 298, 300, 301.
 Учебники (критика) — 129, 130, 283.
 Учебники (характеристики) — 34, 35, 36, 41, 47, 48, 55, 56, 58, 60, 74, 87, 256, 257.
 Учебники.
 Высший курс русской грамматики — 55, 56, 58.
 Географии — 36—41.
 Общий курс истории средних веков — 73, 74.
 Руководство к всеобщей истории — 62.
 Руководство к начальной геометрии — 59.
 Русская грамматика — 87.
 Русская словесность — 34, 35, 36.
 Учебные учреждения — 54.
 Ученые (пределный возраст) — 238.
 Учитель — 165, 194.
 " Задачи — 49, 58, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 87, 100, 134, 144, 145, 149, 192, 193, 194, 253, 254, 257.
 Факультет (выбор) — 238.
 Физика — 77, 243.
 Филология — 39, 40, 52, 53, 55, 56, 58.
 Философия — 49, 98, 99.
 Французский язык — 99, 219, 239, 251, 252.
 Французская орфография — 251, 252.
 Цели воспитания — 258, 259, 302.
 Цензура царская над учебниками — 230.
 Церковь и религия — 79, 80, 97, 98.
 Читательские интересы — 229.
 Чтение книг — 286.
 Характер людей и его воспитание — 180.
 Характеристика экономического и политического положения в связи с вопросами народного просвещения.
 Австралия — 80, 81.
 Австрия — 114, 117, 118, 128, 129, 130.
 Азия — 40, 123.
 Америка — 40, 115.
 Анатолия — 123.
 Англия — 36, 37, 68, 69, 98, 99, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 123, 146.
 Африка — 40.
 Бельгия — 157, 158.
 Бухара — 123.
 Венгрия — 114, 157, 158.
 Германия — 72, 73, 97, 98, 103, 104, 114, 120, 121, 123, 146, 162.
 Греция — 50, 70, 190, 196, 241.
 Египет — 50.
 Ирландия — 36.
 Испания — 122, 157, 158.
 Италия — 36, 37, 146.
 Кабул — 123.
 Кокандское — 122, 123.
 Ломбардия — 114.
 Месопотамия — 123.
 Персия — 123.
 Рим — 70.
 Россия — 54, 68, 69, 70, 72, 73, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 246.
 Саксонское королевство — 36.
 Сирия — 123.
 Трансильвания — 114.
 Турция — 122, 123.
 Украина — 114, 150.
 Франция — 36, 68, 69, 98, 99, 114, 117, 120, 146.
 Хивинское — 123.
 Химия — 151.
 Художественная литература (характеристики) — 285, 288, 289, 290.
 Школа Толстого (Яснополянская школа) — 155, 156.
 Быт школы Толстого — 155, 156.
 Задания школы Толстого — 155.
 Организация занятий — 155, 156.
 Метод обучения — 161, 162.
 Свободное воспитание — 157.
 Урок — 155.
 Учитель — 155, 156, 157.
 Школа и наука — 250.
 Школа и религия — 97, 98, 99, 100, 103, 253, 254.
 Школьные занятия (характеристика школы начала второй половины XIX в.) — 249, 250, 252, 253, 254, 256, 257.
 Школы
 " военные — 86.
 " воскресные — 164, 165, 169, 170.
 " высшие — 261, 262.
 " гимназии — 99, 129, 130, 162, 171, 240, 241, 242, 243, 247, 248, 250, 251, 254, 255, 282, 283, 284.
 Школы княжеские — 99.
 " мейсенские — 99, 100, 101, 102,

Школы монастырские — 100.
" народные — 161.
" немецкие — 101.
" общеобразовательные — 255.
" общие — 161.
" первоначальные, народные —
129, 130, 157.

Школы реальные — 85, 86, 129.

" специальные — 85, 86.

Технические курсы — 246.

Экзамен — 152, 237, 238, 239, 243, 244,
245, 246, 256, 257, 293.

Экзамен докторский — 231.

" во Франции — 248.

" университетский — 214, 215,
216.

Экзамен магистерский — 226, 227, 228.

Этнография — 37, 39, 40, 41.

Юриспруденция — 48, 130, 131.

Язык — 39, 50, 51, 56, 57, 123, 124.

Язык английский — 239.

" арабский — 57.

" венгерский — 61.

" греческий — 99.

" древний — 97, 98.

" еврейский — 100.

" итальянский — 99.

" латинский — 99, 250, 251, 254.

" народный — 57.

" немецкий — 239.

" немецкий (методика обуче-
ния) — 302.

Язык новый — 101.

" родной — 56, 57, 100, 144, 180,

181, 182, 250, 251.

Язык русский — 39, 50, 51.

" французский — 90, 219, 239, 251,

252.

Язык и идея — 124.

Языческие учения — 301, 302.



ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стр.

От составителя.

Н. Г. Чернышевский	3
<i>I. СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ, ЗАМЕТКИ.</i>	
О том, какие книги должно давать читать детям	29
Учебник русской словесности А. Охотина	34
Магазин земледения и путешествия. <i>Географический сборник, издаваемый Николаем Фроловым, том III, Москва, 1854</i>	36
Новые повести. <i>Рассказы для детей. Москва, 1854</i>	41
Первое чтение и первые уроки для маленьких детей. <i>Сочинение А. Ишимовой, ч. I, СПб, 1855</i>	47
Грамматические заметки В. Классовского	48
О древнерусских училищах. <i>Рассуждение Н. Лавровского</i>	54
Высший курс русской грамматики, составленный Владимиром Стоюниным	55
Учебные руководства для военно-учебных заведений. <i>Руководство начальной геометрии</i>	59
Венгерская грамматика с русским текстом и в сравнении с чувашским и черемисским языками, составленная титулярным советником Андреем Дешко	60
Цыганенок. <i>Повесть для детей П. М. Шпилевского</i>	61
Руководство к всеобщей истории. <i>Сочинение Ф. Лоренца, ч. III, отделение 2</i>	62
Лейтенант и Поручик, быль времен Петра Великого. <i>Сочинение Конст. Масальского, две части</i>	63
Александр Сергеевич Пушкин, его жизнь и сочинения	68
Критика. <i>Сочинения Т. Н. Грановского, т. I, Москва 1856</i>	68
Общий курс истории Средних веков. <i>Сочинение М. Стасюлевича, СПб, 1856</i>	73
„Заметки о журналах“, июнь 1856— „О воспитании“ Бема. <i>Мысли по поводу статьи „О воспитании“ Даля</i>	74
„Заметки о журналах“, июнь 1856	80
Русская грамматика В. Классовского, СПб, 1856	87
«Детство и Отрочество». <i>Сочинение графа Л. Н. Толстого. Военные рассказы графа Л. Н. Толстого, СПб, 1856</i>	87
Лессинг, его время, его жизнь и деятельность (1856—1857)	97
„Заметки о журналах“, май 1857	104
Сочинения и письма Н. В. Гоголя. <i>Издание П. А. Кулиша, шесть томов, СПб, 1857</i>	106
Статья „Земледельческой Газеты“ о народном образовании, о телесных наказаниях и о семейных нравах простолюдинов, 1857	106
Русский человек на rendez-vous. <i>Размышления по прочтении повести Тургенева „Ася“, 1858</i>	108
Борьба партий во Франции при Людовике XVIII, Карле X (1858)	108
Обзор состояния Западной Европы (1859 г.)	109
Экономическая деятельность и законодательство (1859)	110
Суеверие и правила логики (1859 г.)	112
Прочность Австрийского порядка (1859 г.)	128

Капитал и труд. „Начала политической экономии“. Сочинение Ивана Горлова, т. I, СПб (1859 г.)	130
Июльская монархия (1860 г.)	132
Собрание чудес, повести, заимствованные из мифологии. Сочинение американского писателя Натаниэля Готорна, СПб (1860 г.)	132
Нынешние английские виги. Маколей, Полное собрание сочинений, т. I. Критические и исторические опыты, изд. Н. Тиблена. СПб (1860 г.)	144
Основания политической экономии Д. С. Милля	145
Новые периодические издания. „Основа“ № 1 (1861 г.)	150
О причинах падения Рима (подражание Монтестье) (1861 г.)	151
Материалы для биографии Н. А. Добролюбова (1862 г.)	151
Французские законы по делам книгопечатания (1862 г.)	154
„Ясная Поляна“. Школа. Журнал педагогический, издаваемый гр. Л. Н. Толстым. Москва, 1862 г. Ясная Поляна, книжки для детей. Книжки I и II (1862 г.)	154
Научились ли? (1862 г.)	168
Статьи, приложенные к переводу „Истории Вебера.“ Раздел: „О различиях между народами по национальному характеру“ (1885—1889 г.)	180
Очерк научных понятий по некоторым вопросам всеобщей истории. Общественный характер элементов, производящих прогресс	191
Академия Лазурных гор Дензиля Элиота	195
Запрещенные цензурой тексты	203
II. ИЗ ПИСЕМ К РОДНЫМ И РАЗНЫМ ЛИЦАМ	214
III. ИЗ ПИСЕМ К РОДНЫМ ИЗ ВИЛЮЙСКОЙ ССЫЛКИ	236
IV. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДНЕВНИКА (1848—1853)	285
V. УКАЗАТЕЛИ	305
Н. Г. Чернышевский — биографическая справка	305
Библиографический указатель	311
Указатель важнейших имен, упоминаемых в высказываниях Н. Г. Чернышевского	323
Журналы и газеты, упоминаемые в высказываниях Н. Г. Чернышевского	333
Указатель литературы	335
Предметный указатель	336

~~17710~~
 инв. ~~3070~~ 543

51 42

Ответственный редактор *Н. И. Болдырев*
Технический редактор *Е. Н. Периаменидик*
Корректор *М. К. Саталкин*
Художник *А. Дейч*

★

Уполномоченный Главлита № А-15755.

★

Сдано в набор 13/IV 1939 г. Подписано к печати 10/XI 1939 г. Индекс У-12103. Тираж 10000 экз. Печ. л. 21,5. Учетно-издательск. листов 26,4. Формат бумаги 60×92₁₆. Бум. л. 10,25. Тип. зн. в 1 бум. л. 50 000. Заказ № 1692 Бумага 60×92₁₆.

Набор и матрицы выполнены в 1-й Образцовой типографии Огиза РСФСР треста "Полиграфкнига". Москва, Валовая, 28. Отпечатано • матриц в Полиграфкомбинате им. В. М. Молотова. Москва, Ярославское шоссе, 99.

5

